



THE LIBRARY
OF
THE UNIVERSITY
OF CALIFORNIA
LOS ANGELES

СОБРАНІЕ ВОЛЬФА

РУССКІЕ БЕЛЛЕТРИСТЫ

СОЧИНЕНІЯ

П. Д. БОБОРЫКИНА

ТОМЪ VI

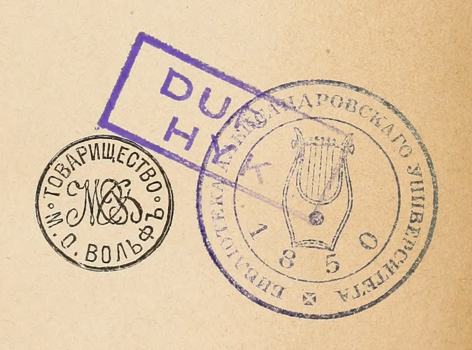
СОЧИНЕНІЯ

П. Д. БОБОРЫКИНА

ТОМЪ VI

СОЛИДНЫЯ ДОБРОДѢТЕЛИ

КНИГА ПЕРВАЯ, ВТОРАЯ, ТРЕТЬЯ И ЧЕТВЕРТАЯ



ИЗДАНІЕ ТОВАРИЩЕСТВА М. О. ВОЛЬФЪ

С.-ПЕТЕРБУРГЪ
Гостиный дворъ №№ 17 и 18

МОСКВА
Петровка, д. Михалкова, № 5

1885

Типографія Товарищества М. О. Вольфъ (Спб., В.О., 16 л., д. №5)

КНИГА ПЕРВАЯ.

Digitized by the Internet Archive
in 2015

https://archive.org/details/sochineniiapdbob06bobo

PG
3453
B62
1884
v.6

СОЛИДНЫЯ ДОБРОДѢТЕЛИ.

РОМАНЪ ВЪ ЧЕТЫРЕХЪ КНИГАХЪ.

КНИГА ПЕРВАЯ.

I.



АННИМИ декабрскими сумерками не мало трусило пѣшеходовъ въ Москвѣ, по Тверской, взадъ и впередъ. Стояла морозная, сухая погода. Паръ такъ и валилъ съ кляченокъ, тянувшихъ, на изволокъ, пошевни ванекъ. Снѣгъ хрустѣлъ подъ ногами. Народъ шелъ весело. Въ воздухѣ не смолкалъ легкій, неторопливый гулъ отъ скрипа полозьевъ, лошадиныхъ копытъ, говора вдоль тротуаровъ, покрикиванья сбитеньщиковъ по угламъ переулковъ. Кое-гдѣ въ магазинахъ показались огни; но фонари еще не горѣли. Съ колокольни Страстнаго монастыря послышался медленный звонъ къ вечернѣ.

У входа въ Долгоруковскій переулокъ столкнулись двое мужчинъ: одинъ высокій, въ довольно-короткой шубкѣ

и круглой шляпѣ, нѣсколько согнутый; другой ниже ростомъ, коренастѣе, въ бараньей шапкѣ и въ плотно застегнутомъ пальто на сѣрыхъ мерлушкахъ. Изъ-подъ шапки, надѣтой назадъ, виднѣлись волосы, остриженные точно въ кружало, золотыя очки особенно ярко выдѣлялись на фонѣ широкаго лица, съ безпорядочной бородкой.

— Ваше степенство, куда? — вскричала шапка, останавливая высокаго мужчину за полу его шубы.

— Да хочу вотъ завернуть къ юношѣ...

— Въ Капернаумъ?

— Да, въ Капернаумъ.

— Валимъ вмѣстѣ! Я тоже, грѣшнымъ дѣломъ, пошелъ пройтись. Башка трещитъ, подлая, что твой пивной котелъ. Геморой, батюшка, доѣзжаетъ. Все это отъ сидѣнья на докторскихъ пролеткахъ. Мы его теперь разомнемъ...

Баранья шапка говорила громко, съ особымъ, немосковскимъ пошибомъ, кое-гдѣ упирая на букву «о». Привычное ухо угадало бы тотчасъ волжскій говоръ.

Они перешли на другую сторону переулка и скрылись въ подъѣздѣ меблированныхъ комнатъ, извѣстныхъ, во всемъ студенческомъ мірѣ, подъ фирмой «Леманши».

Шапка продолжала говорить, взбираясь по темной и довольно-таки вонючей лѣстницѣ:

— Мягкотѣліе, поди, спитъ. Вѣдь этакая собака. А вопросы рѣшаетъ!.. Этта, мы съ нимъ чаи распивали, распоясамшись, добрымъ порядкомъ, и молоко было хуже, съ позволенія сказать, всякой поганой слякоти, такъ онъ, мерзецъ, что бы вы думали, съ этого самаго молока, да на что же своротилъ?

— На что? — спросилъ высокій веселымъ голосомъ, шагая черезъ ступеньку.

— Нѣтъ, придумай, отецъ родной... на Сципіона Африканскаго!.. Я инда вскочилъ и кричу ему: откудова

сіе?.. А онъ, собака, ножищи свои въ телячьи туфли вонзилъ и давай по нумеру шагать, и все-то обобщаетъ, и все-то обобщаетъ. То-есть я вамъ скажу, до зеленаго змія довелъ меня... Такъ я и катаюсь, такъ и катаюсь, а онъ-то сажаетъ... чуть ли не до Пелазговъ докатилъ, ей-ей!

И здоровый, раскатистый смѣхъ разнесся по сѣнямъ. Надо было подниматься въ самый верхъ и искать двери ощупью. Душный корридоръ охватилъ ихъ смѣсью всякихъ испареній. — На окнѣ, въ концѣ корридора, налѣво отъ входа, сидѣла женская фигура. Баранья шапка сейчасъ же воззрилась въ нее и сдѣлала крутой поворотъ на каблукѣ:

— Мечтать изволите, украшеніе Капернаума? — крикнулъ онъ, подходя къ молодой женщинѣ въ красной кофточкѣ, съ взбитыми на лбу волосами. Она курила папиросу.

— А! докторъ! Что же вы меня все надуваете?..

— Какъ такъ?

— А лекціи Коха кто обѣщалъ, а Сканцони кто обѣщалъ?...

— Сладчайшая дочь науки!.. Все это я заключилъ въ утробу свою и памятовалъ денно и нощно; но нѣкій шельмецъ коховскія тетрадки у меня слюзилъ и я теперь по пяти разъ на дню на Земляной Валъ собственной персоной отправляюсь... Насчетъ же Сканцони, это точно, достоинъ шельмованія и весьма живота лишенія, ибо обѣщалъ легкомысленно, понадѣясь на другую собаку; а оный песъ повилялъ только хвостомъ, книги же въ положенный день не далъ.

— Да у васъ нешто нѣтъ своихъ книгъ? Какой же вы докторъ... А еще за-границу ѣдете...

— Милѣйшая изъ милѣйшихъ! Всѣ мои книжицы я отправилъ во свояси и состою теперь на-

легкѣ. Да все это — кимвалъ бряцаяй; а вы вотъ ручку пожалуйте и скажите, скоро ли мы въ законный-то бракъ?

— Благодарю покорно. Я ужь отвѣдала его... законнаго-то брака, довольно съ меня и одного раза.

— Ну инаго, коли такъ не желаете... Вотъ у римлянъ, сказывалъ мнѣ одинъ юсъ, шесть сортовъ брачнаго сожительства было, ей-же-ей, и всѣ законные; выбирай то-есть какой тебѣ по ндраву придется и на какой угодно срокъ. Да и въ Японіи тоже, насчетъ эфтаго какъ отмѣнно устроено; наши моряки...

— А вы полноте молоть-то, — перебила его кофточка, ударивъ по рукѣ: — будутъ ли тетрадки-то, а то я Красноглазова попрошу?

— Будутъ, будутъ, зрачокъ глаза моего!... Дайте срокъ, завтра еще на Земляной Валъ сбѣгаю, и ужь этотъ песъ отъ меня никуда морду свою не спрячетъ...

Высокій стоялъ нѣсколько въ сторонѣ; но, видя, что спутникъ его вступилъ въ продолжительную бесѣду, пододвинулся и промолвилъ:

— Здравствуйте, Софья Платоновна.

— А, это вы, а я васъ совсѣмъ не узнала... Вотъ докторъ все такую околесину несетъ... по-японски какъ-то хочетъ вѣнчаться...

— Первый сортъ! мнѣ капитанъ-лейтенантъ Севрюгинъ сказывалъ...

— Ну, и пускай его; а я ни по-японски, ни по-русски не хочу.

— Значитъ, свободное желаете имѣть обращеніе промежду народа православнаго? Одобряю...

Кофточка расхохоталась. Высокій еще ближе пододвинулся къ ней и спросилъ:

— Ну какъ же идетъ ученье?

— Ничего, хожу въ воспитательный...

— Отроковицъ повивати, — ввернула шапка: — и чадъ любви на тотъ свѣтъ препровождати?...

— По скольку же часовъ работаете? — спрашивалъ высокій.

— Да какъ случится, до обѣда-то какъ умаешься...

— Ну, а вечеркомъ, — приставала шапка: — грѣшнымъ дѣломъ, можно и въ машкаратъ; завтра, благо, въ Большомъ съ лотереей, я бы ужь , такъ и быть, бѣлый галстукъ воздѣлъ и ланиты бы свои выбрилъ.

— Не въ шутку собираетесь?

— Собираюсь, сладчайшая, собираюсь, и васъ свезу съ преподнесеніемъ дароваго билета.

— Экъ, чѣмъ прельстили, я и безъ васъ съумѣю пройти.

— Значитъ, всякія вереи сокрушая... перчаточекъ парочку, отмѣннаго колеру, не желаете ли?

— Перчатки, это другое дѣло... Только вы купить не съумѣете... Я шесть съ четвертью ношу... возьмите у Буассонада. Да вы опять надуете, все равно, что съ тетрадками.

— Лопни моя утроба!... Вотъ посидѣмши у того пса, въ семнадцатомъ нумерѣ, и требушину свою пополоскамши китайскими травами, устремляюсь непосредственно на Кузнецкій и пріобрѣтаю пару рукавичекъ... Довольна ли ваша мордочка, ась!...

— Какъ вы смѣете мое лицо мордочкой называть, ахъ, вы мовешка!

— Да какъ же не мордочка? Что же можетъ быть слаще такого эпитета?... Глазокъ, одно слово!

И шапка взяла кофточку за подбородокъ. Раздалось хихиканье. Высокій слегка отвернулся.

— Не смѣть трогать! Экій, право, скорый... а вы вотъ что лучше скажите, пріятель -то вашъ, въ семнадцатомъ нумерѣ, ѣдетъ ли на вакацію?

— Ѣдетъ, а что?

— Вотъ это совсѣмъ напрасно. Вы скажите ему, чтобъ остался лучше. Ну, на что же это похоже — изъ Москвы къ святкамъ уѣзжать...

— Те, те, те... Насчетъ любви изволите прохаживаться?... Экая собака, это мягкотѣліе, вонзилъ стрѣлу! вонзилъ, бестія!

— Да, ужь не вамъ чета... какой хорошенькій... глаза одни чего стоятъ, голубые-разголубые, и волосы пепельнаго цвѣта... красавчикъ...

— Мать моя! Святые угодники! Втюримшись! а я-то, арясина, ихъ знакомилъ, вотъ такъ убилъ бобра!...

— Вы что орете-то? Вѣдь онъ услышитъ... Смотрите, скажите же ему, а то въ маскарадъ не поѣду.

— Значитъ, все-таки ѣдемъ?...

— Коли перчатки привезете.

— А съ мягкотѣліемъ-то, выходитъ, насчетъ японскаго сожительства?... Отмѣнно...

Шапка нагнулась, и въ темнотѣ раздалось что-то въ родѣ поцѣлуя, налету, и затѣмъ хихиканье...

— Ступайте, ступайте, — шептала кофточка, отталкивая шапку.

Она пихнула его отъ себя въ корридоръ и взяла за руку высокаго.

— Александръ Павлычъ, — заговорила она, мѣняя тонъ: — вы, быть можетъ, думаете, что я цѣлый день шабалы бью... Ей-богу, я занимаюсь...

— Ну, и прекрасно, Соничка, только...

— Только что... вотъ въ маскарадъ-то?.. Еще не знаю, поѣду ли... Да вѣдь и то сказать, одурь возьметъ, цѣлый-то день... хочется поболтать...

— То-то, — промолвилъ высокій: — какъ знаете, ваше дѣло, сами говорили, что время-то летитъ, а нуженъ кусокъ хлѣба.

— Такъ-то, такъ, да... не знаю, что мнѣ съ моей натурой дѣлать.

Съ другаго конца тьмы кромѣшной раздался голосъ шапки:

— Сладчайшій!.. Что застряли, или обращаете на путь истинный?

— Экій озорникъ! — разсмѣялась кофточка: — а вѣдь онъ добрый, Александръ Павлычъ, только ему пальца въ ротъ не клади... Погоди же — я завтра тебя накачу.

— Стало быть, все-таки въ маскарадъ? — спросилъ добродушно высокій.

— И закаюсь до Новаго года... Да, я и забыла совсѣмъ! экая я дрянь, атласъ-то вы мнѣ прислали. Мерси. Ну, идите, и скажите вы тому, голубоглазому, чтобы онъ не смѣлъ ѣхать на вакацію... Экая темень... прощайте, добрый Александръ Павлычъ, вы долго еще пробудете?

— Нѣтъ, Соничка, я ѣду дня черезъ три.

— Быть не можетъ?

— Честное слово.

— Ну, пропала моя головушка!

— Какъ такъ?

— Совсѣмъ я собьюсь съ толку... Этотъ студентъ... Да что же вы, въ самомъ дѣлѣ, не хотите пожить!

— Надо быть къ новому году въ Парижѣ.

— Да новый годъ еще за горами.

— Нѣтъ, заграницей-то другой календарь, на двѣнадцать дней раньше...

— Ишь ты.

— Стало быть, къ нашему 20 декабря...

— Ну, такъ прощайте же; заторопитесь, васъ и не увидишь, пожалуй... Спасибо, спасибо вамъ; кабы я была не я, такъ оно по другому бы вышло... Этакихъ бы людей побольше около нашей сестры... А что изъ меня выйдетъ?.. Знаю, что ничего путнаго...

— Ваша воля.

— Старушка на двое сказала, моя ли... ну, да что тутъ толковать. Вамъ въ ножки кланяюсь... всякаго счастія... Полюбила бы женщина хорошая... Хоть француженка, что-ли, а насъ лихомъ не поминайте. Ужь вы не сердитесь, я васъ поцѣлую на прощанье...

Послѣднія слова были сказаны со слезами.

Высокій нагнулся. Раздался звонкій поцѣлуй. И, какъ разъ, въ эту минуту растворилась дверь въ концѣ корридора и раздалось:

— Га-га! Вотъ такъ оказія!.. Японія, значитъ!..

Кофточка убѣжала. Высокій направился къ двери, гдѣ его съ хохотомъ приняло цѣлое общество.

II.

Широкая комната съ перегородкой, пыльная, безпорядочная и съ волнами дыма, тускло освѣщалась керосиновой лампой, съ абажуромъ, обгорѣлымъ съ одного края. Можно было, однакожь, разглядѣть лица: они даже рѣзче оттѣнялись отъ двойственнаго, смутнаго свѣта лампы.

Вошедшій, снявши свою шубку и шляпу, оказался сухощавымъ брюнетомъ съ овальнымъ, смугловатымъ лицомъ и жидкими, кудрявыми волосами. Глаза не ярко, но замѣтно блестѣли, взглядъ ихъ переходилъ съ одного предмета на другой съ одинаковой мягкостью. Нѣсколько впалыя щеки зарумянились отъ мороза. Подъ тонкимъ и острымъ носомъ съ длинными ноздрями лежали такіе же тонкіе усы. Борода была не особенно старательно выбрита. Подбородокъ удлинялся, но не придавалъ лицу непріятной

угловатости: на немъ сидѣла добродушная ямочка. Одѣтъ онъ былъ въ сѣрый сьютъ.

Спутникъ его тоже снялъ свое пальто и шапку. Большая четвероугольная голова его покрыта была точно примаслёнными прядями русыхъ изъ-рыжа волосъ. Одна прядь заходила даже на щеку, въ родѣ пейса. По всему лицу шли яркія, темныя веснушки, губы выпячивались, двѣ рѣзкія складки легли вдоль щекъ, бородка торчала вѣеромъ. Просторный двубортный сюртукъ сидѣлъ на немъ мѣшковато.

— Японія! — кричалъ онъ, обнимая вошедшаго за бока. — Ай-да учитель!... Юноши, подражайте сему индуктивному методу... Внимай, мягкотѣліе, ибо ты молодъ, глупъ, сопливъ и кривоногъ!...

Тотъ, къ кому обращалось это привѣтствіе, былъ хозяинъ квартиры, молодой малый очень крупнаго тѣлосложенія, съ длинными волосами пепельнаго цвѣта, пухлымъ лицомъ и кислосладкой, доброй улыбкой. Онъ прикрывался байковымъ домашнимъ пиджакомъ и ноги его шлепали въ телячьихъ туфляхъ.

— Турусовъ, здравствуйте, — сказалъ ему ласково вошедшій брюнетъ, потрепавши его по плечу. — Чайку намъ соорудите, прозябъ ужасно.

— Съ нашимъ удовольствіемъ. Да вотъ Григорій Пантелѣичъ справитъ. Его наша Анисья больше слушается, чѣмъ коренныхъ постояльцевъ.

— Еще-бы, — отозвался Григорій Пантелѣичъ, взъерошивая свою бородку и оправляя очки. — Потому, государи мои, оная Анисья чувствуетъ, что у насъ пигментъ имѣется...

— Такъ вы ужь соблаговолите, — просилъ хозяинъ.

— Ладно; а тутъ, чтобы мнѣ была папироса скручена. Я — живой рукой.

Онъ вышелъ изъ комнаты.

— Благодушествуете, Турусовъ?—спросилъ брюнетъ.

— Да, такъ вотъ, почитывали тутъ съ товарищемъ. Позвольте васъ познакомить: Александръ Павловичъ Крутицынъ, студентъ Алаевъ.

Студентъ Алаевъ пылалъ здоровьемъ и былъ совсѣмъ красный. Онъ съ особеннымъ рвеніемъ пожалъ руку Крутицына.

— А я вѣдь къ вамъ, Турусовъ, и проститься вмѣстѣ завернулъ, —сказалъ брюнетъ, опускаясь на диванъ и начиная скручивать папиросу.

— Нѣтъ, въ самомъ дѣлѣ?

— Да, послѣ-завтра думаю двинуться.

— Неужели прямо въ Парижъ?

— Теперь съѣзжу къ теткѣ, пробуду нѣсколько деньковъ, да и въ Питеръ, а тамъ въ Эйдкуненъ.

— Эхъ, кабы съ вами закатиться. Вотъ бы житье!... То-есть все бы это по душѣ...

Турусовъ остановился посрединѣ комнаты, сдѣлалъ жестъ правой рукой и подсѣлъ къ гостю на диванъ.

— Да, голубчикъ Александръ Павловичъ, лихо бы я теперь съ вами зажилъ, и работа-то, и на счетъ идейныхъ началъ. А тутъ вотъ изволь зубристикой этой мозги удручать... Зоологія эта, чтобъ ей ни дна, ни покрышки... Третью недѣлю читаемъ объ однѣхъ анелидахъ... Да паукообразныя недѣльки двѣ возьмутъ, и приклеивай ты всѣ эти ярлыки и ввинчивай ихъ въ память до безчувствія... Махну-ка я, право, въ Парижъ! Ну его къ лѣшэму и дипломъ-то. Развѣ нельзя его потомъ добыть?

Турусовъ говорилъ на «онъ», и рѣчь его показывала чистокровнаго нижегородца.

— Нѣтъ, торопиться вамъ нечего, — остановилъ его гость: — да вамъ, по вашей спеціальности, и не въ Парижъ вовсе слѣдуетъ.

— Знаю я, что мнѣ въ Лейпцигъ, въ Гейдельбергъ,

въ Вюрцбургъ... одно слово къ нѣмцамъ; да вѣдь не одна сласть сидитъ въ микроскопѣ... Кругозоръ-отъ поскорѣй бы, то-есть, расширить... Теперь эта выставка поспѣетъ, всякіе языци и чудеса въ рѣшетѣ... Гдѣ же и набраться-то идейныхъ началъ? И съ вами жить въ одной квартирѣ, какое счастіе!... Я, точно, по-французски знаю всего-то: человѣкъ ломъ, ломъ, душа — ламъ, ламъ, да съ вами-то у насъ это все бы шло по писанному...

— Кончайте курсъ въ маѣ и являйтесь... Выставку еще застанете...

— Это точно, да вотъ теперь-то больно ужь не хочется отпускать васъ...

Крутицынъ дотронулся рукой до круглаго широкаго плеча юноши и промолвилъ:

— Спасибо, спасибо.

— Я вотъ при Алаевѣ скажу, Александъ Павлычъ, намъ профессоровъ нужно такихъ, какъ вы. Вы вотъ, и медицыны докторъ, и химіи докторъ, а значитъ какъ въ писаніи говорится: «не имаше здѣ пребывающаго града, а грядущаго взыскуяй». Худа вамъ нѣтъ, да, позвольте сказать, никогда и не будетъ, потому вы — душа человѣкъ, а тутъ надо другую линію вести, по части, значитъ, благонамѣренности... Ну, да ужь шутъ ихъ дери тамъ!... Я на прощаньѣ скажу только: по гробъ жизни вамъ обязанъ... меня дурака обтесали маленько, зубристику-то нашу дурацкую раскрыли предо мной, на пути и дороги указали, куда нашему брату идти слѣдуетъ... Да ужь одно слово: прозрѣлъ и тѣмъ никому иному не обязанъ, какъ Александру Павлычу Крутицыну, и никакого гонорара онъ за это съ меня дурака не содралъ!...

И Турусовъ схватилъ своими широкими пальцами руку Крутицына началъ трясти. Румяная физія студента Алаева покрылась какимъ-то масломъ, и онъ радостно смотрѣлъ на предметъ изліяній товарища.

— Вы все въ лирическомъ тонѣ, Турусовъ, — отвѣтилъ ему гость: — не торопитесь памятникъ-то мнѣ воздвигать. Вотъ дайте срокъ, свидимся съ вами за-границей, я и погляжу: какое произошло уподобленіе умственной жизни... Главное, другъ: укрѣпиться надо на чемъ-нибудь... Разумѣется, это сразу не дается. Теперь идетъ расчистка и щупка собственныхъ мозговъ... А вотъ чрезъ годикъ, черезъ два надо итоги подводить. И не въ микроскопѣ или другомъ чемъ — вся суть, вы это уже чувствуете, а въ умственныхъ устояхъ... Безъ міровоззрѣнія все будете блуждать и колебаться.

— Одно слово: вскую шаташася!

— Именно. Спеціальность не уйдетъ, при привычкѣ къ труду. Немножко больше фактовъ — немножко меньше — дѣло времени. Вотъ вы теперь анелидовъ зубрите...

— Чтобъ имъ пусто было!

— И видите, небось, что одна систематика — мертвечина, когда она не освѣщена плодотворнымъ обобщеніемъ?

— Еще бы!...

— Ну, и по части «идейныхъ-то началъ», какъ вы выражаетесь, вамъ надо еще какъ поработать! Разумѣется, тутъ и дѣловую сторону нельзя не прикинуть; поэтому-то я и сказалъ, что придется вамъ покоптѣть у нѣмцевъ; но безъ крупныхъ центровъ культуры не сбросите съ себя никогда скорлупы филистерства.

— Восчувствовалъ я это, Александръ Павлычъ, восчувствовалъ всѣмъ нутромъ моимъ. Оттого-то меня такъ и тянетъ съ вами закатиться. У меня теперь всего на все тысченокъ шесть остается животишекъ, я ихъ всѣ и ухну на выучку... Годковъ пять потреплюсь и сначала съ «центровъ», какъ вы изволите глаголать, съ центровъ начну, и потомъ уже пущусь ковырять, вплотную, гистологію у всякой, значитъ, многоученой нѣмчуры... Да и

кто ее знаетъ, Александръ Павлычъ, слѣдуетъ ли еще мнѣ оную гистологію ковырять? Вѣдь это мы здѣсь, съ проголоди-то кидаемся на спеціальность... Оно какъ-будто мундиръ тебѣ какой выкраиваютъ, медаль на шею. Спеціалистъ, молъ, и шапку предо мною гни. А тамъ и выкажется, что совсѣмъ не за то ты, другъ милый, взялся... не микроскопъ тебѣ надо, а испанскій плащъ и Гамлета тебѣ слѣдуетъ изображать!

Турусовъ заходилъ по комнатѣ. Товарищъ его прыснулъ. Крутицынъ, покуривая полегоньку, тихо улыбался.

— Да-съ, батюшка Александръ Павлычъ... у меня вотъ съ дѣтства къ театральному охота есть:

«Влеченье, родъ недуга,
Любовь какая-то и страсть».

Иной разъ сплю и вижу, какъ бы, то-есть, изобразить принца Датскаго?... Къ комедіи нѣтъ у меня такого зуда, а вотъ къ патетическому, значитъ... Только ноньче актеришки-то вывелись... Одинъ Корнелій Николаичъ, да и тотъ совсѣмъ слинялъ. Такъ вотъ она и загвоздка! Кто-ё знаетъ: куда меня нелегкая-то дернетъ? Вдругъ, какъ съ гистологіи-то хвачу на ярмарочный балаганъ Ляпунова, а то такъ Чацкаго ломать?

И Турусовъ, вывернувъ руки кренделемъ, всталъ въ позицію, встряхнулъ своими неумѣренно-длинными волосами и загудѣлъ «по театральному»:

«Людей съ душой — гонительница, бичъ!...
Молчалины — блаженствуютъ на свѣтѣ!»

Крутицынъ все время глядѣлъ на него своими свѣтлыми и кроткими глазами. Краска на его блѣдно-смуглыхъ щекахъ выступила сильнѣе. Губы улыбались и пальцы худой руки перебирали лежавшій на столѣ карандашъ.

Когда Турусовъ прогудѣлъ свое двустишіе, Крутицынъ приподнялся и вышелъ на середину комнаты.

— Такъ, такъ, юноша, — началъ онъ голосомъ посильнѣе и поотрывистѣе: — надо еще пощупать себя, съ разныхъ сторонъ, и театральство это — не безъ причины. Значитъ, есть жажда извѣстныхъ ощущеній, которыхъ наука не даетъ. И тутъ надо поле наблюденій. Вотъ отправитесь назадъ, походите по театрамъ... Я въ этомъ дѣлѣ небольшой знатокъ; но столько-то я его знаю, чтобы поставить тамошнія сцены повыше нашихъ... Походите, поглядите и убѣдитесь, быть можетъ, что въ шкуру настоящаго артиста вамъ влѣзать не рука. А коли придете къ противному убѣжденію — съ Богомъ. Неужели и свѣтъ весь, что въ кабинетномъ трудѣ?... Нѣтъ, гнать надо прочь, сколько хватаетъ силъ, это филистерство; кромѣ тупости и суши ничего оно родить не можетъ. Не набирайтесь вы цѣховой гордыни... Даровитый актеръ ничѣмъ не ниже никакого Келликера!...

Крутицынъ, по мѣрѣ того, какъ начиналъ горячо говорить, мѣнялъ не только интонацію, но и всю посадку тѣла. Молча и сидя, или въ спокойныхъ рѣчахъ, онъ смотрѣлъ чопорнымъ, или, по крайней мѣрѣ, сдержаннымъ и нѣсколько сладковатымъ. Доказывая что-нибудь съ одушевленіемъ, онъ сейчасъ же выпрямлялся, сильно краснѣлъ и жестикулировалъ.

Рѣчь его была перебита шумнымъ входомъ его спутника.

— А! — заговорилъ онъ, становясь между Крутицынымъ и Турусовымъ: — идетъ возращеніе интеллигентныхъ овощей?.. Валяй, валяй его!.. Вонъ оно мягкотѣліе-то какое. Совершеннолѣтія еще не достигъ, а двойнымъ подбородкомъ обзавелся... Смотри-ка — вотъ оно отложеніе-то, ровно у индюка какого... Берите бистурій, сладчайшій, и отмахните ему вотъ отсюда, вдоль musculus gluteus

maximus, кусъ жира. А то взбѣсится пса... Діагнозу сію скрѣпилъ докторъ медицины и хирургіи Григорій Пантелѣевъ сынъ Швецовъ!..

— А вы погодите блажить-то, Григорій Пантелѣичъ,— заговорилъ Турусовъ, сильно упирая на *о*, что у него являлось, какъ только ему что-нибудь не по вкусу: — Александръ Павлычъ тутъ, по душѣ, въ самое, можно сказать, нутро забрался и все это развить желалъ; а вы сейчасъ прибаутками...

— Обижается пса... Хвостъ-то, хвостъ-то какъ началъ дѣйствовать... Нѣтъ, еще въ тридцати котлахъ варить его надо... а-то такъ и больше... Ты вотъ мнѣ, Гамлетъ, скажи: до Сципіона-то Африканскаго какъ дошелъ, а?.. А второе дѣло: дѣвицъ у насъ отбиваешь... Взялъ мягкотѣліемъ и любовныя страсти возбуждаешь, туруса ты этакая, безпардонная?

— Какія такія страсти? — спросилъ поморщившись Турусовъ.

— Какія? Знаешь самъ, собака!.. На корридорѣ-то кто амурничаетъ?.. Кто, небось, очи-то ваши миндальныя разглядѣлъ да волосики пепельные, а?..

— Да кто, говорите-инъ, нешто Соничка?

— То-то, нешто Соничка!.. Какъ еще смѣешь обзывать, мерзецъ, ласкательнымъ именемъ благородную вдову шляхетнаго происхожденія?..

И, мѣняя тонъ, Швецовъ обратился къ Крутицыну и сказалъ съ разстановкой:

— Безешку-то изволили запечатлѣть, хоша и съ возращеніемъ цивическихъ овощей?

Крутицынъ вскинулъ на него глазами и сдѣлалъ движеніе рукой, которымъ говорилъ: «что же мнѣ было дѣлать, я не виноватъ».

— Неужли поцѣловала? — спросилъ Турусовъ.

— Чай, самъ видѣлъ, пса. И выходитъ, что разви-

ватель-то почище насъ съ тобой дѣла обдѣлываетъ, по амурной-то части.

— Ну ужь вотъ не угадали, — оправдывался наивнымъ тономъ Крутицынъ, возвращаясь къ дивану.

Швецовъ помѣстился у стола и сталъ закручивать папиросу.

— Такъ вы и въ самомъ дѣлѣ хотѣли развивать вдовицу-то, — выговорилъ онъ, уже совершенно серьезно, но съ шутливымъ выраженіемъ своихъ толстыхъ губъ: — въ сурьезъ, Александръ Павлычъ?

— Какое же тутъ развиванье? Вы, докторъ, злоупотребляете жалостными словами.

— Какъ такъ?

— Разумѣется... Развиванье — значитъ навязыванье того, что вовсе не нужно данному субъекту, что представляетъ собою вашу собственную блажь, диллетантизмъ и недомысліе.

— Ну, хоть и не совсѣмъ такъ, но почти на то же выходитъ.

— А развѣ тутъ есть что-нибудь подобное?

— А какъ же? Сладчайшій!... Вы меня извините: не ожидалъ даже, чтобы въ мужѣ, положительныхъ знаній преисполненномъ, до сихъ поръ сидѣлъ такой непочатой уголъ идеализма... Да, сладчайшій... Вы берите вещи съ самой простой, житейской стороны... Видимое дѣло, что оная Соничка обитаетъ въ меблированныхъ комнатахъ не для того, чтобы дѣвицѣ Сусловой подражать и въ Цюрихѣ на доктора медицины экзаменъ держать. Ни къ чему другому она не способна, какъ къ срыванію цвѣтовъ удовольствія съ особами военнаго и штатскаго званія. Ее хоть голодомъ мори, она все-таки наукамъ обучаться не станетъ; находясь въ первопрестольной столицѣ, конечно, гладу себя подвергать не будетъ, а изыщетъ подходящіе способы быть сытой и облекать себя въ вис-

сонъ и багряницу. Что она такое, смѣю спросить? Она — продуктъ цѣлаго наслоенія культуры, она выкинута волнами того общественнаго моря, которое я именую московской селянкой. Все въ ней сложилось и улеглось по клѣточкамъ. Всѣ функціи работаютъ по яркимъ и неизмѣннымъ типамъ и даже ея эпителія вамъ не удастся измѣнить, не токма что дать ей другую селезенку и другіе мозги... Это — признаки родовые. А индивидуальные еще безнадежнѣе. Въ головѣ ходитъ вѣтеръ и умственныхъ наслажденій она ввѣкъ испытывать не будетъ. А кромѣ того, сидитъ въ оной вдовицѣ темпераментъ, которымъ управляютъ не полушарія, сердечный Александръ Павлычъ, а область симпатическаго нерва и низменныя части головнаго мозга... Вотъ вамъ и весь сказъ! Dixi et animam levavi! Стало-быть, надо обращаться къ вышепоименованной Соничкѣ съ тѣмъ, къ чему она имѣетъ прирожденное влеченіе...

Швецовъ перевелъ духъ. Оба студента взглядывали то на него, то на Крутицына. Абсолютно-молчаливый Алаевъ совсѣмъ подернулся масломъ. Турусовъ скривилъ ротъ, что у него означало усиленное вниманіе.

— Вы по своему правы, — началъ неторопливо Крутицынъ, и голосъ его тотчасъ же дрогнулъ: — но ваша діагноза подлежитъ поправкѣ, какъ и всякая другая. Вамъ кажется, что на такую Соничку надо поставить крестъ... Вы и дѣйствуете такъ. Изъ-за чего же, въ самомъ дѣлѣ, толочь въ ступѣ воду? Но мнѣ кажется, что и я, на сколько, вообще, я тутъ причастенъ, дѣйствовалъ совершенно просто... Эта молодая женщина, разговорившись со мною, сказала мнѣ, что она живетъ на послѣднія свои деньжонки, что ей придется скоро работать, въ гувернантки она не хочетъ, да ничего порядочно и не знаетъ, а видитъ, что всего подходящѣе пойдти въ акушерки. Я ее поддержалъ въ этомъ намѣреніи, это правда,

но и ничего больше. Гдѣ же тутъ навязыванье и развиванье?

— Въ акушерки!... Пущай ее. Это званіе амурнаго свойства. Вотъ и я ей лекціи достаю; да зачѣмъ въ сурьёзъ-то такъ все это брать, зачѣмъ священнодѣйствовать? Акушерки-то изъ нея, быть можетъ, и не выйдетъ, а какъ Сонничка она у насъ подъ руками и я, не оскорбляя ее нимало, держусь съ ней настоящаго, реальнаго тона...

— Нѣтъ, докторъ, — перебилъ его горячо Крутицынъ, и щеки его вспыхнули. — Ужь если позволите вполнѣ откровенное слово, я съ вами совершенно несогласенъ. По-моему, коли тетрадки ей доставлять, такъ зачѣмъ держаться съ ней тона, который прямо ведетъ... къ чему?

— Извѣстно, къ чему! къ срыванію цвѣтовъ удовольствія!...

— Ну да, и такое легкое отношеніе я не могу признать правильнымъ. Я не знаю, что выйдетъ изъ этой Сонички; но если я, хоть сколько-нибудь, поддерживаю ее въ серьезныхъ стремленіяхъ, если я сочувствую такому опыту, я не стану, въ то же время, дѣйствовать на ея симпатическій нервъ и потакать ея безпорядочнымъ инстинктамъ; я предоставлю это другимъ...

— Истину глаголете! — вскричалъ Турусовъ, потирая руки.

— Чистѣйшій идеализмъ, — отрѣзалъ Швецовъ. — Да что я развѣ какіе-нибудь подходы подводилъ? Чай, при васъ разговоръ былъ... и стоило мнѣ однимъ словомъ объ маскарадѣ заикнуться, и она сейчасъ ужь разомлѣла и перчаточки съ умиленіемъ приняла... И пока мы съ вами тутъ разводы разводимъ, вотъ эта мягкотѣлая пса давнымъ-давно все въ наилучшемъ видѣ обработалъ...

— Я? — спросилъ недоумѣвая Турусовъ.

— А то кто же, собака?

— Вотъ-те Христосъ! Ни-же-ни.

— Врешь, мерзецъ, адски врешь!

— Честное слово... Всего только разъ и разговоръ былъ... Даже не знаю, въ какомъ и нумерѣ стоитъ.

— Все равно, довольно и того, что приказала передать, чтобы здѣсь на вакаціи остаться...

— Это совсѣмъ другая статья, докторъ, — возразилъ Крутицынъ: — тутъ капризъ, молодость, или нарождающееся чувство, все равно; это еще далеко не разгулъ и не проституція.

— Вотъ я вамъ дамъ «чувство», завтра послѣ маскарада...

— Старуха еще на двое сказала! — крикнулъ Турусовъ.

— И я былъ бы очень радъ, еслибъ вы, докторъ, вернулись домой solo, — заключилъ Крутицынъ.

III.

Разговоръ былъ прерванъ. Скрипнула дверь, и показалась фигура въ бухарскомъ халатѣ. Всѣ оглянулись, и на губахъ Турусова проскользнула гримаса.

— Можно? — спросилъ новый гость жидкимъ фальцетомъ съ растягиваніемъ, на московскій ладъ, послѣдняго звука.

— Садитесь, гостемъ будете, — проговорилъ Турусовъ привставая.—Господа, кандидатъ филологіи Петинъ.

Кандидатъ филологіи смотрѣлъ невзрачно. Жидкое,

вытянутое, нескладное туловище болталось въ складкахъ халата. На длинной и морщинистой шеѣ сидѣла маленькая голова, покрытая темными волосами, зачесанными въ височки, кпереди. Лицо было желто и сжато въ комочекъ. Золотыя очки скрывали косоглазіе. Губы сложены были въ приторную улыбку и открывали гнилые зубы. На подбородкѣ торчало нѣсколько волосковъ.

Приходъ этого человѣка не только прервалъ оживленный разговоръ, но и пахнулъ холодомъ и принужденіемъ. Турусовъ ёжился и не зналъ, какъ начать бесѣду. Красный Алаевъ уткнулъ носъ въ пакетецъ съ табакомъ. Крутицынъ незамѣтно оглядывалъ новаго гостя, выпуская тонкія струйки дыма. Швецовъ замурлыкалъ, не удостоивая вниманія кандидата филологіи.

— Я, кажется, нарушилъ горячій диспутъ? — заговорилъ Петинъ, глядя правымъ глазомъ на Турусова и улыбаясь Крутицыну.

— Нѣтъ, какое же, ничего не нарушили, — отвѣтилъ Турусовъ небрежно, — такъ разговоръ былъ...

— А о чемъ, смѣю спросить?

— Да такъ, не то чтобы общій...

— А, значитъ спеціальный... — Петинъ захихикалъ. Смѣхъ его видимо всѣхъ раздражалъ.

Вышла томительная пауза.

— Вы, господа, — продолжалъ онъ, разжевывая слова и процѣживая ихъ, точно сквозь сито: — все естествоиспытатели вѣроятно?... Такъ намъ въ вашъ храмъ и вступать страшно. Мы — синтезъ, вы — анализъ... Весьма жалѣю, что не посвященъ въ таинства вашей положительной науки.

Слово «положительной» произнесъ онъ съ намѣреннымъ подчеркиваніемъ.

— Объ дѣвицахъ говорили, — отрѣзалъ Швецовъ: — коли вамъ желательно знать...

— О какихъ же это, смѣю спросить?

— Легкаго чтенія...

Алаевъ прыснулъ.

— Сюжетецъ пикантный...

Опять вышла пауза. Крутицынъ хотѣлъ-было что-то вставить для оживленія разговора; но, къ счастью, подоспѣла корридорная служительница Анисья, рябая и отмѣнно нечистоплотная особа, съ такимъ же неопрятнымъ самоваромъ.

— Глазокъ! — крикнулъ ей Швецовъ: — носъ-то у тебя на коемъ мѣстѣ?

— Чаво?

— Носъ-то, спрашиваю, гдѣ?

— Ишь лѣшій... чай, видишь гдѣ.

— А ты покрути-ка имъ.

— Для-чево?

— Окисью углерода хочешь извести насъ... Иль не можешь расчухать, какого ты духу напустила?...

Этотъ дружескій діалогъ между Анисьей и Швецовымъ нѣсколько разсмѣшилъ компанію; но улыбка Петина портила все дѣло...

Анисья понюхала, чѣмъ пахнетъ, дунула на трубу и увѣренно проговорила:

— Брешешь, вскипѣлъ. — Никакого духу нѣтъ.

Послѣ чего и удалилась. Швецовъ толкнулъ ее въ бокъ и сталъ возиться около самовара.

Крутицынъ спросилъ кандидата филологіи:

— Вы здѣшняго университета?

— Такъ точно-съ. Живу по сосѣдству вотъ съ г. Турусовымъ, только другаго мы лагеря, хи, хи, хи... У нихъ все еще бродятъ эти принципы... какъ бы ихъ назвать... антропологическіе... А культуру-то и херятъ-съ, и херятъ-съ великую-то культуру... Подчасъ и забавно бываетъ. Въ логическій диспутъ тоже не желательно

вступать; а больше все изъ Воронова статеекъ понадергали доводовъ... Все это, конечно, отлетитъ-съ.

— Когда же это отлетитъ-то? — нахмурившись прервалъ Турусовъ.

— Когда все юношество пройдетъ сквозь великое образовательное влiянiе классической культуры... Сомнѣваться, впрочемъ, въ этомъ нечего, ибо все уже направлено по непреклонному пути стараньемъ просвѣщенныхъ руководителей.

Крутицынъ, зажмуря глаза, прослушалъ двѣ тирады кандидата филологiи и не разсудилъ вступать съ нимъ въ теоретическiе разговоры, до которыхъ былъ большой охотникъ. Онъ только спросилъ, когда тотъ перевелъ духъ:

— Вы преподаватель?

— Никакъ нѣтъ-съ, я — магистрантъ и собираюсь совершить поѣздку за-границу для дальнѣйшихъ штудiй.

Швецовъ оторвался отъ чая при словѣ «штудiй» и такъ взглянулъ на Турусова, что столько же смѣшливый, сколько и молчаливый Алаевъ долженъ былъ спрятать голову совсѣмъ подъ столъ, чтобы не прыснуть.

— На казенный счетъ? — допрашивалъ полегоньку Крутицынъ.

— Да-съ, съ приготовленiемъ къ каѳедрѣ.

— И надолго?

— На два-года-съ.

— Въ Германiю, конечно?

— Исключительно къ германскимъ свѣтиламъ...

Эти «свѣтила» могли произвести неудержимое фырканье Алаева, еслибъ не вторичный приходъ Анисьи, пришедшей объявить, что «коли самоваръ оченно ужь воняетъ, то она, пожалуй, и вынесетъ его».

Всѣ разсмѣялись. Швецовъ обнялъ ее и крикнулъ:

— Великодушная мордашка! Гряди съ миромъ! Мы уже наглотались угару.

— Ну, такъ шутъ съ вами... Привередники!..

Эта импровизованная сцена все-таки не смазала бесѣды. Турусовъ усердно пилъ чай, подувая на блюдечко. Швецовъ громко щелкалъ зубами, разгрызая куски сахару. Крутицынъ чувствовалъ, что серія его вопросовъ истощалась.

Допивши стаканъ, Швецовъ всталъ и взялся за шапку.

— Ну, мягкотѣліе, — заговорилъ онъ: — требушину нашу мы достаточно выполоскали. Нагуливай жиру на твоихъ анелидахъ и завтра въ вольный машкарадъ являться не смѣй, а то вырѣзанъ будетъ ремень изъ самаго крестца. Вы, сладчайшій, остаетесь? — обратился онъ къ Крутицыну.

— Нѣтъ, я тоже двигаюсь.

— Да что же это вы, господа? — запросилъ испуганно Турусовъ: — такъ добрые люди не дѣлаютъ. Хоть еще по чашечкѣ, куда же спозаранку взбаламутились? Вѣдь всего-то шестой часъ въ началѣ...

— Мнѣ надо уложиться, Турусовъ, — отвѣтилъ вставая Крутицынъ: — я вѣдь завтра утромъ ѣду.

— Да хоть флаконъ, что ли, сокрушить на прощаньи.

— Ишь, собака... наклонности-то какія... — вставилъ Швецовъ.

— Право, флакончикъ бы по душѣ...

Турусовъ стоялъ уже по срединѣ комнаты и удерживалъ Крутицына за полу.

— Да я не совсѣмъ вонъ, юноша, — отговаривался Крутицынъ: — я назадъ дня чрезъ три, а тамъ еще денька два пробуду въ Москвѣ; такъ успѣемъ еще проститься, и если вамъ хочется, и флаконъ сокрушимъ.

— Посидите, Александръ Павлычъ, — почти хныкалъ Турусовъ, и вполголоса продолжалъ: — мнѣ ножъ вострый

эта слякоть, не знаю, куда отъ нея спрятаться, хоть въ другіе нумера съѣзжай...

— Вамъ полезно... Вотъ и изучайте классическую культуру-то.

— Чорта съ два!

— Не заражайтесь нетерпимостью. И отъ него можно кое-чѣмъ позаимствоваться...

— Да вы посидите.

— Все равно, по душѣ, по вашему, разговору не будетъ, а я уложусь тѣмъ временемъ.

— Ну, такъ Богъ съ вами!.. Ужь позвольте облобызаться, по православному, значитъ, обычаю... Оно отъ меня и не такъ сладко, какъ отъ дѣвицы, за то отъ всей утробы.

Они поцѣловались три раза. Алаевъ, совладавшій коекакъ со своимъ фырканьемъ, опять также крѣпко-накрѣпко сжалъ руку Крутицына, и даже шаркнулъ почему-то ногой... Крутицынъ, обернувшись къ самовару, произнесъ погромче:

— Имѣю честь кланяться.

Фраза дошла до слуха кандидата филологіи. Онъ былъ поглощенъ питьемъ чая. Свои косые глаза обратилъ онъ, сколько могъ, во внутренность стакана и хлебалъ чай съ какимъ-то сладострастіемъ, размѣшивая сахаръ ложечкой и причмокивая.

— А! господа! Мое всенижайшее почтеніе. Не имѣлъ счастья слышать вашихъ именъ и отчествъ, а также и званій. Молодой нашъ хозяинъ, по разсѣянности...

Но ни Швецовъ, ни Крутицынъ не слыхали конца фразы. Они уже были въ корридорѣ. Турусовъ пошелъ провожать ихъ до сѣней.

IV.

— Пущай его, собака, попрѣетъ, — балагурилъ Швецовъ, спускаясь съ лѣстницы: — ему эта сравнительная филологія задастъ копоти! Вдоль другаго musculus gluteus тоже куска клѣтчатки не досчитается.

— А какъ на вашъ вкусъ пришелся оный филологъ? — спросилъ весело Крутицынъ.

— Насажденія Панфила-мудреца и аггеловъ его...

— Занимателенъ.

— Свѣтилами-то онъ ужь больно доѣхалъ того студентика; я думалъ, съ нимъ корчи сдѣлаются отъ фырканья...

— Въ состояніи вы относиться объективно къ такимъ экземплярамъ?

— И очень.

— Будто бы?

— А какъ же... Они, сами по себѣ, ничего не значатъ. Да это еще не главное... Въ нихъ сидитъ настоящая школа для нашего брата, для всѣхъ насъ, обзывающихъ себя естественниками. Вонъ мягкотѣліе воображаетъ, что онъ всю антропологическую премудрость проглотилъ; а вѣдь онъ, пса, дѣйствительно, не выдержитъ диспута вотъ съ такой классической ящерицей. Забьетъ она его въ конецъ. Это вѣрно. А отчего? Оттого, что въ котлахъ не варенъ, вѣруетъ въ свои принципы, а въ исторію-то человѣчества порядкомъ не заглядывалъ, великой культуры, какъ скнипа эта выражается, ни бельмеса не знаетъ. А вѣдь родъ-то людской не даромъ нѣсколько сотъ лѣтъ жилъ, и философію свою, и то, и се, и пятое, и десятое выдумалъ, до нашей эры... Коли хочешь

нотой выше взять, такъ ты все это спервоначалу произойди. Я, батюшка, самъ ежесекундно локти-то кусаю, что дальше учебниковъ по этой части не пошелъ...

Швецовъ договорилъ свою тираду на крыльцѣ, держа Крутицына за рукавъ.

— Такъ ли я смекаю? — спросилъ онъ.

— Совершенно вѣрно, и, признаюсь, не ожидалъ даже отъ васъ такого объективизма.

— За олуха царя небеснаго, стало быть, считали меня? Благодаримъ покорно. Нѣтъ, сладчайшій, я не изъ фанатиковъ. Я — человѣкъ дѣла, слѣдственно, всякое лыко идетъ у меня въ строку.

— Ну, а педагогическое владычество классиковъ васъ не смущаетъ?

— Пущай ихъ: это отлетитъ, когда нужно будетъ. Перепортятъ малую толику изъ россійскаго юношества... Да, по крайности, объявится, что̀ въ этой эквилибристикѣ лежало образовательнаго. Вѣдь я, сладчайшій, въ этомъ дѣлѣ не судья. Шутъ ее знаетъ, что мозгамъ полезнѣе въ извѣстный періодъ? Сдается мнѣ, что надо хоть чему-нибудь толкомъ обучать; а вотъ этого-то мы и не имѣли. Одначе, о педагогіи-то мы больно уже раскалякались. Великій Дагоберъ сказалъ: «нѣтъ той компаніи, которая бы не расходилась».

— Вѣдь это онъ собакамъ говорилъ...

— А мы кто же? Мы всѣ — псы. У меня по этой части цѣлая теорія. Когда-нибудь на дорогѣ разовью...

Они были уже на Тверской. Швецовъ оглянулъ улицу вправо и влѣво, заломилъ шапку совсѣмъ на затылокъ и спросилъ скороговоркой:

— Вы до дому?

— До дому.

— А коли есть четверть часа лишнихъ, заверните ко мнѣ. Я вѣдь здѣсь, неподалечку, въ Голяшкинскихъ

комнатахъ съ небелью... Мнѣ вамъ желательно поднести экземплярчикъ моей диссертаціи. А коли соблаговолите, такъ и самоварчикъ одолѣемъ. Эта ящерица у меня всю охоту отбила. Я на второмъ стаканѣ сбрендилъ. Чмокаетъ, бестія, точно чушка какая, и одинъ-то глазъ на насъ, а другой на Арзамасъ... Такъ соблаговолите, что ли?

— Съ большимъ удовольствіемъ. Я еще успѣю уложиться.

— Ну, такъ, гайда!

Они черезъ нѣсколько минутъ очутились въ квартирѣ Швецова, состоявшей изъ двухъ довольно чистенькихъ комнатъ.

Хозяинъ тотчасъ же преобразился въ татарина, надѣлъ казанскую тебетейку, ермолку и разноцвѣтные сафьянные сапоги съ узорами.

— Дѣлаю я, сладчайшій, опыты надъ корридорнымъ нашимъ, по части идіотизма — отмѣнный экземпляръ. Замѣняетъ мнѣ, въ нѣкоторомъ родѣ, флурансовыхъ куръ... Я спервоначалу думалъ, что онъ изъ швейцарскихъ долинъ, а оказывается, что онъ изъ обывателей города Зарайска...

Явился корридорный, дѣйствительно, крайне-тупаго вида и получилъ отъ Швецова обстоятельное наставленіе о самоварѣ, лимонѣ и прочемъ. По уходѣ корридорнаго, Швецовъ досталъ изъ письменнаго стола брошюру и поднесъ ее Крутицыну, съ комическимъ поклономъ:

— Удостойте, давно дожидался сей чести, и дедикація сдѣлана, званію вашему приличная.

— Спасибо, много утѣшили, — говорилъ Крутицынъ, пожимая руку Швецова и прочитывая заглавіе.

— Практическая, батюшка, по медицинской полиціи, на то я и городовой врачъ, безъ мудрствованій; но смѣю думать, съ цѣнными фактиками...

— Я очень жалѣю, докторъ, что не зналъ про вашъ диспутъ. Мы тогда, кажется, и знакомы не были.

— Не были, не были... да не много и потеряли... Руготня была, всякую мѣру превышающая... Меня вы немножко знаете... Малый я съ сердцемъ отходчивымъ; но пигментъ есть... Тутъ приватдоцентишка накинулся на меня съ своей эрудиціей... Я его такъ ошпарилъ... одно слово — сожралъ... хвостика даже не оставилъ... А вообще — пустая комедія, и самому послѣ тошно становится...

— Такъ вы здоровы браниться?

— Еще бы!... Ѣшь меня, лупи сколько душѣ твоей угодно; но ходи въ правилѣ, не ломайся, не пущай пыли въ глаза...

— Мнѣ кажется, докторъ, что намъ бы съ вами трудно было разбраниться въ лоскъ, не смотря на вашъ пигментъ.

— Это точно. Потому, мы два полюса. Въ васъ — нервность на подкладкѣ мягкаго сангвинизма. Во мнѣ — холеризмъ. Задору въ васъ нѣтъ, кичливости нѣтъ, чувствуется контрабасъ, который всему даетъ тонъ... А коли пошло ужь на изліянія, вѣдь навѣрно вы меня тогда, какъ впервой у мягкотѣлія узрѣли, небойсь поди за олуха царя небеснаго приняли?

— Ну, ужь и за олуха...

— Одначе... позвольте-ка пощупать...

— Да, вы мнѣ показались гораздо менѣе развитымъ...

— Попросту, неучемъ и провинціаломъ — дуракомъ... Знаю, и нимало этимъ не обижаюсь. Скорлупа у меня ежовая и какимъ я сложился, сладчайшій, такимъ и останусь. По интеллигентнымъ овощамъ я супротивъ вашего куда позади, да и некогда было ихъ возращать. Объ этомъ рѣчь будетъ впереди; а вы лучше мнѣ вотъ что скажите: какъ нашему брату вашу милость разумѣть?

— То-есть?

— То-есть, въ чемъ же заключается суть вашего житья бытья? Кто вы такой? Я на чистоту веду допросъ. Вы меня извините, да сдается мнѣ, что вамъ, вотъ въ эту минуту, хочется поковыряться въ душевной-то требушинѣ. Я какъ на васъ разокъ, другой поглядѣлъ, слышу: такія ученыя степени имѣетъ, и медицины докторъ, и спеціалистъ по химіи, высшую степень и по этой части заполучилъ, работы печаталъ; каѳедру, коли не ошибаюсь, занималъ... одно слово, генералъ отъ положительнаго знанія и разныхъ интеллигентныхъ орденовъ кавалеръ... И что же... нахожу я васъ на какомъ-то перепутьѣ... на перекресткѣ... живете, сдается мнѣ, безъ опредѣленнаго дѣла, безъ званія, какъ добрые люди выражаются, къ студентикамъ на чай ходите, возращаете овощи на головахъ ихъ, отроковицъ легкаго чтенія на путь истинный наставляете... Дѣло это, — кто говоритъ, — не послѣднее; но, сладчайшій, по плечу ли оно вамъ? Имъ можно, между прочимъ, заняться; но не расходовать же на него всѣ свои мозговые капиталы... Поэтому-то я съ такимъ засосомъ и перекидался съ вами аргументами, когда рѣчь зашла объ Соничкѣ. Пущай, молъ, явлюсь я киникомъ въ глазахъ неиспорченнаго юношества, но меня злость разбирала, видя, какъ это вы каждую, съ позволенія сказать, пустяковину въ серьезъ берете!... Вотъ я и сбитъ съ панталыку и не могу къ вамъ настоящаго ярлыка пришпилить.

— А нужно вамъ непремѣнно пришпилить ко всякому ярлыкъ?

— Безпремѣнно! я — практикъ. Для меня загадочныя натуры — статья неподходящая. Давай мнѣ живье, давай мнѣ хомутъ, куда человѣкъ впрягъ себя, а то все у меня расползется, промежъ пальцевъ уйдетъ, какъ слизнякъ какой-нибудь. Такъ-то-съ!..

— Понимаю васъ, докторъ, и сейчасъ же отвѣчу на ваши допросные пункты, — заговорилъ гораздо одушевленнѣе Крутицынъ, откидываясь на спинку дивана. — Вы хотите пришпилить ярлыкъ къ моей личности... Сдѣлать это трудно, быть можетъ, и совсѣмъ невозможно...

— Это отчего?

— Оттого, что званія у меня, въ настоящую минуту, дѣйствительно нѣтъ, и хомутъ на мнѣ, такъ сказать, не обособился; много я ихъ таскалъ на своей выѣ и, весьма вѣроятно, буду еще больше таскать; но ярлыка все-таки на мнѣ нѣтъ... Загадочной натурой назвать меня никоимъ образомъ нельзя... Мнѣ вотъ скоро минетъ тридцать-четыре года, и все время, съ того возраста, какъ я сталъ на ноги, я съ собственной своею личностью нимало не возился. Былъ я долго студентомъ, лѣтъ семь, выбралъ себѣ спеціальность сознательно; но не захотѣлъ ограничиться ею; кромѣ облюбленнаго предмета, работалъ по всѣмъ частямъ точной науки; вотъ почему я, между прочимъ, ношу степень доктора медицины. Потомъ, ѣздилъ не мало по чужимъ землямъ, застраховывалъ себя отъ цеховой учености, не оставался ни на минуту безъ дѣла, печаталъ работы, отдавался изученію разныхъ сторонъ быта, прожигалъ жизнь въ самыхъ разнохарактерныхъ сферахъ, вернулся, получилъ каѳедру, профессорствовалъ, споткнулся о нѣкоторыя зацѣпки, долженъ былъ оставить профессуру, потомъ былъ отвращенъ жизнью же, года на два, на три, въ сторону отъ научнаго труда, потомъ... очутился, какъ вы говорите, на перекресткѣ... беру дѣло, какое представляется... ѣду черезъ недѣлю въ Парижъ, корреспондентомъ и агентомъ по выставкѣ. Вотъ вамъ конспектъ моей, таки довольно сложной, Одиссеи.

Крутицынъ выговорилъ все это неспѣшно, какъ-бы вслушиваясь и повѣряя самого себя; но въ звукѣ голоса было замѣтно внутреннее волненіе. Онъ взглянулъ на

Швецова; тотъ взбудораживалъ свою бородку и переминался, стоя посрединѣ комнаты.

— И все? — вскричалъ онъ.

— Кажется все, кромѣ, разумѣется, подробностей.

— Ну, вотъ видите, генералъ отъ интеллигенціи; сейчасъ же чуетъ нашъ братъ, верхнимъ-то чутьемъ простаго эмпирика, что у вашего сіятельства, несмотря на объективный тонъ, какая-то струна, да надтреснута. Какой, смѣю спросить, годокъ вамъ?

— Тридцать четвертый пошелъ.

— Такъ я и призналъ. Есть осѣдлость? Нѣтъ осѣдлости. Есть семья? Нѣтъ семьи. Есть болото, въ которое увязъ по сіе время? Нѣтъ этакого болота. Что-жь это обозначаетъ въ русскомъ переводѣ? А то, государь мой, что спокойствія нѣтъ, равновѣсіе не найдено, червь, какой шни на есть, заѣдаетъ ваше благоутробіе. Иначе бы все ло, какъ по маслу. Хомутъ былъ бы, потому—къ нашимъ съ вами годамъ ему быть слѣдуетъ. Десять—пятнадцать лѣтъ нельзя промаячить безъ того, чтобъ житейскимъ мхомъ не обрости, чтобы и здѣсь, и тамъ не было привязокъ съ той окрошкой изъ разныхъ человѣчьихъ пожеланій, вожделѣній и лихихъ болѣстей, каковая на элегантномъ нарѣчіи «средою» прозывается. Одно слово, должна быть пуповина, по которой переходитъ въ насъ изъ общаго тѣла должная пласма, утробу нашу питающая...

Швецовъ какъ-то особенно зарычалъ, и потрепалъ себя по животу, кончивши послѣднюю тираду. Крутицынъ не могъ не разсмѣяться.

— Пуповина имѣется, докторъ, безъ пуповины какъ же возможно...

— А почему же она въ здобь нейдетъ, почему червь заѣдаетъ?

— Почему?.. сразу всего не перескажешь.

— А потому, овощей насадитель, что все среду-то желаетъ вашъ братъ по своему передѣлывать, а это — неосновательная забава. Вотъ возьмите вы меня, Григорія Пантелѣева сына Швецова... Я, батенька, тоже рвался бы въ горнюю... Да какъ вышелъ я на распутье съ лекарскимъ свидѣтельствомъ... Кругомъ туземцы, мало чѣмъ отличающіеся отъ папуанцевъ. Другой бы сейчасъ фыркать: вы такіе-сякіе. А я нѣтъ. Я ихъ приласкалъ: цыпъ, цыпъ... Всякое имъ уваженіе и разговоры «по душѣ», что твое мягкотѣліе. Съ купечествомъ да съ мѣщанствомъ пришлось мнѣ возжаться; я рыло свое не токмо что не отвращалъ отъ сихъ обывателей, но оное усиленно къ нимъ обращалъ и всячески ихъ степенныя морды обнюхивалъ и ласкалъ. Прошелъ годикъ, а глядишь— ужь и практика на три тысячи поднялась. Куда ни пойду: батюшка Григорій Пантелѣичъ, наше вамъ почтеніе, и всякая штука. И говорю я моимъ папуанцамъ: не плохое бы дѣло вамъ свою больницу, хоть не мудрящую, завести... Подаются. Умираетъ тутъ старче изъ моихъ паціентовъ, и оставляетъ на устройство больницы кушъ въ пятнадцать тысячъ... Въ одинъ годъ больница сооружена, и лекарь Швецовъ ею орудуетъ; а папуанцы кланяются и благодарятъ. Практика растетъ, въ день двухъ вятокъ заѣзживаю. Только мозги-то продолжаютъ дальше работать. Думаю себѣ: «съ вами тутъ какъ разъ жиромъ обрастешь, и въ свою премудрость возвѣруешь; надо встряхнуться, поработать у нѣмцевъ, шутъ ее совсѣмъ и практику». Задумалъ я это крѣпко, и черезъ полтора года сталъ вести линію. Обывателямъ своимъ говорю: «коли, молъ, вы желаете имѣть у себя заправскаго лекаря, отпустите меня на полтора года докторскій дипломъ въ Москвѣ взять, а потомъ у нѣмцевъ поучиться. На свое мѣсто я вамъ предоставлю товарища, а по возвращеніи опять приму бразды правленія». Они все это ура-

зумѣли, да мнѣ жалованье на все время отпуска и оставили. И выхожу я, нѣкоторымъ образомъ, рѣдкій экземпляръ, ибо на счетъ обывательскій въ наукахъ усовершенствоваться отправляюсь... Такъ вотъ, сладчайшій, какъ можно вести обхожденіе съ тѣмъ, что средой-то прозывается. Какая она ни на есть, съ ней только и жизнь красна. Этакъ вотъ выѣдешь утромъ-то, и чувствуешь, что всякій тебя знаетъ, каждому замухрышкѣ ты нуженъ, всякій песъ къ тебѣ съ своими лихими болѣстями лѣзетъ... А пропади эта житейская окрошка, спади этотъ хомутъ,—ну и засосетъ тебя своя личная блажь!.. Васъ я не хочу этимъ щунять... А сдается мнѣ, что изволили слишкомъ долго на разныхъ головахъ овощи интеллигенціи возращать, и не спохватились, какъ пуповина-то ослабѣла, а то такъ и совсѣмъ надорвалась!..

У Крутицына не было охоты прерывать Швецова; но тотъ самъ остановился закурить папиросу. Закуривши ее, Швецовъ оглядѣлъ, какъ-то сбоку, своего гостя и добродушно расхохотался.

— Кряхтитъ интеллигенція, ха, ха, въ самое естество, значитъ, уязвилъ!..

— Да, уязвилъ... точно. Все это — святая истина, но только съ вашего штандпункта. Есть, однакожь, возможность посмотрѣть на жизнь совсѣмъ иначе. У васъ, какъ я вижу, на первомъ планѣ—личность, воля, планъ, преднамѣренность...

— Еще бы!..

— Вы купаетесь въ этомъ воздухѣ: таковъ вашъ темпераментъ. Безъ личнаго значенія и достиженія цѣлей жизнь для васъ — трава безвкусная...

— Ну, а для кого же, смѣю спросить, она — амброзія, коли подъ ногами нѣтъ почвы, а идемъ мы сами не знаемъ куда?

— Будто бы вы и знаете, куда вы идете?

— А то какъ же? Если кондрашка или другая какая напасть не хватитъ, я вамъ все разскажу, стоя вотъ на семъ мѣстѣ: что со мною въ два года случится. Сказано было: ты поѣдешь въ Москву, сдашь тамъ экзаменъ и защитишь диссертацію. Сдѣлано. Послѣ того сядешь ты въ вагонъ и начнешь колесить по Европѣ, вотъ въ такомъ-то направленіи. Будетъ сдѣлано. Вернешься ты тогда-то. Такъ оно и будетъ. Станешь благодѣтельствовать папуанцамъ и сдирать сильные поборы съ разныхъ анемическихъ Митродоръ Кузьминишнъ, и все это исполнится іота въ іоту, какъ записано въ книгѣ живота! Да какъ же безъ этого-то, сладчайшій? Особливо въ такой странѣ, каково наше любезное отечество? Что же мы будемъ съ буддизмомъ-то, ваше степенство? Сложить калачикомъ ноги, да взирать на радугу: вонъ, молъ, диводивное; миріады водяныхъ пузырьковъ отражаютъ лучи солнечные и ежесекундно лопаются?! Такъ, молъ, и жизнь наша, въ сей земной юдоли, не что иное, какъ разноцвѣтная радуга, изъ лопающихся индивидуальныхъ жизней состоящая...

— Браво, докторъ, образъ прекрасный!...

— Потому-де, — продолжалъ не останавливаясь Швецовъ: — и должны мы отдаться теченію; а о личныхъ побужденіяхъ и соизволеніяхъ своихъ отнюдь не помышлять. Нѣтъ, батюшка!.. Слякоть это, а не міровоззрѣніе, вотъ что я вамъ доложу... Мы всѣ здѣсь, какъ звѣри; грыземся за лишній кусокъ мяса, за клочекъ воздуха, за лужу грязной водицы.

— Борьба за существованіе.

— Да, милѣйшій, безпощадная борьба, и въ ней только и спасенье отъ солитера, который вы, сколько мнѣ сдается, уже вскормили въ вашихъ внутренностяхъ... А вотъ и мой зарайскій обыватель. Побалуемтесь чайкомъ.

Самоваръ произвелъ перерывъ въ бесѣдѣ; но она

опять возобновилась, какъ только Швецовъ поразмягчилъ маленько «свою требушину».

— Я на васъ любуюсь, — сказалъ ему Крутицынъ, глядя на него съ сочувственной улыбкой: — мало я встрѣчалъ въ людяхъ нашей генераціи такихъ цѣльныхъ натуръ... Съ вами становится свѣтлѣе, впереди начинаетъ что-то блестѣть, бляха какая-то: она зоветъ васъ и кричитъ: «съумѣй только попасть въ самую середину, и выскочитъ нумеръ, и съ нимъ ты прощеголяешь весь свой вѣкъ». Да!.. Жить съ такимъ темпераментомъ — завидный удѣлъ. Но не очень ли вы уже мрачно описываете, докторъ, то распутье, на которомъ столькимъ приходится очутиться?.. Человѣкъ безъ хомута, безъ пуповины, въ данную минуту — безполезенъ ли онъ, лишній ли онъ, и въ состояніи ли такой практикъ, какъ вы, опредѣлить свою мощь, годность и реальность?..

— Те-те-те, это, ваше степенство, — антимонія на водѣ. Извѣстное дѣло, съ точки зрѣнія какого-нибудь Вирхова или Клода-Бернара нашъ братъ — практикъ въ ступѣ воду толчетъ. Да не въ этомъ вовсе дѣло. Надо, чтобы толчея работала безъ устали и самогрызенія. А какой для этого критерій? Собственное довольство. Когда песъ радъ тому, что онъ на свѣтъ рожденъ, хвостъ у него и туда и сюда, и кренделемъ изовьется, и въ трубу вытянется, и всякіе финты выдѣлываетъ. Вотъ это норма. А извивается ли онъ, этотъ самый хвостъ, у вашего хоть бы превосходительства?

— Вамъ это лучше видно.

— По-моему, вовсе не извивается, а такъ себѣ шевелится въ минорномъ тонѣ: не то робость, не то смиренномудріе, не то желудочное трясеніе изображая...

Оба разсмѣялись, но тотчасъ же, послѣ смѣха, наступила пауза, и Швецовъ увидалъ на лицѣ гостя весьма явственное выраженіе грусти.

— Мы съ вами, — заговорилъ Крутицынъ: — разно относимся къ личному хотѣнію, потому что оно, какъ я вижу, играло въ жизни каждаго изъ насъ совершенно различную роль... Вы плывете на всѣхъ парусахъ оттого именно, что сильно хотите; а мнѣ бы надо было, во всѣхъ почти случаяхъ, сократить свое хотѣніе...

— Сократить по видимости только, но затѣмъ, чтобъ потомъ всего достичь...

— Обходиться умѣючи съ папуанцами...

— Это первое дѣло. Посему не брезгайте моимъ вамъ совѣтомъ: въ Парижъ съѣздивши, берите вы, батенька, какое ни на есть дѣло, впрягающее въ хомутъ... Профессура, такъ профессура. Уступите средѣ, до-поры до-времени, поладьте во что бы то ни стало, хотя бы съ самыми отъявленными скотами. Они же будутъ передъ вами на заднихъ лапкахъ...

— Эхъ, прервалъ Крутицынъ: — программы легко составлять...

— Безъ всякихъ программъ!.. Есть у васъ порохъ, ну, и будете палить; только зачѣмъ же попусту-то патроны тратить? Такъ-то, милѣйшій... Быть можетъ, вамъ такой разговоръ и не больно по вкусу... Кто знаетъ: что можетъ зашевелиться, когда нутро-то немножко поковыряешь... Я вотъ съ допросныхъ пунктовъ началъ; а вѣдь все еще ярлыка-то къ вамъ не пришпилилъ... Вы нынче не въ ударѣ... Дайте срокъ, мы еще вѣдь увидимся.

— Въ Парижѣ? — спросилъ Крутицынъ.

— Безпремѣнно. Я туда послѣ зимняго семестра; а запоздаю, такъ послѣ осенняго; вѣдь выставка-то, слышно, до сентября протянется?

— Полгода, до октября.

— Ну, значитъ, свидимся. И мягкотѣлію тамъ вдвоемъ операцію произведемъ. То-то, собака, животныя-то свои функціи тамъ распуститъ!.. Покажетъ она вамъ «идей-

ныя начала» въ этомъ, какъ бишь его, балъ-то студенческій!

— Closerie des lilas.

— Ду, да, лиля такая будетъ, что небу жарко!... А вамъ, перво-на-перво, желаю хандроватость свою на составныя части разложить. Вы со мной вотъ, какъ съ эскулапомъ-то, не бесѣдовали. Пожалуй, это желудокъ пошаливаетъ... Катарръ многгрѣшный зимовать остался и выдѣлываетъ разныя колѣнца...

Швецовъ взглянулъ на часы.

— Ну, сладчайшій, я съ вами безъ церемоній... Надо Соничкины коммиссіи исполнить. Ужь вы мнѣ, рабу божью, отпустите мое окаянство. Я, какъ видите, разомъ по двумъ стезямъ веду оную отроковицу. Перчаточками ввожу ее въ храмъ Афродиты, а коховскими лекціями вонзаю въ область гинекологіи!..

На прощаньѣ они обмѣнялись адресами: Крутицынъ далъ парижскій, Швецовъ — берлинскій. Вышли они вмѣстѣ на Тверскую, и вмѣстѣ же спустились по Газетному переулку. Швецовъ побѣжалъ къ Кузнецкому мосту, Крутицынъ взялъ направо.

V.

Тихо двигался Крутицынъ къ себѣ въ «Челыши» по Театральной площади. Бѣлесоватый свѣтъ тусклой, точно молочнымъ чѣмъ подернутой, луны облекалъ всю зимнюю картину сплошнымъ саваномъ. Началъ попархивать снѣжокъ. Четыреугольникъ Театральной площади казался безконечнымъ. Въ глубинѣ, стѣна города сливалась съ бѣ-

лымъ, молодымъ снѣгомъ и раздвигала окраину площади, крыши и главы церквей какъ бы висѣли въ воздухѣ. Чувствовалась оттепель, наступившая вдругъ съ порханіемъ рѣдкихъ снѣжинокъ. Онѣ садились на разгорѣвшіяся щеки Крутицына и щекотали ихъ.

Онъ шелъ и думалъ: какъ непріятно ему будетъ вернуться въ свой «мумеръ», по номенклатурѣ корридорнаго, какимъ одиночествомъ и тупой скукой повѣютъ на него опять эти глупыя, грязныя обои, и пыльныя гардины, и разношерстная мебель: — вся совокупность трактирной обстановки. У Швецова — та же обстановка. И онъ живетъ теперь на чеку и собирается за-границу. Ихъ лѣта почти тѣ же, ихъ нравственныя силы почти одинаковы...

Но... и Крутицынъ запнулся на этомъ «но». То, что онъ разсказалъ Швецову о своей житейской долѣ, было далеко не все. На душѣ лежалъ еще грузъ, который не такъ легко было выгружать даже и передъ хорошимъ человѣкомъ... А Швецовъ всталъ передъ нимъ въ настоящемъ свѣтѣ. Онъ призналъ въ этой *пигментной* натурѣ типъ славнаго русака, себѣ на умѣ, съ самолюбіемъ и даже самодурствомъ, и вмѣстѣ съ тѣмъ искренняго, цѣльнаго, умнаго, тактичнаго. И его цѣльность уязвила Крутицына. Онъ видѣлъ передъ собою живой примѣръ человѣка, у котораго нервы и воображеніе не смѣли брать верхъ надъ смекалкой и главной сутью жизни, какъ онъ ее уразумѣлъ и хотѣлъ устроить вопреки тысячи препятствій. И вспомнилъ онъ славянскій текстъ, приведенный Турусовымъ, вспомнилъ и поправилъ его. Еще не такъ давно попалась ему въ руки книжка какого-то духовнаго журнала. Виньетка изображала странника, стоящаго на колѣняхъ, на пригоркѣ. Вдали городъ со множествомъ церковныхъ главъ, должно быть Іерусалимъ... Внизу — текстъ: «Не имамы здѣ пребывающаго града, а гряду-

щаго взыскуемъ». И тогда текстъ этотъ сразу же врѣзался въ память. Почему? Крутицыну показалось, что въ этихъ мистическихъ словахъ — точно символъ его житейскихъ мытарствъ. «Града» дѣйствительно не было... И вопросъ Швецова звучалъ еще во всей своей реальной рѣзкости: «есть довольство?» Приходилось отвѣчать и на него отрицательно...

— Эхъ, все это — разводы! — почти вслухъ выговорилъ Крутицынъ, и сталъ укладывать бѣлье и платье въ чемоданъ, таки сослужившій ему долгую службу.

Въ полдюжинѣ рубашекъ, въ дюжинѣ платковъ съ кое-какой другой рухлядью, да въ двухъ парахъ платья состояло все его добро... Книги онъ упаковалъ раньше и оставилъ у знакомыхъ. Недолго было уложиться; но укладываніе шло медлительно...

Тоскливый видъ нумера особенно давилъ его. Въ теченіе какихъ-нибудь двухъ-трехъ часовъ онъ только и дѣлалъ, что переходилъ изъ одного «мумера» въ другой. И приходилось сознаться, что въ этихъ темныхъ, пыльныхъ, неприглядныхъ «комнатахъ съ небелью» проходитъ жизнь того, что молодо тѣломъ и духомъ, что стремится, желаетъ, мыслитъ... Какія радости, какія удовлетворенія у всѣхъ этихъ «лучшихъ людей» земли своей? Гдѣ просторъ, гдѣ блескъ, гдѣ приволье и поле яркихъ, охватывающихъ могучею струею, жизненныхъ проявленій?... Сидѣнье на стоптанномъ диванѣ, пріятельскій споръ за грязнымъ самоваромъ, папироска, ломтикъ лимона, интрижка съ какой-нибудь Соничкой, да и то еще про великій праздникъ, купончикъ въ Маломъ Театрѣ, зубренье, погоня за «сладкимъ» трудомъ, глоданье прѣсныхъ и сухихъ корокъ сѣренькаго житьишка, — вотъ общая колея такъ-называемой «интеллигенціи». Одиночество, тѣснота рамокъ, бѣдность впечатлѣній, отсутствіе тѣхъ здоровыхъ щекотаній чувственности, воображенія, крови, молодаго

задора, таланта, безъ которыхъ жизнь дѣлается, на самомъ порогѣ огромной храмины грядущаго, травой безвкусной — вотъ роковой удѣлъ почти всѣхъ тѣхъ, кто начинаетъ жить по своему духовному идеалу и все «взыскуетъ грядущаго града». Даже такіе практики, какъ Швецовъ, тянутъ лямку того же неприглянаго житьишка. Они только ловчѣе обставляютъ глоданье прѣсныхъ и сухихъ корокъ. Они съ остервенѣніемъ «вонзаются» въ хомутъ свой, и навьючиваютъ на себя столько всякой рухляди, сколько не свезти и доброму лошаку. День ихъ раздѣленъ на клѣточки, они заѣзживаютъ двухъ вятокъ на своихъ докторскихъ дрожкахъ, они перещупаютъ пульсы и перекинутся прибаутками съ цѣлой галлереей «папуанцевъ»; завтракъ и обѣдъ проглатываютъ они кое-какъ, полусидя, съ одной ногой, занесенной опять на крыло пролетки... Вечеромъ привезетъ ихъ третья вятка домой; они ложатся на диванъ и полощутъ свою «требушину» въ одеревенѣломъ состояніи... Въ головѣ нѣтъ мысли, въ тѣлѣ энергіи, въ воображеніи свѣтлыхъ образовъ... У лошака послѣ такой пряжки больше аппетита, онъ усерднѣе и вкуснѣе пережевываетъ свой кормъ... А что же у такого доктора Швецова есть дома въ его «atrium», въ его задушевной «святой святыхъ»? Все то же, что и у студента Турусова. Придетъ пріятель, много два, попьютъ чайку съ лимончикомъ, побалакаютъ кое о чемъ, и кончатъ сознаніемъ, что «градъ» хоть и есть, но въ немъ безъ кретинизующей работы лошака человѣку, «взыскующему» чего-нибудь поярче и пошире, не жить... Отнимите вы у того же Швецова его поденщину—онъ изноетъ подъ тяжестью сѣренькаго житья... Пересадите вы его въ столицу, надѣньте такой же хомутъ, и его «atrium» не измѣнится: потянется та же жизнь въ холостыхъ, душныхъ комнатахъ съ табачнымъ дымомъ, грязнымъ самоваромъ, балаканьемъ кое о чемъ и осадкомъ прѣсноты и

одиночества... Потому-то онъ такъ горячо и проповѣдуетъ спасеніе посредствомъ хомута... А казалось бы, какъ легко людямъ съ умомъ, съ свѣжестію помысловъ и сострастій, со вкусомъ и мышечной бодростію создать себѣ другую обстановку: шире, богаче красками, испытаніями, наслажденіями. Вѣдь видно же довольство, видно же удовлетвореніе инстинктовъ и желаній по ту сторону вала, который раздѣлилъ людей на два стана. Тамъ, гдѣ преданіе еще владычествуетъ надъ мозговымъ анализомъ, гдѣ человѣкъ держится за свои родовые и видовые устои, гдѣ онъ нейдетъ дальше того, что нужно для существованія, улегшагося въ типъ, хотя бы доживающій и безсмысленный, тамъ все справляется на міру, тамъ неизвѣстны одиночество и хандра, тамъ, походя, смѣются и радуются, ѣдятъ со вкусомъ, пьютъ съ трескомъ, женятся, наживаютъ и проживаютъ капиталы, толкаются промежь себя въ раззолоченныхъ залахъ и нарядныхъ гуляньяхъ, умѣютъ каждый инстинктъ свой облечь въ благородную форму и ловко обдѣлывать свои дѣлишки, расширяя «районъ своей эксплуатаціи», и ежесекундно срывая «цвѣты удовольствія»... И если въ этомъ бытовомъ стану говорятъ иногда скукѣ и сплинѣ, о потерѣ вкуса къ жизни, то такіе припадки — желудочнаго происхожденія, или повтореніе задовъ, запоздалое интересничанье... Скука этихъ людей вовсе не исходъ внутренняго горѣнія мысли, назойливыхъ, страстныхъ стремленій. Это — «спорадическіе симптомы», какъ выражаются медики. Это — временное неудовлетвореніе прочныхъ, неустанныхъ позывовъ. Въ данную минуту аппетитъ не утоленъ... Но средствъ къ утоленію такъ много у бытовыхъ людей. Скучновато здѣсь вотъ, въ этой столицѣ, кончился или не задался сезонъ, мало приманокъ, новости и скандалы блѣдны, уѣхала Патти, женщины не щеголяютъ тѣломъ, или многія носятъ трауръ, вонъ! — вагонъ мчитъ въ другую столицу, или въ Мо-

нако, или въ Баденъ, или въ Трувиль... Да и на одномъ мѣстѣ такъ нетрудно обжиться: и весна, и лѣто, и осень, и зима полны ежедневныхъ позывовъ пріятнаго свойства, а собственная органическая машина требуетъ такого старательнаго ухода, когда хочешь содержать ее въ порядкѣ, что хандрѣ никакъ нельзя забраться и производить опустошенія подъ костянымъ сводомъ черепа. Стоитъ только отдаваться теченію общей жизни того рода или вида, къ которому принадлежишь... И каждый отдѣльный экземпляръ, даже не изъ самыхъ отборныхъ, безъ запинки отвѣтитъ на рядъ инквизиторскихъ вопросовъ доктора Швецова:

— Есть осѣдлость?

— Есть.

— Есть семья?

— Есть.

— Есть «московская селянка», именуемая средою?

— Есть.

— Хвостъ завивается кренделемъ?

— Завивается.

А по сю сторону общественнаго вала тянется сѣренькое житьишко «мумеровъ» и «комнатъ съ небелью», и ихъ обитатели, точно по заказу, гложутъ куски того, что псалмопѣвецъ называлъ когда-то «хлѣбомъ сокрушенія».

Кого идея задѣла хоть однимъ кончикомъ своего лучезарнаго хвоста, тотъ простись съ равновѣсіемъ, у того житейскій чемоданъ запроситъ все новой и новой клади, а ея не хватитъ, пожалуй, и на первую станцію. И сдобная фигура студента Турусова предстала передъ Крутицынымъ. Кому бы еще не жить въ свое удовольствіе, какъ не этому волжскому пареньку? Но онъ вырвался изъ пеленокъ быта, онъ вкусилъ «идейныхъ началъ», его тянетъ и туда и сюда. Теперь еще жиръ смазываетъ ему органическую машину; но пройдетъ два—три года, жиръ этотъ

улетучится отъ неустаннаго жара внутренней работы, если только онъ, въ самомъ дѣлѣ, отдастъ свой мозгъ въ крѣпостную зависимость взыскуемымъ имъ «идейнымъ началамъ». И сравните его тогда какъ-нибудь, яркимъ морознымъ полднемъ, на Невскомъ, съ молодымъ «самцомъ» его же лѣтъ изъ того стана, что по ту сторону общественнаго вала. Взгляните на эти румяныя щеки, на ухарскую посадку, на развитіе мышцъ, на ясность выраженія глазъ, на непробудное довольство, живописующееся на крупныхъ, яркихъ губахъ. Все блеститъ на немъ: и фуражка съ краснымъ околышемъ, и погоны, и палашъ, а превыше всего: душевное спокойствіе, гармонія всѣхъ отправленій, точность и опредѣленность позывовъ и цѣлей. Онъ идеалъ, ибо онъ типъ. Въ немъ сказывается пластическое изящество, всегда неразлучное съ безъидейностью. Всмотритесь въ вѣчные мраморы Эллады и Рима: въ Милосскую Венеру, въ Юнону на виллѣ Людовизи, въ версальскую Діану, въ Аполлона, въ Антиноя, развѣ ихъ лица думаютъ о чемъ-нибудь? Ни о чемъ! Да имъ и не объ чемъ думать... Они затѣмъ выходили изъ-подъ рѣзца бытоваго ваятеля. Стоятъ они безмятежно-прекрасные передъ мятущимися дѣтьми нашей эпохи и говорятъ имъ: «Смотрите на насъ, мы проявляемъ культъ прекраснаго тѣла. Мы всѣ въ линіяхъ и формахъ, и больше никакихъ откровеній отъ насъ не ждите». Не трудили свои мозги и тѣ атлеты, что служили натурщиками Фидіасу. Они доводили свое тѣло до высочайшаго идеала и нимало не горевали о томъ, что рабы должны были обливать землю потомъ, въ то время, какъ они вкушали свою растительную эллинскую жизнь: «молодые люди одного околодка, идя къ учителю музыки, двигались по улицамъ нагіе и въ добромъ порядкѣ, хотя бы снѣгъ падалъ, какъ мука сквозь сито; придя они садились разставивъ ноги, и ихъ учили пѣть гимны...»

Такъ хвалитъ у Аристофана защитникъ древне-эллинскаго быта выправку идеальныхъ самцовъ съ богоподобными формами... Румяный молодецъ Невскаго пониже расой, похуже выправкой, неизмѣримо грубѣе формами и линіями; но и онъ знаменуетъ собою культъ изящнаго тѣла и вся его жизнь вставлена въ прочныя рамки; упражненія, обязанности, желанія, аппетиты, радости, все идетъ неспѣшной чередой, ничто не переступаетъ предѣла достижимаго, ничто не дастъ мукъ Тантала, не поднесетъ чаши съ цикутой за слишкомъ смѣлый умственный порывъ... А рядомъ съ этимъ мирно-воинскимъ типомъ стоитъ другой, тамъ на британскомъ островѣ. Видите вы эту вереницу джентльменовъ въ Гайдъ-Паркѣ, или на Эпсомскихъ скачкахъ? Посмотрите, какъ полно, выпукло, отчетливо сложился этотъ видовой типъ, какъ въ немъ все дышетъ долгимъ и неустаннымъ уходомъ за расой... Сколько мяса потребилось рядомъ поколѣній, сложившихся въ скульптурное цѣлое, сколько даровыхъ капиталовъ и безпробудной китайщины пошло на выработку этихъ выточенныхъ подбородковъ, этихъ значительныхъ носовъ, этихъ большихъ безмятежныхъ глазъ, этихъ благородныхъ усмѣшекъ, этой патентованной мускулатуры, этой полированной кожи... Тутъ все — «first rate», все носитъ на себѣ клеймо и штемпель высокой вещественной культуры... И какое выполненіе мельчайшихъ признаковъ видоваго типа и бытія! У каждаго джентльмена одинъ и тотъ же пошибъ лица, тѣ же бакенбарды, тотъ же проборъ, тѣ же надломленные воротнички, та же сѣрая шляпа, тотъ же зеленый зонтикъ... И вся масса джентльменовъ, въ данный моментъ, преисполняется однимъ и тѣмъ же инстинктомъ... Вотъ скачетъ кровная кобыла «Franchise» или «Prosecution». Вся масса джентльменовъ начинаетъ вопить, прискакивать, махать платками, наконецъ рычать:

— Prosecution! Prosecution!

И потомъ, какъ только лошадиная морда, принадлежащая «Prosecution» или «Franchise», оставила позади себя скаковой столбъ, порывъ стихаетъ, «respectability» овладѣваетъ бытовымъ міромъ, джентльменъ опоражниваетъ свои карманы и если совсѣмъ, то, вернувшись домой, пускаетъ себѣ пулю въ ротъ... а видъ продолжаетъ жить, слѣдуя законамъ своего растительнаго типа...

«Да, — рѣшилъ Крутицынъ, — мягкотѣлый Турусовъ черезъ три—четыре года, поставленный рядомъ съ молодцомъ Невскаго или джентльменовъ Эпсомскихъ скачекъ, будетъ изображать собой мерзость запустѣнія».

Дума Крутицына повела его и еще дальше. Онъ не любилъ перебирать свою собственную жизнь, считая это пустымъ нервничаньемъ; но тутъ мысли его начали вращаться съ особой назойливостью вокругъ того вопроса, который такъ безпричинно и часто всплываетъ въ сознаніи людей, знакомыхъ съ душевной борьбой...

Идти ли дальше? Стоитъ ли, полно, тормошиться? На что еще надѣяться? И веснусчатая рожа доктора Швецова точно выплыла изъ полусвѣта скучнаго нумера и точно кричала ему, показывая свои широкіе, бѣлые зубы:

— Надѣвай хомутъ, безъ него нѣтъ спасенья! Возись съ папуанцами! Пріобрѣтай осѣдлость!..

Крутицынъ присѣлъ къ столу и не могъ сдержать наплыва ѣдкой тоски, которую онъ считалъ, хоть и не совсѣмъ искренно, припадками чисто-матеріальнаго свойства. И съ нервической усмѣшкой отыскалъ онъ въ своемъ прошедшемъ одну страницу, подходящую къ настроенію этой минуты... Когда онъ впервые взялъ въ руки дантовъ «Адъ», онъ цѣлый день сидѣлъ надъ трехстишіемъ, которое десятки и сотни комментаторовъ тол-

ковали и толкуютъ по-своему и все-таки безрезультатно. Стихи врѣзались въ память Крутицына:

„O voi, ch'avete gl'intelletti sani,
„Mirate la dottrina che s'asconde
„Sotto'l velame delli versi strani."

Поломавши голову, Крутицынъ сильно разсердился на творца «Божественной комедіи».

— Чортъ тебя знаетъ! — вскричалъ онъ тогда: — что ты за доктрину хотѣлъ прикрыть твоими «странными стихами»? Вотъ у меня и здоровый интеллектъ, да я ничего не могу разобрать! Да и зачѣмъ намъ доктрина, которую нужно облекать въ чертовщину?.. Толку въ ней не можетъ быть никакого!..

И теперь, вспомнивъ этотъ молодой юмористическій задоръ, Крутицынъ прибавилъ.

«Да, полно вся-то наша земная юдоль — не это ли трехстишіе Данта? Написано на ней, что подъ вычурными разводами хранится нѣкая истина, которую довлѣетъ уразумѣть. Ну, и толчемся мы, и потѣемъ, и скрежещемъ зубами, и мечемся, придумывая комментаріи на то, что называется жизнью... А ядра-то въ ней, быть можетъ, и нѣтъ, а такъ, сами мы выдумали нѣкій сокровенный смыслъ!

— Что за чушь! — громко выговорилъ Крутицынъ и даже взялся за пульсъ.

Ему стало совѣстно. Онъ не могъ объяснить себѣ, какъ-это ему, съ его міровоззрѣніемъ, могло придти въ голову что-либо подобное... Онъ поторопился раздѣться и лечь... Но заснулъ онъ только во второмъ часу.

Не стоялъ ли онъ на рубежѣ двухъ жизненныхъ итоговъ: того, когда наступаетъ безразличіе передъ всѣми ударами судьбы, великими и малыми дѣлами человѣчества, страдательное отбываніе своего единичнаго бытія,

приниженное повтореніе задовъ, безъ всякаго порыва и новой попытки, или же того, когда страждущій духъ надломленъ, когда живительный нервъ разбитъ и нѣтъ ни охоты жить, ни силъ предаваться чему-либо кромѣ всепоглощающаго горя, когда изъ груди вылетаетъ, полный трагической жалости и ужаса, крикъ:

«. . . . . Farewell!»
«Othello's occupation's gone?»

Мы это увидимъ.

VI.

Утро задалось очень морозное. Крутицынъ чувствовалъ себя не совсѣмъ хорошо: голова отяжелѣла, по спинѣ пробѣгала дрожь. Но ѣхать ему надо было. Онъ, противъ своего обыкновенія, взялъ билетъ въ первомъ классѣ, чтобы сидѣть въ тепломъ вагонѣ.

Купивши два нумера газеты, онъ размѣстился на диванѣ одного изъ отдѣленій вагона, подальше отъ печки: отъ нея шелъ сухой, непріятный жаръ. — Вслѣдъ за нимъ показался въ дверяхъ высокій, благообразный пожилой купецъ въ богатой ильковой шубѣ. Крутицынъ, вглянувши на него, проговорилъ про себя:

«Какой типичный византіецъ».

Купецъ, войдя, перекрестился большимъ крестомъ, двуперстнымъ сложеніемъ. Сѣлъ онъ рядомъ съ Крутицынымъ, отдавши ему легкій поклонъ, наклоненіемъ головы. Изъ-подъ шубы видно было нѣмецкое платье, степеннаго покроя. Только-что онъ запахнулся, доставши платокъ,

вошелъ молодой паренекъ, такого же типа, въ такой же богатой ильковой шубѣ, только поменьше ростомъ. И онъ остановился на порогѣ, оглянувъ вагонъ скорымъ боковымъ взглядомъ и перекрестился такимъ же двуперстнымъ большимъ крестомъ. Онъ сѣлъ противъ перваго.

Крутицына заинтересовала эта пара.

— Не угодно-ли? — сказалъ онъ пожилому купцу, подавая ему одну изъ своихъ газетъ.

— Благодарствуйте... Только я безъ очковъ-то плохо сталъ читать, да и качка на этой дорогѣ большая...

Говорилъ онъ по-московски, пріятнымъ теноромъ, съ интонаціей болѣе чѣмъ грамотнаго человѣка, даже съ какой-то тонкостью.

— А что же есть хорошенькаго? — спросилъ онъ, помолчавъ, Крутицына.

— Да вотъ очень неглупая статья объ нашей кяхтинской торговлѣ.

Купецъ подсѣлъ ближе. Степенное лицо его улыбнулось... Въ эту минуту поѣздъ двинулся, и когда шумъ вошелъ въ свой ровный, однообразный ритмъ, разговоръ опять завязался.

— И что же-съ такое пишутъ? — спросилъ купецъ.

— Генералы наши департаментскіе обличаются... Очень они, какъ видно, прытки по части реформъ, не спросившись: что отъ этихъ реформъ станетъ и какія отрасли промышленности совсѣмъ сгинутъ.

И пожилой и молодой переиекъ навострили уши. Оба все больше и больше улыбались.

— Вотъ и разсказывается тутъ, — продолжалъ имъ передавать Крутицынъ: — что его превосходительство...

— Ужь не Александромъ ли Иванычемъ прозывается? — перебилъ молодой.

— Да кажется такъ... вотъ стоятъ буквы А. И.

— Такъ, такъ, — промолвилъ пожилой, поглаживая свою слегка подернувшуюся сѣдиной, небольшую бороду.

— А вы его знаете?

— Какъ не знать-съ.

Сказано это было не безъ ироніи. Молодой даже осклабился.

— Его превосходительство обозрѣвалъ фабрики и посѣтилъ фабрику нѣкоего Алексѣя Аввакумовича Купоросова... Въ одномъ изъ отдѣленій видитъ онъ чуть не цѣлую сотню пустыхъ станковъ — безъ работы стоятъ. «Что же это они такъ стоятъ?» спрашиваетъ его превосходительство. А хозяинъ и отвѣчаетъ ему: «что, молъ, на этихъ станкахъ плисъ ткали, а теперь дѣлъ съ китайцами не имѣется мѣновыхъ и сразу-де потерянъ былъ капиталъ не въ одну сотню тысячъ съ прекращеніемъ производства». Генералъ сейчасъ же распоряжается: «ну, такъ вы миткаль на этихъ станкахъ тките!» на что ему Алексѣй Аввакумовичъ отвѣтилъ, что, «такъ, по щучьему велѣнью изъ плиса миткаля не выдѣлаешь!»

По мѣрѣ того, какъ Крутицынъ передавалъ содержаніе статьи, лица обоихъ купцовъ все оживлялись.

— Такъ все это и написано-съ? — спросилъ осклабляясь паренекъ.

— Да вотъ, какъ я вамъ передавалъ, — отвѣтилъ Крутицынъ и, обращаясь къ пожилому, прибавилъ: — вамъ, вѣроятно, извѣстенъ этотъ фактъ?

Съ умной усмѣшкой откашлялся тотъ и проговорилъ:

— Все это вѣрно отъ перваго слова до послѣдняго.

— Да?

— Такъ точно. Господа журналисты, иной разъ, кое-что и прикрасятъ, а тутъ все, какъ оно было. Генералы-то наши оченно ужь прытки. По книжкамъ-то выходитъ прекрасно, кто говоритъ, свободная торговля, и

все такое, да надо же и нашему брату дать возможность изъ плиса-то канифасъ выкраивать...

— Вы, быть можетъ, и знакомы съ этимъ Алексѣемъ Аввакумычемъ?

— Да ужь если позволите отрекомендоваться: я самый и есть Алексѣй Аввакумычъ...

Крутицынъ разсмѣялся — и протянулъ ему руку.

— Очень радъ съ вами познакомиться, Алексѣй Аввакумычъ. Я объ васъ много наслышанъ...

И въ самомъ дѣлѣ: объ этомъ московскомъ тузѣ онъ не разъ слыхалъ разныя подробности, и въ Москвѣ, и въ провинціи.

Алексѣй Аввакумовичъ представилъ ему паренька, который оказался его племянникомъ. Большой словоохотливости онъ не заявилъ; но говорилъ благосклонно, внимательно, тономъ почти свѣтскаго человѣка, несмотря на свое «древлее благочестіе».

— Вы держите въ рукакъ десятки тысячъ народа,— сказалъ ему Крутицынъ: — и представляете собою всемогущество капитала...

Алексѣй Аввакумовичъ обошелъ этотъ щекотливый пунктъ; но на болѣе фактическіе вопросы Крутицына далъ обстоятельные отвѣты: о происхожденіи фирмы, о положеніи промысла, гдѣ онъ самъ называлъ себя «не изъ послѣднихъ». Въ длинныя разсужденія онъ не пускался, но не скрывалъ своихъ желаній по части покровительственной системы, и все это въ крайне мягкихъ оборотахъ...

«Шельма трехпробная!» подумалъ Крутицынъ и добавилъ: «надо бы сюда Швецова, вотъ онъ закрутилъ бы ему хвостъ».

Рѣчь шла о парижской выставкѣ. Крутицынъ сказалъ, что ѣдетъ агентомъ одного химическаго завода и корреспондентомъ газеты. Алексѣй Аввакумовичъ позволилъ себѣ

тутъ освѣдомиться о занятіяхъ Крутицына. Онъ увидалъ, что имѣетъ дѣло съ человѣкомъ теоретическимъ, но не чуждымъ общихъ вопросовъ крупной промышленности. Вообще бесѣда шла у нихъ очень складно, и Крутицынъ не чувствовалъ никакой неловкости съ этимъ «папуанцемъ».

На четвертой или пятой станціи Алексѣй Аввакумовичъ всталъ и началъ собираться.

— Вы уже пріѣхали? — спросилъ Крутицынъ.

— Тутъ мое угодьишко, — проговорилъ, кротко улыбаясь, тузъ... — Въ Парижъ-то и я, Богъ дастъ, угожу лѣтомъ, такъ, послѣ Петрова-дня... Душевно радъ знакомству, въ Москву когда еще завернете, милости прошу...

И онъ пожалъ крупной бѣлой рукой руку Крутицына съ почтительнымъ поклономъ. Паренекъ встряхнулъ волосами, надѣлъ соболью шапку и выговорилъ:

— Мое высокопочитаніе...

Оба опять истово перекрестились передъ выходомъ изъ вагона.

Эта встрѣча оживила Крутицына. Бытовая фигура Алексѣя Аввакумовича перенесла его въ тотъ міръ, съ которымъ ему никогда не приводилось хорошенько познакомиться. Экземпляръ былъ первосортный. И какъ онъ дышалъ спокойствіемъ и равновѣсіемъ!.. Отъ благообразной бороды до двуперстнаго креста все на фабричномъ тузѣ говорило: я крѣпко сижу на моей почвѣ и ничто не нарушитъ той формы, въ какую меня вылили. И достоинство, и тактъ, и изящество, и всеобъемлющее «себѣ на умѣ» были въ этомъ воротилѣ, и до всего этого онъ, конечно, дошелъ самоучкой, на мѣдныя деньги...

«Чего же мнѣ лучше?» перебиралъ въ головѣ своей Крутицынъ, покачиваясь на диванѣ: «какого же болѣе прямаго сближенія съ такими Алексѣями Аввакумычами, какъ не на выставкѣ? Ихъ, навѣрно, притащится не мало. Вѣдь они — цари капитала. Подъ ихъ лапой трещатъ

цѣлыя населенія. Сколько можно дѣла надѣлать, если умѣючи «обнюхивать ихъ морды», слѣдуя пріемамъ доктора Швецова. Съумѣй поладить, покалякай съ ними, напейся чайку, пригодись ему твоей наукой, и вей изъ него веревки; онъ тебѣ и больницы, и банки, и школы для рабочихъ заведетъ, и сдѣлаетъ ихъ, пожалуй, участниками эксплуатаціи...»

Поѣздка въ Парижъ стала принимать въ глазахъ Крутицына иные размѣры. То, что онъ взялъ какъ первый попавшійся заработокъ, какъ кусокъ хлѣба, могло сдѣлаться преддверіемъ къ пріобрѣтенію осѣдлости, хорошимъ прочнымъ «хомутомъ». Почему же и не примѣнить иначе своихъ большихъ теоретическихъ познаній? Профессура не задалась... Чистая наука требуетъ ухода за собственною личностью, обезпеченности, средствъ, хорошую лабораторію, богатую библіотеку. Не предвидится всего этого безъ новой возни, гдѣ вовсе не такъ легко ладить съ папуанцами, какъ увѣряетъ Швецовъ, — ну, и по боку чистую науку!.. Мыло варить, селитру, древесный уксусъ, стеариновыя свѣчи мастерить... мало ли что... Алексѣевъ Аввакумовичей — за бока и войдти плотью и кровью въ цѣлый міръ народнаго труда, гдѣ все тотъ же мужичекъ кряхтитъ и потѣетъ и, мѣняя свою избу съ кустарнымъ промысломъ на душную фабричную камеру, на атмосферу паровиковъ и котловъ, съ каждымъ лишнимъ рублемъ обзаводится пьянствомъ, ерничествомъ, болѣзнями, бездушіемъ и кончаетъ, сплошь да рядомъ, тѣмъ же маразмомъ пролетарія, какъ и углекопъ въ бассейнѣ Шарлеруа, какъ и оборванецъ лондонскихъ доковъ... Не прямое ли призваніе людей, прошедшихъ долгій искусъ положительной науки, извѣдавшихъ, что такое поденный трудъ и тягость безысходной поденщины, стать между пузатымъ капиталомъ и его батраками, протянуть руку этимъ батракамъ, указать имъ на способы и пути, какъ сплотиться между собою,

какъ поскорѣй и подешевле исправить свое производство, какъ обзавестись желанными гарантіями, какъ добыть въ свои руки альфу и омегу коллективнаго труда — орудія. А пузатый капиталъ надо побороть интеллигенціей, соскоблить съ него кору вѣковаго себялюбія, указать ему на возможность быть человѣчнѣе, не разставаясь съ своей любезной мошной, растолковать ему выгоду лада и соглашенія съ рабочими, опасность барышничества, кулачества и жидоморства, чреватыхъ всѣми ехиднами ожесточенной борьбы труда съ капиталомъ... Въ такой задачѣ — цѣлое море плодотворныхъ начинаній; въ ней и страждущій духъ найдетъ живительное врачеваніе... И если не установится осѣдлость, потому что частный трудъ — почва зыбкая, то хомутъ-то ужь навѣрно плотно сядетъ на плечахъ. Будутъ мѣняться патроны, заведенія, фабрики, жалованье, мѣстности; но останется все та же цѣль, все тотъ же дорогой объектъ: — темный, согнувшій выю человѣкъ, прикованный роковою цѣпью къ поденному труду...

А чистая наука?...

Подъ шумъ и укачиванье поѣзда, Крутицынъ впалъ въ полудремоту, продолжая думать все на ту же тему... Вотъ онъ студентомъ стоитъ у своего окна и подогрѣваетъ спиртовой лампой реторту, гдѣ бурая масса пыжится и потрескиваетъ; а къ горбу реторты собираются ярко-малиновыя капли и мелкіе кристаллики... Онъ съ усиленнымъ вниманіемъ неофита слѣдитъ за простымъ процессомъ перегонки. — Смеркается. Лабораторія — тѣсная, грязноватая, темная кухня, не такая, какія заведены нынче, съ мраморными досками и газовыми аппаратами... Въ углу, за большой изразцовой печкой храпитъ сторожъ Вавило, держа въ рукахъ бутыль и полотенце. Гдѣ-то, старый кранъ капаетъ мелкими, но звучными каплями на деревянный столъ... Гдѣ-то, должно быть, подъ печуркой, скребется мышь. Въ паровой ваннѣ слегка вздраги-

ваетъ большая чашка, и отъ нея доносится до Крутицына какой-то вяжущій и сладковатый запахъ. Какъ ему хорошо въ этой лабораторной тишинѣ!... Съ какимъ умиленіемъ глядитъ онъ на свой старый вицмундиръ, весь покрытый, по обшлагамъ, красными пятнами, выѣденными кислотой... Посмотритъ онъ внутрь реторты, поправитъ фитиль, пододвинетъ сальную свѣчу къ развернутой толстой книгѣ, прочтетъ нѣсколько строкъ и опять къ ретортѣ... То ему кажется, что сквозь пузырь, связывающій реторту съ колбою, проходитъ улетучивающееся вещество; то сдается ему, что охлажденіе недостаточно, что весь аппаратъ стоитъ криво-накосо... Но вотъ онъ успокоивается. Перегонка идетъ прекрасно, все налажено, выходитъ такъ, какъ значится въ толстой книгѣ Либиховскаго «Jahresbericht'а»; онъ облокачивается на подоконникъ и говоритъ про себя почти вслухъ:

«Можетъ-ли быть что выше науки — химіи? Наука-наукъ! Проникать въ сокровенный составъ тѣлъ, объяснять сложеніе всей вселенной, распутывать причинную связь каждой былинки и изъ милліона былинокъ создавать цѣлое мірозданіе! Что же не сводится къ химіи? Все! Кора земная и ея судьбы — химія. Жизнь растеній — химія. Человѣкъ со всѣми его отправленіями — химія... Ей отдамся я, какъ верховному знанію, и въ ней найду отвѣты на всѣ тайны бытія!»

И какъ онъ негодуетъ на «жизненную силу» старыхъ филистеровъ. Въ немъ живетъ вѣра, что съ ретортой и нужными элементами онъ вамъ состряпаетъ человѣческій организмъ; homunculus вылѣзетъ у него изъ колбы совсѣмъ готовый.

Но пока изготовленъ будетъ homunculus, онъ радуется и на эту темномалиновую жидкость, которую бережно выливаетъ изъ колбы въ фарфоровую чашечку и такъ же бережно ставитъ на круглое отверстіе паровой

ванны, страстно желая, чтобы завтра утромъ красовались крупные многогранные кристаллы... Лампа затушена. Вавило все храпитъ. Но надо его разбудить и собираться домой... Крутицынъ убираетъ аппараты, чиститъ склянки и цѣдилки, ставитъ все это въ порядокъ на свое окно. Уходить ему не хочется. Онъ открываетъ ящикъ, кладетъ туда толстый «Jahresbericht» и вынимаетъ другую книгу, въ сѣрой оберткѣ, сильно зачитанную... Это — почти запретный плодъ... Въ аудиторіи у нѣмца профессора царитъ еще старая систематика, «либиховщина», какъ выражается въ сердцахъ Крутицынъ; а сѣрая зачитанная книга — евангеліе новаго ученія. Любовно смотритъ Крутицынъ на имя автора. Книгу выписалъ онъ изъ Парижа раньше профессора и не показывалъ ему. Это — «Метода» Лорана... Сколько разъ перечелъ Крутицынъ предисловіе Біо и статью «Revue des deux mondes», гдѣ разсказывалась горькая доля того, кто двинулъ химію по плодоносному пути... Ему такъ живо представлялся этотъ Лоранъ, забитый, больной, отталкиваемый цѣховыми учеными, безъ каѳедры, безъ работы, почти безъ куска хлѣба, *безъ лабораторіи!* — съ ужасомъ и негодованіемъ повторялъ Крутицынъ... И круглая рожа Берцеліуса видѣлась ему, генерала-Берцеліуса, издѣвающагося сквернымъ французскимъ языкомъ надъ бреднями и глупостями француза теоретика, и двоедушно одобряющее, высокомѣрное обличье сенатора-Дюма видѣлось ему, Дюма, преисполненнаго тупой ученой гордыни и преданности дѣлу 2-го декабря, и весь синклитъ нѣмцевъ, съ Либихомъ во главѣ видѣлся ему, синклитъ, со скрежетомъ зубовнымъ накидывающійся на французика, посмѣвшаго выступить съ идеями и построеніями, отъ которыхъ валились, какъ гнилыя щепки, ихъ полудѣтскія клѣточки и дѣленьица!.. Вотъ и тотъ чуланчикъ, гдѣ Лоранъ, въ тѣснотѣ и скудости, сердечными приношеніями горсти молодыхъ учени-

ковъ, устроилъ кое-какую аудиторьишку и развивалъ свои «бредни» и «глупости». Изъ этого чуланчика вышли Жерары и Зинины, Вюрцы и Бертело, на идеяхъ этого чуланчика воспитались Вилльямсоны и Наке, Бутлеровы и Менделѣевы... И слезы жалости и надсады навертывались на глазахъ студента, склоняющаго свою горячую голову надъ зачитаннымъ евангеліемъ, возгласившимъ революцію въ наукѣ, которая казалась ему мудростью боговъ... Чистая, нетлѣнная, безплотная, незыблемая теорія манила его къ себѣ. Ея высоты блистали въ его воображеніи чѣмъ-то лучезарнымъ, захватывающимъ духъ отъ полноты умственнаго удовлетворенія... Все прикладное: техника, медицина, фармація казались такой жалкой пустяковиной, такимъ мѣщанствомъ знанія, гнилымъ диллетантизмомъ, почти кощунствомъ... И съ какою жалостью смотрѣлъ Крутицынъ на студентовъ фармаціи, приходившихъ въ лабораторіи производить анализы... Онъ не понималъ тогда возможности что-либо любить, кромѣ чистой науки, чему-либо иному отдавать свои думы и упованія, на что-либо иное удѣлить хоть полчаса времени...

Сальный огарокъ догараетъ, Вавило всхрапываетъ и просыпается, надо идти домой. Любовнымъ взглядомъ окидываетъ Крутицынъ грязную кухню и еще разъ подходитъ къ чашечкѣ, гдѣ выпаривается темно-малиновая жидкость.

— Вещи прикажете? — пробасилъ кто-то надъ ухомъ Крутицына.

Онъ очнулся.

— Пріѣхали? — спросилъ онъ у багажнаго служителя.

— Пріѣхали-съ. Багажъ имѣете?

Онъ отдалъ ему билетъ и вышелъ на платформу, безъ навѣса. Ночной морозъ немножко смякъ; но охватилъ его-таки послѣ душнаго вагона.

— Батюшка! Александръ Павлычъ, здѣсь я, пожалуйте!

Крутицынъ оглянулся и разглядѣлъ въ толпѣ, припертой къ барьеру, фигуру въ шинели съ волчьимъ воротникомъ и картузѣ съ наушниками.

— Евстигней! — радостно крикнулъ Крутицынъ.

— Онъ, онъ самый! лошадка здѣсь, барыня прислали... Я думалъ, не случилось ли чего... Опоздалъ, вѣдь, поѣздъ... Да вы пожалуйте въ вокзалъ... Я живымъ манеромъ. Багажъ-то...

— Я ужь распорядился, не тормошись... Иди на крыльцо.

— Батюшка! Радость-то какая! Сподобились мои глазыньки!..

Конца Крутицынъ уже не разслыхалъ. Волчій воротникъ потѣснили къ двери. На подъѣздѣ Евстигнѣй подбѣжалъ къ Крутицыну. Сѣдая, плотно обстриженная голова обнажилась. Старое, умиленное лицо хотѣло сначала приблизиться къ губамъ Крутицына; но потомъ тотчасъ же поворотило къ плечику.

Крутицынъ взялъ его за плечи и поцѣловалъ въ обѣ щеки.

— Здравствуй, старый, все еще попрыгиваешь?

— Прыгаю, батюшка, прыгаю...

И голосъ его дрогнулъ отъ худо сдерживаемыхъ слезъ.

— Здорова тетенька?

— Слава Богу... чай какъ заждались... цѣлыхъ вѣдь двадцать минутъ опоздалъ поѣздъ... А вотъ и чемоданчикъ вашъ... все тотъ же... Сюда, малый, сюда — Ѳедотовскія сани кричи!

Старикъ не зналъ, что ему нести, и хваталъ все маленькій сакъ, бывшій въ рукахъ Крутицына.

Сѣли они въ пошевни.

— Новый кучеръ-то, — шепнулъ Евстигней: — всего недѣлю живетъ...

Отъ радости онъ не зналъ, съ чего начать разговоръ. Все ему хотѣлось сѣсть на облучекъ, и онъ смертельно ежился, повторяя:

— Ножки-то укутать бы, вотъ полостью-то, хорошенько.

Пошевни покатились подъ горку бойкой рысцой. Яркая, совсѣмъ серебряная луна озарила передъ Крутицынымъ знакомыя красоты зимнихъ ночей. Они спустились на рѣку. Направо, крутымъ взъемомъ, шелъ нагорный берегъ. На выдающихся пригоркахъ снѣгъ блестѣлъ и даже алѣлъ подъ лучами мѣсяца. А тамъ, совсѣмъ на верху, виднѣлась круглая башня Кремля, такая же бѣлая и ускользающая въ глубь блѣдноголубаго неба. Полотно рѣки разстилалось необъятно и темнѣло изсиня по окраинамъ полыней. Весело мелькали елки, наставленныя вдоль дороги. Не слышно было гулу съ набережной. Только какой-то особый, непримѣтный, но немолчный приливъ и отливъ отдаленныхъ звуковъ говорилъ про что-то живое, среди этого ледянаго моря, вокругъ этой застывшей на долгіе мѣсяцы, недвижной водяной красавицы, дождавшейся своего алмазнаго убора...

VII.

— Саша! голубчикъ!

— Тетушка! дорогая моя!..

Крутицынъ обнималъ женщину лѣтъ за пятьдесятъ, безъ чепца, въ темномъ капотѣ съ пелеринкой. Волосы, съ легкой просѣдью, были плотно приглажены на высо-

комъ лбу. Лицо отцвѣло уже, но хранило еще слѣды пріятности, сразу говорящей о неистощимомъ запасѣ доброты. Каріе, небольшіе глаза, окруженные мелкими морщинками, разглядывали съ любовью каждую черту Крутицына.

Встрѣча и первые отрывочные вопросы произошли въ передней, такъ жарко натопленной, что Крутицынъ почувствовалъ себя точно въ банѣ.

— Снимай, снимай шубу-то. Налегкѣ же ты, точно съ катанья... Евстигней! ужинать поскорѣе, — говорила нѣсколько нервнымъ голосомъ тетушка.

Крутицынъ очутился опять въ томъ деревянномъ желтомъ домикѣ съ мезониномъ, куда не заглядывалъ уже болѣе двухъ лѣтъ. Прошли неосвѣщенную зальцу, съ гипсовымъ амуромъ въ углу, съ горшками жасмина и старымъ флигелемъ, и чопорную гостиную, такую же миніатюрную, какъ и зала, съ бѣлоснѣжными чехлами на рѣдко разставленной мебели, и опять съ жасминами. А вотъ и угольная, любимая комната Крутицына и самой тетушки, гдѣ на каждомъ стулѣ и на каждой козеткѣ посидѣлъ Крутицынъ по своей привычкѣ безпрестанно мѣнять мѣсто. Тепленько въ ней было, не холоднѣе, чѣмъ въ передней.

— Поужинаемъ въ чайной, — говорила тетушка, усаживая Крутицына на мягкій диванчикъ, гдѣ у нея подъ бокомъ стояли всегда маленькія пяльцы. — Нука-дай на себя взглянуть.

— Постарѣлъ?

— Нѣтъ, не очень... Правымъ глазомъ я нынче почти ничего не вижу, особливо вечеромъ, а кажется какъ-будто вотъ на правомъ-то вискѣ кто-то серебрится...

— Не сказывайте никому, тетушка, страшно сѣдѣю.

— Пора, это у васъ въ роду. А съ лица все такой-же... Испанцемъ смотришь...

Она его поцѣловала въ лобъ.

— А вы дайте, голубушка, на себя-то поглядѣть. Вотъ и родинка на лѣвой щекѣ, все такая же.

— Да что-жь ей сдѣлается?

— И подбородокъ, такой же добрый...

— Ну, какъ же подбородокъ-то можетъ быть добрый?... Что это ты, Саша... А ты скажи ужь лучше сразу: надолго ли?

— Да денька...

— Какъ денька?

— Денька два...

— Что это, Саша, за глупости!... Куда несетъ тебя, скажи на милость?

— Вѣдь вы знаете, тетушка... Пора въ Парижъ...

Тетушка опустила голову, и улыбка исчезла съ ея маленькаго, все еще красиваго, рта.

— Вотъ ты все этакъ-то рыщешь... Оттого-то мы съ тобой до старости лѣтъ доживемъ, а какъ перстъ останемся... одиноки.

— Неимамы здѣ пребывающаго града...

— Что такое?

— Да вотъ въ писаніи такъ говорится: не имѣемъ-де постояннаго мѣстожительства.

— Ну, ужь, дружокъ... писаніе-то оставь...

— Развѣ я смѣюсь?

— То-то же. Ахъ, Саша, Саша, дитя мое, какъ мнѣ всегда грустно станетъ въ минуту свиданія съ тобой. Дурно дѣлаю, что говорю тебѣ это, а оно такъ... Ты точно съ закрытыми глазами ходишь... не боишься, что жизнь-то уйдетъ, а радостей никакихъ не будетъ... И себя-то я, когда о тебѣ думаю, кляну...

— За что же это?

— Какъ, за что? Я, старая дура, наполовину виновата въ твоей горькой судьбѣ.

— Полноте, голубушка.

— Да, да, все у меня затѣи сентиментальныя... любящія сердца соединять... Вотъ и соединила... Ты меня прости... совсѣмъ не то я говорю, на радостяхъ старческая болтливость одолѣвать начала.

Въ дверяхъ показалась физія Евстигнея.

— Матушка Елена Петровна, кушать готово-съ, — проговорилъ онъ какимъ-то ласкательно-таинственнымъ голосомъ.

— Старый-то Личарда твой вчера совсѣмъ съ ума сошелъ, когда письмо твое принесли и я ему сказала, что будешь завтра... Пожевать пойдемъ.

— Вы вѣдь не ужинаете, тетушка?

— Все равно.

— Да и я отсталъ.

— Съ дороги, какъ же безъ ѣды?

Пришли въ чайную, гдѣ висѣла та же темная, претемная картина, изображающая Иродіаду, съ блюдомъ на плечѣ и усѣченной головой Іоанна Крестителя на блюдѣ. Только и видно было, что одно бѣлесоватое пятно посреди копоти.

Крутицыну совсѣмъ не хотѣлось ѣсть. Пріятное волненіе и нервное безпокойство, остающееся послѣ желѣзнодорожной тряски, отнимали аппетитъ. Елена Петровна сидѣла около него, облокотившись на столъ локтемъ и поддерживая голову ладонью.

— Наташа хотѣла тебя къ себѣ... — заговорила она тише: — да я не уступила. Она нынче у Власьевыхъ на именинахъ, а то бы пріѣхала... Съ какой стати! У нихъ дѣти, кричатъ, ты человѣкъ нервный... У меня цѣный мезонинъ. Да и супругъ ея какъ еще посмотритъ...

— Беременна? — спросилъ съ улыбкой Крутицынъ.

— Кажется... что-то жалуется на тошноту.

— Похвально!

— Да, четвертый годъ замужемъ — двое дѣтей...

да у ней шестнадцать штукъ будетъ... Такой ужь складъ. У меня хоть своихъ-то и не было, да я сейчасъ же вижу!...

— Ну, а Иванъ Θедорычъ что?

— Земство — и никакого другаго разговора. Такъ и преисполненъ...

— Важности?

— Нѣтъ, не то, чтобы важности, а какъ бы это сказать... Америку они съ этимъ земствомъ открыли, и такія намъ благодѣянія сулятъ... Газомъ хотятъ и нашъ переулокъ освѣтить. Что-же, пускай ихъ!... Съ меня бы только поменьше за домишко поборовъ брали. Только на что хозяйничать-то будутъ... На жалованье себѣ чуть не сто тысячъ отмежевали...

— И доволенъ онъ?

— Какъ же не быть довольнымъ... Особа, чувствуетъ себя не послѣдней спицей въ колесницѣ, жалованье, свой доходъ, жена молодая въ глаза ему смотритъ, дѣти, домъ въ отличномъ порядкѣ, здоровье не такое, какъ у насъ съ тобой, на нервы не жалуется.

— Одно слово: цѣльный человѣкъ.

— Да, цѣльный... Только я, Саша, вѣкъ прожила, а не умѣю цѣнить такихъ людей. Браню себя, чувствую ихъ превосходство надъ нами. Мы что въ сравненіи съ ними? Вотъ и ты тоже... Мечтатели, сумасброды, наивны, какъ дѣти... Всѣмъ-то увлекаемся, всему-то вѣримъ и всегда въ дуракахъ, всегда въ дуракахъ... Обидно... Они и мудры, и практичны, и всякую штуку знаютъ, и разсчетъ у нихъ въ каждой пустой вещи... Себя не обсчитаютъ, ну, да и другихъ въ обманъ не введутъ. Цѣльные, какъ ты говоришь, цѣльные люди, а цѣнить ихъ я все-таки не умѣю, и такихъ вотъ, какой сама себя чувствую, больше люблю... Эгоизмъ, да что-жь дѣлать... Себя ужь не передѣлаешь по пятьдесятъ-

третьему году... Ивана Ѳедорыча я уважаю... Говорю это безъ всякой задней мысли; но воздухомъ разнымъ мы дышемъ съ нимъ...

— Ну, а Параша?

Елена Петровна взглянула на Крутицына съ боку и какъ бы съ сдержаннымъ вздохомъ сказала:

— Вотъ увидишь... Славная женщина, но...

— Но?

— Не нашего съ тобой лагеря... Все это говорю не въ осужденіе...

— А въ потуженіе?

Елена Петровна разсмѣялась и потрепала его по плечу.

— Вотъ съ тобой только я и болтаю, точно мнѣ двадцать лѣтъ съ плечъ долой... Одного поля ягода... И недостатки-то твои всѣ люблю... Помнишь, Саша, ты мнѣ какъ-то прочелъ, давно ужь, стихи въ какомъ-то журналѣ, кажется Жемчужникова, гдѣ родъ людской раздѣленъ на двѣ половины: люди положительные...

— Иваны Ѳедорычи.

— Да, и нашъ братъ... пустыя головы... Какъ бишь тамъ два стиха было?

— Я вамъ сейчасъ подскажу. Дайте припомнить...

— Ты припомнишь... У тебя не моя памятъ.

— Вотъ, голубушка:

Гадатели, бродяги, утописты...

— Да, да, какъ разъ эти самые.

— Ну, а дальше-то я забылъ... Риѳму помню:

Почти всѣ *мгны*, *логи*, *исты*.

— Такъ, такъ... Вотъ что такое мы съ тобой. Поэтому, когда я тебѣ нотацію читаю, мнѣ самой смѣшно становится: что, молъ, ты степенность-то на себя напу-

скаешь, а дай-ка тебѣ ноги хорошія, такъ ты сейчасъ на Монбланъ полѣзешь и надъ красотами природы въ три ручья плакать станешь.

Крутицынъ поцѣловалъ правую руку Елены Петровны, лежавшую на столѣ, около него.

— Да, неисправимы мы съ вами, тетушка.

— Мнѣ что... Я земную свою юдоль ужь почти покончила. А ты молодой еще человѣкъ; пора бы успокоиться.

— Хомутъ на себя надѣть...

— Какой? То-есть женитьбу, что ли? Нѣтъ, дружокъ, грѣха опять на душу не возьму; а по прочему бы, говорю, надо сѣсть... Боюсь, эта поѣздка опять тебя въ разныя мѣста начнетъ мыкать. Все это непрочно вѣдь, Саша... Сегодня сытъ, а завтра и ступай на всѣ четыре стороны. Денегъ-то хватитъ ли на дорогу-то? — спросила шепотомъ Елена Петровна, когда Евстигней, прождавъ безплодно: не возьметъ ли Крутицынъ еще кусочекъ, наконецъ удалился.

— Есть, тетушка, цѣлый бумажникъ набитъ.

— Повѣрю я!

— Право же, я ѣду на очень хорошихъ условіяхъ...

— Ну, то-то же, со мной бы грѣшно, кажется, церемониться.

Евстигней сдѣлалъ новое нападеніе съ жаркимъ; но Крутицынъ отвелъ блюдо рукой. Старикъ, обернувшись къ барынѣ, съ видимымъ огорченіемъ выговорилъ.

— Ничего не кушаютъ!...

И упрашиванія Елены Петровны не подѣйствовали. Аппетиту окончательно не было, и Крутицынъ запросился опять въ угловую.

— Хлѣбенное, батюшка! — почти съ отчаяніемъ вскрикнулъ Евстигней.

— Видишь, не желаетъ, — успокоила Елена Петровна

и добавила: — ну, старый, радость-то радостью, а все ли Александру Павлычу приготовлено на верху?

— Какъ слѣдуетъ, матушка, и Маргарита туда побѣжала, да и я вотъ живымъ манеромъ...

И старикъ суетливо и пресмѣшно повернулся къ двери со своимъ непочатымъ «хлѣбеннымъ» на блюдѣ.

— А Маргарита? — спросилъ Крутицынъ тетушку, переходя въ угловую: — неужели все еще въ дѣвичествѣ?

— Въ дѣвичествѣ, дружокъ, въ дѣвичествѣ, и все просится въ монастырь. Кажется, тутъ въ самомъ дѣлѣ романъ какой-то былъ... Ты недаромъ напророчилъ, что явится искушеніе. Я не допрашиваю... Такая она стала безмятежная, вся точно восковая, и, по моему, еще красивѣе... Я ей говорю: погоди ужь, ты меня переживешь, а тамъ и ступай съ Богомъ.

— Ну, вотъ мы тутъ опять и потолкуемъ по-старому, — перебилъ тетушку Крутицынъ, усаживаясь на диванѣ.

— Нѣтъ, голубчикъ, нельзя этого... мы вѣдь съ тобой полуночники... тары, да бары, да глядишь до третьяго часу ночи. Я твои нервы знаю, особливо съ дороги. Горячо поговорилъ или засидѣлся, ну и промечешься всю ночь.

— Да я, право...

— Нечего, самъ докторъ, чувствуешь, что правду говорю. Ужь я бы не отпустила, коли бы не вредно... Вотъ и Личарда ползетъ. Готово?

— Все готово, матушка барыня.

— Ну, посвѣти тамъ на лѣстницѣ.

Евстигней ушелъ. Тетушка встала и взяла за руку Крутицына.

— Пойдемъ, я тебя провожу.

— А вотъ этого я не позволю, тетушка, я вѣдь медикъ, вы сами говорите, у васъ одышка, всходить на лѣстницу безъ нужды вамъ не полагается.

— Слушаю-съ... Я тебѣ, Сашенька, велѣла постелить въ Парашиной комнатѣ... А отъ другой-то...

Елена Петровна остановилась и даже какъ бы потупилась.

— Ты на меня не разсердишься, Саша?

— За что?

— Я въ другую-то комнату... твой портретъ повѣсила... Такъ мнѣ тамъ одно мѣсто на диванѣ тебя напоминало... я вотъ иной разъ поднимусь... и посижу тамъ, портретъ-то и оживляетъ мнѣ цѣлую картину... Комната, знаешь вѣдь, посвѣтлѣе, да я думала, ты не захочешь...

— Полноте, голубушка!...

И онъ поцѣловалъ Елену Петровну.

— Ну да, ну да, — шептала она со слезами. — Ты зла не помнишь... Не умѣешь ты судить... Вотъ за это-то я тебя такъ и люблю... У меня, Сашенька, ключъ отъ комнаты... Вариной... вотъ онъ, завтра, можетъ быть, заглянешь... А въ Парашиной-то все оно лучше будетъ, безъ волненій... да она и суше.

Елена Петровна сунула въ руку Крутицына ключъ и скоро-скоро отерла глаза.

— Ну, прощай, а то мы съ тобой какъ разъ тутъ разнервничаемся... Извини меня, Христа ради, совсѣмъ неподходящій разговоръ завела... Евстигней! — крикнула тетушка, подходя къ двери въ коррид оръ: — ты свѣтишь?

— Свѣчу, матушка, чай изволите видѣть.

— Маргарита тамъ?

— Здѣсь еще, шторы спускаетъ.

— Это она нарочно копается, — шепнула тетушка: — съ тобой любезничать. Ужь, право, кажется, съ безнадежной любви къ тебѣ хочетъ свои красоты въ келью схоронить... Ну, Господь съ тобой, дитя мое.

Тетушка перекрестила и поцѣловала еще разъ Крутицына.

Онъ взбѣжалъ на мезонинъ, гдѣ на площадкѣ ждалъ его со свѣчей старый его Личарда, помигивая на особый манеръ, какъ онъ только умѣлъ мигать въ минуту душевнаго умиленія.

— Ну, Евстигней Парамонычъ! Какъ изволите быть довольны европейскимъ равновѣсіемъ? — спросилъ его Крутицынъ, трепля по плечу.

— Эхъ, батюшка, совершенно ничего таки не знаю... «Московскія Вѣдомости» совсѣмъ бросилъ читать... литера мелкая-размелкая... развѣ вотъ когда барыня что разскажетъ. Васъ-то и не чаялъ увидать!... Въ послѣдній разокъ...

— Что такъ?

— Да какъ же, батюшка, седьмой десятокъ... Къ ущербу пошло дѣло, къ ущербу... Полегоньку... тутъ порогъ... небось запамятовали...

Онъ пятился и свѣтилъ Крутицыну. Съ верхней площадки направо была дверь въ комнату, гдѣ ему приготовили постель. Кто-то у входа взялъ его за руку.

— А! Маргарита!

— Батюшка, ручку пожалуйте...

— Ручки не дамъ; а поцѣловаться желаю...

— А она и подавно, — ввернулъ Евстигней.

Облобызались.

Маргарита стояла передъ Крутицынымъ все такая же, въ темномъ ситцевомъ платьѣ съ длинной тальей и узкими рукавами, высокая, немного согнутая, съ кроткими и крупными чертами, съ волосами льнянаго цвѣта, заплетенными въ двѣ косицы, за уши, такъ, какъ она чесалась пятнадцать лѣтъ тому назадъ.

— Что это, Маргарита! — вскричалъ Крутицынъ, беря ее за руку: — да у тебя, должно быть, есть живая вода...

— Есть, есть, самъ видѣлъ, — хихикалъ Евстигней.

— Какъ это можно такъ ни на капельку не мѣняться?...

— Полноте, батюшка, вы на меня днемъ-то поглядите, я вся точно лимонъ какой.

— Это отъ спѣсивости, Маргарита Семеновна... мою руку отвергаете, — продолжалъ балагурить расходившійся старикъ.

— Такъ ужь мы рады вамъ, Александъ Павлычъ!

— Фаустъ-то когда же явится, Маргарита?

— Фауста вашего я и ждать перестала...

— Въ чернички норовитъ, — ввернулъ опять Евстигней.

— Слишкомъ рано, — говорилъ Крутицынъ, смѣясь ей въ лицо и оглядывая ея типическую и умную фигуру: — это въ самомъ концѣ, ты вѣдь, конечно, не забыла... Сначала долженъ явиться Фаустъ съ Мефистофелемъ... и нарушить миръ и тишину сердца...

— Вотъ я и хочу, батюшка, совсѣмъ удалиться..

— Стало быть, Мефистофель смущалъ?

Маргарита отвернулась немножко въ сторону и проговорила полушутя, полусерьезно:

— Врагъ всякаго смущаетъ, на то мы рождены на свѣтъ, да меня ужь теперь и три вашихъ Мефистофеля не соблазнятъ.

— Окаменѣла, значитъ, — заключилъ Евстигней.

— Ну тебя, старый! — нахмурилась на него Маргарита. — Вотъ этакъ хи-хи-хи, да ха-ха-ха, да безъ покаянія и умрешь...

— Все въ волѣ Божьей... Маргарита Семеновна.

— Я вамъ, Александръ Павлычъ, постелила, какъ вы любите, высоко... Утромъ-то, что изволите кушать, чай или кофей?

— Чай, попрежнему...

Евстигней взялъ Маргариту за талію:

— Въ барина вы влюбимшись, это мы знаемъ, одначе почивать имъ слѣдуетъ послѣ дороги...

— Иду, иду, вотъ вѣдь онъ у насъ какой дошлый!— заговорила Маргарита и какъ-будто немного покраснѣла.

— Ты ко мнѣ зайди старину-то вспомнить, — сказалъ ей Крутицынъ, провожая до двери.

— Мнѣ послѣ Парамонычъ проходу не дастъ...

— Ничего, я вѣдь ни въ Фаусты, ни въ Мефистофели не гожусь...

— Ручку-то позвольте.

— Ручки не будетъ; а поцѣловаться...

— Нѣтъ-съ... что ужь меня старую; покойной ночи, батюшка; коли я чѣмъ не потрафила, такъ завтра извольте сказать.

Поклонившись еще разъ низкимъ поклономъ, Маргарита, со свѣчой въ рукахъ, выплыла изъ комнаты.

— Золото дѣвка!... — промолвилъ, озираясь назадъ, Евстигней, съ улыбкой, обращенной къ Крутицыну.

— Въ самомъ дѣлѣ, въ монастырь собирается?

— Взаправду... брачнаго сожитія, значитъ, вкусить не желаетъ.

Евстигней плутовски подмигнулъ. Онъ, въ качествѣ стараго холостяка, любилъ-таки пройтись на счетъ любовныхъ сюжетовъ.

— Ну, старый, — сказалъ ему Крутицынъ: — ты, я думаю, насилу на ногахъ стоишь...

— Чего же, батюшка, я какъ встрепанный... Прикажете раздѣться подать?...

— Нѣтъ, я это все самъ сдѣлаю. Прощай, Парамонычъ. Завтра мы еще покалякаемъ. Да не хочешь ли со мной въ Парижъ, на выставку?

— Что-жь, я мигомъ... Съ вами, батюшка, другая кровь въ жилахъ потечетъ...

Съ неохотой удалился Евстигней, все обертываясь и посылая поклоны.

VIII.

Елена Петровна хоть и отправила Крутицына во время, но ему не спалось. Маргарита взбила ему подушки на славу. Въ альковѣ было такъ уютно и снотворно, а сонъ все-таки не смыкалъ глазъ...

Разумѣется, онъ началъ думать о тетушкѣ. Она мало измѣнилась въ лицѣ, но Крутицынъ чувствовалъ, что душевныя силы подаются натиску лѣтъ и физической немощи. Да и жизнь отлетѣла, что была вокругъ Елены Петровны когда-то. Онъ съ отроческихъ лѣтъ не только привязался къ ней, но сталъ, про себя, оцѣнивать ее, вглядываться въ ея нравственную физіономію, смотрѣть на нее, какъ на мѣрило своихъ добрыхъ и худыхъ дѣлъ, пошлости и рѣдкихъ свѣтлыхъ сторонъ того, что окружало. Крутицынъ не воспитывался у Елены Петровны. Онъ только заѣзжалъ къ ней и подолгу живалъ въ этомъ самомъ желтомъ домикѣ съ мезониномъ. Елена Петровна не была даже его родной теткой; но ближе и дороже у него никого не было и въ лѣта отрочества, и теперь. Какъ только онъ сталъ наблюдать и осмысливать свои наблюденія, а началось это очень рано, онъ увидалъ, что тетушка, живя въ бытовой жизни провинціальнаго барскаго общества, съ его преданіями и мелочами, не разрывая съ нимъ связи, не возмущая людей своего сословія и быта, носила въ себѣ неизмѣнно иной лучшій завѣтъ и идеалъ, отзывалась совсѣмъ не такъ, какъ другія, на то, что хоть сколько-нибудь похоже было на правду и красоту жизни.

Елена Петровна вышла замужъ не очень молодой, лѣтъ двадцати четырехъ-пяти. Она и въ дѣвичествѣ страдала нервами. Нервность осталась у ней и въ замужествѣ, и послѣ замужества. Овдовѣла она рано. Дѣвицей она развила сама себя подъ наитіемъ новыхъ запретныхъ и тогда еще туманныхъ идей человѣчности и общественнаго освобожденія. Первые романы, Ж.-Занда и Сю, съ протестомъ за женщину и пролетарія, первыя статьи и книги, гдѣ литература и жизнь освѣщались шире, свободнѣе, теплѣе, — дѣйствовали на Елену Петровну въ эпоху самаго разгара привольной рабовладѣльческой жизни, когда кромѣ ѣды, питья, картъ, пляса, женитьбы, чиновъ и урожая не слышно было ни о какихъ другихъ позывахъ и стремленіяхъ... «Мечтательна» была Елена Петровна въ дѣвицахъ, слѣдуя тогдашней номенклатурѣ; мечтательной осталась и замужемъ. Въ этомъ она отдавала дань своему времени... Тогда все лучшее и свѣжее жило воображеніемъ... Дюмасовскій «Антони» и «Эрнани» Гюго были тогдашніе герои, мрачные, непонятные и непонятые, говорящіе о чемъ-то смѣломъ и новомъ, несущіе съ собою, въ дикой формѣ, какой-то протестъ, нѣчто именуемое всеобъятнымъ тогда словомъ «романтизмъ». А рядомъ съ игрой фантазіи являлись безпощадныя изобличенія реалиста Бальзака, дѣловая и высоко-даровитая картина самодовольной буржуазіи, въ которой чуткое сердце и наблюдательный умъ могли легко найти много общаго съ довольнымъ и ожирѣлымъ рабовладѣльческимъ міромъ... Ламартинъ пѣлъ о чемъ-то неуловимомъ, сладко, плѣнительно, и... опять-таки человѣчно. И чувственность блуднаго сына своей эпохи, Альфреда де-Мюссе, говорила про упованія, права и силы, которымъ не дали ходу, исковеркали, задушили, загрязнили... И образы своей, русской художественной литературы являли тоже, хотя и въ сдавленныхъ формахъ... Ѣдкій юморъ и безпардонный смѣхъ,

лиризмъ и резонерство, простодушные разсказы и намѣренно-мрачныя картины — все звучало надсадой и жалобой, все рвалось къ лучшему и звало новыхъ людей къ неустанной борьбѣ съ вѣковыми преградами, съ грязью и тупостію, съ кнутомъ и скотоподобнымъ самодовольствомъ застоя и крѣпостничества... Ничто не было ярко формулировано, ни до чего еще никто не договорился, нельзя было ни выработать себѣ строгой доктрины, ни броситься въ свалку съ великанами мрака, зла и пошлости; но можно было чувствовать и помогать. Елена Петровна и начала это дѣлать. Крутицынъ мальчикомъ сталъ подмѣчать, на что уходитъ жизнь этой женщины и что приливаетъ къ ея личности... И видѣлъ онъ, что тетушка центръ молодости, таланта, граціи, порыва, самоотверженности; ея маленькій домикъ — пріютъ всего, что забито, непонято, безпомощно, запугано и оклеветано. У Елены Петровны дѣти не родились; а любить она должна была, любить всѣхъ, въ комъ только видѣлось что-либо человѣческое. Такой доброты нельзя и въ сказкѣ сочинить, какая исполняла существо этой женщины. Доброта ея не расплывалась въ слащавость и приторность. Она облечена была въ оригинальную и обаятельную грацію; поэтому-то Елена Петровна, не бывши никогда особенно красивой, всегда очень нравилась молодымъ людямъ. Къ ней влекло безпредѣльно всякое молодое существо: юношу ли, дѣвочку ли, всѣхъ, кому хотѣлось, чтобы ихъ выслушали, приласкали, поняли. Елена Петровна не сочиняла новыхъ интересовъ, она не указывала невѣдомыхъ путей, но никто не умѣлъ такъ откликаться на то, что было получше въ тогдашней жизни и поддерживать въ каждомъ «искру божію». Чтеніе не прекращалось въ желтомъ домикѣ. Приносили новые романы, сборники стиховъ, статьи, рукописныя тетрадки съ какимъ-нибудь запретнымъ плодомъ. Музыка не переводилась. Елена Петровна воспиталась на

Бетговенѣ, на Фильдѣ, на порываніяхъ къ романтическому «нѣчто», которое одно сдѣлало музыку такой назойливой потребностью. Играли, пѣли, привязывались къ той или иной гармоніи, наполняли ею многіе душевные пробѣлы. Затѣвалось ли что-нибудь такое въ городѣ, въ чемъ нуженъ былъ художественный вкусъ: живыя картины, спектакль, лоттерея, что бы то ни было, — Елена Петровна одна умѣла соорудить все дешевыми средствами, все уладить, подобрать, выбрать людей, нарисовать, обдумать костюмъ, отдѣлать детали. И никогда она не была совершенно-свѣтской женщиной, даже и для губернскаго общества. Въ ней сидѣлъ непочатый уголъ застѣнчивости, съ которой она, до старости, не могла сладить. Но самая эта застѣнчивость сразу располагала и дѣлала приближеніе къ ней доступнымъ и теплымъ. Въ ея угловой комнатѣ перебывало нѣсколько поколѣній молодыхъ людей и женщинъ, и она была хранительницею ихъ сердечныхъ дѣлъ, испытаній и надеждъ. Каждая новость въ литературѣ, въ искусствѣ, въ мірѣ вкуса попадала прежде всего въ желтый домикъ, дѣлалась тамъ предметомъ искреннихъ, хоть и немудрыхъ, толковъ, взбуждала надежду на лучшія времена. И Елена Петровна не могла провести вечеръ, чтобы вокругъ нея не видно было молодыхъ лицъ и не слышно было молодаго, задушевнаго говора. Все это, конечно, не выходило за предѣлы тогдашнихъ интересовъ, но дышало чистотой помысловъ, искренностью побужденій, наивнымъ желаніемъ куда-нибудь дѣть свои нравственныя силы, не растратить ихъ понапрасну. И подъ такимъ «благодушествомъ» губернскаго кружка текла еще другая жизнь Елены Петровны: помощь всему, чему только можно было помочь. Она не ограничивалась безсознательною благотворительностью; она становилась на сторону страждущей личности и всячески выводила ее изъ бѣды, съ хлопотами, лишеніями, волненіями, нервными припадками, непрестан-

ной затратой душевныхъ силъ и здоровья. Вотъ тутъ-то узналъ Крутицынъ, когда сталъ уже взрослымъ, какое бездонное море любви и человѣчности было въ этой нервной и «мечтательной» женщинѣ. Природа, точно съ умысломъ, не дѣлаетъ ихъ матерями. Она не даетъ имъ исключительныхъ органическихъ привязанностей, ограждаетъ ихъ отъ всепоглощающаго чувства къ дѣтенышу и семьѣ. Потому-то, при всей своей привязчивости, Елена Петровна никогда не уходила совсѣмъ въ такія чувства къ отдѣльнымъ личностямъ, внѣ которыхъ пропадай хоть весь міръ. Человѣкъ, въ его высшихъ качествахъ, такъ какъ она его представляла себѣ, стоялъ для нея поверхъ всѣхъ простыхъ смертныхъ ближайшей обстановки. Когда она увидала, по газетамъ только, простодушный героизмъ Гарибальди, она сказала Крутицыну со слезами умиленія:

— Хоть однимъ бы глазкомъ поглядѣть на него, голубчика, и умеретъ!...

Очагъ Елены Петровны былъ полнѣйшей противоположностью такимъ «домашнимъ очагамъ», гдѣ, если хотите, интересуются немножко и тѣмъ, и сѣмъ, и Гарибальди, и меньшей братіей, но въ сущности живутъ только въ самихъ себя, въ ахи и въ охи, въ болѣзненную нервность семейнаго эгоизма. Съ мужемъ Елена Петровна жила, по-своему, счастливо, потому что ея личная требовательность тотчасъ-же уступала потребности прощать, помогать и облегчать. Потеря его наложила на нее какъ бы налетъ грусти; но она осталась все съ тѣми же воспріятіями къ добру и сочувствію. Она не начала драпироваться въ резигнацію и смиреніе передъ волей всеблагаго Провидѣнія. Ея вѣра лишена была всякаго аскетизма. Она говорила, что религія поддерживаетъ ее; но что въ ней нѣтъ того «пламени» и той «твердости», какія бы нужно было имѣть. И все это выходило у нея такъ просто, понятно, симпатично, человѣчно. Крутицынъ никогда даже

не помыслилъ съ ней вступить въ полемику «по религіозному вопросу», какъ онъ тогда выражался. Религіозность Елены Петровны, хоть она и соблюдала довольно строго посты, сливалась всецѣло съ нравственнымъ завѣтомъ добра и всепрощенія, которымъ ея существо было одухотворяемо. Доброта неразлучна съ простодушной довѣренностію; а народное себѣ на умѣ говоритъ не даромъ: «простота хуже воровства». Несчетное число разъ бывала она вводима въ обманъ, дурно помѣщала свое добро, согрѣвала змѣй на груди своей. Ее то и дѣло эксплуатировали самымъ безстыднымъ манеромъ. Но она все выносила съ улыбочкой, долго не вѣрила злу и обману, и когда они были очевидны, говорила съ тихимъ юморомъ:

— Ну, что жь, не я одна глупости дѣлаю; каюсь, не такъ бы надо жить для другихъ, какъ я живу.

Свою довѣрчивость она прекрасно знала, и подчасъ доказывала, что безъ этой слабости «въ сердцѣ какъ разъ очутится мѣдный пятакъ». Но положительные люди, умники и практики не прощали ей ни одной «дурно помѣщенной» симпатіи, ни одной сантиментальной исторіи, гдѣ она попадалась впросакъ. Въ ихъ глазахъ она была «восторженная», нервная барыня, способная совать первому встрѣчному все, что у ней есть, охать надъ каждой блажью, соединять любящія сердца безъ всякаго толку, волноваться «Богъ знаетъ изъ-за чего».

— Хорошо еще, — говорили они: — что у ней нѣтъ своихъ дѣтей, а то бы она ихъ по міру пустила!...

Знала Елена Петровна и про эти толки, не обижалась ими, но горячо отстаивала свое душевное добро, не жалѣя нисколько о сдѣланныхъ «глупостяхъ».

— Разумѣется, — говорила она: — хорошо бы было попадать только на ангеловъ; да такъ не проживешь! Кто подойдетъ, или кого сама увижу въ бѣдѣ — ну и дѣлаю,

что могу... А тамъ ужь вина моей слабой головы, если овецъ отъ козлища не отличаю.

И при всемъ своемъ лиризмѣ, Елена Петровна осталась вѣрна эпохѣ. Она стремленіями заходила впередъ; но не смогла уже сама дѣйствовать, когда пришло время подрубить устои рабовладѣльческаго зданія, когда можно было думать о разумномъ служеніи обществу. Она стояла за все, что несло съ собою свободу и лишній кусокъ хлѣба меньшей братіи, поддерживала своими симпатіями тѣхъ, кто вокругъ ея ратовалъ за новые порядки, и въ то же время чувствовала, что ей уже не будетъ прежняго мѣста въ обществѣ, какъ оно сложится черезъ десять лѣтъ. Обезпеченность барскаго быта, созерцательная жизнь, задушевный міръ симпатій и добро въ сферѣ единичныхъ существованій обставляли и наполняли ея бытіе и вобрали въ себя всѣ ея духовныя силы. Вокругъ Елены Петровны все измѣнилось, прежнія семьи распались или перевелись, старые люди сократились, стали считать послѣдніе гроши, ушли въ свои норы, молодые иначе говорили, иначе чувствовали, стремились къ другимъ цѣлямъ, проповѣдывали другія начала. Елена Петровна не отвращала отъ нихъ лица своего, даже не пугалась ихъ; но она видѣла, что нѣтъ общаго воздуха, что она для нихъ старомодное существо, а смѣшной ей не хотѣлось быть. И стала она тосковать одиночествомъ, особливо въ послѣдніе два года; но не позволила бы ни Крутицыну, ни другому кому посвятить ей свою жизнь, коротать съ ней время. Она перебирала старыя завѣтныя упованія и картины прошлаго, боролась съ «бреннымъ тѣломъ» и доживала свой вѣкъ въ той атмосферѣ нравственнаго изящества, кротости и высокаго удовлетворенія, при видѣ того, какъ бредни гуманизма и всепрощенія начали переходить въ живое дѣло...

Въ желтомъ домикѣ Елена Петровна жила одна только четвертый годъ. Бездѣтная, она взяла на воспитаніе двухъ

дѣвочекъ-сиротокъ, дочерей подруги, безвременно умершей. Съ ними она сжилась, какъ съ родными дѣтьми. И вотъ это-то тріо сдѣлалось, уже двадцать лѣтъ тому назадъ, роднымъ домомъ Крутицына. Такъ хорошо было ему и тамъ, внизу, въ угловой тетушки, и здѣсь, въ комнатахъ дѣвочекъ. Каждый годъ пріѣзжалъ онъ на вакацію, дѣлаясь все «ученѣе» и серьезнѣе и встрѣчая все тотъ же пріемъ; любовался Еленой Петровной, «купался въ струяхъ ея доброты и душевнаго изящества», какъ онъ говорилъ, привозилъ книжекъ дѣвочкамъ, училъ ихъ, думалъ за нихъ, десятки разъ устраивалъ по новому ихъ судьбу въ своей фантазіи, плакалъ, цѣлуя, на прощаньѣ, эти три дорогія существа; писалъ имъ цѣлыя тетради, вѣрилъ, что желтый домикъ такъ и простоитъ до скончанія вѣка... Дѣвочки выросли. Одну онъ началъ вдругъ готовить себѣ въ невѣсты...

Но другая стала его женой.

IX.

Часу въ одиннадцатомъ тетушка отпустила Крутицына къ Парашѣ. Онъ прошелъ переулкомъ, повернулъ на Дворянскую улицу и позвонилъ у чистенькаго штукатуреннаго дома, окрашеннаго въ свѣтло-розовый цвѣтъ. Мѣдныя ручки наружной двери такъ и сіяли. Все крыльцо поражало чистотой.

Ему отперъ мальчикъ въ сѣромъ ливрейномъ фракѣ. Передняя отвѣчала чистотѣ крыльца. Въ ней было уже накурено порошкомъ.

— Какъ прикажете доложить? — спросилъ мальчикъ, не признавшій Крутицына.

— Не надо докладывать. Гдѣ Прасковья Васильевна?

— У себя-съ или въ дѣтской...

— Ну, такъ я пройду, я знаю дорогу...

Пройдя двумя гостиными, одной побольше, другой поменьше, гдѣ царили такая же чистоплотность и такой же порядокъ, точно все было только-что принесено изъ лавки и поставлено напоказъ, Крутицынъ остановился на порогѣ третьей комнаты, куда вела маленькая дверка. Онъ отворилъ дверку и заглянулъ.

Спиной къ нему, у большой кровати, за рабочимъ столикомъ, сидѣла молодая женщина въ сѣромъ платьѣ. Она нагнулась надъ работой. Видны были: шея, полная и бѣлая, круглыя и высокія плечи и приподнятый шиньонъ блестящихъ, черныхъ волосъ. Крутицынъ подошелъ сзади, беззвучными шагами по ковру, и поцѣловалъ ее въ шею.

— Кто это! — вскрикнула она, почти испуганнымъ голосомъ, и быстро обернулась.

— Свой!

— Ахъ, Саша! Голубчикъ! Когда?

Вмѣсто отвѣта, Крутицынъ обнялъ и поцѣловалъ ее.

— Ты меня испугалъ, право. Мама не говорила вчера навѣрно, что ты пріѣдешь. Я только собиралась пойти узнать. А отчего не ко мнѣ въѣхалъ? Нехорошо, ты насъ совсѣмъ разлюбилъ. Ну, садись, а то ты начнешь ходить взадъ и впередъ, у меня голова сейчасъ закружится... Чай пилъ?

— Пилъ.

Крутицынъ опустился на диванчикъ, держа руку Параши и оглядывая ее. Она вся улыбалась ему какъ-то по-дѣтски и немного пятилась назадъ. Фигура ея была совсѣмъ круглая, небольшаго роста, крѣпкая и ши-

рокая. По лицу шли ямочки, двойной подбородокъ придавалъ ему добродушную степенность; но темносѣрые маленькіе глаза искрились и игриво смѣялись. Шея, плечи, грудь, талія принимали самыя роскошныя очертанія. Такихъ женщинъ французы называютъ «boulotte».

— Идетъ слухъ, Параша, — заговорилъ Крутицынъ: — что вы не совсѣмъ хорошо изволите вести себя?

— Какъ?

— Будто бы опять...

И онъ поглядѣлъ значительно на ея талію.

Параша покраснѣла и засмѣялась.

Смѣялась она особенно мило. Сначала у ней вздрагивали плечи и подавались впередъ, потомъ горло и щеки, и потомъ уже слышалась въ груди дѣтская смѣхотворная перхота, переходившая въ негромкое, раскатистое хихиканье. Такъ смѣяться умѣла только Параша.

Крутицынъ началъ ей вторить и привлекъ ее на диванъ.

— Все тотъ же мышечный аппаратъ? — спросилъ онъ, дотронувшись пальцемъ до щеки.

— Какой аппаратъ?... Ахъ! вспомнила... Да, тотъ же, какъ, бишь, называешь ты это?

— Musculus zygomaticus... всегда въ дѣйствіи...

Онъ взялъ ея руку, маленькую, бѣлую, пухлую, съ ямочками и пальцами, точно огурчики, и поцѣловалъ.

— Какой ты лизунъ сталъ, Саша. Смотри, мужъ мой, пожалуй, приревнуетъ...

— А что Иванъ Ѳедорычъ?

— Въ управѣ, онъ рано уходитъ...

Лицо Параши тотчасъ же сдѣлалось солиднымъ, какъ только рѣчь зашла о мужѣ. Она даже выпрямилась и, сидя на диванчикѣ, сложила руки на груди.

— Работаетъ?

— Цѣлый день... Они, Саша, такъ довольны имъ.

Jean, навѣрно, на слѣдующихъ выборахъ попадетъ въ предсѣдатели управы.

— А ты въ предсѣдательши...

— Я, что... Ты знаешь, я никакой роли играть не желаю... Гдѣ мнѣ... но мнѣ, конечно, пріятно видѣть, какимъ Jean пользуется уваженіемъ и вліяніемъ...

И опять musculus zygomaticus опустился, и ямочки перестали играть.

— Похвально, — проговорилъ Крутицынъ.

— Какимъ ты это тономъ сказалъ, Саша!... Вотъ и нехорошо. Ты совсѣмъ не цѣнишь моего мужа.

— Кто же тебѣ это сказалъ?

— Да я ужь это чувствую... Ты считаешь его такъ чѣмъ-то... А онъ, вѣдь, Саша, также учился. Въ Академіи былъ... И посмотри, какъ онъ умѣлъ себя поставить здѣсь въ какихъ-нибудь пять — шесть лѣтъ... Безъ него наше земство шагу не ступитъ... Это тебѣ каждый скажетъ... Эхъ, Саша! вотъ ты и ученъ, и дипломы всякіе, а какъ твоя жизнь проходитъ?... Никакой радости не имѣешь... Все это оттого, мой другъ, что ни на чемъ не хочешь остановиться, на положительномъ... Твои тамъ идеи, все это прекрасно, а мой Jean вотъ сидитъ на мѣстѣ да дѣло дѣлаетъ... Газомъ городъ освѣтятъ... и желѣзная дорога будетъ своя... вотъ что!

Тонъ Параши сдѣлался совершенно наставительнымъ. Она опустила глаза, и красныя ея губки выговаривали слова съ какимъ-то напряженіемъ степенности.

Крутицынъ чуть-чуть не расхохотался ей въ лицо.

— Такъ газъ-то будетъ?

— Ты вотъ все дурачишься!... Я этакъ не хочу, Саша...

И она надула губки.

— Полно, полно, душа моя, — заговорилъ онъ, беря ее за обѣ руки. — Откуда ты выдумала, что я не ува-

жаю твоего мужа, что я смѣюсь надъ его дѣятельностью? Напротивъ!... чувствую и признаю его превосходство. Онъ человѣкъ практическаго дѣла, такіе люди нужны на мѣстѣ... безъ нихъ ничто не двинется...

— Ну, то-то же... Если все это ты отъ души говоришь, — ты мальчикъ пай, вотъ тебѣ.

И она его поцѣловала въ голову.

— Ну, а чада? — спросилъ Крутицынъ.

— Ты что спрашиваешь? Ты вѣдь дѣтей ни крошечки не любишь.

— Дѣлаю успѣхи.

— Какіе это?

— Сталъ любить собакъ...

— Что это, Саша!

— Значитъ, скоро перейду къ дѣтямъ, таковъ нормальный путь.

— Не грѣхъ этакъ зубоскалить, а еще женатъ былъ.

И Параша остановилась, точно закусила языкъ. Крутицынъ этого не замѣтилъ: онъ въ эту минуту низко опустилъ голову надъ подушкой и игралъ кисточкой.

— Такъ чада въ вожделѣнномъ здравіи?

— Мишу я отправила гулять. Онъ такъ и ползетъ, Богъ съ нимъ. Глаза у него стали совсѣмъ какъ у Jean... И такой же онъ будетъ степенный.

— Такъ ты это сейчасъ и угадала?

— Разумѣется.

— И въ земствѣ будетъ служить?

— Ну, и въ земствѣ...

— Ахъ, да! — вскричалъ Крутицынъ: — вѣдь и забылъ совсѣмъ, втораго чада я и не видалъ еще...

— Слава Богу, спохватился... Куда какъ хорошъ! А ты не кричи. Вѣдь Оля вотъ тутъ лежитъ, уснула... Я тебѣ ее послѣ обѣда покажу. И кормилицу наряжу. Она у меня красавица.

— Прасковья Васильевна, постыдитесь, голубушка, зачѣмъ же это кормилица? Или нечѣмъ кормить?

Параша опять покраснѣла и разсмѣялась по-своему.

— Вотъ и ученъ, а не все, видно, знаешь... Мнѣ запретили. Ужь я не мало плакала... Мишу выкормила, а Олю нѣтъ... Вонъ посмотри, я съ Миши фотографію сняла...

Параша подошла къ своему письменному столу. Крутицынъ за ней.

Онъ сказалъ ей тихо:

— А гдѣ же портретъ... Вари?

Она быстро оглянулась на него, опять немного покраснѣла и проговорила запинаясь:

— Я думала, Саша, что тебѣ будетъ тяжело...

Крутицынъ взялъ ее за талью, поцѣловалъ и промолвилъ:

— Полно, Параша, вы съ тетушкой очень меня ограждаете... и что мнѣ не совсѣмъ пріятно: не чувство мое, а самолюбіе... Кажется, пора вамъ убѣдиться, что я все это пережилъ, простилъ... да и прощать-то нечего... Никто и ни въ чемъ не виноватъ. Дай мнѣ портретъ.

Параша молча подошла къ шкапчику, отперла его и достала довольно большой портретъ въ бархатной складной рамкѣ. Она молча же подала его Крутицыну.

Изъ круглаго золотаго ободка съ темнымъ фономъ выставлялось худое, продолговатое, очень красивое лицо молодой женщины въ какой-то фантастической прическѣ. Глаза смотрѣли немного вверхъ, но не восторженнымъ, а тревожнымъ взглядомъ.

Крутицынъ долго глядѣлъ на него. Параша тоже, изъ-за его плеча.

Когда онъ обернулся, глаза ихъ встрѣтились. Параша всплакнула. Они оба опустились опять на диванчикъ.

— Вотъ я, Саша, часто думаю, какъ это все слу-

чилось... Ужь еслибы тебѣ жениться, такъ не на Варѣ.. а на мнѣ... да ты и собирался... Вѣдь собирался, скажи?

— Да, мой другъ, — отвѣтилъ со вздохомъ Крутицынъ.

— Что-жь... Я когда и съ мужемъ объ этомъ говорю, ничего не скрываю... Дѣло прошлое... такъ ужь, кажется, давно... Ты мнѣ вѣдь очень нравился... Мы когда съ Варей, бывало, по ночамъ болтали, еще дѣвчонками... такъ тебя ужь и записали въ мои мужья. Ты пріѣдешь гостить, я къ тебѣ и прикомандировывалась... Толкуешь это ты мнѣ, а я все потомъ въ книжку записываю и на носу себѣ зарубаю: «ты, молъ, будешь его женой, такъ запоминай все хорошенько, онъ вѣдь спроситъ послѣ». И, право, Саша, хвалить себя не годится, а тебѣ вотъ *такая* жена, какъ я, и нужна бы. Ты все тормошишься, а мой характеръ видишь какой... Ужь и теперь я ничѣмъ не волнуюсь, развѣ вотъ что съ дѣтьми... Я-то счастлива, а ты...

И Параша покачала головой.

— Это мама все, — начала она тише.

— Что мама? — спросилъ Крутицынъ.

— Она тебя сбила съ толку.

— Не правда, Параша, тетушку не въ чемъ тутъ упрекнуть...

— Ты, разумѣется, всегда ее защищаешь... Вы оба восторженные такіе... Ахъ! — вздохнула Параша, взглянувши опять на портретъ. — Варя, бѣдная, такъ и сгорѣла!

Они помолчали.

— Какъ же это ты опять будешь одинъ по свѣту шататься, Саша? Знаешь что... выбери ты себѣ, за-границей, англичанку хорошую, вдову что ли, право... Онѣ лучше насъ... Ты теперь въ Парижъ ѣдешь?

— Въ Парижъ.

— Ну, а потомъ-то, опять безъ мѣста?

«Безъ хомута», подумалъ Крутицынъ.

— Не предвидится, мой другъ.

— Ты, Саша, не хочешь, а то бы какъ не найдти... да вотъ хоть и въ земствѣ...

— Надо быть собственникомъ, а у меня рогатаго скота пѣтухъ да курица, да и тѣхъ нѣтъ.

— Беззаботность твоя, — начала опять Параша наставительнымъ тономъ: — а то ли бы дѣло, устроился ты на одномъ мѣстѣ, какъ бы хорошо... Вотъ посмотри на насъ съ Jean, какъ мы живемъ. Никуда мы не рвемся. Jean идетъ своей дорогой, всегда веселъ, здоровъ, отъ меня никакихъ тонкостей не требуетъ. Дома у насъ — полная чаша. Дѣтки... сколько радости; я и не вижу, какъ проходитъ время... Встанешь, около дѣтей повозишься, поработаешь, обѣдъ закажешь, а тамъ онъ отдохнуть ляжетъ, я почитаю...

— Читаешь?

— Немного... разглагольствованій, этихъ статей журнальныхъ не люблю... больше романы англійскіе и зады твержу.

— Какіе зады?

— А чему училась. Какъ же, Саша, вѣдь вотъ Миша и Оля подростутъ, надо будетъ съ ними заняться. Я хотѣла тебя разспросить, да отъ тебя толкомъ этихъ вещей не добьешься... ты дѣвицъ развивать мастеръ, а что для маленькихъ дѣтей требуется, ничего ты не знаешь...

— Ну а вечера?

— Вечера тоже идутъ скоро... Jean пьетъ чай, разсказываетъ, что у нихъ толковали въ управѣ, разные проекты, мнѣнія... Меня это интересуетъ, я вижу, что Jean во всемъ...

— Первая особа...

— Ну да, а то какъ же?... Разумѣется, первая

особа... Вотъ и сидимъ такъ, газеты принесутъ, Jean прочитаетъ вслухъ... статьи о желѣзныхъ дорогахъ, и все, что про земство. Кто-нибудь придетъ, пульку составимъ.

— Ты ужь играешь?...

— Ужасная, Саша, картежница... Да какъ же у насъ не играть, чѣмъ же занимать нашихъ барынь?

— Какъ чѣмъ: молодыя женщины не могутъ собраться и коротать время иначе, какъ за картами? Никакихъ другихъ интересовъ!

— Ахъ, Саша, вотъ ты и закричалъ сейчасъ: интересы! Это все по книжному! У каждой есть интересы дома, а вечеромъ не о философіи же разсуждать... Стриженыя дѣвки и у насъ завелись, тѣ сами по себѣ, пускай ихъ швальни устраиваютъ... А мы проводимъ время по старому, по-дворянски, какъ нашему званію прилично... амурными дѣлами, кокетствомъ мы не занимаемся... Молодые люди у насъ степенные... да, по правдѣ сказать, и мало какъ-то ищутъ дамскаго общества, все больше въ клубѣ... ну, мы и остаемся между собою... Намъ и лучше, и рядимся меньше... Поиграемъ, поболтаемъ кое о чемъ, да и разъѣдемся.

— Во что же играете, въ преферансъ?

— Ахъ, какой ты малолѣтній, Саша, это при царѣ Горохѣ играли въ преферансъ...

— Виноватъ, мой другъ, въ этомъ я — совершеннѣйшій неучъ...

— Въ стуколку играемъ, а такъ въ рамсъ.

— Въ рамсъ, это что такое?

— Очень простая игра, видишь... сдаютъ... да что я тебѣ стану разсказывать, ты вѣдь ничего не поймешь, да потомъ надо мной же начнешь подтрунивать... Погоди, кажется, звонокъ въ передней...

— Я ничего не слыхалъ.

— Это Миша съ нянькой. Я тебя хотѣла спросить... у него...

Дверь съ шумомъ отворилась; пожилая нянька въ бѣличьемъ салопѣ ввела мальчугана, пухлаго, бѣлаго, кудряваго, въ тулупчикѣ и огромныхъ мѣховыхъ сапогахъ.

— Вотъ и мама, — говорила нянька: — гдѣ же гостинчикъ-то? подай мамѣ гостинчикъ, батюшка.

Мальчуганъ вынулъ изъ кармана своего тулупчика баранку и поднесъ ее ухмыляясь Парашѣ: у него на лицѣ была уже такая же игра, какъ и у матери.

— Мамочка, гостинчикъ мнѣ принесъ!...

И Параша начала его усиленно цѣловать...

Крутицынъ любовался группой...

— А вотъ дядя пріѣхалъ, поцѣлуй его.

Мальчуганъ подставилъ Крутицыну свои щеки и сталъ, вытаращивъ глаза, разглядывать его.

— У него, Саша, вотъ что-то подъ язычкомъ... меня безпокоитъ... показывала я нашему Ѳедору Христіанычу. Онъ говоритъ: ничего, а я боюсь, какъ бы онъ не сталъ заикаться.

Параша подвела Мишу къ окну.

— Раскрой ротикъ.

Мишѣ эта операція не нравилась. Онъ проявилъ желаніе задать легкую дерябочку.

Крутицынъ погладилъ его по головкѣ, и заглянулъ подъ язычекъ.

— Ну, что? — спросила озабоченно Параша.

— Я то же скажу, что и Ѳедоръ Христіановичъ: ничего нѣтъ.

— Да вѣдь ты какой докторъ, только дипломъ имѣешь, а никогда ни одной козы не лѣчилъ.

— Могу тебя завѣрить, мой другъ, что не видно ни малѣйшей красноты.

— Я не красноты боюсь; а приросло что-то... ему трудно будетъ говорить.

— Ничего не приросло.

— Ему бы давно слѣдовало болтать, а онъ только еще бормочетъ кое-что.

— Говоритъ, матушка, что это вы! — вмѣшалась няня: — извѣстное дѣло, дитя... Объ эту пору много ли можетъ выговорить.., а что ему надо, все говоритъ, какъ есть...

Параша даже сморщила лобъ. Мальчуганъ вырвался и побѣжалъ къ дѣтской. Взглядъ матери провожалъ его до двери.

— Прелестный бутузъ! — сказалъ Крутицынъ: — только онъ на Ивана Ѳедоровича столько же похожъ, какъ и я, онъ — вылитая мать.

— Пустяки какіе, Саша. Ты нарочно меня хочешь сердить... Что же въ немъ моего? Развѣ однѣ ямочки на щекахъ, такъ у всѣхъ дѣтей бываютъ ямочки.

Въ передней раздался опять звонокъ.

X.

Явился Иванъ Ѳедорычъ. Крутицынъ могъ засвидѣтельствовать, что мужъ Параши цвѣлъ здоровьемъ и всяческимъ довольствомъ. Его небольшая, широкая, коренастая фигура была выточена изъ чего-то ядренаго и нестарѣющагося. Круглое лицо, румяныя щеки, лоснящійся синеватый подбородокъ, крупные бѣлые зубы, блестящіе черные, какъ смоль, усы и такіе же, коротко остриженные, немного вьющіеся волосы, составляли наружность

Ивана Өедорыча. Глаза были навыкатѣ, темнокаріе, съ большими вѣками и рѣзкими бѣлками. Въ костюмѣ сказывались крайняя чистоплотность и франтоватость, подъ которой опытный взглядъ сейчасъ узналъ бы отставнаго военнаго.

Онъ поздоровался съ Крутицынымъ радушно, но не по родственному. На его лицѣ трудно было, впрочемъ, различить оттѣнки выраженія: оно постоянно улыбалось улыбкой человѣка, который на все, кромѣ своей собственной особы, смотритъ съ кондачка. Они были съ Крутицынымъ на вы. Параша, какъ только пришелъ мужъ, начала умильно ухмыляться и то и дѣло на него взглядывала. Словоохотливость ея тотчасъ же значительно сократилась.

— Слышалъ, любезнѣйшій Александръ Павловичъ, что отправляетесь на выставку, въ качествѣ корреспондента... и даже, если я не ошибаюсь, агента какого-то дома?

Иванъ Өедоровичъ проговорилъ это, садясь за столъ съ особой, ему свойственной развязностью и вмѣстѣ съ тѣмъ серьезностью, не то добродушнымъ, не то поощрительнымъ тономъ. Кончивши, онъ перекусилъ пирожокъ и сдѣлалъ три скорыхъ хлебка супу.

Крутицынъ ограничился наклоненіемъ головы.

— Благое дѣло, — продолжалъ Иванъ Өедоровичъ: — въ теоріи вамъ не повезло, надо за практику приниматься... Такое теперь время... Нужны дѣятели, нужны-съ. Вотъ вы наглядитесь тамъ разныхъ аппликацій (Иванъ Өедоровичъ любилъ иностранныя слова) и примѣните ихъ дома. У насъ теперь обширное поле для всякой работы... Хотимъ все имѣть собственными средствами...

— Вотъ и я тоже говорю ему, Jean, — замѣтила Параша: — чтобы земству-то послужилъ...

— Хе, хе... Чернорабочимъ-то Александру Павловичу быть нежелательно... А безъ нашихъ земскихъ трудовъ,

позвольте спросить, что же станется съ вашимъ высшимъ прогрессомъ? Вотъ у славянофиловъ такой эпиграфъ былъ кажется: «коли корень крѣпокъ, такъ и дерево совершенно...» Нынче одними выспренними мечтаніями много не возьмешь. Нѣтъ, пускай каждый, кто считаетъ себя умнѣе и ученѣе другихъ, попотѣетъ такъ, какъ мы потѣемъ... Надо сѣсть на мѣстѣ, заявить себя членомъ общества, довѣріе и извѣстный почетъ пріобрѣсти, и тогда только нашъ братъ имѣетъ право, безъ ложной скромности, сказать: «во мнѣ есть толкъ, я столько-то стою, какъ говорятъ наши заатлантическіе друзья, американцы...» Такъ ли я сужу, любезнѣйшій Александръ Павловичъ, или по вашему, быть-можетъ, все это мѣдь звенящая!

Иванъ Ѳедоровичъ выставилъ всѣ свои бѣлые зубы и откинулся на спинку стула.

— Всеблагая истина, — отвѣтилъ съ тихой улыбкой Крутицынъ, занятый очищеніемъ отъ кости окуня подъ краснымъ соусомъ.

«Неужели это онъ готовилъ для меня сей спичъ?» подумалъ Крутицынъ и взглянулъ на лицо Параши: она внимала мудрымъ рѣчамъ мужа. Ротъ у ней даже полураскрылся, точно желалъ глотать каждое слово.

Иванъ Ѳедоровичъ былъ въ особенномъ ударѣ. Онъ излагалъ Крутицыну свои земскіе планы съ снисходительною обстоятельностью и мнѣнія его не спрашивалъ; а Крутицынъ только поддакивалъ и заставлялъ его говорить. Параша продолжала внимать.

— Мы здѣсь образуемъ маленькій, но солидный кружокъ работящихъ людей, — объявилъ Иванъ Ѳедоровичъ за пирожнымъ. — Вотъ сегодня, если не побрезгуете нашимъ хлѣбомъ-солью, увидите кое-кого. По судебной реформѣ есть молодые люди отлично умные и съ принципами твердыми... Дѣльцы въ полномъ смыслѣ слова... Да, тутъ не можетъ быть и тѣни сомнѣнія, настало

время земскихъ дѣятелей... Идей съ насъ довольно. Намъ газъ, водопроводы, взаимное страхованіе, желѣзные пути нужны, а прочее все одно умничанье. Гг. теоретики и благодѣтели рода человѣческаго могутъ повременить со своими разглагольствованіями.

— Ну, а газомъ-то скоро освѣтите тетушкинъ переулокъ? — перебилъ его Крутицынъ.

Иванъ Ѳедоровичъ небрежно улыбнулся.

— Елена Петровна все надъ нами посмѣивается. Газъ у нея будетъ непремѣнно, но прежде того надо другимъ нуждамъ удовлетворить... Тетушкѣ вашей не вѣрится, что можно на свои средства добиться блистательныхъ результатовъ-съ! Разумѣется, время Елены Петровны прошло... Сантименты и всякіе идеалы... а въ концѣ концовъ выходитъ пшикъ!

Крутицынъ взглянулъ съ боку на Ивана Ѳедоровича и выговорилъ не торопясь:

— Такъ, стало быть, газъ-то скоро будетъ?

Иванъ Ѳедоровичъ покраснѣлъ, но улыбка тотчасъ же явилась на красныхъ губахъ.

— Къ вашему возвращенію зажжется и газъ!...

Параша сперва испуганно взглянула на Крутицына, потомъ на мужа: ей показалось, что они побранятся; но Крутицынъ доѣдалъ спокойно свое пирожное, а супругъ закуривалъ сигару и продолжалъ улыбаться.

— Ты, Саша, — сказала она Крутицыну: — вѣдь помнишь, Jean послѣ обѣда отдыхаетъ, онъ съ тобой безъ церемоніи.

— Трудовому человѣку отдыхъ нуженъ... Это и по Молешоту такъ выходитъ! — возвѣстилъ Иванъ Ѳедоровичъ, крякнулъ, вставая изъ-за стола, и минуты черезъ двѣ удалился къ себѣ въ кабинетъ.

«Молешота-то зачѣмъ онъ тутъ припуталъ?» спросилъ про себя Крутицынъ, идя за Парашей въ ея спальню.

Имъ подали кофе. Параша суетливо стала наливать и класть сахаръ въ чашку. Когда дѣвушка ушла, она погрозила Крутицыну пальцемъ и сказала:

— Злой ты, Саша, мужа моего совсѣмъ не любишь.

— Чѣмъ же я провинился?

— Ты словами-то и тономъ ничего, тихонькій; да я ужь видѣла, какъ ты слушалъ, когда Jean тебѣ разсказывалъ и какъ ты его перебилъ насчетъ газа... Онъ, правда, къ мамѣ строгонько относится. Онъ такой практическій человѣкъ, а она восторженная.

— Тетушку-то лучше бы оставить въ покоѣ.

— Да вѣдь это онъ такъ, къ слову пришлось... Нѣтъ, ужь ты, голубчикъ Саша, не огорчай меня.

— Чѣмъ же?

— Мы съ мужемъ, какіе ни на есть, а живемъ-себѣ, какъ я и тебѣ желаю... Ты обзаведись-ка семьей, да сдѣлай такъ, чтобы у тебя было солидное положеніе... вотъ ты и увидишь тогда, что это потруднѣе, можетъ быть, чѣмъ...

И Параша остановилась. Глаза ея разгорѣлись, въ губахъ видна была дрожь; но щеки взяли свое и сложились въ улыбку.

— Да ты это на кого же сердишься? — спросилъ Крутицынъ, беря ее за подбородокъ: — ужь не на меня ли? За что же это, дружокъ? Не за то ли, что я такъ усердно уписывалъ твоихъ окуней и пирожное?.. Я не противорѣчу Ивану Ѳедорычу и, право, по совѣсти говорю тебѣ, что мнѣ весь складъ его мыслей, а главное самъ онъ замѣняетъ наилучшее житейское нравоученіе... Вы съ нимъ цѣльные люди... Это мы и съ тетушкой рѣшили.

— Да ты все это говоришь съ ироніей...

— Нимало.

— И ты Jean'а моего уважаешь?

— Весьма.

Параша поцѣловала его.

— Если ты со мной хитришь, тебѣ же хуже... Ну, теперь я тебѣ покажу Олю съ кормилицей.

Она ушла въ дѣтскую, откуда Крутицынъ слышалъ уже пискъ.

«Параша очень перемѣнилась», думалъ онъ, «но къ худшему ли? Это — вопросъ. Она нашла свою норму. Ей нужно было Ивана Ѳедорыча. Да и чѣмъ онъ, въ самомъ дѣлѣ, плохъ? Вѣритъ въ *себя*, идетъ по твердой почвѣ, подавляетъ нашего брата своимъ житейскимъ превосходствомъ, всякое лыко ставитъ въ строку и не считаетъ свою науку ниже нашей... Онъ зубрилъ въ артиллерійской академіи какую-нибудь «Баллистику» или «Теорію повозокъ», отнюдь непригодныя въ вопросахъ самоуправленія; но это нисколько не смущаетъ его... Онъ знаетъ, что онъ «земецъ» и всякая премудрость должна ему открыться: только будь дѣльцомъ»...

Дверь изъ дѣтской отворилась, и «чадо» предстало предъ Крутицынымъ на рукахъ колоссальной кормилицы въ шугаѣ и парчевомъ кокошникѣ, съ роскошными локтями и очень масляными глазами. Параша конвоировала процессію.

Крутицынъ нагнулся надъ дѣвочкой, въ кружевномъ чепчикѣ и нарядной боветкѣ.

— Видишь, Саша, выпрямляется носикъ... совсѣмъ какъ у Ивана Ѳедорыча.

«Кусокъ мяса», подумалъ Крутицынъ, «и носа-то никакого нѣтъ»; но кивнулъ головой, въ знакъ согласія.

Параша любовно всматривалась въ «кусокъ мяса». Кормилица выпятила губы и чмокнула въ воздухъ, подмигнувъ правымъ глазомъ. Въ созерцаніи прошло добрыхъ пять минутъ, послѣ чего чадо было препровождено въ дѣтскую.

— Я немного прилягу,— сказала Параша Крутицыну, примащиваясь къ кровати...—ты мнѣ разскажи про себя-то побольше, а то завтра, гляди, улетишь, такъ ничего толкомъ отъ тебя и не узнаешь.

Крутицынъ началъ ей разсказывать; но минутъ черезъ десять увидалъ, что Параша заснула... Онъ не обидѣлся; только тихо разсмѣялся и вышелъ изъ спальни.

Онъ засталъ Елену Петровну за чаемъ.

— Стала любить въ сумеркахъ чайку напиться, Саша, вотъ какія старушечьи затѣи.

Такъ она оправдывала свое невинное «чревоугодіе».

— И я съ вами попью, — напросился Крутицынъ.

— Ну, что Параша и супругъ? — спросила съ грустной улыбочкой тетушка.

— Да оба започивали.

— Супругъ, конечно, тотчасъ же изъ-за стола, а Параша...

— И она не вытерпѣла — заставила меня разсказывать о себѣ, да и прикурнула...

— Это — беременность... Такъ-то она вѣдь все на ногахъ... а кончитъ тѣмъ, что станетъ и безъ беременности спать по послѣ-обѣдамъ... Читать она не охотница, желанія ея всѣ исполнены, говорить не съ кѣмъ, мечтать и подавно не о чемъ. Ну, и разваляется и расплывется... Ты вотъ что мнѣ скажи: какъ Иванъ Ѳедорычъ тебя принялъ?

— Ничего, излагалъ все свои земскіе планы.

— Такъ, такъ, министръ... одно слово...

— И просилъ сегодня на вечеръ... Хвалился кружкомъ солидныхъ молодыхъ людей, съ принципами твердыми.

— Ты пойдешь?.. Пойди, пойди, хоть ненадолго, а то Параша огорчится.

— Что же за народъ у нихъ собирается?

— Да такой же, какъ самъ Иванъ Ѳедорычъ... знаешь, судейскіе эти нынѣшніе, изъ правовѣдовъ... по гласности-то... Одинъ особенно... разглагольствуетъ... Какъ бишь его фамилія, все забываю... Они дѣло дѣлаютъ, — кто говоритъ, — да ужь очень себя-то величаютъ... Такъ въ каждомъ жестѣ и чувствуется, какъ они отечество спасаютъ... И сушь какая, Господи Боже мой!... Какой-нибудь птенецъ, только со скамейки соскочилъ, а вѣдь по сухости, что твой Талейранъ... Ни одного слова не вымолвитъ отъ сердца... молодость бы показалъ, немножко бы увлекся чѣмъ-нибудь... Для одного земство, для другаго окружной судъ, а все остальное — бредни и глупости; вотъ ты увидишь.

— Такъ всегда бываетъ, голубушка, когда что-нибудь вновь...

— Положимъ, что и такъ, да вѣдь человѣкъ-то всегда человѣкомъ оставаться долженъ... Неужели весь міръ промѣнять на какой-нибудь окружной судъ?.. Будь дѣльцомъ, да хоть крошечку имѣй... молодаго-то, искренняго... поэзіи хоть капельку... а то въ двадцать-два года мальчикъ бакенбарды отроститъ и Ѳемиду изъ себя представляетъ. Я-де правосудіе и выше моего званія ничего нѣтъ!

Щеки Елены Петровны разгорѣлись... Она оставила чашку и сняла съ головы черную кружевную косынку.

— И говорите вы все это Ивану Ѳедорычу? — спросилъ Крутицынъ.

— Нѣтъ, дружокъ!.. Не желаю, чтобы онъ на меня фыркнулъ — стара я... Больше помалчиваю, но улыбаться тому не улыбаюсь, что мнѣ не по вкусу... Да и зачѣмъ бы я стала свои взгляды высказывать? — Ни Ивана Ѳедорыча и ни тѣхъ, кто на него похожъ, не передѣлаешь... Парашу хотѣлось бы иначе направить; но она совершенно въ рукахъ мужа... скоро разучится и ѣсть-то по-своему,

не то что ужь говорить... Ты навѣрно ужь замѣтилъ, какіе она по этой части успѣхи дѣлаетъ.

— Порядочные...

— Вмѣшиваться я не имѣю права, да и то сказать: она въ блаженствѣ обрѣтается, чего же еще больше? И женскимъ своимъ обществомъ не нахвалится...

— Это барынями-то, что въ рамсъ играютъ?

— А ты какъ знаешь?

— Она мнѣ сегодня говорила.

— Ну, извѣстное дѣло... безъ картъ онѣ погибли...

— Молодыя женщины!..

— Тебя это возмущаетъ?.. И я, признаюсь тебѣ, до сихъ поръ не могу съ этимъ помириться... Цѣлые вечера просиживаютъ за картами... бабенки двадцати — двадцати-пяти лѣтъ... неужели онѣ ушли дальше насъ, сантиментальныхъ дуръ, тѣмъ, что въ стуколку навострились и по пятнадцати рублей въ вечеръ выигрываютъ?.. Да это бы еще ничего... Коли въ себѣ не чувствуешь никакого... какъ бы это сказать...

— Душевнаго содержанія?

— Да, да... игривости, ума, поэзіи, такъ надо хоть рамсомъ коротать время; но ужь тогда такъ бы на себя и смотрѣть слѣдовало... А то нѣтъ: строгость непомѣрная, такъ и рѣжутъ. Все у нихъ глупо, смѣшно, вздорно, что хоть чуточку отзывается чѣмъ-нибудь повыше ихъ рамса и баветокъ дѣтскихъ... И съ добродѣтелью своей тоже носятся, точно съ писаной торбой... Надѣла на себя чепецъ, и давай на весь свѣтъ фыркать... И эта распутная, и та распутная, и то безнравственно, и это неприлично... Про наше время Богъ-знаетъ что толкуютъ... Мы, видишь ли, Жоржъ-Занда все читали и были скверными матерями, а онѣ материнство все полагаютъ въ пичканьѣ да въ купаньѣ, а какъ будутъ-то воспитывать — ужь не знаю!.. Коли онѣ добродѣтельны, такъ прежде всего наблюдали бы еван-

гельскую заповѣдь всепрощенія, не подражали бы фарисеямъ и своими бы добродѣтелями не кичились... Ну, да ужь Богъ съ ними! Поговоримъ о другомъ, Сашенька. Вотъ сегодня пойдешь, самъ разглядишь лучше меня... Я тебѣ повторю просьбу Параши: поразскажи-ка еще о себѣ и о поѣздкѣ своей, не бойся—я не засну...

И дѣйствительно Елена Петровна не проронила ни одного словечка. Она любила слушать Крутицына. Пробило восемь часовъ, а они все-еще сидѣли на диванчикѣ и тетушка задавала ему полегонечку короткіе вопросцы.

— Ну, пора тебѣ, — сказала она ему въ половинѣ девятаго: — попріодѣнься немножко... Хоть барыни-то и картежницы, а все испанцемъ явись передъ ними, авось оставятъ карты-то...

Крутицынъ нашелъ у Параши трехъ барынь. Онѣ ужь сидѣли вчетверомъ за зеленымъ столомъ. Параша представила его; но гости были такъ поглощены игрой, что занимать ихъ оказалось лишнее. Онъ оглядѣлъ этихъ «стукольщицъ» и нашелъ, что на всѣхъ лежитъ печать сухой чопорности и безмятежнаго довольства... Ему тотчасъ же сдѣлалось необычайно скучно. Одна была недурна, но ея пухлое и улыбающееся лицо отзывалось чѣмъ-то овечьимъ... Добродѣтелью дѣйствительно пахло отъ всѣхъ, но большаго содержанія не значилось...

Перешелъ Крутицынъ въ кабинетъ Ивана Ѳедоровича. Тамъ его познакомили съ длиннымъ, сухимъ молодымъ человѣкомъ, почти юношей, во фракѣ и жилетѣ съ огромнымъ выемомъ.

— Нашъ товарищъ прокурора, Петръ Петровичъ Кандауровъ, — отрекомендовалъ съ особеннымъ вкусомъ Иванъ Ѳедоровичъ.

Крутицынъ оглядѣлъ прокурора, его желто-пепельные зачатки бакенбардъ, тонкія губы и стоячій, высочайшій

воротничекъ, и тутъ-же почувствовалъ, что вѣрно объ этомъ «жрецѣ правосудія» говорила тетушка.

Было въ кабинетѣ и еще человѣка три, служащихъ по земству, съ помѣщичьими лицами. Они кричали о чемъ-то, что наканунѣ случилось въ управѣ. Примкнуть къ ихъ разговору не было рѣшительно никакой возможности. Приходилось бесѣдовать съ прокуроромъ. Да Крутицыну и хотѣлось немножко разсмотрѣть этотъ экземпляръ.

Иванъ Ѳедоровичъ усиленно занимался своимъ гостемъ, и въ пятый, по крайней мѣрѣ, разъ повторилъ:

— Такъ что же новенькаго у васъ, Петръ Петровичъ?

— Обвиняемъ, помаленьку, обвиняемъ-съ, — отвѣтилъ женоподобнымъ картавымъ голосомъ прокуроръ, силясь придать себѣ басистую интонацію.

— И хорошо идетъ? — допрашивалъ Иванъ Ѳедоровичъ.

— Идетъ прекрасно-съ... У насъ слѣдователи имѣютъ esprit de corps... Университетскихъ намъ не надо... тѣ все философствуютъ, а прокурорскій надзоръ долженъ быть поддержанъ слѣдователями такъ, чтобы это шло... comme sur des roulettes...

Юный жрецъ правосудія указалъ рукой, какъ долженъ идти прокурорскій надзоръ... Иванъ Ѳедоровичъ выставилъ всѣ зубы отъ внутренняго удовольствія...

— Общественная совѣсть... la conscience publique... тогда только можетъ быть удовлетворена, когда ея представители... я разумѣю члены прокурорскаго надзора... держатъ въ рукахъ своихъ... всѣ орудія вмѣненія...

Иванъ Ѳедоровичъ внималъ, а Крутицына начинало подмывать. Онъ, однако, еще удерживался.

— Мы хотимъ на первыхъ же порахъ, — продолжалъ картавить прокуроръ: — поставить наше сословіе... la magistrature... выше всякихъ претензій... du barreau...

— Адвокатуры, — перевелъ Иванъ Өедоровичъ.

— Да, адвокатуры... Вотъ въ Москвѣ уже явились молодые люди...

«А который вамъ годъ?» завертѣлось на языкѣ у Крутицына; но онъ опять удержался.

— Эти скороспѣлыя знаменитости воображаютъ, что главное — barreau... и позволяютъ себѣ неприличную полемику съ особами прокурорскаго надзора... Что такое адвокатъ?.. Это простое частное лицо, и никогда не должно забывать, что оно стоитъ передъ тѣми, кто представляетъ собою принципъ вмѣненія...

— А позвольте спросить, — перебилъ его Крутицынъ: — какъ бы вы назывались... хоть бы во Франціи?

— То-есть какъ это я?..

— Во французскомъ переводѣ ваше званіе: substitut de l'avocat impérial.

— Ну, такъ что-же-съ? — выговорилъ выпрямившись прокуроръ.

— Вы видите, стало быть, что члены прокурорскаго надзора — тѣ же адвокаты, только они говорятъ отъ имени правительства...

Иванъ Өедоровичъ такъ взглянулъ на Крутицына, точно хотѣлъ сказать: «ну, что ты тутъ суешься, гдѣ тебѣ тягаться съ дѣльцами?»

— Во Франціи, — заговорилъ прокуроръ: — мы должны взять за образецъ духъ... магистратуры... тамъ прокурорскій надзоръ — всесиленъ... и никакой недоучившійся студентъ не осмѣлится однимъ словомъ задѣть les prérogatives du ministère public.

— И вамъ это, конечно, нравится? — справился Крутицынъ.

— Только тогда общественная совѣсть и будетъ... dignement représentée, когда вмѣненіе пойдетъ...

— Comme sur des roulettes, — подсказалъ Крутицынъ.

— Да-съ, — отрѣзалъ прокуроръ и слегка покраснѣлъ.

Глаза Ивана Ѳедоровича пренебрежительно смотрѣли на Крутицына и только губы, по привычкѣ, улыбались.

— Извините меня, — началъ Крутицынъ смиреннымъ тономъ, пододвигаясь къ прокурору: — я не спеціалистъ вашего дѣла, но меня поражаетъ въ вашихъ словахъ вотъ какая вещь: вы смотрите на судъ, какъ на какую-то государственную регалію... какъ на нѣчто безусловное... По вашему выходитъ, будто не судъ учрежденъ для подсудимыхъ, а подсудимые для суда...

— Какъ это? Я васъ не понимаю-съ.

— Да какъ же: вы ставите выше всего прокурорскій надзоръ?

— Ну, да...

— И называете его представительствомъ общественной совѣсти?

— Кто-жь въ этомъ сомнѣвается?!..

— Цѣлыя націи... Въ Англіи бы вы назывались совѣтникомъ королевы и были бы просто-напросто адвокатомъ, защищающимъ интересы короны... и не думали бы изображать собою общественную совѣсть...

— Je proteste! — воскликнулъ прокуроръ.

— Сколько вамъ угодно: я не хочу пускаться съ вами въ тонкости юриспруденціи; мнѣ хотѣлось только разъяснить вашъ взглядъ на дѣло...

— Вы, быть-можетъ, изъ тѣхъ, которые не признаютъ вовсе права вмѣненія?

— А вамъ нужно это знать?

— Очень нужно-съ... У насъ въ обществѣ уже столько разрушительныхъ принциповъ... и наше призва-

ніе... je parle du ministère public... всячески бороться съ такими законопреступными воззрѣніями.

— Стало быть, и воззрѣнія могутъ быть законопреступны?

— Конечно-съ.

— Ну, такъ я попридержу языкъ за зубами, — сказалъ смѣясь Крутицынъ: — а то вы, пожалуй, по долгу службы принуждены будете меня арестовать...

— Вы его извините, — вмѣшался покровительственно Иванъ Ѳедоровичъ, указывая прокурору на Крутицына: — онъ мечтатель... на высотахъ все больше паритъ, вотъ ему нашъ братъ, дѣлецъ, и не по вкусу приходится...

Прокуроръ снисходительно усмѣхнулся,

— Вопросъ о вмѣняемости и правѣ наказывать... c'est vieux comme le monde... — заговорилъ онъ, покачивая правой ногой, закинутой на лѣвую. — Есть теоріи... вотъ хоть бы теорія психическаго принужденія...

Глаза Ивана Ѳедоровича заискрились отъ довольства; гость просто приводилъ его въ телячій восторгъ.

— Какъ вы сказали, — спросилъ онъ даже съ робостью: — психическаго?

— Принужденія... это философія права...

— Такъ, такъ, — поддакивалъ Иванъ Ѳедоровичъ.

— Теорія эта развита была Фейербахомъ...

— Позвольте, Фейербахъ, — перебилъ Иванъ Ѳедоровичъ: — вѣдь это одной шайки съ Молешотомъ? Молешотъ, Фейербахъ... вотъ еще Бюхнеръ...

— Это другой Фейербахъ, — рѣшилъ прокуроръ.

— И онъ стоялъ, значитъ, за настоящее дѣло? — освѣдомился Иванъ Ѳедоровичъ.

— Много есть другихъ теорій, — продолжалъ прокуроръ: — но всѣ авторитеты согласны...

— Стало быть, и толковать нечего, — выговорилъ

съ тихой улыбочкой Крутицынъ и отошелъ къ группѣ земцевъ.

У нихъ все-еще шелъ горячій разговоръ, но уже больше объ уѣздныхъ новостяхъ.

— Нѣтъ, каковы Оболдуевцы, — кричалъ бородатый, приземистый земецъ, должно быть изъ кавалеристовъ: — по двѣ тысячи пятисотъ закатили членамъ... А теперь тамъ бывшій голова Плѣшковской волости засѣдаетъ... Ну на что ему, подлецу, двѣ тысячи пятьсотъ рублей?...

Крутицынъ отошелъ и отъ земцевъ. Въ залѣ встрѣтилъ онъ Парашу.

— Мы кончили первую пульку, — сказала она ему на ходу: — пойди пока полюбезничай съ дамами.

Но онъ ужаснулся этого предложенія, и пошелъ опять въ кабинетъ. Его одолѣвала особая, непривычная скука шатанья изъ угла въ уголъ, безъ всякой надежды куда-нибудь приткнуться.

Въ кабинетѣ составилась партія. Прокуроръ съ Иваномъ Ѳедоровичемъ и съ двумя земцами сѣли въ рамсъ; оставался еще третій земецъ.

«Неужели я его буду занимать?» съ ужасомъ подумалъ Крутицынъ, и тотчасъ же допросилъ себя: «не играю ли я во что-нибудь?»

Нѣсколько минутъ вспоминалъ онъ, и вспомнилъ-таки, что имѣлъ нѣкоторое наивное понятіе о пикетѣ.

Земецъ пододвинулся уже къ нему, и спросилъ:

— Изъ Питера изволили прикатить?

— Изъ Москвы, — отвѣтилъ Крутицынъ, и поторопился добавить: — у васъ партнера нѣтъ?

— Да я ничего, вотъ съ полчасика подожду, за кого-нибудь поиграю.

— Если вамъ угодно... Я плетусь кое-какъ въ пикетъ...

— И разлюбезное дѣло!.. Это моя любимая игра... Мы вотъ тутъ и сядемъ... вы по маленькой?..

— По самой маленькой...

— И я также... чтобы, знаете, не на шереметевскій только...

«Вотъ и я за картами,» говорилъ про себя Крутицынъ, и почувствовалъ: «какое благодѣяніе — карты, если судьба закинетъ въ бытовой станъ, гдѣ процвѣтаютъ Иваны Ѳедоровичи.»

Сидѣлъ Крутицынъ цѣлыхъ два часа, игралъ отвратительно, и выигралъ четыре рубля пятнадцать копѣекъ. Онъ съ какимъ-то дѣтскимъ самодовольствомъ положилъ эти деньги въ кошелекъ.

Подали ужинъ. Прокуроръ обращался къ дамамъ по-французски. Дамы отвѣчали вокабулами. Оказалось, что онѣ — жены трехъ земцевъ. Партнеръ Крутицына началъ прохаживаться насчетъ остротъ совершенно мѣстнаго свойства. Параша и ея гостьи громко смѣялись. Потомъ мужчины опять заговорили объ управѣ, а въ женскомъ углу пошелъ толкъ о Мишѣ, Машѣ, Олѣ, Гришѣ, Митѣ, Сашѣ и Митрошѣ. Перебраны были всѣ няньки и кормилицы поименно, и обсуждены ихъ качества, жаловались на поднятіе цѣнъ гувернантокъ и на непомѣрныя требованія прислуги... И такъ лились рѣчи у всѣхъ, что мужской любезности некуда было бы и словечка вставить.

Ужинъ далъ Крутицыну не то головную боль, не то отяжелѣніе мозга. Онъ вдругъ отупѣлъ, сѣлъ въ кабинетѣ курить, глядѣлъ на красныя лица земцевъ, на песочные бакенбарды «представителя общественной совѣсти», воспринималъ зрительныя впечатлѣнія, но думать ни о чемъ не могъ...

Только, когда онъ очутился на улицѣ, морозъ заставилъ его встрепенуться.

«Молодые люди съ принципами твердыми,» повторялъ

онъ фразу Ивана Ѳедоровича: «да, очень твердыми... Но что бы изъ меня осталось черезъ двѣ недѣли, еслибъ меня запереть въ одну клѣтку съ этими молодыми людьми?... Я бы запилъ...»

Поворачивая въ переулокъ къ тетушкѣ, Крутицынъ думалъ:

«Счастливцы! Какъ они между собою спѣлись! Какая чистота и опредѣленность міровоззрѣнія, нуждъ, позывовъ и задора! Любодорого смотрѣть. Какъ радъ Иванъ Ѳедорычъ, что онъ узналъ о теоріи психическаго принужденія, и о томъ, что сочинитель ея Фейербахъ, да не изъ «шайки» Молешота, а другой... Ему до этого, въ сущности, никакого дѣла нѣтъ, а онъ все-таки радъ... И субститутъ доволенъ, что онъ особа ministère public, и что прокурорскій надзоръ пойдетъ у нихъ въ губерніи comme sur des roulettes... И аппетитъ у всѣхъ прекрасный... На ночь ѣдятъ утку съ груздями и запиваютъ квасомъ... А эти «земскія жены»! Ничего имъ не нужно... *Ничего*... Вѣдь это значитъ достичь полнаго самопознанія и самоотожествленія... Мужья у нихъ есть, у каждой мужъ здоровый, красивый, плечистый, есть Миши и Саши, есть кормилицы и няньки... и ни одна лукавая мысль не забредетъ имъ въ голову, ни во снѣ, ни на яву. Онѣ не только дышутъ, пахнутъ добродѣтелью, но онѣ подавляютъ ею... Страшно становится прикасаться къ этой добродѣтели, того и гляди замараешь ее однимъ звукомъ, однимъ трепетаніемъ мозговаго фибра... Что ты такое въ ихъ глазахъ?.. Шатунъ, бобыль, шальная голова, хуже того: срамишь дворянское званіе, отыскивая работишки у кого ни попало... Только славянская мягкость даетъ ихъ тону и обхожденію такой мало-обидный складъ, а прибавь имъ пигмента, пускай они почувствуютъ дѣйствительную опасность отъ прикосновенія всеразъѣдающей идеи, они покажутъ тебѣ: что такое быть отщепенцемъ,

не преклоняться передъ ихъ премудростію, не держаться за ихъ жизненные устои...»

Крутицынъ остановился, спохватившись, что онъ пришелъ уже домой.

XI.

Въ домикѣ Елены Петровны стояли тишина и безмолвіе. Въ передней дремалъ Евстигней, свѣсившись надъ столикомъ съ потухающимъ ночникомъ.

Крутицынъ вошелъ въ нее такъ тихо, что старикъ не проснулся. Такъ же тихо поднялся Крутицынъ и наверхъ. На площадкѣ онъ остановился, что-то ощупалъ въ карманѣ жилета, вынулъ оттуда ключъ, отперъ дверь и переступилъ порогъ комнаты, куда тетушка не хотѣла помѣщать его.

Комната смотрѣла жилой, хотя никто ужь не жилъ въ ней больше пяти лѣтъ. Занавѣски, пологъ кровати, чахлы на мебели были такой чистоты, точно ихъ сегодня только обновили. Въ простѣнкѣ стояло палисандровое піанино. Въ углу — трельяжъ съ плющемъ, рабочій столикъ и на немъ ящичекъ изъ желтой кожи. Надъ турецкимъ диванчикомъ висѣлъ большой фотографическій портретъ Крутицына въ круглой орѣховой рамкѣ. Онъ поставилъ свѣчу на туалетъ краснаго дерева, со старинной рѣзьбой, сѣлъ на диванчикъ и опустилъ голову.

Такъ просидѣлъ онъ нѣсколько минутъ. Вся повѣсть молодой страсти и первыхъ страданій предстала предъ нимъ и больно колола его сердце. Тутъ, въ этой дѣвичьей комнатѣ, полюбилъ онъ любимицу тетушки, Варю,

черноокую, загадочную, нервную, поэтическую. Студентомъ онъ не мечталъ объ ней и даже долго не могъ привязаться къ ней такъ, какъ къ простой, мягкой, безмятежной Парашѣ. Парашу онъ называлъ своей «будущей женой» и совсѣмъ было-успокоился на этомъ рѣшеніи. Но вышло по другому. Варя стала быстро выростать нравственно, и ея натура сказывалась въ обаяніи пылкости, каприза, оригинальности. И красота ея развивалась не по днямъ, а по часамъ. Красота эта вдругъ запала въ душу Крутицына, и Елена Петровна разъяснила ему его чувство. Она была этому глубоко рада. Она говорила ему, что Варя способна оцѣнить его, что въ ней онъ найдетъ то, чего не достаетъ въ Парашѣ. И онъ вѣрилъ этому, онъ самъ не взвидѣлъ, какъ имъ охватила страсть, и невозможно уже было сдержать ее дальнѣйшимъ анализомъ, разсудочнымъ наблюденіемъ. Варя и прежде, несмотря на то, что между нею и Парашей былъ условленъ выходъ Параши за Крутицына, проявляла, вспышками, болѣе чѣмъ родственную симпатію къ своему «развивателю». Крутицынъ былъ все тотъ же съ обѣими дѣвочками, а Варя очень измѣнчива съ нимъ: то суха, то порывисто-ласкова. И когда онъ полюбилъ ее, она приняла его страсть, какъ должное, какъ запоздалую дань. Онъ отдался ей съ серьезностью и душевнымъ порывомъ человѣка мысли и дѣла и... едвали не на третій день супружества увидалъ, что посадилъ къ своему очагу даровитое, прелестное, но тревожное, измѣнчивое дитя... Драма пахнула на него сквозь пылкія ласки его подруги... Жизнь требовала труда и скромной доли. Варя способна была все понять въ стремленіяхъ и работахъ мужа; но и только. Легкое и быстрое пониманіе не переходило въ прочное сострастіе съ выдержкой и жертвой. Явилась скука, а за ней недовольство, хандра, затѣи, попреки, эгоизмъ тревожнаго темперамента. Крутицынъ удвоилъ свою мягкость.

Ему отвѣчали насмѣшками, равнодушіемъ къ его душевному добру, все новыми и новыми требованіями чего-то пикантнаго, поэтическаго, неожиданнаго. Его находили прѣснымъ, слащавымъ, наклоннымъ къ «pot-au-feu» и, наконецъ, скучнымъ... Какъ только это роковое слово было выговорено, началось супружеское мученичество, ежедневное и безъисходное... Разрыва ему не объявляли, не говорили даже, что любви больше нѣтъ, что есть только формальная связь... Его даже ласкали иногда попрежнему, но вслѣдъ за этими чувственными вспышками шли недѣли равнодушія, ѣдкихъ намековъ, сухой прозы молчанія или крикливыхъ сценъ, гдѣ гистерія мѣшалась съ душевнымъ огрубѣніемъ и поисками того «нѣчто», котораго не оказывалось у мужа. Потомъ насталъ періодъ утомленія и нѣкотораго спокойствія. Явились порыванья къ художественнымъ наслажденіямъ, къ диллетантству. Крутицынъ обрадовался, что нервная пустота чѣмъ-нибудь наполняется. Съ особымъ удовольствіемъ платилъ онъ за дорогіе уроки пѣнія Вари. Учитель ея, молодой итальянецъ, открылъ въ ней необычайный талантъ. Она расцвѣла. Уроки длились шесть недѣль; на седьмую, Крутицынъ остался одинъ «у очага». Жена сбѣжала съ итальянцемъ. Извѣстила она его объ этомъ безсердечно, злобно, почти цинически. Но горечь и обида не ожесточили его. Онъ сказалъ сейчасъ же: «я самъ виноватъ, и долженъ безропотно носить рога». И полгода не зналъ, куда ему дѣваться: горе ѣло его, и еслибъ не любовь Елены Петровны, онъ плохо бы кончилъ. Черезъ полгода онъ узналъ, что бѣглянка покинута своимъ возлюбленнымъ и лежитъ больная. Онъ нашелъ ее. У ней ужь началось то, что свѣтскіе врачи называютъ «легочнымъ катарромъ». Повезъ онъ ее за-границу, на югъ, жилъ тамъ съ нею, лечилъ, ухаживалъ, кормилъ изъ рукъ, закрылъ глаза... и вернулся уже настоящимъ вдовцомъ. И все это *было*... и послѣ страданій, жертвъ, словъ и

дѣлъ, гдѣ онъ ни одной секунды не думалъ о своемъ «я», все-таки вставалъ какой-то упрекъ.

«Виноватъ!» повторилъ Крутицынъ «гнался за счастьемъ, торопился быть любимымъ, пріобрѣталъ себѣ навѣки закрѣпощенную сожительницу...»

Въ полутьмѣ комнаты ему точно видѣлся образъ Вари, такъ, какъ она стояла передъ нимъ въ тотъ мигъ, когда онъ ей сказалъ про любовь свою. Было это лѣтнимъ вечеромъ. Въ окнѣ пылало зарево заката. Ея роскошные волосы, падая густыми, разметанными локонами на грудь, прикрытую легкимъ барежевымъ платьемъ, скрывали краску стыда и радости. Она опустила ему обѣ руки на плечи, долго глядѣла ему въ глаза и прикоснулась нѣсколько разъ горячими устами къ его лбу.

«Только одинъ мигъ и былъ счастливъ,» шепталъ онъ про себя, отирая невольно скатившуюся слезу.

Взглядъ на бѣлую кровать вызвалъ другой образъ. Лежитъ она съ красными пятнами на желтыхъ щекахъ, съ зіяющими впадинами глазъ, въ жару послѣдняго истощенія и тѣлеснаго усилія, мечется, и все еще хочетъ жить, сердится на него за то, что не даетъ ей встать и быть «совсѣмъ здоровой».

Послѣднія ея слова были:

— Смотри же найми завтра коляску. Довольно мнѣ валяться.

— Дѣйствительно было уже довольно. Она забылась, повернулась къ стѣнѣ съ тихимъ вздохомъ и... заснула навѣки.

Дверь щелкнула. Крутицынъ вздрогнулъ. На порогѣ показалась Елена Петровна вся въ бѣломъ. Она подошла къ нему, молча сѣла на диванчикъ и взяла его за руку. Когда Крутицынъ оглянулся на тетушку, она тихо плакала.

— Зашелъ, — заговорила она, утирая слезы: —

самъ зашелъ... Спасибо, голубчикъ. Тронулъ меня до слезъ, а я плакать нынче разучилась.

Она привлекла его къ себѣ и поцѣловала въ голову.

— Тяжело тебѣ? — спросила она полушепотомъ.

— Все это было, — выговорилъ онъ: — и такъ ужь давно.

— А сердце все еще болитъ... я знаю... и дай ты мнѣ, Саша, еще разъ повиниться передъ тобой. Сантиментальная я дура была, да... не разглядѣла того, что мнѣ знать слѣдовало. Ты лучше меня разумѣлъ, какая тебѣ жена нужна. И женился бы на Парашѣ. Она бы не кинула тебя. У ней — и простота, и доброта, и здоровье. Съ тобой-то бы она была не то, что теперь; вся бы въ бaветки да въ скопидомство не ушла. Ты былъ увлеченъ... налетѣла на тебя страсть. Мнѣ бы тебя сдержать, а еще пуще раздула. Охъ, любила я ее, грѣшницу, больше васъ троихъ! вотъ Господь-то и покаралъ.

И тетушка горько покачала головой.

— Полноте, голубушка, — говорилъ ей Крутицынъ, цѣлуя ей руки: — обо мнѣ-то что-жь сокрушаться. Варю больше нужно жалѣть. Не такой ей мужъ нуженъ былъ. Жестоко обвинять ее за то, что я ей пришелся не по вкусу.

— Нѣтъ, не оправдывай ее! больше любить ее нельзя, какъ я любила. Прощаю ее, но оправдывать не могу, Саша. Обманъ — это постыдно, безсердечно. Сдѣлать тебя добраго, любящаго, достойнаго обожанія, чѣмъ же?

— Рогоносцемъ, — выговорилъ твердо Крутицынъ.

— Не употребляй ты этого слова.

— Слово дурное! но вѣдь оно ужасно только пошлякамъ. Я уже пережилъ личную обиду, и смотрю на мою супружескую долю точно со стороны. Тяжелъ не обманъ, не тотъ фактъ, что жена тебя провела, покинула, одурачила. Все это случайность, и я способенъ говорить о

ней не краснѣя, но смерть привязанности — вотъ чего не переживаешь даромъ!

— Да, да, сознался, наконецъ: — и чего тебѣ скрывать предо мной... сердечныя-то раны. Ты все забылъ, все простилъ, а одиночество-то давитъ, любви-то нѣтъ... ласки-то нѣтъ... Безталанный ты мой мальчикъ!

Елена Петровна начала ласкать Крутицына, какъ малое дитя.

— А вы-то, голубушка?! — вскричалъ онъ, глубоко тронутый этимъ потокомъ доброты и нѣжности.

— Что я, много ли мнѣ жить. Не чаю дождаться твоего возврата. Не задалось твое счастье, за то на душѣ чисто. Мое благословеніе давала я тебѣ съ завязанными глазами. Ты долго и горько страдалъ, и вышелъ все такой же честный, добрый, всепрощающій. Вотъ твое счастье — оно выше всего, Саша. И нѣтъ на землѣ Божьяго правосудія, если тебѣ не выпадетъ еще семейной любви и радости. Но я все-таки скажу: пускай считаютъ тебя восторженнымъ, какъ меня, грѣшную, пускай осуждаютъ за то, что нѣтъ у тебя ни мѣста, ни чина большаго, ни прочнаго положенія. Нужды нѣтъ! Ты берешься за то, что тебѣ подъ-силу, и помогаешь всякому, и на все откликнешься сердцемъ. Чего еще, Саша? Не всѣмъ дана такая доля. Чище она и душевнѣе, чѣмъ одно скопидомство, да себѣ на умѣ, да самодовольство. Не промѣняю я тебя на Ивана Ѳедорыча, нѣтъ; они съ Парашей пятьдесятъ лѣтъ проживутъ, серій цѣлый сундукъ накопятъ и газомъ нашъ переулокъ освѣтятъ, а мое благословеніе будетъ съ тобой, дитя мое. И больно мнѣ, что я, старая и глупая, одна здѣсь говорю тебѣ эти слова. Такимъ людямъ, какъ ты, мало привѣта. На то они должны идти. А мы, вздорныя старухи, ихъ любимъ и молимся за нихъ; не спрашиваемъ у нихъ ни чиновъ, ни капиталовъ, а души.

Елена Петровна встала. Поднялся и Крутицынъ.

— Посидѣли мы въ Вариной комнаткѣ... пожили въ ней... Знаетъ она тамъ, наверху, что мы ее любимъ... Помянемъ ея душу завтра на могилкѣ. Тебя я не зову, а мнѣ позволь... Снѣга у насъ ужасные и не проберешься теперь къ памятнику... И меня тамъ скоро положатъ рядомъ съ Варей...

Медленно уходили они изъ комнаты и на площадкѣ бросили въ нее послѣдній взглядъ...

Цѣлая полоса жизни пронеслась и канула въ грядущее...

. . . .

Рано проснулся Крутицынъ. Къ нему постучались часовъ въ восемь. Онъ отворилъ дверь Маргаритѣ. Въ капорѣ и салопѣ она стояла на порогѣ, держа въ рукахъ блюдо съ кутьей и серебряной ложкой. Лицо смотрѣло кротко и благоговѣйно.

— Откушайте, батюшка... — тихо вымолвила она.— За упокой рабы Божьей... Варвары...

И голосъ ея дрогнулъ. Въ волненіи поставила она блюдо на столъ и приблизилась къ Крутицыну и схватила-было его руку. Онъ поцѣловался съ ней.

Маргарита прослезилась и сдѣлалась еще красивѣе.

— Молимся... — говорила она, все также тихо. — День и ночь молимся... о Варинькѣ... и за васъ, батюшка...

— Не оставляй тетушку, — сказалъ ей Крутицынъ, кладя ей руку на плечо: — Богу можно вездѣ угодить.

— Очень ужь мнѣ тошно на міру, Александръ Павлычъ, маешься-маешься...

— Прошу тебя, Маргарита.

Она подняла на него свои смиренные и умные глаза, слегка покраснѣла и выговорила:

нецъ, начали обращать серьезное вниманіе на мѣстные труды.

— И довольны вы вашимъ положеніемъ?

— Какъ сказать... Обстановку вы знаете; все та же глушь и безлюдье. Я ни съ кѣмъ вѣдь въ городѣ почти-что не знакомъ. Вотъ зайдешь къ Юсу, онъ ко мнѣ завернетъ; вечеромъ въ клубъ почитать журналовъ, и тутъ мы все съ Юсомъ враждуемъ. Онъ вѣренъ, по гробъ жизни, дворянскому, а я хожу въ клубъ всѣхъ сословій.

— И такой у васъ имѣется?

— Какъ же. Остальное время все въ работѣ. Жалованье небольшое у секретаря статистическаго комитета; но у меня и потребности маленькія; слышно, увеличатъ окладъ. Думаю, если будетъ побольше времени, подготовиться къ адвокатурѣ.

— А насчетъ законнаго брака?

На это «мѣстный публицистъ» только улыбнулся.

— И никуда не тянетъ?

— Кто говоритъ, не тянетъ! да вѣдь надо средства... и потомъ, право мы зря кидаемся въ столицы... на мѣстѣ столько дѣла, а людей совсѣмъ нѣтъ. Да, забылъ вамъ сообщить, у насъ образовалось общество потребленія. Меня выбрали членомъ, завѣдующимъ пріемомъ товаровъ. На это уходятъ цѣлые дни, учетъ, собственный присмотръ — еле-еле успѣваешь.

— Что же бы вы Юса-то хоть немножко пріобщили къ своей дѣятельности?

— Гдѣ ему! Онъ, какъ вы сейчасъ сказали, двадцать лѣтъ просидитъ въ своихъ внутреннихъ задвижкахъ.

— И счастливъ?

— Хандритъ иногда, а, быть можетъ, ему такъ и слѣдуетъ скоротать вѣкъ мѣстнымъ любителемъ, какъ мнѣ мѣстнымъ статистикомъ.

Они стояли на углу площади. Погода хмурилась, за-

XIII.

Прощанье съ Еленой Петровной разстроило Крутицына. Онъ даже проронилъ нѣсколько слезинокъ. Тетушка не была суевѣрна, но тутъ, по какимъ-то признакамъ, предсказывала свой близкій конецъ и прощалась съ Крутицынымъ «совсѣмъ».

— Если умирать стану, запрещу депеши тебѣ посылать. Не зачѣмъ тебя разстраивать въ твоихъ дѣлахъ. Только, когда вернешься, исполни то, о чемъ я тебя буду просить... Параша передастъ тебѣ пакетъ...

И Елена Петровна ни одного дня не удерживала больше Крутицына. Послѣднія ея слова были:

— Устала я жить, Сашенька, очень устала... Только твое счастіе могло бы еще оживить меня... да не дается оно тебѣ...

Эти слова слышались ему во всю дорогу. Онъ сидѣлъ въ вагонѣ угрюмый, нервный, еле отвѣчалъ на вопросы другихъ пассажировъ. Надо было опять тащиться ночевать въ противныя «Челыши».

Корридорный подалъ ему письмо, пришедшее поутру, по городской почтѣ. Руку Крутицынъ не узнавалъ.

Онъ прочелъ французскую записку отъ одной московской барыни, которую давно упустилъ изъ виду. Она ему напоминала, что завтра ея именины, и что со стороны Крутицына было-бы очень нелюбезно, еслибъ онъ не заѣхалъ къ ней вечеромъ. Барыня была «не изъ пущихъ», какъ выражался про нее самъ Крутицынъ; такъ себѣ добрая тараторка, вдова; любила кормить и собирала въ своемъ «салонѣ» московскихъ фельетонистовъ.

«Что я тамъ буду дѣлать?» спросилъ про себя Кру-

тицынъ; но тутъ же сообразилъ, что выѣхать ему во всякомъ случаѣ придется завтра. Вечеръ въ нумерахъ, и даже въ одной изъ «комнатъ съ небелью» его пріятелей совсѣмъ не улыбался ему.

Онъ полѣзъ въ чемоданъ и произвелъ осмотръ фраку. Нашелъ онъ даже и бѣлый галстухъ, хорошо вымытый и выглаженный. Фрачная пара оказалась еще очень приличной. Крутицынъ старательнѣе побрился, и когда черезъ полчаса онъ стоялъ передъ зеркаломъ, поправляя бѣлый галстухъ и обчищая щеткой борта фрака, онъ вспомнилъ слова Елены Петровны и подумалъ:

«А и въ самомъ дѣлѣ я смахиваю на испанца».

Ему бы и слѣдовало всегда ходить во всемъ въ черномъ съ бѣлымъ галстухомъ: наружность его пріобрѣтала тотчасъ же особое изящество мины и худощавая фигура дѣлалась внушительнѣе.

Именинница жила на Сивцевомъ Вражкѣ. Крутицынъ взялъ ночнаго ваньку и таки назябся въ его лубочныхъ санишкахъ безъ полости. Онъ ѣхалъ поздновато и разсчитывалъ напасть гдѣ-нибудь всторонкѣ на одного изъ городскихъ вѣстовщиковъ, какихъ всегда прикармливала вдова. Онъ былъ въ такомъ настроеніи, что всего пріятнѣе для него было бы слушать чью-нибудь болтовню... Крутицынъ ожидалъ танцевъ; но видъ залы сейчасъ же показалъ ему, что именинный вечеръ — «soirée causante». Это его смутило: приходилось, пожалуй, очутиться въ кружкѣ московскихъ «beaux esprits» и поддерживать общій разговоръ, чего онъ терпѣть не могъ...

Именинницу нашелъ онъ во второмъ салонѣ, въ à parte съ молодымъ человѣкомъ, который пускалъ въ ходъ цѣлый градъ шикарныхъ французскихъ фразъ, видимо только-что вывезенныхъ изъ Парижа. По прическѣ онъ смотрѣлъ херувимчикомъ. Хозяйка засыпала Крутицына упреками; но онъ тотчасъ же замѣтилъ, что ей хо-

чется побыть еще подъ трельяжемъ, гдѣ она сидѣла съ фешенеблемъ изъ Парижа. Она схватила Крутицына за руку и увлекла въ первую гостиную, говоря:

— Вы такъ рѣдко бываете у меня, что я васъ сейчасъ же накажу: извольте занимать дѣвицъ. У меня сегодня не танцуютъ: я въ трауръ, а ихъ видите сколько...

И дѣйствительно въ углу, цѣлой гирляндой усѣлись дѣвицы. Два офицерика и черноватый фрачникъ переминались около нихъ, въ довольно-таки томительномъ недоумѣніи: предложить ли «petits jeux», или еще найти какой-нибудь сюжетъ разговоровъ?

Крутицына представили всему этому молодому общеществу. Ретироваться было невозможно.

Онъ присѣлъ съ боку дивана. Около него сидѣла самая красивая изъ всѣхъ дѣвицъ. Ея наружность заставила Крутицына оглядѣть ее очень внимательно, что отъ нея не ускользнуло. Это была немного сухощавая, но съ высокой грудью, крупнаго роста дѣвушка, въ бѣломъ простомъ муслиновомъ платьѣ съ краснымъ кушакомъ и красной же бархаткой въ волосахъ. Голова ея особенно пріятно поразила Крупицына. Въ высокомъ изящномъ шиньонѣ съ пукомъ падающихъ изъ его средины локоновъ, въ проборѣ, въ положеніи головы, въ профилѣ сидѣла почти античная правильность и пластичность. Лобъ бѣлѣлъ ровнымъ матовымъ блескомъ. Линія носа опускалась медленно и заострялась въ уголъ, въ которомъ было что-то смѣлое, но не чувственное. Только губы не вполнѣ гармонировали со всѣмъ обликомъ: въ нихъ оказывалась нѣкоторая язвительность, особенно когда ротъ улыбался. Глаза свѣтло-каріе, продолговатые, съ роскошными, но не томными рѣсницами, взглядывали сначала какъ-будто боязливо, и тотчасъ же мѣняли выраженіе: дѣлались высматривающими и даже строгими. Дѣвушку эту нельзя было причислить ни къ блондинкамъ, ни къ русымъ. Во-

лосы ея было темно-огненнаго цвѣта; короткіе локоны шиньона ярко свѣтились и придавали головѣ еще болѣе своеобразную и пикантную живописность.

Крутицынъ приготовилъ-было первую фразу, но сосѣдка сказала ему тихимъ и низкимъ голосомъ, заставившимъ его немножко вздрогнуть:

— Васъ притащили занимать?...

И она вскинула на него глаза. Тонкія ея губы чуть-чуть улыбались, показывая бѣлую полоску зубовъ.

— Притащили, — отвѣтилъ онъ простодушно.

— Жаль мнѣ васъ, бѣдненькаго...

Этотъ тонъ заставилъ его улыбнуться и посмѣлѣе заглянуть ей въ лицо. Она тоже оглядывала его опредѣленнымъ и смѣлымъ взглядомъ. Взаимный осмотръ сейчасъ же сблизилъ ихъ.

— Сѣли-то вы неудачно, — сказала она потише.

— Почему такъ? — спросилъ оживленнѣе Крутицынъ.

— Видите на томъ краю... этихъ двухъ полныхъ барышень... онѣ представляютъ собой пятьсотъ тысячъ приданаго.

Говоря это, она такъ обернулась къ Крутицыну, что отдѣлила его своей фигурой отъ остальнаго кружка, и ему сдѣлалось гораздо лучше и свободнѣе.

— Да вы принимаете меня развѣ за искателя невѣстъ?...

— Не знаю... во всякомъ случаѣ, общество дѣвицъ врядъ-ли для васъ занимательно... Если васъ подводятъ къ нимъ...

— Стало-быть, я имѣю виды?

— Вѣроятно...

Крутицынъ начиналъ положительно заинтересовываться своей собесѣдницей.

— Я не хочу васъ гнать, — продолжала она: — но,

право, вы лучше полюбезничайте съ тѣми двумя невѣстами... Со мной, какъ говорится, не въ коня кормъ.

Звукъ голоса, интонація отдѣльныхъ фразъ, выраженіе лица и помахиваніе вѣеромъ, — все было въ ней оригинально и необыкновенно какъ-то отчетливо, во всей своей преднамѣренности. Крутицынъ чувствовалъ, что это говорится не спроста.

— Да вы зачѣмъ же напрашиваетесь на комплименты?—спросилъ онъ, подвигаясь къ ней и кладя шляпу на колѣни.

— Нѣтъ, я вамъ попросту говорю... Вѣдь въ этомъ обществѣ (и она оглянула всю гостиную) все держится еще за табель о рангахъ... Вы, я вижу, не московскій, но все-таки свѣтскій человѣкъ...

— Я?

— Конечно, сюда дѣловые люди не ѣздятъ...

Крутицынъ проглотилъ пилюлю безъ всякой горечи.

— Ну-съ, къ чему же вы все это подводите?

— А вотъ къ чему: вы, какъ добросовѣстный кавалеръ, пустите въ ходъ всю вашу любезность, просидите тутъ три часа и потомъ, когда захотите узнать: да на кого же я такъ тратился? вамъ скажутъ: — какъ это можно было провести цѣлый вечеръ съ какой-нибудь... demoiselle de compagnie!...

Ларчикъ начиналъ открываться передъ Крутицынымъ.

«Соціальный протестъ», подумалъ онъ, «даже и сюда проникъ!»

— И только? — спросилъ онъ съ улыбкой.

— И только.

— И не совѣстно вамъ было сочинять это предисловіе?

— Нисколько. Я, быть-можетъ, потому и сказала его такъ пространно, что увидала въ васъ что-то не здѣшнее, не московское. А съ московскими я сейчасъ же

— Исполню... вашу просьбу... Только бы барынѣ со мной не было тоскливо.

И она торопливо вышла.

За ней явился Евстигней, попенялъ Крутицыну, что тотъ не разбудилъ его вчера, и заболталъ, какъ сорока, закидывая вопросами и о Москвѣ, и о Парижѣ, и о томъ, поступаетъ ли на службу и думаетъ ли жениться?... Кончилъ тѣмъ, что прослезился и сталъ прощаться, утверждая, что «безпремѣнно» долженъ умереть до Петрова дня.

XII.

Крутицынъ, передъ отъѣздомъ, вспомнилъ о двухъ пріятеляхъ. Нельзя ихъ было не повидать. Оба учились съ нимъ когда-то въ университетѣ. Съ ними только онъ и сохранилъ пріятельскую связь, изъ всѣхъ коренныхъ обитателей города.

Позвонилъ онъ на крыльцѣ деревяннаго одноэтажнаго флигелька, стоявшаго по лѣвую руку деревяннаго же большаго дома кирпично-краснаго цвѣта. Было уже половина одиннадцатаго.

Отворилъ ему дверь служитель мрачнаго и воинственнаго вида, съ вдавленными щеками и плохо выбритой бородой. Усы торчали у него, какъ у таракана.

— Сергѣй Порфирычъ вѣрно еще спитъ? — спросилъ Крутицынъ, входя въ маленькую прихожую съ стариннымъ лакейскимъ «ларемъ».

Служитель ухмыльнулся въ руку и глухимъ басомъ отвѣтилъ:

— Никакъ нѣтъ-съ... изволили проснуться.

— Да всталъ ли?

— Никакъ нѣтъ-съ, изволятъ еще лежать.

— Въ грудку, значитъ, вступило?

Служитель опять ухмыльнулся въ руку и бережно снялъ шубу съ Крутицына.

— Въ гостиную пожалуйте, — гудѣлъ онъ: — а я доложу-съ.

— Я самъ его подниму.

— Это какъ вамъ будетъ угодно...

Крутицынъ прошелъ комнату, раздѣленную на двѣ половины аркой съ колонками. Въ одной мебель стояла такъ, какъ всегда она стоитъ въ провинціальныхъ гостиныхъ: диванъ, столъ и кругомъ кресла. Въ другой половинѣ видны были шкафъ, чайный столъ съ самоваромъ и нѣсколько соломенныхъ стульевъ. Въ слѣдующей комнатѣ былъ полусвѣтъ отъ спущенныхъ цвѣтныхъ сторъ. Ширмы прикрывали кровать.

— Юсъ!—крикнулъ Крутицынъ:—изволите дрыхнуть?

— Ммъ, — раздалось изъ-подъ одѣяла, и нѣчто повернулось лицомъ къ двери.

Крутицынъ уже сидѣлъ на краю кровати и тормошилъ пріятеля.

— Ну, ну, ну... холоду нанесъ!

— А онъ умираетъ!

— Кровью харкаю — вотъ что, а вы думаете — это баранья рожа, какъ говорятъ въ раззолоченныхъ гостиныхъ?...

Голова, наконецъ, показалась изъ-подъ стеганаго одѣяла.

— Ну, облобызаемся сейчасъ, вотъ рожу умою. Не ожидалъ спеціалиста, — а спеціалистъ, какъ листъ передъ травой...

— Да часъ-то какой? вотъ вы мнѣ что скажите, лѣнь непробудная!

— Что часъ? Счастливые часовъ не наблюдаютъ!... Вотъ сейчасъ, сейчасъ... дайте только бока оттереть.

— Завалы, небойсь?...

— А вотъ я вамъ что скажу, если не досплю, сейчасъ вотъ въ этомъ мѣстѣ...

— Воспаленіе?

— Колотье, да какое... да вѣдь съ вами что толковать... Ну, пустите, встаю...

Всталъ, наконецъ, Сергѣй Порфирычъ; но обуваніе, умываніе, чесаніе и прочее, вплоть до облаченія въ знакомый Крутицыну халатъ «съ внутренними задвижками», взяли, по крайней мѣрѣ, полчаса. Выйдя въ гостиную, онъ подбоченился и улыбнулся во весь свой широкій ротъ. Невзраченъ онъ былъ, даже совсѣмъ дуренъ: носъ картофелемъ, скулы выдались; но все лицо мирило съ собой особымъ добродушнымъ юморомъ...

— Спеціалистъ! наше вамъ, съ пальцемъ девять... Не ожидалъ.

И мѣняя тотчасъ голосъ и осанку, онъ указалъ рукой всторону самовара:

— Пожалуйте! пожалуйте! китайскихъ травъ... высшихъ сортовъ...

Они сѣли къ столу.

— Итакъ, — началъ хозяинъ опять новымъ голосомъ, скорчивши старческую, нѣмецкую рожу: — мы кафариль о томъ, я сказаль, што... Кафъ!...

И онъ сплюнулъ.

Крутицынъ зналъ эту шутку давно, но все-таки разсмѣялся.

— Ешели, — продолжалъ хозяинъ, разливая чай: — кдо до фистрѣляетъ на бубличномъ мѣстѣ зъ булею и упьетъ друхахо...

Крутицынъ продолжалъ смѣяться.

— Актеръ! — вскричалъ онъ, наконецъ: — зачѣмъ

на сцену-то до сихъ поръ нейдете? Вѣдь года-то уходятъ... вонъ сѣдые волосы показались...

— Показались, государь мой, показались... — И перемѣнивъ опять голосъ на свой собственный, Сергѣй Порфирычъ заботливо спросилъ: — вы вѣдь, чай, не забыли постукивать-то, специалистъ?

— Нѣтъ, а что?

— Послушайте-ка вотъ здѣсь... Точно будто глуше тутъ... И по утрамъ чувствую одышку, больше вотъ съ этой стороны.

— Да какъ же это одышка-то можетъ быть на одной сторонѣ, Юсъ?!

— А вы стукайте...

Крутицынъ выстукалъ оба легкія.

— Ну, что? — спросилъ боязливо хозяинъ.

— Отличный звукъ...

— Теперь опять сердцебіенія происходятъ, какъ только что-нибудь лишнее съѣшь.

Обстукано и выслушано было и сердце.

— Ну, что?

— Всѣ звуки превосходные...

— Ужь это вы брешете, специалистъ, чтобы все было въ отличномъ порядкѣ!... Зачѣмъ же меня въ Маріенбадъ посылали — а? А теперь вотъ въ Ишль шлютъ, слыхали про такія воды — а?

— Слыхалъ... въ Тиролѣ.

— Отъ чего тамъ лечатся? Ну-ка?

— Кажется, отъ ревматизма...

— Вотъ то-то и дѣло. Отъ ревматизма-то, отъ ревматизма, да еще-то отъ чего?

— Отъ желудочнаго катарра могутъ, я думаю, помогать, въ нихъ соли много.

— Все это не то.

— Ну, отъ золотухи, что ли?

— Вонъ она, ужь до золотухи доѣхали!... А я весь золотуха, да! И все еще не то... Мнѣ какъ сказали въ Ишль, я хвать «Путеводитель» Майскаго, а тамъ что же стоитъ... Сначала, разумѣется, описываются красоты природы... и тирольки, молъ... и ѣзда, молъ, отъ станціи въ почтовой каретѣ... и какой составъ воды, все это показано... Даютъ, говоритъ, ее отъ ломоты, ревматизма, катарра...

— Ну, вотъ видите.

— Те, те, те... не ву депешѐ пá... отъ ломоты, говоритъ, ревматизма, катарра...

— Мы ужь это слышали.

— Отъ золотухи, отъ чахотки.

И Сергѣй Порфирычъ всталъ во весь ростъ. Ротъ раскрылся, глаза смотрѣли на Крутицына съ комическимъ ужасомъ.

— Ну, такъ что же?

— Какъ что?!... чахотку лѣчитъ!

— Коли лѣчатъ, тѣмъ лучше.

— Да чѣмъ это пахнетъ-то?... А вы говорите—звуки превосходные... Кровью двѣ недѣли харкалъ...

— Гемороидальное выдѣленіе.

— Знаемъ мы вашу братью, вы все толкуете... экссудатъ, да экстравазатъ, а какъ скрючитъ тебя, ну, тогда вы настоящіе діагнозы ставить...

Началъ-было Сергѣй Порфирычъ совсѣмъ въ гнѣвномъ тонѣ, но тотчасъ же выпятилъ жеманно губы и, подавая Крутицыну корзину съ сухарями, запѣлъ речитативомъ:

«Ахъ, мой другъ, вообрази,
Я съ вельможами въ связи!»

Крутицынъ опять разсмѣялся.

— Никакой у васъ нѣтъ органической болѣзни, —

началъ онъ полусерьезнымъ тономъ: — рѣшительно никакой. А просто вы отъ сидѣнья и лежанья нажили себѣ катарръ. И онъ развилъ въ васъ комическую мнительность. Бросьте вы эту дыру. У васъ талантъ есть, въ кускѣ хлѣба вы не нуждаетесь, поѣзжайте въ Москву или въ Петербургъ и дебютируйте.

— Ну, ну, ну! — закипѣлъ спеціалистъ и руки заходили! Намъ и здѣсь не худо... Вотъ на той недѣлѣ, въ четвергъ, какъ лихо отмахали... пятьсотъ... рублей сбору...

— Вы что изображали?

— Я въ двухъ роляхъ... «Дерюгина» перво-на-перво: *Мадмуазель, перметте ву деранжѐ пуръ ёнъ сёль мо.*

Онъ выдѣлывалъ, стоя передъ Крутицынымъ, басъ Дерюгина и лицо своротилъ совсѣмъ на бокъ.

— А потомъ въ чемъ?

— Въ «Любимѣ».

Онъ уже опять перемѣнилъ осанку и начиналъ съ сиплой одышкой:

— Митя, прими купеческаго брата, Любима Карпова, сына Торцова.

— Браво, Юсъ! большіе успѣхи; видно, что много игралъ въ эти два года! На сцену! Тысячу разъ на сцену!

— А то на чемъ же я играю-то?

— Да не здѣсь, не любителемъ. Это ни то, ни се, не вырветъ васъ изъ берлоги! Въ столицу, въ настоящіе актеры!...

Опять новая рожа. Носъ Сергѣя Порфирыча шмыгнулъ по-васильевски, и его же голосомъ онъ заговорилъ:

— Выпить-то хочется, а выпить-то не на что!...

И такъ шло съ полчаса.

— А гдѣ статистика? — спросилъ Крутицынъ.

— Статистика строчитъ, государь мой, и поди, явится самолично, совершая утреннюю прогулку.

И дѣйствительно явилась «статистика». Это былъ другой пріятель Крутицына, однихъ лѣтъ съ обитателемъ флигелька и одного университетскаго времени. На взглядъ Крутицына онъ ни капли не измѣнился. Его длинная, худая, совершенно бѣлая фигура съ жидкой бородкой и блѣдными глазами, такъ же медленно двигалась и такъ же глядѣла на свѣтъ Божій съ легкой усмѣшечкой. И покрой сюртука, и форма воротничковъ, и прическа, и хриплый басокъ — все было попрежнему. Онъ очень обрадовался Крутицыну и вмѣстѣ они начали бранить Юса за лѣнь непробудную и потерю лучшихъ силъ на провинціальное любительство, когда онъ могъ бы пуститься на всѣхъ парусахъ въ настоящей художественной дѣятельности.

— Ну! примолчите, примолчите, — запросилъ Сергѣй Порфирычъ: — вы вѣдь оба все такъ пуръ сепё ле танъ разсуждаете. А тутъ сунься-ка съ нашимъ суконнымъ рыломъ на столичную сцену, и смажутъ тебѣ коляску. Я, первое дѣло, гримироваться не умѣю. Вотъ дайте срокъ, скоплю лишнюю сотнягу и подъищу такого искусника: обучи, молъ, меня гримироваться, чтобы всякую физію могъ я собственноручно изобразить — это важнѣе всего...

— Да полноте, Юсъ, — оспаривалъ Крутицынъ: — гримировка эта — подробность. Практика дастъ вамъ и умѣнье.

— Нѣтъ, батенька, безъ гримировки никакъ нельзя. Я ужь и теперь какъ бьюсь. Скажешь этому Гусеву, парикмахеру изъ Парижа: сдѣлай ты мнѣ, братецъ, вотъ такіе бакенбарды; а онъ чортъ его знаетъ что налѣпитъ. И актерская-то братья не смыслитъ; умѣютъ вымазать тебя, какъ спеконъ вѣку мажутъ: старикъ, такъ морщинъ дюжины двѣ наведутъ, толстякъ — такъ сурикомъ тебя

исполосуютъ. Нѣтъ, государи мои, надо въ обученіе поступить къ такому искуснику, а потомъ уже и соваться.

— Это онъ для того такъ толкуетъ, — замѣтилъ Крутицынъ: — чтобы ему еще двадцать лѣтъ просидѣть во флигелѣ.

— Разумѣется, — подтвердилъ бѣлокурый пріятель.

— И неужели, — спросилъ Крутицынъ, собираясь прощаться съ хозяиномъ: — найду я васъ, по возвращеніи сюда, все въ томъ же халатѣ съ внутренними задвижками?

— Чего найду! Будутъ ли еще ноги-то таскать.

— Да вотъ развѣ чахотка.

— А въ Ишль-то шлютъ, это, небойсь, забылъ?

— Такъ вы въ Парижъ заѣзжайте.

— Карашо! Ешели гдо-то фистрѣляетъ...

И опять пошло лицедѣйство. Крутицынъ, черезъ полчаса только очутился со «Статистикой» на улицѣ. Статистика шла рядомъ съ Крутицинымъ, шагая размѣренно и не двигаясь вовсе туловищемъ.

— А по послѣобѣдамъ гуляете каждый вечеръ, попрежнему? — спросилъ Крутицынъ.

— Попрежнему, — проговорилъ съ спокойной усмѣшечкой пріятель.

— Ну, а какъ наполнена жизнь?

— Работаю цѣлый день, перебираю матеріалы.

— Все еще редакторъ... вѣдомостей?

— Нѣтъ, отъ редакторства я отказался... некогда; а статейки помѣщаю... о театрѣ и по этнографіи, а главное, редактирую теперь «Сборникъ». Онъ мое дѣтище.

— Что же бы не сдѣлаться сотрудникомъ большаго журнала или газеты?

— Я не лѣзу въ столичные писатели. Моя дорога — быть мѣстнымъ публицистомъ... столичные относятся къ намъ свысока... надо сдѣлать такъ, чтобы они, нако-

ухожу въ свою раковину и говорю: идите къ другимъ, я для васъ — потерянное время.

Разговоръ получалъ немного странный, но занимательный оборотъ.

— Ну, прекрасно, — началъ своимъ обыкновеннымъ, искреннимъ тономъ Крутицынъ: — вы demoiselle de compagnie... А потомъ что же? Я не искатель невѣстъ. И вамъ, и мнѣ, можетъ-быть, очень скучно, такъ сдѣлаемте, чтобы было повеселѣе. Признаюсь, я сюда пріѣхалъ за тѣмъ, чтобы меня кто-нибудь занималъ.

— Вотъ какъ!

— Да, и право мнѣ кажется, что я очень хорошо сдѣлалъ, что присѣлъ именно къ вамъ. Отчего жь бы вамъ и не поразсказать мнѣ кое о чемъ.

— О чемъ же прикажете?

— Да вотъ хоть о себѣ, такъ-какъ вы повели рѣчь о вашемъ общественномъ положеніи.

— Ахъ, Боже мой!... Чтожь тутъ занимательнаго? Я вамъ сказала, кто я.

— Вы — demoiselle de compagnie.

— Да, если ужь вамъ такъ хочется получить всѣ свѣдѣнія... я пріѣхала на вечеръ съ моей барыней.

— Барыней?

— А то какъ-же?... Вонъ она тамъ, въ углу, играетъ въ карты...

— Которая?

— Старушка, съ бѣлыми буклями, въ зеленомъ платьѣ.

— Вижу.

— Удовольствовались?

— Нѣтъ... и, коли позволите, я подчеркну изъ вашихъ показаній одно слово.

— Какое вамъ угодно...

— Вы сказали *барыня*... Стало быть, вы недо вольны вашимъ положеніемъ?

— Конечно... это удивляетъ васъ?

— Нѣтъ; но зачѣмъ же вы остаетесь въ немъ?

— Зачѣмъ?... всѣ мужчины — на одинъ покрой.

— То есть?

— Фразы и фразы. Я знаю, что у васъ на губахъ.

— Что же?

— Постыдно прозябать въ такой роли... Служить барской скукѣ, превращаться въ рабу, по доброй волѣ, за нѣсколько десятковъ рублей въ мѣсяцъ, когда можно работать и мозгомъ... нынѣшніе проповѣдники не говорятъ головой, а все мозгомъ... такъ мозгомъ и руками... вотъ что у васъ было на губахъ.

— Нѣтъ, — отвѣтилъ совершенно ужь серьезно Крутицынъ.

— Это, это...

— Нѣтъ, повторяю вамъ... Не всѣ мужчины проповѣдуютъ, когда ихъ объ этомъ не просятъ. Я бы вамъ ничего подобнаго не сказалъ; но...

— Кончили бы все-таки нотаціей.

— Еслибъ я имѣлъ на это какое-нибудь право, я постарался бы указать вамъ, какъ вамъ выйти изъ ненавистнаго положенія... вотъ и все.

— Ненавистное положеніе! это все слишкомъ отзывается чѣмъ-то... мелодраматическимъ... Мнѣ, конечно, не особенно весело, но жить можно... есть даже довольно много свободы... Напримѣръ, выѣзжать я вовсе не обязана.

— Стало быть, вы любите свѣтъ?

— Да, люблю не людей, а именно свѣтъ, то есть освѣщеніе, туалеты — чужіе, своихъ у меня нѣтъ, — блескъ, музыку... театръ... особенно театръ!

Глаза у ней разгорѣлись.

— Стало-быть, помирились со своей долей?

— Кто же вамъ говоритъ, что помирилась. Нимало... Но я работать не люблю. Объявляю объ этомъ съ полной откровенностью и даже, если хотите, цинизмомъ... Читать—да... но учить дѣтей, шить, переписывать, все это не по мнѣ. Стало быть, я беру то, что даетъ кусокъ хлѣба и средства ждать...

— Чего?

Она престранно улыбнулась и медленнѣе проговорила:

— Я суевѣрна... или, лучше сказать, я вѣрю въ судьбу... За свою я не боюсь... Я должна кончить такъ, какъ я желаю кончить.

— Можно спросить, какъ?

— Я бы отвѣтила, но у меня еще все это не выяснилось.

— Что «это»?

— А моя судьба-то: или... роль, карьера...

— Даже карьера?

— Да... меня къ чему-то тянетъ и не больше какъ черезъ годъ, я найду дорогу...

— Безъ труда?

— Безъ такого труда, который мнѣ противенъ...

Она остановилась и, взглянувши на Крутицына своими красивыми и смѣлыми глазами, продолжала:

— Вы подумаете, что я рисуюсь и больше ничего... Нѣтъ, вы не такой, я это сейчасъ разобрала... Оттого такъ и разболталась съ вами... Видите... ныть и драпироваться въ свое положеніе я терпѣть не могу... Я и словъ-то этихъ: страданіе, гражданскій протестъ, униженіе... и проч. и проч. не могу употреблять... меня просто отъ нихъ тошнитъ... Но я бы хотѣла вотъ теперь заняться одной вещью... а она требуетъ денегъ, а оныхъ денегъ у меня нѣтъ...

— Какой же?

— Учиться въ консерваторіи.

— Что же это стоитъ?

— Сто рублей, а я получаю жалованья триста и должна быть прилично одѣта... Я ужь начинаю копить и черезъ годъ начну...

— Учиться музыкѣ?

— Нѣтъ... я брянчу... но у меня вовсе не то въ головѣ... Я пѣть хочу учиться.

Крутицынъ давно уже вслушивался въ необыкновенно полный, звучный и ласкающій тембръ ея низкаго, контральтоваго голоса.

— Въ добрый часъ! — вскричалъ онъ. — Вотъ видите: я оставляю въ покоѣ мозги и руки...

— Но пѣніе... Это, какъ бы вамъ сказать, не все... Концерты... стоять на эстрадѣ со сверткомъ нотъ — это сухо и глупо...

— Знаете что, — перебилъ ее Крутицынъ, оглядывая ее съ ногъ до головы, такъ что она выпрямилась:— вамъ надо на сцену!

— Почему вы такъ это рѣшили?

— Я не театралъ, но я еще не помню, чтобы въ жизни своей встрѣчалъ женщину или дѣвушку, которая бы такъ просилась на подмостки, какъ вы.

— Будто-бы?

— По всему: по голосу, по тону, по фигурѣ, по значительности мины, по...

— Довольно и этого...

Она ласково взглянула на Крутицына и протянула ему руку. Онъ пожалъ.

— Благодарю васъ... вотъ утѣшили.... У меня къ сценѣ большая страсть. Только гдѣ же попробовать себя... Я было думала, одно время, поступить экстерной въ театральное училище, да кто тамъ учитъ... голоса я тамъ не разовью...

— А у васъ большой голосъ?

— Кажется...

— Какой бы онъ ни былъ, — заговорилъ съ убѣжденіемъ Крутицынъ: — большой или маленькій, все равно, вамъ надо на подмостки...

— Да, но какъ-нибудь, на-авось, я не хочу... Я готова поучиться, и идти потомъ по прямой дорогѣ къ успѣху... По моему, театръ — единственное мѣсто, гдѣ женщина царитъ...

— А вамъ хочется царить?

— Хочется... На сценѣ она не только равна мужчинѣ, но гораздо выше его... Безъ нея, нѣтъ интереса, нѣтъ граціи... публика холодна...

— Такъ, такъ... вы правы. На сценѣ женскій трудъ не нуждается въ мужской поддержкѣ... Тамъ сама женщина — существо полноправное...

— Я это и говорю... И вмѣсто того, чтобы кидаться Богъ-знаетъ на что, выдумывать вздорныя занятія, корпѣть, биться, какъ рыба объ ледъ, и все-таки безъ толку — не лучше ли прямо завоевать себѣ мѣсто тамъ, гдѣ всѣ таланты...

— И даже всѣ недостатки, — подсказалъ Крутицынъ.

— Ну да, но и недостатки даютъ такой прекрасный процентъ?

— Вы, я вижу, практикъ.

— Если хотите, да...

Она перевела духъ и добавила медленно:

— Глупо насиловать себя во имя идей тому, кто до нихъ не доросъ...

Крутицынъ опять оглядѣлъ ее.

— Что вы такъ на меня смотрите? — спросила она. — Или я говорю глупости?

— О, нѣтъ, но гдѣ вы набрались такой житейской мудрости?

— Ахъ, Боже мой! Какъ-будто только въ книжкахъ ее вычитываютъ... жила... этого довольно.

— Но я желалъ бы знать, какъ вы развивались?

— Вижу, что вы любите нынѣшніе разговоры съ дѣвицами... насчетъ развитія!

Она заставила его почти покраснѣть.

— Любилъ прежде, — сознался онъ.

— Да и теперь, я вижу, не прочь поэкзаменовать немножко... Извольте, я вамъ скажу, въ двухъ словахъ, все мое прошедшее: училась въ институтѣ...

— Не можетъ быть!—вскричалъ Крутицынъ:—вы — бывшая институтка?

— Да, институтка, что-жь тутъ ужаснаго?... Увѣряю васъ, что и студентки, какъ и мы грѣшныя, ничего порядочно не знаютъ... думала, по выходѣ, жить въ свое удовольствіе, въ семьѣ...

— На даровыхъ хлѣбахъ...

— Да. А вмѣсто того осталась круглой сиротой и безъ всякаго прилагательнаго... Вотъ и пришлось быть demoiselle de compagnie.

— И сколько лѣтъ ведете вы такую жизнь?

— Четвертый годъ... Мнѣ двадцать-второй пошелъ... Надо кончить съ этой лямкой.

И она какъ-будто задумалась.

— Какъ мнѣ жаль, — началъ Крутицынъ, опустивши голову: — что я такъ мало смыслю въ вопросѣ сценическаго образованія, и ужь конечно не пущусь давать вамъ рѣшительные совѣты, но вотъ что мнѣ кажется...

— Что это? говорите...

— Вамъ надо, прежде всего, выработать изъ себя актрису, даже если вы и съ огромнымъ голосомъ; а въ Россіи, сколько мнѣ извѣстно, учиться негдѣ.

— Въ томъ-то и дѣло!..

— Дать вамъ выправку жеста, мимики и въ особенности дикціи, тона могутъ только французы...

— Гдѣ, въ Парижѣ?

— Да, въ Парижѣ...

— Какъ туда попадешь... вы живали тамъ?

— Живалъ.

— Что жь тамъ есть по этой части?

— Многое, сколько мнѣ приводилось слышать... во-первыхъ, консерваторія декламаціи.

— А какъ въ нее поступить иностранкѣ... да и гдѣ взять средства?

— Во Франціи учатъ даромъ и нѣтъ различія между своими и чужими... Есть частные профессора...

— Ахъ, какъ бы хорошо!... Но легко сказать Парижъ... Попасть-то туда, пожалуй, не такъ трудно, но какъ прожить?.. вѣдь надо остаться два—три года.

— Года два...

— Во всякомъ случаѣ это прекрасный совѣтъ. Благодарю васъ.

Она еще разъ протянула ему руку.

— Скажите, — спросила она тотчасъ: — вѣдь выставка тамъ скоро начнется?

— Съ весны...

— А вы собираетесь?

— Я ѣду завтра въ Парижъ.

— Не можетъ быть!.. И надолго?

— На все время выставки... вѣроятно пробуду цѣлый годъ...

— Знаете... мы, можетъ быть, встрѣтимся...

— Былъ бы очень радъ...

Она отвѣтила на его улыбку суховатымъ, но вызывающимъ взглядомъ и приподнялась.

— Куда вы? — вырвалось у Крутицына.

— А вонъ видите, барыня моя дѣлаетъ мнѣ знакъ... ей меня нужно...

Она подошла къ старушкѣ съ буклями. Та ей что-то сказала на ухо, послѣ чего она направилась въ залу. Ея походка еще болѣе убѣждала Крутицына, что ей слѣдуетъ на сцену...

«Что за эфектная и бойкая особа», думалъ онъ, «и карьеру такъ или иначе сдѣлаетъ».

Не замѣчая того, онъ все продолжалъ смотрѣть въ сторону залы, дожидаясь ея возвращенія.

— Monsieur! — окликнулъ его кто-то.

Онъ обернулся... предъ нимъ стоялъ офицерикъ въ уланкѣ.

— Хотите играть въ secrétaire?

Крутицынъ отказался. Молодое общество разсѣлось у стола. Онъ остался одинъ и все глядѣлъ на дверь въ залу. Вотъ показалась опять бѣлая фигура съ золотымъ пукомъ локоновъ.

— Какъ, однако, она хороша! — почти вслухъ сказалъ Крутицынъ и всталъ.

Доложивши о чемъ-то старушкѣ, она вернулась къ дивану.

— Играютъ въ secrétaire, — сказалъ ей Крутицынъ: — вы будете?

— Разумѣется, я должна дѣлать, что другіе дѣлаютъ... а то какая же бы я была дѣвица для компаніи?

Она взяла съ дивана вѣеръ и, помахивая имъ, добавила:

— Вы конечно не будете играть...

— Вамъ угодно, чтобы...

— Вотъ этого я отъ васъ не ожидала... Зачѣмъ же это вамъ съ ребятишками коротать скуку...

Крутицынъ опять почувствовалъ стѣсненіе.

— Я съ вами не прощаюсь, — поспѣшилъ онъ заго-

ворить другимъ тономъ: — мнѣ что-то сдается, что мы дѣйствительно встрѣтимся...

— Знаете, у меня сложился цѣлый планъ.

— Когда же это?

— А вотъ когда я ходила справляться, пріѣхалъ-ли возокъ.

— Такъ быстро?

— И очень хорошій...

— Стало быть, до свиданья, — вымолвилъ съ удареніемъ Крутицынъ, протягивая ей обѣ руки: — да позвольте узнать, какъ васъ зовутъ?

— Зачѣмъ это?

— Мы встрѣтимся... и я не буду знать, какъ васъ привѣтствовать; мнѣ всегда пріятнѣе, когда я знаю имя и отчество.

— Имя мое ужасное... Аксинья.

— Быть не можетъ!

— Ей-богу, Аксинья... если хотите, поэтически: Ксенія...

— Прекрасное имя... Ксенія... а дальше...

— Николаевна... И довольно. Этого очень достаточно... а вашего имени я не спрашиваю... Мнѣ скажутъ; вы, вѣроятно, писатель, вѣдь да?

— О, нѣтъ! я просто химикъ...

— Химикъ... Какъ это странно... съ вашей наружностью...

— А развѣ она не подходящая?

— Къ химіи — нѣтъ... Вы смотрите какимъ-то испанцемъ...

«Такъ и есть», подумалъ Крутицынъ: «точно сговорились съ тетушкой».

— Mademoiselle! — подлетѣлъ все тотъ же уланъ: — угодно въ secrétaire?

— Угодно, — отвѣтила она, и низко нагнула голову, кланяясь въ послѣднiй разъ Крутицыну.

Онъ скрылся, не прощаясь съ хозяйкой, и на порогѣ залы еще разъ взглянулъ на пучекъ золотыхъ локоновъ и античный носъ Ксенiи Николаевны.

Въ «Челышахъ» Крутицынъ не могъ долго оторваться думой отъ «дѣвицы для компанiи», но кончилъ тѣмъ, что разсмѣялся надъ самимъ собой и обозвалъ себя «ферлакуромъ» и «пошлякомъ».

«Все это у меня гнилой диллетантизмъ», рѣшилъ онъ. «Всякую дѣвчонку беру въ серьезъ. Докторъ Швецовъ сугубо правъ, и не такъ еще слѣдовало бы ему ругать меня. Смазливая рожица, — я и растаялъ. На сцену она пускай поступаетъ: но не на одну сцену ей хочется; быть ей на содержанiи у какого-нибудь валашскаго бояра въ Парижѣ или у концессiонера желѣзной дороги въ Петербургѣ».

Но величавый и ласкающiй образъ снился ему всю ночь; въ греческомъ пеплумѣ, съ дiадемой на головѣ, съ античными руками, съ вызывающимъ и горделивымъ взглядомъ...

XIV.

«Мягкотѣлiе» проводилъ Крутицына на дебаркадеръ Николаевской дороги.

— Терапiя укатила третьяго дня, вы ее ужь не захватите въ Питерѣ, — говорилъ онъ, стоя на платформѣ передъ вагономъ, куда поднялся Крутицынъ.

— Ѣдете на вакацiю, юноша?

Турусовъ ухмыльнулся.

— Нѣтъ, остаюсь.

— Или Соничка?...

— Дѣло, значитъ, пошло по душѣ. А терапія-то вѣдь ни съ чѣмъ отъѣхала въ маскарадѣ. Она не мало надъ нимъ потѣшилась.

— Такъ, на всю вакацію и пойдутъ амуры.

— Что это вы, ей-же-ей, я работать буду еще пуще. А знаете, Александръ Павлычъ, бабенка-то она душевная, и безъ всякаго призора...

— То-то... смотрите, чтобы хватило на заграничную поѣздку!

— Еще-бы! Вы не подумайте, чтобъ у ней, то-есть, жадность на счетъ денегъ была... Ни Боже мой! Даже презентика никакого не беретъ.

— А акушерство?

— Ходитъ въ воспитательный домъ каждый день.

Раздался третій звонокъ.

— Прощайте, Александръ Павлычъ! — крикнулъ Турусовъ, поднимаясь на ступеньки облобызаться съ Крутицынымъ:—не напишете ли писулечку? Какъ бы утѣшили! Вамъ, значитъ, Парижъ, посте-рестанте?

— Да, рестанте!

И Крутицынъ невольно разсмѣялся.

Поѣздъ двинулся, скобля колесами по мерзлымъ рельсамъ. Окно, у котораго сѣлъ Крутицынъ, на половину замерзло. Видны были только: обликъ широкой фигуры Турусова и то, какъ рука махала шапкой.

Когда Крутицынъ садился въ вагонъ на дальній путь, имъ тотчасъ же овладѣла непробудная молчаливость. Онъ курилъ съ небольшими промежутками и, если спалось, спалъ. Чтеніе утомляло его, и только въ началѣ дороги онъ пробѣгалъ газеты. До самаго Петербурга онъ не проронилъ больше пяти словъ. Остановился онъ въ какой-то безвѣстной гостиницѣ, поблизости варшавской станціи,

и такое уныніе навела на него петербургская оттепель, что онъ, не дождавшись курьерскаго поѣзда, взялъ другой, отправляющійся послѣ обѣда и приходящій на границу ночью.

Къ границѣ, въ поѣздѣ сдѣлалась совершенная пустота. Кондукторъ пришелъ-было составить ему компанію, но бесѣда оборвалась. Въ отдѣленіи вагона Крутицынъ сидѣлъ одинъ-одинешенекъ, и, глядя въ отпотѣвшія окна, силился проникать въ мракъ кислой ночи. Телеграфные столбы мелькали, наводя особую желѣзно-дорожную одеревенѣлость.

«Вотъ и граница», думалъ Крутицынъ, когда поѣздъ миновалъ «Пильвишки» и «Провенишки» — двѣ станціи, которымъ судьба дала такія смѣхотворныя прозвища: «еще одинъ жизненный ломотъ отрѣзанъ; а съ какими итогами ѣду я?»

Онъ подвелъ ихъ, эти *итоги*, превращающіеся тотчасъ же въ ряды суммъ для новыхъ и новыхъ итоговъ. Всѣхъ онъ видѣлъ, къ кому былъ привязанъ... Тетушку, Парашу... поставилъ крестъ на своей прошлой семейной жизни, вычеркнулъ ее затѣмъ, чтобы помириться безвозвратно...

«Но гдѣ же пуповина?» спрашивалъ онъ, вспоминая интонацію Швецова. «Какія зацѣпки, связи, крупные интересы? Кому я нуженъ? Гдѣ сила и вліяніе?»

Отъ этихъ вопросовъ стало ему холодно и уныло на душѣ.

«Приходится начинать опять съизнова», говорилъ онъ съ горечью, «точно первому попавшемуся студентику, — мягкотѣлому Турусову. Да и онъ, если поѣдетъ за-границу, двинется полный надеждъ и иллюзій, для рѣшенья вопроса: Гамлетъ онъ или Келликеръ? Для него будущее — все, и можно кинуть въ какой-угодно опытъ хоть цѣлый десятокъ лѣтъ. А мнѣ? Пройдетъ годъ, кончится

выставка, и ступай опять на перепутье, и «взыскуй грядущаго града». Гдѣ люди, за которыхъ могу я ухватиться, съ которыми пойду рука объ руку, къ одной высокой цѣли, сильный ихъ круговой порукой, сочувственной и осмысленной солидарностью? Ихъ нѣтъ. Случайныя знакомства, два—три пріятеля, разсыпанные по разнымъ угламъ матушки-Руси, нѣсколько студентовъ, бывшихъ учениковъ — неизвѣстно гдѣ... двѣ женщины... и обчелся. Среды нѣтъ, нѣтъ!»

Все унылѣе и холоднѣе становилось у Крутицына на душѣ. Поѣздъ сталъ. У фонаря виднѣлась укутанная фигура, и сквозь полуотворенную дверь доносилось выкрикиваніе ломанымъ русскимъ языкомъ:

— Вирбалэ-э! Эдкунэ-э!

Крутицынъ отдалъ свой паспортъ, но, сѣвъ опять на мѣсто, не могъ оторваться отъ нервной думы...

«И зачѣмъ я отдаюсь всякимъ вздорнымъ впечатлѣніямъ? Вотъ хоть бы эта дѣвица... съ желаньемъ сдѣлать карьеру на сценѣ... Неужели я еще способенъ откликаться на такой пустякъ?»

Онъ не отвѣтилъ на вопросъ. Опять остановился поѣздъ. Вагонъ обдало свѣтомъ дебаркадера. Заслышался нѣмецкій говоръ. Крутицынъ вышелъ на платформу, посмотрѣлъ скучно на каску прусскаго жандарма и поплелся за служителемъ, который несъ его сакъ въ таможню. У окошечка, въ сѣняхъ, размѣнялъ онъ свои бумажки на талеры, и управившись съ таможенными, пошелъ въ залу ужинать. Былъ часъ первый ночи. Зала, еле освѣщенная, казалась еще внушительнѣе со своими готическими линіями и украшеніями. У буфета за столомъ сидѣло нѣсколько желѣзнодорожныхъ чиновниковъ и капитанъ съ трубкой. Всѣ они пили пиво и то и дѣло хохотали.

«Экъ, ихъ пронимаетъ!» разсердился Крутицынъ, глядя на ихъ грубыя, красныя лица, подъ хмѣлькомъ.

Два кельнера, одинъ бѣлый, другой черный, расхаживали, позѣвывая въ руку, между столами. Крутицынъ заказалъ черному «Schmorbraten mit Kartoffel» и помѣстился скромненько на углу стола. Противъ него сидѣлъ уже пассажиръ, ѣхавшій одинъ въ первомъ классѣ, въ енотовой шубѣ, съ рыжей бородой.

— Куда ѣдете? — спросилъ онъ по-нѣмецки Крутицына.

— Въ Парижъ.

— Зачѣмъ?

Крутицынъ объяснилъ ему, весьма кратко, цѣль своей поѣздки.

— Вы русскій?

— Русскій.

— Почему же вы такъ хорошо говорите по-нѣмецки?

И это объяснилъ ему Крутицынъ и получилъ отъ него въ награду обстоятельныя показанія. Узналъ онъ, что енотовая шуба — временный выборгскій купецъ, родомъ изъ Тильзита, что ѣдетъ онъ въ Кенигсбергъ и торгуетъ пенькой и тряпьемъ, а также свѣжей икрой.

Пришелъ русскій кондукторъ, подсѣлъ къ нѣмцамъ и сталъ съ ними болтать, выпивши предварительно большую рюмку коньяку. Минутъ черезъ десять явился за нимъ русскій «унтеръ», въ сѣрой шинели съ тесакомъ черезъ плечо, на широкомъ ремнѣ, видимо изъ евреевъ, съ черными бакенбардами, выпилъ у буфета тоже рюмку чего-то и махая рукой взялъ кондуктора и еще какого-то нѣмца:

— Иванъ Христьяновичъ! Пожалуйте... Ценъ минутенъ эуфъ ейнсъ!..

Разошлись нѣмцы. Буфетъ погрузился въ мракъ. Кельнера захрапѣли. Крутицынъ присѣлъ на диванъ. Его всего разломило, лицо горѣло и чесалось, глаза томительно сли-

пались. Но онъ то и дѣло вздрагивалъ и поднималъ голову.

Раздался свистъ. Поползъ онъ въ новый вагонъ, и залегъ одинъ въ купе. Но ему все-таки не спалось отъ дорожнаго раздраженія.

«Еще двое сутокъ ѣзды!.. Что за нелѣпость таскаться по желѣзнымъ дорогамъ!»

Это восклицаніе, сдѣланное про себя, заставило его улыбнуться. Онъ вспомнилъ, что ѣдетъ не отъ скуки и бездѣлья, не на чужія деньги, а за «собственную работу». И сознаніе своего «прелетаріата», своей «поденщины», пахнуло на него особой отрадой...

«Ну, и пускай не будетъ града», повторялъ онъ, глядя на зеленый абажуръ выпуклаго фонаря: «только бы остались голова и руки и къ нимъ приливалъ трудъ. И живи, пока живется!»

Поѣздъ пошелъ ходче. Миновали Кенигсбергъ. Крутицынъ задремалъ-было, но его разбудилъ картавый прусскій крикъ:

— Kobbelbude! Eine minute. Bitte einsteigen, meine Herrn!..

И опять загудѣлъ паровозъ..

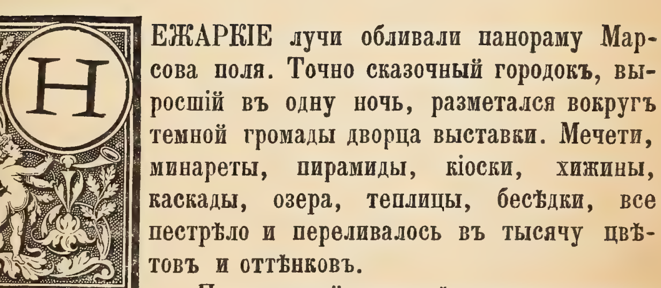


КНИГА ВТОРАЯ.

СОЛИДНЫЯ ДОБРОДѢТЕЛИ.

КНИГА ВТОРАЯ.

I.



НЕЖАРКІЕ лучи обливали панораму Марсова поля. Точно сказочный городокъ, выросшій въ одну ночь, разметался вокругъ темной громады дворца выставки. Мечети, минареты, пирамиды, кіоски, хижины, каскады, озера, теплицы, бесѣдки, все пестрѣло и переливалось въ тысячу цвѣтовъ и оттѣнковъ.

По наружной галлереѣ двигалась сплошная масса публики. Кучки англичанъ, всякаго калибра и возраста, гудѣли вдоль своихъ буфетовъ съ разодѣтыми и подкрашенными «miss». На французской половинѣ шныряли гарсоны, перекликаясь на разные тоны. На всѣхъ лицахъ написана была какая-то особенная безпредметная озабоченность. Ее вы найдете только на выставкахъ. Толпа сама не знала, что ей нужно, куда ее влечетъ, гдѣ больше занимательнаго, гдѣ меньше? Она двигалась, какъ ку-

колки на мѣдномъ кружкѣ старой шарманки, присаживаясь къ столикамъ, потомъ опять поднимаясь и разливаясь вправо и влѣво по радіусамъ и концентрическимъ кругамъ дворца, прозваннаго съ первыхъ же дней «usine à gaz».

Съ той стороны, гдѣ помѣщалось русское отдѣленіе, доносился гамъ, точно съ какого базара. И въ самомъ дѣлѣ, туда загнали всю кустарную торговлишку мелкихъ торгашей, размѣстившихся кое-какъ въ досчатыхъ лавчонкахъ. Изъ тихаго парка попадали посѣтители въ цѣлый водоворотъ французскаго крика и грошевой рекламы, гдѣ нечего было покупать, не на что глядѣть, кромѣ развѣ собственныхъ кармановъ...

У Корещенко было биткомъ набито. Самоварщица Авдотья, въ голубомъ сарафанѣ, сшитомъ уже «по-парижски», съ обнаженіемъ всей руки до самаго плеча, разливала чай и, ухмыляясь, поглядывала въ окно на толпу французовъ, привлеченныхъ этимъ оріентальнымъ зрѣлищемъ. На галлереѣ, у столиковъ, закусывало нѣсколько человѣкъ, все больше русскихъ. Отдѣльно сидѣлъ купчина въ картузѣ съ бархатнымъ околышемъ и въ жесткомъ гарусномъ долгополомъ сюртукѣ. Около него справа стоялъ переводчикъ съ надписью на фуражкѣ: «interprète»; слѣва бѣлокурый половой въ лиловой рубашкѣ. Передъ купчиной, на столѣ, возвышалась цѣлая пирамида фруктовъ съ ананасомъ на верху. Онъ потѣлъ, отиралъ лицо клѣтчатымъ ситцевымъ платкомъ и прихлебывалъ съ блюдечка, подувая на него.

Собралась и передъ нимъ кучка увріеровъ и женщинъ.

— C'tte binette!.. Oh-la-la — хихикалъ маленькій блузникъ, толкая подъ бокъ пріятеля.

— Чего зубы-то скалятъ? — обратился купчина къ половому: — обезьяны... одно слово.

— Потому воля! — отвѣтилъ половой, и повернув-

шись къ кучкѣ, глазѣющей на «mangeur de chandelles», выговорилъ очень бойко: — сиркюлѐ, мессье, сиркюлѐ!

— По-французски, значитъ, обученъ и ты? — спросилъ купецъ.

— Съизмальства.

— Ишь ты... въ трактирномъ заведеніи?

— Никакъ нѣтъ-съ. Я парикмахерскому дѣлу обучался... На Кузнецкомъ у француза...

— И пріобыкъ?

— Такъ точно-съ. А тутъ, какъ прослышалъ я, что русское заведеніе открывается на выставкѣ, я и предъявился... на двухъ языкахъ, объясняться, дескать, могу.

— Замѣсто, выходитъ, француза...

— Такъ точно. Только я свой разсчетъ имѣю... Половымъ мнѣ не слѣдъ оставаться... я еще недѣльки двѣ-три помаячу здѣсь, присмотрюсь да и въ парикмахерскую, какая получше... въ искусствѣ усовершенствоваться.

— Это ты, малый, не плохо надумалъ.

— Поживя полгода времени у хорошаго куафера-то, я вернусь въ Москву... всѣмъ имъ тамъ носъ утру и свое заведеніе открою.

— Завиве муа?

— Такъ точно-съ. Для меня Парижъ, могу сказать, перво-мѣсто на всемъ свѣтѣ.

— По твоему-то, значитъ, рукомеслу?

— Такъ точно-съ. Человѣку съ понятіемъ обучиться многому можно... Извѣстное дѣло, надобна смекалка. А мужика сиволапаго приведите вы сюда, онъ только зеньками хлопать будетъ.

— Это истинная правда.

Купчина допилъ, закрылъ чашку и громко икнулъ.

Кучка, обозрѣвавшая его, продолжала потѣшаться.

— Еще прикажете? — спросилъ половой.

— Упрѣлъ, передышечку надоть сдѣлать... Ты молодицѣ-то скажи, воды бы не больно цѣдила... Вонъ какъ на нее нѣмчура-то уставилась.

— Въ диковинку-съ... И изъ благородныхъ есть охотники до русской красоты... бель-фамъ, говорятъ.

— Да нѣшто нѣмчура и чайкомъ балуется?

— Какъ же-съ... Смѣху подобно... Закажетъ чаю съ лимономъ, икры порцію велитъ подать... Кусокъ возьметъ въ ротъ, да чаемъ и запиваетъ... Больше, однако, все русскіе.

— И дерете же вы, пятиалтынный за чашку.

— Провозъ дорогъ.

— Въ ресторацiи тебѣ три пары за шесть гривенъ мѣдью предоставятъ, и воды сколько хошь.

II.

Со стороны русской избы показался господинъ во всемъ бѣломъ. Это былъ Крутицынъ. Онъ запустилъ бороду и волосы. Соломенная шляпа и бѣлый костюмъ придавали ему видъ колониста съ какой-нибудь Мартиники.

Половой-куаферъ раскланялся съ нимъ и назвалъ по имени и отчеству.

Крутицынъ взглянулъ на фигуру купца, на пирамиду фруктовъ съ ананасомъ, и невольно усмѣхнулся.

— Чайку стаканчикъ не прикажете ли, Александръ Павлычъ? — спросилъ его половой.

— Пожалуй, только пожиже.

Сѣлъ Крутицынъ противъ купца и закурилъ. Купецъ

снялъ картузъ и началъ старательно отирать лобъ. Его красный, луковкой, носъ точно обнюхивалъ все кругомъ; а заплывшіе совсѣмъ глаза щурились отъ солнца.

— Теплынь, — выговорилъ онъ, обращаясь, повидимому, къ Крутицыну.

— Не скажу, чтобъ жарко...

— Или ужь я чайку-то испимши... А позвольте узнать: вы здѣшній?

— То есть, какъ это здѣшній?

— Значитъ, тутошній... При самой этой выставкѣ состоите... Потомувонъ паренекъ-то васъ призналъ.

— Почти что такъ, — отвѣтилъ Крутицынъ.

— Изъ служащихъ?

— Нѣтъ, я корреспондентъ.

— Ась?

— Въ газетахъ пишу.

— Тэкъ-съ... Такъ вотъ, батюшка, не доводилось ли публику такую читать, али кто сказывалъ... обратнаго билетца не продаетъ ли кто до Питера? Я бы цѣну хорошую далъ.

— Вы для себя ищете?

— Для себя... лишнее-то для чево платить. А Парижъ этотъ одно слово: пріѣдешь — угоришь. Сутки-то въ пять золотыхъ въѣзжаютъ... ей-же-ей!... Я хошь и въ третьемъ классѣ...

— Да на третій классъ нѣтъ такихъ билетовъ.

— А только эти... какъ бишь ихъ, миксъ?

— Да, mixte.

— То-то... второй и первый... ну хошь такой... Я четвертную дамъ сейчасъ.

Крутицынъ оглядѣлъ опять пирамиду фруктовъ, переводчика, состоящаго при купчинѣ: сообразилъ, что ему въ самомъ дѣлѣ обходились сутки въ Парижѣ, и подумалъ: «ну, типъ!»

— Вы найдете, навѣрно, желающихъ продать обратный билетъ, скажите вотъ тутъ у Корещенко.

— Ужь сказывалъ я, и молодцу наказалъ... Пора ко дворамъ.

— Выставляете что-нибудь?

— Нѣтъ, батюшка, ничего не выставляю. Мы рыбный промыселъ имѣемъ... бѣлужина, осетръ, сомина, стерлядь... Вотъ самое наше дѣло. Теперь къ Макарію готовить надоть стерлядь... А я по обѣщанію, значитъ...

— По обѣщанію? — повторилъ изумленнымъ голосомъ Крутицынъ.

— По обѣщанію... да-съ... Въ Филиповки схватило меня, чуть-чуть Богу душу не отдалъ... ну и обѣщался я въ тѣ поры Николѣ Чудотворцу: поклониться нетлѣннымъ мощамъ угодника... Путь лежалъ въ эту самую Италію... съѣздилъ я, какъ слѣдуетъ помолился... а на обратномъ-то, выходитъ, пути, дай, молъ заѣду на эту самую выставку поглазѣть маленько... Вотъ и хороводимся съ этимъ мусью...

Онъ указалъ пальцемъ на переводчика, черноватаго малаго, должно быть изъ польскихъ жидковъ. Тотъ приподнялъ фуражку и сказалъ Крутицыну дурнымъ французскимъ акцентомъ:

— Monsieur a le sac...

— Какъ же вамъ нравится здѣсь? — спросилъ Крутицынъ.

— Занятно... да больно ужь въ глазахъ-то запестритъ-запестритъ... Свѣта преставленіе. А супротивъ Макарія народу не будетъ... У насъ тамъ и бухарцевъ, и персіянъ, и всякаго языку; а здѣсь все французъ да нѣмецъ... Фрухтомъ вотъ люблю побаловаться... Не прикажете ли нанасику ломтикъ?

— Благодарю, я не охотникъ.

— Ходить-то — одурь возьметъ, да и дышать не

вольготно одѣвшись... Есть тележки, вонъ что возятъ-то, за два франка въ часъ... да зазорно... Ровно мертвое тѣло поволокутъ тебя... А позвольте спросить, что это за слободка такая, Версалью прозывается?

— Дворецъ тамъ, картинная галлерея, садъ, фонтаны...

— То-то вотъ мой мусью меня подбиваетъ... чудеса въ рѣшетѣ сулитъ... Только надо знаючи туды угодить... Воду-то, по воскресеньямъ, слышь, пущаютъ... О надоть побывать, парочку чайку что-ли распить...

Воображенію купчины представились, вѣрно, Сокольники и Марьина Роща, гдѣ можно въ сласть «побаловаться чайкомъ». Онъ началъ сладко - пресладко улыбаться.

Половой-куаферъ принесъ Крутицыну стаканъ чаю и вступилъ съ нимъ въ бесѣду на ту же тему о возможности сдѣлаться въ Парижѣ парикмахерскихъ дѣлъ мастеромъ первой величины.

— Вы вѣдь тамъ... въ Картье-Лятень изволите квартировать? — спросилъ онъ Крутицына.

— Да, а что?

— Сегодня желательно мнѣ закатиться на балъ... въ Прадо.

— Въ лиловой рубашкѣ?

— Нѣтъ-съ, какъ можно-съ, у меня цѣлый гардеробъ есть...

— Ну, а Авдотья тоже, небойсь, порывается въ Мабиль?

— Есть-таки охотка...

Купецъ раскрылъ ротъ и хотѣлъ что-то заговорить, но Крутицынъ допилъ стаканъ, сунулъ въ руку половаго деньги и, поклонившись «богомольцу», двинулся.

III.

Онъ заторопился потому, что увидалъ группу знакомыхъ соотечественниковъ, приближающуюся къ Корещенко, а они ему слишкомъ ужь надоѣли.

Взявши вправо по большому проходу «Route de Russie», пересѣкъ онъ все зданіе выставки. Каждый шкафъ, каждый карнизъ, каждый кусокъ матеріи были ему извѣстны и переизвѣстны. Онъ присутствовалъ при родахъ этого колоссальнаго пріемника міровой промышленности; но галлерея машинъ все-еще привлекала его своими грандіозными размѣрами и характерной физіономіей механическаго движенія.

Выйдя за ограду выставки, Крутицынъ отправился неспѣшнымъ шагомъ къ набережной, купилъ нумеръ «Фигаро» и, читая на ходу, двигался по лѣвому берегу въ Латинскій кварталъ, гдѣ жилъ съ самаго пріѣзда, на Boulevard St.-Michel. За зданіемъ института онъ остановился и оглядѣлъ вправо и влѣво веселую и нарядную панораму сенскаго прибрежья. Онъ чувствовалъ, что Парижъ дѣлался ему особенно дорогъ въ иныя минуты, когда суета милліонной толпы давала ему горькій осадокъ личнаго одиночества, заброcанности среди волнующагося моря всесвѣтной столицы. Постоитъ онъ вотъ такъ, пять, десять минутъ, на сенской набережной, поглядитъ на Лувръ, на площадь Согласія, на башню «Nôtre-Dame», на рядъ легкихъ и красивыхъ мостовъ, на свѣжую зелень каштановъ, на пеструю вереницу пѣшеходовъ, омнибусовъ, фіакровъ, всадниковъ, — и на душѣ полегчаетъ, явится улыбка, глаза засвѣтятся радостнѣе, куда-то потянетъ, и мышцы, и нервы стряхнутъ съ себя славянскую кислую

хандру, захочется думать, читать, смотрѣть, ходить, явятся всѣ жизненные аппетиты...

Но надежды Крутицына на сближеніе съ «тузами» въ родѣ Алексѣя Аввакумовича Купоросова разлетались. Съ кѣмъ ни толковалъ онъ изъ пріѣзжихъ крупныхъ промышленниковъ, онъ встрѣчалъ «что-то», что не допускало до такого сближенія. Это «что-то» сидѣло въ самомъ Крутицынѣ, въ его умственномъ складѣ, въ неумѣньи опуститься до уровня тузовъ, влѣзть къ нимъ въ душу, подстрекнуть ихъ тщеславіе, а только на эту удочку они и ловились. Или попадались экземпляры въ родѣ богомольца, торгующаго стерлядью и соминой и сбирающагося въ Версаль: «распить *парочку* чайку». Крутицынъ, повозившись три-четыре мѣсяца на выставкѣ, впервые распозналъ практически: за какіе низменные инстинкты держится рычагъ всемірной индустріи. Куда онъ ни заглядывалъ, къ французамъ ли, къ англичанамъ ли, къ нѣмцамъ ли, вездѣ наталкивался на хозяйскую погоню за рекламой. Трудъ рабочаго хоронился за блестящими витринами и крикливыми драпировками. Публика глазѣла на продуктъ, а чего онъ стоилъ рабочей массѣ, до этого никому не было дѣла. Самые любознательные туристы довольствовались идилліей публичнаго тканья и тачанія ботинокъ умытыми и шикарно-причесанными увріерками. Все блестѣло, кокетничало формами и красками, кидалось въ глаза казовымъ концомъ и успокоивало простодушныхъ зѣвакъ, повторявшихъ на разные лады:

«Какъ это мило устроено и какъ хорошо, что мы живемъ въ такое время, когда все можно достать за деньги, кромѣ птичьяго молока».

И глядѣли эти зѣваки на карточный домикъ, созданный досужимъ воображеніемъ императора, заигрывающаго съ соціализмомъ... «Что за прелесть этотъ домикъ! Въ немъ не то, что семействамъ рабочихъ, а хоть бы стат-

скимъ совѣтникамъ съ супружницами и чадами проводить лѣтній сезонъ, гдѣ-нибудь въ Лѣсномъ или въ Стрѣльнѣ. Просто игрушечка! И спальня, и кухня, и столовая, и каминъ, и чего-чего только нѣтъ въ каждомъ помѣщеніи. Какого же рожна еще этимъ ненасытнымъ пролетаріямъ, когда самъ императоръ строитъ имъ такіе домики? Значитъ, они съ жиру бѣсятся, затѣвая стачки и коалиціи?.. Фи!.. Можно ли имъ сочувствовать послѣ этого?!» Вотъ что думали лавочники Сити, буржуа улицы St.-Denis, саратовскіе и тамбовскіе землевладѣльцы, притащившіеся въ столицу вселенной — себя показать и на людей поглядѣть.

Крутицынъ видѣлъ и чувствовалъ это каждый день, и съ каждымъ же днемъ охлаждалась въ немъ охота искать благодѣтелей рабочаго класса, добродѣтельныхъ «Алексѣевъ Аввакумычей». Мало того, весь міръ индустріи, подавляющій массу своими гигантскими размѣрами, богатствомъ и разнообразіемъ производительности и умственнаго почина, сдѣлался для него почти ненавистнымъ. Онъ не видалъ никакого исхода изъ этой алчной горячки успѣха, барыша, бездушной конкурренціи... Инстинкты захвата, жадности, безумной роскоши, утонченной чувственности, сословнаго высокомѣрія, — всѣ нашли себѣ безчисленныхъ промышленниковъ, кидающихъ милліоны на производство всякаго ненужнаго хлама и мишуры. Выкиньте изъ пріемника всемірной индустріи эти вклады праздности и эксплуатаціи, и увидите, что останется кое-какое дрянцо, на которое и даромъ не заманишь скучающую публику пяти частей свѣта. Только одна идея правъ труда на благоденствіе заброшена въ каталогъ подъ видомъ пресловутой «Х группы», но и она облеклась въ мизерныя формы, въ фальшь правительственныхъ ласкъ, во что-то дѣланное, подрумяненное, умышленное...

Вотъ что вынесъ Крутицынъ изъ своего ежедневнаго

хожденія на Марсово Поле; а «хомута» все-таки не было впереди и по возвращеніи изъ Парижа. Не лежало его сердце къ дѣятельности, гдѣ нужно будетъ служить такъ или иначе мошнѣ «Алексѣевъ Аввакумычей». А оставаться за границей такъ, между небомъ и землей, случайнымъ корреспондентомъ, толкующимъ обо всемъ, пробиваясь со дня на день, — такая перспектива наводила на него мрачное уныніе... Онъ чувствовалъ также, что въ Парижѣ русскому человѣку нѣтъ ходу иначе, какъ путемъ ожесточеннаго совмѣстничества. Онъ видѣлъ, что умственная, гражданская, нравственная связь съ лучшими людьми и идеями всесвѣтной столицы возможна только въ отвлеченныхъ формахъ; подъ ней не лежитъ настоящей жизненной подкладки, «пуповины», какъ выразился бы докторъ Швецовъ... И высшее духовное наслажденіе сводилось къ объективному воспріятію впечатлѣній, къ знакомству съ многообразнымъ теченіемъ жизни: страстей, позывовъ, интересовъ, упованій, знаменующихъ собою вѣчное послѣдованіе идей, которыя правятъ людскимъ муравейникомъ, двигаясь неспѣшно, какъ тяжелый маятникъ, и вбивая на пути такъ-называемаго прогресса свои историческія вѣхи...

А личныя радости, наслажденія, щекотанья самолюбія, проблески юношескихъ мечтаній, отходили все дальше и дальше... И не будь тутъ этой нарядной и колоссальной столицы, этой пестрой, радужно переливающейся жизни Парижа, Крутицынъ переживалъ бы, какъ травяную жвачку, свою поденщину... Марсово Поле пріѣлось ему не столько своимъ внутреннимъ содержаніемъ, сколько ярмаркой всесвѣтной скуки и безцѣльнаго шатанья, а превыше всего зрѣлищемъ соотечественниковъ, которые такъ ярко заявляли, на каждомъ углу, свою національность и вмѣстѣ съ нею свое фырканье на все огуломъ, или безтолковые и слащавые восторги...

IV.

На бульварѣ St.-Michel, какъ и всегда въ предобѣденную пору, жизнь текла бойкой струей. Весело журчали воды фонтана, плескаясь по ступенькамъ въ бассейнъ. Весело играло солнце въ широкихъ окнахъ магазиновъ и кафе. По набережной, передъ ящиками букинистовъ, стояли кучки обычныхъ библіомановъ. Бонны въ накрахмаленныхъ чепчикахъ проходили съ дѣтьми на рукахъ и неизбѣжными «piou-piou» въ красныхъ штанахъ. Рядомъ съ конторой омнибусовъ, противъ фонтана, два студента, задравъ пуховыя шляпы на затылокъ, сидѣли у кафе за стаканами абсента и «блягировали», перекидываясь прибаутками съ пассажирами имперьяловъ. Толстая, претолстая старуха несла, тяжело дыша, вафельную рулетку и кричала визгливо:

— V'la le plaisir, mesdames, v'la le plaisir!

Крутицынъ дошелъ уже до Rue des Ecoles. Передъ нимъ, по тротуару, двигался всякій народъ: блузники, кучки студентовъ, женщины «квартала» безъ шляпокъ. Онъ поднялъ голову, и взглядъ его упалъ на женскую фигуру, шагахъ въ двадцати отъ него. Фигура показалась ему знакомой. Изъ-подъ маленькой шляпки, прикрывающей только темя, спускался шиньонъ съ золотистыми локонами. Платье и кофточка были темнаго цвѣта.

«Кто это?» спрашивалъ про себя Крутицынъ, и не могъ тотчасъ же вспомнить сходство очертаній бюста и въ особенности головы съ чѣмъ-то ему знакомымъ.

Онъ прибавилъ шагу. Женщина повернула къ Пантеону. Онъ былъ отъ нея не больше какъ въ пяти—шести шагахъ. Золотистые локоны особенно смущали его.

«Неужели это та дѣвушка», думалъ онъ, «съ которой я познакомился передъ отъѣздомъ изъ Москвы? Она порывалась въ Парижъ. Цвѣтъ волосъ, ростъ, походка — очень похожи. Она, она!»

Онъ было уже совсѣмъ рѣшился поровняться съ ней, но удержался и продолжалъ идти шагахъ въ пяти. Дойдя до Rue St.-Jacques, женщина съ золотистымъ шиньономъ повернула въ улицу; Крутицынъ — за ней. Чѣмъ дальше онъ шелъ, тѣмъ все сильнѣе убѣждался, что это — московская «demoiselle de compagnie»; но какая-то особая застѣнчивость не позволяла ему поступить рѣшительнѣе, обогнать ее, заглянуть въ лицо и остановить, если онъ дѣйствительно не ошибся.

Она шла неторопливо, не оглядываясь на стороны, но часто сторонясь, завидѣвъ омнибусы, грохотавшіе въ этой узкой улицѣ, полной лавченокъ и грязи рабочаго населенія. Въ одномъ мѣстѣ она остановилась въ дверяхъ дома, дожидаясь проѣзда огромной телеги: тротуара тамъ не было. Крутицынъ остановился и увидалъ профиль.

«Она»! сказалъ онъ вслухъ и прибавилъ шагу; но между ними очутился блузникъ, тащившій тележку съ овощами, оглашая улицу пронзительными криками.

Незнакомка сдѣлала еще нѣсколько шаговъ, и на этотъ разъ вошла въ узкую дверку съ деревянной рѣшеткой внизу, какія попадаются только въ парижскихъ отельчикахъ. Крутицынъ вбѣжалъ за ней и крикнулъ:

— Ксенія Николавна!

Онъ успѣлъ вспомнить ея имя. Женщина стояла на порогѣ крошечнаго и грязнаго бюро съ ключомъ въ рукахъ, спиной къ входу. Она вся встрепенулась и, оборачиваясь лицомъ къ Крутицыну, почти наткнулась на него.

— Вы! — вырвалось у него. — Здѣсь! Какъ?

Она оглядѣла его сначала недоумѣвающимъ взглядомъ и проговорила:

— Monsieur...

— Да вы меня, стало-быть, не узнаете! Я Крутицынъ, помните у Анны Дмитріевны на вечерѣ?

— Ахъ!... и въ самомъ дѣлѣ! Но вы такъ измѣнились... Я бы васъ не узнала...

— Почему?

— Борода и волосы... и костюмъ этотъ... Вы меня гдѣ же увидали?

— На улицѣ... я все время шелъ за вами съ бульвара St.-Michel.

— Сейчасъ узнали?

— Да.

— Что же не подошли?

— Колебался, думалъ: врядъ-ли вы.

— Я, я, видите... вотъ мы и встрѣтились, какъ уговаривались... Что же мы стоимъ... пойдемте наверхъ, ко мнѣ...

Она все это говорила торопливо и какъ бы взволнованно.

— Вы здѣсь и живете? — спросилъ Крутицынъ, поднимаясь за нею.

— Да, здѣсь... а что?

Онъ промолчалъ, но подумалъ: «въ плохихъ она, бѣдненькая, финансахъ».

Пришлось подниматься въ четвертый, т. е. по-русски въ шестой этажъ, потому что парижане не считаютъ за этажи ни rez de chaussée, ни антресоль. Лѣсенка узенькая и темная. На площадкахъ всякая всячина. Воздухъ удушливый. Отельчикъ былъ изъ такихъ, гдѣ живутъ холостые рабочіе, самые бѣдные комми и... ночныя дѣвы дешеваго сорта.

Комната Ксеніи Николаевны въ одно окно, выходящее на улицу, смотрѣла еще почище. Въ ней царствовалъ, однако, порядочный безпорядокъ и сѣсть рѣшительно было некуда, кромѣ большаго дорожнаго сундука.

— Я вамъ очень рада, — заговорила Ксенія Николаевна, подавая Крутицыну руку: — большое спасибо, что захотѣли узнать меня и не побрезгали моей трущобой.

— Трущобой?

— Да какъ же... Здѣсь очень гадко, я знаю, но что же дѣлать? По одежкѣ надо протягивать ножки... Теперь въ Парижѣ такая дороговизна... даже въ этомъ Латинскомъ кварталѣ... Меньше шестидесяти франковъ нечего и думать имѣть порядочную комнату; а я плачу всего двадцать-пять...

Крутицынъ все-еще держалъ ее за руку и разглядывалъ ея прекрасное, горделивое и смѣлое лицо, въ которомъ явилось что-то новое: больше игры и энергіи сказывалось въ немъ. Въ простомъ шерстяномъ платьѣ она смотрѣла «царицей». Ему стоило много усилій, чтобъ не воскликнуть: «Какъ вы похорошѣли!»

— Давно ли вы здѣсь? — спросилъ онъ наконецъ.

— Съ недѣлю...

— И не дали мнѣ знать?... Грѣшно.

— Ахъ, Боже мой! Да гдѣ же васъ найти... Правда, фамилію вашу я знала... но...

— Чего же легче, — перебилъ Крутицынъ: — пойти на выставку, спросить у Корещенко или въ русскомъ отдѣленіи перваго попавшагося чиновника... Меня знаютъ всѣ.

— Прекрасно, прекрасно... но я на выставкѣ была всего разъ... Надо платить... и потомъ, меня бѣситъ эта ваша выставка.

— Бѣситъ?

— Да. Стоишь передъ витринами... Ліонскіе шелки, брюссельскія кружева, брилліанты... Боже мой! Духъ захватываетъ, слюнки текутъ и злость разбираетъ.

— Вамъ не стыдно въ этомъ признаваться?

— Нисколько не стыдно. Всѣ женщины вамъ тоже

скажутъ. Да что вы все стоите... вотъ я вамъ очищу стулъ... будьте какъ дома, вы вѣдь курите?

— Курю...

— Ну, и прекрасно, и мнѣ дадите папироску...

— Позвольте, позвольте, — перебилъ ее опять Крутицынъ: — начнемъ по порядку... Какъ вы выбрались изъ Россіи и съ какою цѣлію?

— Какъ выбралась... видите ли... Я вамъ откровенно скажу: вы меня совсѣмъ взбаламутили. Помните въ тотъ вечеръ... вы мнѣ такъ убѣдительно расписывали, что мнѣ дорога — на подмостки, а учиться надо въ Парижѣ... Я начала искать случая уѣхать за-границу... На выставку всѣ вѣдь теперь полѣзли изъ нашихъ московскихъ норъ... Моя барыня не собиралась. Я подъискала другую, разслабленную... согласилась быть сидѣлкой и въ февралѣ мы отправились прямо въ Италію...

— Вы были въ Италіи?

— Была... Ахъ, какъ тамъ хорошо! Но мнѣ-то пришлось очень солоно... Я слишкомъ понадѣялась на себя... Моя разслабленная барыня совсѣмъ-было меня уходила... А жалованье получала я самое маленькое... Наконецъ мнѣ стало не вмоготу... Въ три, четыре мѣсяца скопила я кое-какія деньжонки и прикатила въ Парижъ... вотъ мои похожденія...

— Пріѣхали съ цѣлію?...

— Ахъ, вы все на счетъ цѣли... Ну да, хочу учиться...

— Декламаціи? — подсказалъ Крутицынъ.

— Да, декламаціи... Голосомъ мнѣ некогда было заняться въ Италіи... Я цѣлые дни была прикована къ барынѣ... разъ только слышалъ меня одинъ оперный пѣвецъ, это было во Флоренціи.

— И что-жь?

— Пришелъ просто въ телячій восторгъ...

— Вотъ видите...

— Но объявилъ, что учиться мнѣ надо нѣсколько лѣтъ, что я порчу голосъ своей... какъ бы это сказать... вокальной безграмотностью.

— Но, какъ же вы мнѣ не написали сюда, poste restante, зная мое имя?... Я бы вамъ приготовилъ квартиру, разузналъ бы все, что для васъ нужно...

И Крутицынъ покачалъ головой.

— Какъ не написала!... Разумѣется, это легко было сдѣлать... Я и думала было... да раздумала.

— Почему?...

— Вы очень добрый, я это вижу и сразу разглядѣла; да вѣдь, знаете, не совсѣмъ-то легко напоминать о себѣ...

— Какъ вамъ не стыдно!

— Да, да... это вовсе не мелочность... Лишнихъ тонкостей я не люблю; я практическій человѣкъ; но люблю разсчитывать на что-нибудь вѣрное... Я и разсудила такъ: если этотъ господинъ въ Парижѣ меня хорошо встрѣтитъ... тогда другое дѣло...

— И вы, какъ нарочно, пріѣхавши въ Парижъ, не сдѣлали ни одного шага, чтобы меня найти или встрѣтить...

— Искать васъ не хотѣла, я ужь вамъ это сказала, а встрѣтить можно было сто разъ... Я избѣгала весь Парижъ. Развѣ я виновата, что вы сидите день-деньской на вашей выставкѣ... Ну, да объ этомъ что же лишнее толковать... вотъ встрѣтились же... Еще разъ спасибо, что не забыли меня...

Ея смущеніе и нѣкоторая неловкость встрѣчи совсѣмъ прошли. Крутицыну было уже легко разспросить ее обо всемъ, чего-бы онъ сразу не рѣшился задѣть...

— Неужели вы думаете остаться въ этомъ отельчикѣ?...

— Думаю...

— Позвольте мнѣ подыскать вамъ что-нибудь получше...

— Я и сама бы подыскала, да все это кусается...

— Я знаю хорошо Парижъ, я постараюсь...

— Пожалуйста, только не хлопочите очень... да что-жь за бѣда, и здѣсь какъ-нибудь устроюсь... вотъ только, если обзаведусь фортепіано, ужь не знаю, куда его поставить?

И въ самомъ дѣлѣ, поставить что-либо, занимающее больше квадратнаго аршина, не представлялось никакой возможности.

— Вы мнѣ позволили быть съ вами безъ церемоніи? — сказалъ тихо Крутицынъ.

— А то какъ же? Я иначе и не позволю быть со мной...

— Что вы думаете проживать здѣсь?

Она немного покраснѣла и обернула голову къ двери.

— Проживать!... Вопросъ трагическій... У меня хватитъ на два мѣсяца... если очень посжаться...

— То-есть, — подсказалъ Крутицынъ: — у васъ около трехсотъ франковъ?

— Ну, положимъ, и столько.

— Больше двухъ мѣсяцевъ вы не проживете...

— Я знаю; но это меня не смущаетъ...

— За то меня смущаетъ ..

— Васъ?

— Меня даже начинаетъ брать зазрѣніе совѣсти.

— Что вы меня навели на мысль пробраться въ Парижъ?

— Да, — вздохнулъ Крутицынъ.

— Ахъ, какая наивность!... Какъ вамъ не стыдно такъ сантиментальничать... вы, я слышала, ученый, а

говорите точно институтка... Да, позвольте вамъ замѣтить, тутъ и тщеславіе закралось не у мѣста.

— Тщеславіе?

— А какъ же?... Вы, значитъ, смотрите на меня какъ на дѣвочку. Поговорили съ ней десять минутъ, кинули ей идею, она увлеклась и надѣлала глупостей... Нѣтъ-съ... оно вовсе не такъ было...

— Если не такъ — и прекрасно.

— Вы дѣйствительно дали мнѣ мысль... но и только... Она отвѣчала тому, что во мнѣ самой копошилось... Ну, развѣ я могла оставаться тамъ?

— Дѣвицей для компаніи...

— Ну да, дѣвицей для компаніи. Я не на то рождена...

— Стало-быть, теорію судьбы вы еще не оставили?...

— Держусь ея все больше и больше. Но безъ риска нѣтъ удачи... Парижъ — это былъ большой рискъ!

— Еще бы!...

— Знаю! И какъ походила здѣсь, еще сильнѣе въ этомъ убѣдилась... Но тутъ-то я и испробую судьбу... Видите, не прошло недѣли, а вы уже меня встрѣтили и вспомнили обо мнѣ...

Крутицынъ почти стыдливо опустилъ глаза и пробормоталъ:

— Ну, это еще не великое счастье...

— Однако... Вы полезный человѣкъ, и я васъ буду эксплуатировать... съ вашего, разумѣется, позволенья.

— Я только объ этомъ и хотѣлъ просить васъ...

— Не сейчасъ... вотъ дайте обо всемъ передумать...

Разговоръ принималъ тонъ, какого хотѣлось Крутицыну. Онъ сказалъ съ удареніемъ:

— Отчего же не сегодня же обсудить ваше положеніе?..

— Какъ вы это торжественно сказали... Меня просто

страхъ разбираетъ... Послушайте, да какъ васъ зовутъ-то, по имени и отчеству?

— Александръ Павлычъ.

— Послушайте, Александръ Павлычъ... вы очень добрый, это сейчасъ видно: но вы сразу не балуйте меня такъ... Я вѣдь какъ разъ и кусаться начну.

Крутицынъ разсмѣялся.

— Да, да. . во мнѣ сидитъ, какъ бы вамъ это сказать... такой чортикъ... съ наклонностью все прибирать къ рукамъ... Иванъ Калита... собиратель земли Русской, или вотъ еще Бисмаркъ.. Мнѣ и платье хочется купить себѣ couleur Bismark, да финансы не позволяютъ...

Странное и вмѣстѣ плѣнительное чувство возбуждала въ Крутицынѣ эта дѣвушка. Ея смѣлыя рѣчи, величавыя и плавныя движенія, античный профиль, свѣтлые глаза съ горделивымъ и твердымъ взглядомъ приковывали къ себѣ и заставляли забывать даже суховатость ея тона, въ которомъ слышались звуки, шедшіе не изъ сердечной глубины.

— Вотъ мы опять пришли къ финансамъ, — подхватилъ Крутицынъ: — у васъ касса обезпечена всего на два мѣсяца, да и то съ большими экономіями...

— Слушаю-съ... извольте продолжать...

— А вамъ надо здѣсь учиться, стало-быть, имѣть обезпеченный кусокъ хлѣба...

— Все это я разумѣю...

— Вотъ объ этомъ-то кускѣ хлѣба и слѣдуетъ, прежде всего, позаботиться... Позвольте мнѣ похлопотать...

— Сдѣлайте милость... Но что я буду работать, какую работу? Я такъ мало знаю... Ручная...

— Нѣтъ, она отняла бы у васъ цѣлый день.

— Вотъ видите...

— Здѣсь увріерки, привычныя къ труду, больше

двухъ франковъ не зарабатываютъ, не разгибая спины двѣнадцать часовъ въ день.

— Неужели?..

— Увѣряю васъ...

— И на это живутъ?

— Живутъ... бѣдствуютъ... или...

Крутицынъ не договорилъ. Ксенія Николаевна взглянула на него, усмѣхнулась и проговорила безъ всякаго смущенья:

— Какой вы стыдливый... это просто не прилично въ ваши лѣта...

— Что такое?.. въ чемъ я провинился?

— Да какъ же... вы все меня принимаете за малолѣтнюю... Я не люблю врать... вотъ какъ наши московскія барыни; но мнѣ двадцать-два скоро минетъ... зачѣмъ же со мной жантильничать? Это — лишняя pruderie... Я знаю, что вы хотѣли сказать. Увріерки, которыя получаютъ по два франка, пробиваются и сводятъ концы съ концами только тогда, когда у нихъ есть друзья... такъ вѣдь?

— Да...

— Ну, разумѣется; это совершенно въ порядкѣ вещей...

Крутицынъ кинулъ на нее неудомѣвающій взглядъ.

— Вотъ вы опять застыдились... Дайте срокъ, я васъ вышколю... Смотрите на меня, какъ на человѣка... или, лучше сказать, какъ на женщину... развѣ я похожа на барышню, даромъ что изъ институтокъ? Что-жь въ моей фразѣ ужаснаго?..

— Я и не нахожу...

— Не оправдывайтесь, я вѣдь вижу... Еще разъ скажу: это совершенно въ порядкѣ вещей... не съ голоду же умирать увріеркамъ! А выходить замужъ — это роскошь... неправда-ли? Хорошо разсуждать о добродѣтели

тѣмъ, кому мошна позволяетъ возложить на главу... вѣнецъ отъ камени честна... Я больше скажу: если женщинѣ нужно завоевать себѣ съ бою прочное мѣсто... и она пожертвуетъ... я въ нее камня не брошу, нѣтъ!..

Крутицынъ слушалъ съ возрастающимъ любопытствомъ.

— Но вы не хотѣли бы быть въ положеніи подобныхъ увріерокъ? — спросилъ онъ не совсѣмъ твердо.

— Разумѣется, не хотѣла бы. Ужь лучше читать «Revue des deux mondes» разслабленнымъ помѣщицамъ; но еслибъ я очутилась въ ихъ положеніи, я бы, быть можетъ, была хуже ихъ въ десять разъ!..

— Мы удалились отъ вопроса, — напомнилъ съ тихой улыбкой Крутицынъ.

— Отъ какого вопроса?.. О моей работѣ?.. Вы изволите говорить мудрыя рѣчи. . Пріѣхать въ Парижъ на шитье рубашекъ — нелѣпо... Но, право, мнѣ сегодня не хочется перебирать всѣхъ этихъ мизерій... Я не безпечна, нѣтъ; я только ставлю кушъ на карту... или сорву банкъ, или проферштилюсь! Такъ ли? Передо мной два мѣсяца. Времени еще много, и когда я устрою мое ученье... мы потолкуемъ вплотную...

— Ваше ученье... вы согласны, что вамъ надо пройдти курсъ декламаціи? Да на пѣніе и средствъ у васъ нѣтъ... хорошіе учителя очень дороги...

— Да, быть хорошей актрисой необходимѣе всего и для пѣвицы. Я вѣдь всегда такъ думала, и до встрѣчи съ вами... Надо, значитъ, попасть въ консерваторію.

— Я объ этомъ справлюсь у знакомыхъ французовъ; если нужно будетъ — съѣзжу къ директору.

— Вы только дайте мнѣ его адресъ, я сама сбѣгаю — это будетъ дѣйствительнѣе.

И она блеснула глазами. Крутицынъ стѣснился

— Такъ и есть! — вскричала она. — Онъ опять скон-

фузился! Это ни на что не похоже! Развѣ я говорю неприличности? Что я такое сказала? Что мое посѣщеніе будетъ дѣйствительнѣе? Всѣ директора любятъ просительницъ, а особливо французы. Я лучше о себѣ сама похлопочу.

— Конечно, конечно, — бормоталъ Крутицынъ: — вы совершенно правы.

— Успокойтесь... добродѣтель моя не подвергнется опасности, а вамъ не нужно будетъ обивать пороги. Еще, пожалуй, васъ примутъ за моего покровителя, и вы отъ стыда сгорите!.

Громкій смѣхъ раздался за послѣдней фразой. Крутицынъ тоже разсмѣялся, хотя ему, почему-то, сдѣлалось не совсѣмъ ловко.

— Только вотъ что, — заговорилъ онъ торопливо, чтобы замять свое смущеніе: — пріемные экзамены бываютъ позднѣе; теперь конецъ курса... это во всѣхъ учебныхъ заведеніяхъ Франціи. Врядъ-ли васъ примутъ тотчасъ же...

— Ну, я подожду.

— Зачѣмъ же вамъ терять время. Здѣсь, я знаю, много частныхъ профессоровъ. Я справлюсь. Они должны быть гораздо дешевле учителей музыки.

— Дайте адресъ, и я все сама узнаю... не усердствуйте очень.. ваша очередь придетъ потомъ. Буду васъ тормошить такъ, что вы проклянете день, когда занимали меня на Сивцевомъ вражкѣ. Вы знаете, что дѣвицы всѣ возмутились за вашу любезность со мною, да и хозяйка злобствовала; когда я спросила ее — кто вы, она отвѣтила съ гримасой: «такъ... химикъ!»

— Вы удалились отъ вопроса, — перебилъ ее Крутицынъ.

— Ахъ, какой несносный! Довольно обо мнѣ.

— Нѣтъ, не довольно, вы не можете оставаться здѣсь, въ этомъ отелѣ.

— Да гдѣ же я найду комнату въ двадцать-пять франковъ?

— Позвольте мнѣ поискать. За тридцать я почти навѣрно обѣщаю вамъ подыскать что-нибудь подходящее.

— Хорошо, хорошо... но я вамъ безъ церемоній скажу: адмиральскій часъ пробилъ и мнѣ ѣсть ужасно хочется... вы обѣдали?

— Нѣтъ еще.

— Ну, такъ идемте; да вы вѣдь не пойдете, куда я хожу?

— А куда вы ходите?

— Въ бульйонъ.

— Въ établissement de bouillon?

— Да... вонъ тамъ на boulevard St.-Michel.

— Я очень часто обѣдаю въ бульйонѣ, только все на выставкѣ.

— Ну, и прекрасно! у меня даже въ горлѣ отъ разговору пересохло. Вы гдѣ живете?

— На томъ же бульварѣ.

— Къ вамъ можно?

— То-есть, какъ это можно?

— Ну да, можно ли къ вамъ заходить, я спрашиваю?

— Да отчего-жь бы и нельзя!

— Отчего! Вотъ вы парижанинъ, а не знаете здѣшнихъ порядковъ. Я какъ тутъ высматривала квартиры, вижу — отельчикъ, да, кажется, на углу бульара St.-Michel... чистенькій такой. Вхожу — прилично, является хозяйка, старушка, въ сѣдыхъ локонахъ. Спросила ее: есть ли комнаты? Она мнѣ показала двѣ. Одна мнѣ очень понравилась и совсѣмъ мы было сторговались. И вдругъ она меня спрашиваетъ такъ чопорно, губы свернула сердечкомъ: «Madame recevra-t-elle du monde?» Я отвѣчаю: «Ça peut arriver». Она потупила глаза и вопро-

шаетъ: «Des messieurs?» Я объ васъ подумала и говорю: «Oui». Она сейчасъ — гримасу и изволила мнѣ отрѣзать: Dans ce cas, madame, je ne puis vous louer la chambre. Mon hôtel est une maison, où l'on ne reçoit pas de messieur». Вотъ вамъ и весь сказъ! Я было хотѣла объясниться; но она начала кидать на меня такіе взоры, что надо было удалиться. Какъ вамъ это нравится? И тутъ въ этомъ Quartier Latin такіе нравы...

— Эти-то нравы, — пояснилъ Крутицынъ: — и вызвали реакцію. Тутъ есть два-три отельчика, гдѣ очень строго...

— Вы не въ такомъ ли живете? По вашей стыдливости, вамъ бы и слѣдовало... Вы не сердитесь на меня, что я такъ фамильярно съ вами болтаю... вы очень хорошій... еще разъ, и ужь въ послѣдній разъ благодарю васъ, какъ добраго друга.

Она сильно пожала ему руку и пошла къ двери.

V.

Дорогой они продолжали разговоръ на ту же тэму. Ксенія Николаевна дѣлала отступленія всторону и не позволяла Крутицыну слишкомъ заниматься ея особой. Имъ обоимъ было весело перекидываться бойкими фразами и чувствовать интересъ взаимнаго сближенія. Тонъ Крутицына былъ гораздо сдержаннѣе, чѣмъ могъ бы быть, судя по ея непринужденнымъ, пріятельскимъ рѣчамъ, но внѣшняя оболочка прикрывала уже зарождавшуюся симпатію. За обѣдомъ, въ «établissement de bouillon», Крути-

цынъ оглядѣлъ залу, набитую биткомъ студентами, и тотчасъ же замѣтилъ, что всѣ головы обращены въ сторону ихъ столика. Наружность Ксеніи Николаевны не могла не возбуждать вниманія. Оно, разумѣется, не ускользнуло отъ нея.

— Вамъ вѣдь неловко, сознайтесь? — спросила она шутливо.

— Мнѣ?

— Да, вамъ неловко оттого, что студенты оглядываются на нашъ столъ. Пускай ихъ!

— Какъ же имъ не оглядываться...

— Это комплиментъ? Благодарю. Отъ васъ я принимаю. Оно было бы лестно, особливо будущей актрисѣ, привлекать вниманіе... но вѣдь эти французики куда не разборчивы. Они таращатъ глаза на каждый шиньонъ. Ну посмотрите вы только на ихъ подругъ, на этихъ étudiantes, вонъ тамъ за колонной сидятъ цѣлыхъ три. Что это такое? Что за носы, что за губы, что за профили?! Наши деревенскія бабы лучше, право. А видите, какъ ихъ друзья счастливы, что обладаютъ такими сокровищами. А сами французики милы. Тонкія лица... есть даже очень красивые, только мизерны. Это не въ моемъ вкусѣ.

— И они васъ не стѣсняютъ?

— Нисколько. На бульварѣ, когда проходишь мимо того кафе, гдѣ ихъ всегда — нетолченая труба, они посылаютъ вамъ всякія жантильности. Но все это смѣшно и мило. Даже у женщинъ есть что-то такое въ турнюрѣ... особенный шикъ.

— Ужь не собираетесь ли вы изучать его?

— И очень. Вѣдь вы, какъ всѣ серьезные мужчины, пренебрегаете деталями. А въ нихъ сидитъ вся декоративная часть жизни. У насъ въ Россіи самыя тонныя барыни—безжизненныя куклы, у которыхъ нѣтъ ни одного

оригинальнаго движенія. Вонъ поглядите на ту студенческую кокотку — вы мнѣ позволите такъ назвать ее. Она, если хотите, совершенно неприлична, и развалилась, и руками ѣстъ, и нахально смѣется, и голосъ хриплый, и ужасно вымазана; но въ ней есть «un je ne sais quoi» и любая наша барыня отдала бы все на свѣтѣ, чтобы у ней было то же — «je ne sais quoi», да его нѣтъ. Если поработать надъ этимъ и придать вкуса и порядочности, можно совсѣмъ преобразиться...

— Во что же? — спросилъ улыбаясь Крутицынъ.

— Въ женщину, которая умѣетъ пользоваться тѣмъ, что ей дала природа... Видите, какъ я тонко выразилась. Вся бѣда въ томъ и состоитъ, что мы не умѣемъ самихъ себя эксплуатировать.

Крутицынъ не хотѣлъ возражать; но фраза ему пришлась не по вкусу. Ксенія Николаевна точно догадалась и небрежно промолвила:

— Вы не думайте, однако, что все, что я съ вами болтаю, обязательно для меня самой. Пожалуйста, не смущайтесь моими глупыми рѣчами. Я хочу съ перваго же дня быть съ вами запросто и все выбалтывать, что забредетъ мнѣ въ голову. Позволяете?

— Позволяю.

— И прекрасно... Ну, развѣ я неправду говорю? Вотъ эта кухарочка, что несетъ намъ «bœuf-mode», а не «bœf à la mode», какъ учили меня въ институтѣ... такъ вотъ эта самая кухарочка, развѣ она не прелесть?... Вглядитесь вы въ нее... да вы истуканъ какой-то... зачѣмъ вы только въ Парижѣ живете?... Носикъ у ней одинъ дорого стоитъ... Что за тонкость!... А грамотѣ навѣрно не знаетъ... Костюмъ у ней больничный: сѣрое платье, фартукъ, чепчикъ, но какъ это все сидитъ, сколько тонкаго кокетства, ума, граціи въ одномъ томъ, какъ надѣтъ чепчикъ... а цѣна ему франкъ...

Служительница въ чепчикѣ, дѣйствительно, хорошенькая брюнетка, съ мельчайшими чертами, подошла въ эту минуту къ ихъ столику и, спуская съ локтя два блюда, ласково проговорила:

— Deux boeufs-mode...

Ксенія Николаевна удержала ее за фартукъ:

— Monsieur, — указала она на Крутицына: — dit que vôtre bonnet vous va à ravir...

Кухарочка весьма скромно усмѣхнулась; но ничего не отвѣтила за недосугомъ.

— Вотъ вы и покраснѣли, Александръ Павлычъ.

— И не думалъ...

— Какъ же это сидѣть четверть часа и не сказать ничего пріятнаго хорошенькой дѣвушкѣ? Я этого не понимаю!

Къ десерту Ксенія Николаевна опять сочинила комплиментъ кухарочкѣ, на который та уже отвѣтила.

Крутицынъ вспомнилъ, что ему нужно было отправляться въ сторону «La Chapelle»; но онъ все-таки предложилъ Ксеніи Николаевнѣ пройтись къ Одеону, къ фортепьянному мастеру: поискать пьянино подешевле. Они нашли за двѣнадцать франковъ въ мѣсяцъ. Возвращаясь, около станціи омнибусовъ, подъ самыми галлереями Одеона, наткнулся Крутицынъ на суховащаго француза въ шелковой черной фуражкѣ, короткомъ поношенномъ пиджакѣ и клѣтчатыхъ панталонахъ. Лицо его бросалось въ глаза необычайной худобой. Острый носъ и козлиная бородка еще сильнѣе оттѣняли эту худобу. Курчавые волосы съ сильной просѣдью выбивались изъ-подъ фуражки и придавали всей наружности какое-то комическое ухорство.

— Ah! citoyen! — крикнулъ онъ глухимъ голосомъ, раскланиваясь съ Крутицынымъ: — Vous allez chez Riquet, sans doute?

Крутицынъ отвѣтилъ, что если сегодня не попадетъ къ Рикé, то завернетъ непремѣнно завтра.

— C'est son jour... Au revoir donc! Je grimpe!

И онъ полѣзъ на имперіалъ омнибуса.

Ксенія Николаевна глядѣла, какъ его сухая фигура извиваясь карабкалась на верхъ, и, когда они отошли нѣсколько шаговъ, спросила:

— Кто это?

— Видите — увріеръ...

— Вашъ знакомый?

— Да.

— И какъ онъ прозывается?

— Прозывается: citoyen Tartinet

— Куда же онъ звалъ васъ?

— Къ пріятелю моему Рикé. Онъ содержится въ темничномъ заключеніи... то-есть сидитъ, просто, въ больницѣ. У него по четвергамъ собираются разные народы...

— Поѣзжайте... я васъ не удерживаю...

— Я собирался; но очень буду радъ, если не поѣду... Мнѣ ужь пріѣлись народы, являющіеся къ нему по этимъ четвергамъ... Я лучше заверну къ нему завтра, когда онъ одинъ.

— Кто же такой этотъ Рикé?

— Мой двойникъ.

— Какъ, вашъ двойникъ?

— Да такой же неудачный профессоръ химіи, какъ и я. Объ немъ я вамъ какъ-нибудь разскажу... а теперь не хотите ли провести вечеръ въ Comédie française... Сегодня даютъ «Свадьбу Фигаро»... вы увидите обоихъ Броганъ...

— Вы меня, значитъ, угощаете билетомъ... Я бы этого не желала сразу же...

— Да вѣдь это входитъ въ программу вашего образованія...

— Merci...

И они помѣстились въ омнибусѣ «Odéon Batignolles», который долженъ былъ ихъ высадить какъ разъ противъ «Французской Комедіи».

VI.

Встрѣча съ Ксеніей Николаевной пріятно взволновала Крутицына. Она принесла съ собой новый воздухъ: молодости, необычайной смѣлости, даже дерзости, смотрящей прямо въ глаза демону судьбы, величавой и соблазнительной красоты, игриваго, почти мужскаго ума и юмора. Что выйдетъ изъ этой дѣвушки — онъ еще не могъ или не хотѣлъ предвидѣть и предсказывать. Довольно было и того, что ему стало гораздо веселѣе.

Часу во второмъ, на другой день, онъ бодро поднялся на имперіалъ омнибуса, на бульварѣ St.-Michel, и поѣхалъ по направленію «La Chapelle» къ своему пріятелю Рике́, къ которому звалъ его наканунѣ гражданинъ Тартинэ.

Этого Рике́ онъ зазналъ еще въ свой первый пріѣздъ, когда работалъ въ лабораторіяхъ Парижа. Тогда Рике́ былъ agregé парижской медицинской школы по каѳедрѣ химіи. Крутицынъ сразу же заинтересовался его личностью, начиная съ самой фигуры. Рикѐ былъ небольшой человѣкъ съ большимъ горбомъ, но за то съ очень красивымъ и благодушнымъ лицомъ еврейскаго типа. Они стали пріятельски знакомы, но знакомство ихъ прервалось мѣсяца черезъ два. Рике́ уѣхалъ къ больному отцу на югъ Франціи и не возвращался до отъѣзда Крутицына изъ

Парижа. Въ Россіи Крутицынъ прочелъ въ газетахъ, что Рике́ попался по одному изъ тѣхъ «complots», которые фабриковали въ должномъ количествѣ пансіонеры г. Піетри. Его, разумѣется, осудили и приговорили къ восемнадцатимѣсячному заключенію. Крутицынъ очень жалѣлъ его, но радъ былъ, что дѣло хоть такъ покончилось. Онъ нашелъ Рике́ отсиживающимъ свой десятый мѣсяцъ въ одной изъ муниципальныхъ больницъ Парижа. Тамъ они окончательно сошлись, и Крутицынъ сильно привязался къ нему.

Въ Рике́ онъ нашелъ, дѣйствительно, своего «двойника», какъ онъ сказалъ вчера Ксеніи Николаевнѣ, по крайней мѣрѣ по характеру судьбы ихъ обоихъ. Оба они были химики, оба много работали, оба обожглись на женитьбѣ, только Рике́ былъ въ разводѣ, а Крутицынъ вдовецъ, оба потеряли мѣста, оба находились въ 35 лѣтъ на перепутьи, безъ «хомута» и «пуповины». Та же неумѣлость пріобрѣсть положеніе, какую сознавалъ въ себѣ Крутицынъ, жила и въ Рике́, но еще въ сильнѣйшей степени. Къ ней присоединилась и неисправимая безпечность «богемы». Рике́ вѣчно искалъ работы, вѣчно былъ занятъ, писалъ въ десяти ученыхъ журналахъ и лексиконахъ, и вѣчно сидѣлъ безъ копѣйки и восклицалъ, по десяти разъ на дню:

— Sac à papier! Je suis endetté comme un boucher!

Деньги уходили у него точно въ какую прорву по очень простой причинѣ: по чрезмѣрной мягкости и добротѣ. Всякій «гражданинъ Тартинэ» лѣзъ въ его карманъ, какъ въ свой собственный. Отказа никому и никогда не бывало; а не хватало своихъ денегъ, Рике́ выпрашивалъ у перваго явившагося къ нему гостя, почему солидные люди изъ пріятелей иначе и не называли его, какъ, «panier percé». Но эта-то безпечность и привлекала къ нему Крутицына. Такой доброй, мягкой, прелестно-женствен-

ной, теплой и порывистой натуры онъ еще не встрѣчалъ между парижанами... На лицѣ Рике́ находилъ онъ всегда тонкую улыбку безмѣрно добраго человѣка, котораго большое мозговое развитіе не только не высушило, но дало даже какую-то трогательную наивность. И рядомъ съ этими качествами «богемы» въ Рике́ пріятно поражали: ясность, точность и изящество умственныхъ проявленій. Спорилъ ли онъ, разсказывалъ ли, объяснялъ ли что, всегда и во всемъ слышалась логическая сила, правильность постановки вопроса, серьезность доводовъ, а главное — чистота и послѣдовательность изложенія. Ихъ дала ему отчасти профессорская практика, но только отчасти, а гораздо больше: благородство и тонкость умственной организаціи. Но Рике́ вовсе не былъ застрахованъ отъ ежесекундныхъ увлеченій и промаховъ. Умъ чисто-теоретическій, онъ неспособенъ былъ на роль вліятельнаго общественнаго дѣятеля, а между тѣмъ во что бы то ни стало желалъ «faire de la politique». Наивный и до крайности довѣрчивый, онъ сходился богъ-знаетъ съ кѣмъ, и возлагалъ надежды на «гражданъ», которые оказывались просто-напросто шпіонами, и потомъ самъ смѣялся надъ собой. Сидѣнье въ «больницѣ» вовсе не исправило его. Онъ продолжалъ сближаться съ «ситойенами» самаго подозрительнаго вида и безъ малѣйшей осторожности повѣрялъ имъ всѣ свои задушевныя pia desideria.

Сердечныя дѣла Рике́ стали тотчасъ же извѣстны Крутицыну. Рике́ женился очень рано, и не больше, какъ черезъ годъ, пошли у него семейные раздоры. Онъ самъ говорилъ, нѣсколько разъ Крутицыну:

— Mon ami, je suis un mari détestable... Je n'ai pas de bosse pour ça!..

И въ самомъ дѣлѣ, у него, должно быть, не выросло «шишки» брачнаго сожительства. Разладъ начался изъ причинъ внутреннихъ. Женился Рике́ на молоденькой

дѣвушкѣ, дочери какого-то провинціальнаго «magistrat», миловидной, искренней, добродушной... Она была его ученицей, и временно подчинилась вліянію его идей, но первоначальное воспитаніе взяло свое. Рике́ былъ родомъ еврей, еврейскаго закона. Онъ женился однимъ гражданскимъ бракомъ. Жена его, послѣ рожденія ребенка, стала мучиться угрызеніями католической совѣсти, и тайкомъ отъ мужа купила себѣ въ Римѣ за шестнадцать франковъ отпущеніе въ своемъ окаянствѣ, законномъ бракѣ съ евреемъ. Отсюда и пошли столкновенія... Дремавшій католицизмъ всплылъ. Пропалъ ладъ умственный; не дальше шелъ и ладъ сердечный... Въ Рике́, дѣйствительно, не было семейныхъ добродѣтелей, какъ и въ большинствѣ французовъ. Онъ не любилъ сидѣть дома, у домашняго очага, не любилъ ребятишекъ, не любилъ длинныхъ бабьихъ росказней, не чувствовалъ той неугомонной заботливости о жениныхъ туалетахъ, дѣтскихъ пеленкахъ, кухонной посудѣ, комфортѣ и убранствѣ гостиной и спальни, тѣхъ безчисленныхъ уколовъ домовитости, по которымъ узнается самецъ, предназначенный самой судьбой носить супружеское ярмо и въ концѣ своей земной юдоли, не безъ гордости, воскликнуть:

— J'ai été de tout temps: bon père, bon époux, bon garde national!

Въ Рике́ ничего подобнаго не было. Онъ разбиралъ себя вслухъ, и доказывалъ, что быть съ нимъ счастливой женщинѣ обыкновеннаго калибра, даже очень хорошей, — врядъ-ли возможно: на сколько онъ проявлялъ доброты, уступчивости и мягкости внѣ дома или съ пріятелями, на столько же дѣлался раздражительнымъ съ женой.

Кончилось дѣло разводомъ, безъ огласки и процесса, безъ пресловутаго «séparation de biens et de corps», то-есть простымъ разъѣздомъ въ разныя стороны. Рев-

ность не завязалась еще въ этотъ разрывъ. Жена Рике́ упрекала его только въ сухости и равнодушіи, и доѣзжала слезами, молитвой, потерянностію, неряшествомъ, ролью несчастной жертвы, забитой и непонятой...

Еслибъ совмѣстная жизнь затянулась, явился бы и эротическій вопросъ. Рике́, говоря о своихъ свойствахъ, никогда не забывалъ прибавить съ комической улыбкой:

— Je suis sensible à la beauté... Ça c'est vrai!

И онъ-таки былъ чувствителенъ къ красотѣ. Въ его карихъ, ласковыхъ глазкахъ наблюдательный человѣкъ подмѣтилъ бы кое-какой огонекъ. Съ женщинами Рике́ казался почти застѣнчивымъ; но онъ ихъ осматривалъ со всѣхъ сторонъ, говорилъ съ ними необычайно нѣжно, любилъ распространяться обо всѣхъ ихъ особенностяхъ съ тонкостію разносторонне-развитаго мыслителя и знатока по части внѣшнихъ прелестей. Но его «женолюбіе» нисколько не отталкивало. Въ немъ говорила не чувственность сатира, а южная воспріимчивость къ красотѣ и страстность южной же натуры. Онъ, не смотря на свои тридцать-пять лѣтъ, былъ способенъ еще увлечься женщиной почти до бреда и надѣлать глупостей, едва-ли простительныхъ и въ молодомъ, двадцатилѣтнемъ студентѣ. Но тому, кто сближался съ нимъ, нельзя уже было сильно журить его. Онъ обезоруживалъ своей безобидностію, умственной граціей и задушевной лаской. Рике́ любилъ человѣка, какъ только можетъ его любить европеецъ на высотѣ идеаловъ, стоившихъ міру цѣлаго моря страданій, крови, знойныхъ упованій и титаническихъ усилій...

Омнибусъ потянулся шагомъ, обогнулъ дебаркадеръ сѣверной дороги. Крутицынъ спустился съ имперіала, и пошелъ пѣшкомъ по той же улицѣ.

Въ сѣняхъ огромнаго дома «муниципальной больницы» онъ спросилъ у толстаго привратника въ форменномъ картузѣ, читавшаго «Petit Journal»:

— Monsieur Riquet?

— Au 36; mais vous le trouverez au jardin.

Крутицынъ за тѣмъ и спросилъ, чтобы даромъ не подниматься въ третій этажъ. Онъ зналъ, что Рике́ послѣ завтрака сититъ и болтаетъ съ больными въ садикѣ, гдѣ, подъ акаціями и каштанами, было и прохладно, и тѣнисто. Внутри больницы Рике́ пользовался полнѣйшей свободой. Ассистенты главнаго врача и молодые фармацевты то и дѣло забѣгали къ нему, прося его на совѣтъ въ палату или въ аптечную лабораторію. Онъ, какъ и Крутицынъ, имѣлъ степень доктора медицины, что для всѣхъ профессоровъ парижской медицинской школы обязательно.

По длинной галлереѣ съ дворикомъ, гдѣ журчалъ фонтанчикъ, Крутицынъ прошелъ подъ сквозныя ворота и очутился въ довольно обширномъ саду съ аллеей каштановъ и большими клумбами цвѣтовъ. Вдоль всей аллеи стояли скамейки и плетеные стульчики... Больные, все здороваго вида, сидѣли кучками.

«Навѣрно онъ съ женскимъ поломъ», подумалъ Крутицынъ, отыскивая глазами горбатую фигуру Рике́ въ бѣломъ пиджакѣ и большой соломенной шляпѣ, въ такомъ же точно костюмѣ, какой былъ и у Крутицына.

Увидалъ онъ его подъ деревомъ, на качающемся креслѣ съ задранными вверхъ ногами. Подойдя поближе, Крутицынъ разглядѣлъ и еще какую-то фигуру, сидѣвшую въ полъоборота, безъ шляпы. Косматая, курчавая голова съ длинными волосами показалась ему точно знакомой.

«Неужели ѳпять ситойенъ Тартинэ?» спросилъ онъ про себя, и тотчасъ же сообразилъ, что у Тартинэ волосы съ просѣдью, а косматая голова отливала на солнцѣ бѣлокурымъ, почти свѣтлорыжеватымъ оттѣнкомъ.

Онъ подошелъ къ Рике́ сзади и зажмурилъ ему глаза ладонями.

— Croutitzine!... C'est vous, grand animal?!—

закричалъ Рике́ своимъ горловымъ голосомъ съ сильнымъ южнымъ акцентомъ.

Рике́ поднялся и похлопалъ Крутицына по боку. Потомъ выругалъ его за то, что тотъ не былъ вчера, и началъ-было что-то разсказывать, но остановился и, указывая рукой на своего собесѣдника, спросилъ Крутицына:

— Вы не знаете этого соотечественника?

— Не имѣю чести.

— Et bien, soyez amis, le citoyen Prochoroff!... Cré nom! Que je connais de russes! Ça me nuira dans ma carrière!

Всѣ трое разсмѣялись. Соотечественникъ, представленный Крутицыну, подалъ ему руку. Крутицыну показалось, что онъ гдѣ-то видѣлъ эту высокую, сухую, нѣсколько согнутую фигуру съ большой головой, блѣднымъ, угреватымъ лицомъ, посрединѣ котораго выдавался острый и горбатый носъ, воспаленные глаза смотрѣли серьезно и какъ бы слегка презрительно. То же выраженіе лежало и на тонкихъ, большихъ губахъ. По волосамъ, Крутицынъ принялъ бы его за бывшаго семинариста (такой «духовностію» отзывалась его шевелюра), еслибъ посадка, движенья и туалетъ не показывали человѣка барскаго рода и съ барско-русскими привычками. Ему казалось на видъ лѣтъ двадцать пять — шесть; но суховатость всей физіономіи накладывала на его молодость налетъ пожилой брюзгливости.

— Давно въ Парижѣ? — обратился къ нему Крутицынъ по-русски.

— Я здѣсь совсѣмъ поселился, — отвѣтилъ соотечественникъ молодымъ голосомъ, съ небрежной интонаціей.

— Pas de baragouin! — крикнулъ Рике́. — Animal de Croutitzine: vous n'étes qu'un mangeur de chandelles, si j'ose m'exprimer ainsi?

— Osez! — сказалъ Прохоровъ, вынимая изъ боко-

ваго кармана своей темной визитки «blague» съ табакомъ.

Крутицынъ посмотрѣлъ на него въ эту минуту и не безъ любопытства прослѣдилъ за процессомъ крученія папиросы соотечественникомъ. Въ этомъ крученіи сказывался если не весь человѣкъ, то, по крайней мѣрѣ, цѣлая сторона человѣка. Съ особой обстоятельностію положилъ онъ на сухія и острыя колѣни свою «blague», раскрылъ ее, вынулъ оттуда длинными, худыми пальцами пачку бумажекъ, отдунулъ листикъ, сорвалъ его, положилъ щепоть и сталъ скручивать...

Все это производилъ онъ, сохраняя на лицѣ выраженіе, говорившее:

«Табакъ этотъ мой, и blague моя, и бумажки мои, и я кручу папиросу потому, что мнѣ такъ нравится, и буду ее крутить по той же причинѣ, и въ этихъ мелкихъ манипуляціяхъ остаюсь я мыслителемъ, и ничего я безсознательно не дѣлаю; а что дѣлаю, то выходитъ — первый сортъ».

Когда процессъ скручиванія кончился, такимъ же образомъ произошелъ и процессъ закуриванія.

Рикé сообщилъ Крутицыну, что соотечественникъ занимается естествознаніемъ, философіей и политикой; но прибавилъ, что они часто спорятъ, расходясь почти на всѣхъ пунктахъ.

— Рикé — французскій нигилистъ, — сказалъ блондинъ съ усмѣшечкой: — потому онъ такъ и любитъ русскихъ извѣстнаго сорта. .

— Да, да! — подтвердилъ Рикé: — я люблю направленіе русскихъ... за исключеніемъ вашего, — обратился онъ къ блондину: — вы въ политическихъ и соціальныхъ вопросахъ холодный разонеръ... даже больше того, доктринеръ и скептикъ, а это мнѣ совсѣмъ не по вкусу... Съ такимъ объективизмомъ мы всѣ полетимъ къ чорту!...

— И за дѣло, если будете продолжать ваши наивности, — замѣтилъ блондинъ, не оставляя своей усмѣшечки, которая начинала уже раздражать Крутицына, чувствовавшаго, что въ большіе разговоры онъ съ соотечественникомъ не вступитъ. Надо было однакожь сказать хоть еще нѣсколько словъ.

— Вы думаете здѣсь основаться? — спросилъ онъ его.

— Да, я здѣсь живу давно...

— Стало быть, въ Россію не желаете возвращаться?

— Можетъ быть, перемѣнить паспортъ. Что же у меня общаго съ Россіей?...

И онъ выпятилъ нижнюю губу.

Крутицыну фраза эта такъ не понравилась, что онъ даже покраснѣлъ. Сдѣлавши свой тонъ какъ можно мягче, онъ спросилъ соотечественника:

— Вы, стало быть, живете на ренту?

Тотъ не обратилъ вниманія на умыселъ вопроса и отвѣтилъ съ барской интонаціей:

— Да...

— Вы землевладѣлецъ?

— Какъ же...

И онъ почему-то улыбнулся... Крутицынъ замолчалъ, а Рике́ крикнулъ, ударивши блондина по плечу:

— Oui! C'est un cochon de rentier!...

«Рантье» принялъ восклицаніе довольно добродушно. Онъ недолго сидѣлъ и, раскланиваясь съ Крутицынымъ, суховато-вѣжливымъ голосомъ проговорилъ:

— Мое почтеніе-съ.

Когда его длинная фигура удалилась, шагая большими шагами съ покачиваніемъ впередъ всего туловища, Крутицынъ спросилъ Рике́:

— Откуда вы выкопали такой экземпляръ?

— Я его давно знаю...

— Отчего-же я у васъ никогда не встрѣчалъ его?

— Онъ куда-то ѣздилъ... Какъ онъ вамъ нравится?

Крутицынъ тряхнулъ головой и отвѣтилъ рѣшительно:

— Совсѣмъ онъ мнѣ не нравится!

— Vrai? Et pourquoi?

— Что за сушь! Что за докторальный тонъ! По лѣтамъ онъ почти юноша, и такое самодовольное резонерство!

— Ça c'est vrai!

— И потомъ: это презрительное отношеніе къ Россіи...

— А! вотъ этимъ-то онъ васъ, кажется, всего больше возмутилъ... О! патріотъ!

— Ну, а васъ бы онъ не возмутилъ, еслибъ онъ былъ французъ и говорилъ такъ про Францію?

— Это совсѣмъ другое дѣло...

— Почему же?

— То Франція, а то Россія...

— Какова бы она ни была эта Россія, не резонъ молодому малому, живущему въ Парижѣ на мужицкій оброкъ, важно объявлять, что онъ ничего не имѣетъ общаго со своей родиной! Если ты, мой милый, ничего не имѣешь общаго, такъ прерви всякую матеріальную связь съ нею и предоставь другимъ пользоваться твоей рентой, хоть бы твоимъ бывшимъ крестьянамъ...

Крутицынъ выговорилъ все это, ходя по дорожкѣ и сильно жестикулируя. Рике́, покачиваясь на стулѣ, слѣдилъ за нимъ своими ласковыми глазами. Когда Крутицынъ остановился, онъ крикнулъ ему:

— Le réquisitoire est fini?

— Oui, — отвѣтилъ Крутицынъ и сѣлъ.

— Вы правы, — началъ Рике́ серьезнымъ уже тономъ: — все это такъ, но только снаружи; вѣдь Прохоровъ совсѣмъ не такой, какимъ онъ кажется... Могу васъ

увѣрить... Онъ дѣйствительно резонеръ, и многихъ его идей я не раздѣляю; но онъ славный малый, и серьезный, убѣжденный, добрый...

— Ну, ужь врядъ-ли добрый! — прервалъ Критицынъ.

— Tenez... Со мной онъ познакомился передъ моимъ арестомъ... Онъ и мнѣ сразу очень не понравился своей сухой манерой и старческимъ скептицизмомъ. Говорилъ я съ нимъ раза два, не больше... Запираютъ меня на время слѣдствія въ Мазасъ. И что же? съ перваго дня, какъ онъ только узналъ, гдѣ я, онъ принялъ во мнѣ живѣйшее участіе... Да, да! вы качаете головой, но я представлю факты...

— Не спорю и слушаю, — оговорился Крутицынъ...

— Факты — вотъ они. Каждый день онъ навѣщалъ меня и каждый же почти день присылалъ на мое имя въ guichet — что-нибудь: или бутылку вина, или пирогъ, или пулярку, давалъ мнѣ свои книги и журналы, исполнялъ мои порученія, ходилъ толковать съ редакторами и съ разнымъ другимъ народомъ... Человѣкъ безъ сердца такъ поступать на станетъ.

— Конечно, — подался Крутицынъ: — но...

— Погодите, это еще не все! Онъ задобривалъ даже двухъ мушаровъ, которые дневали и ночевали со мной въ Мазасѣ... они къ нему возъимѣли большое уваженіе и оказывали мнѣ всякія поблажки... Потомъ послѣ процесса, когда я сѣлъ сюда въ больницу, онъ не переставалъ навѣщать меня и входить во всѣ мои нужды... Сколько разъ я занималъ у него? Ужь и не пэмню! Знаю только, что и теперь у него въ неоплатномъ долгу... En un mot, c'est un ami sûr...

— Очень пріятно слышать, — замѣтилъ Крутицынъ: — что его сердечныя свойства совсѣмъ иныя; но характеръ умственнаго типа, насколько я могу судить... вовсе несимпатиченъ.

— Правда, и опять-таки неполная правда... Въ этой натурѣ нѣтъ ни капли энтузіазма, поэзіи, порыва... или, лучше сказать, крупной даровитости... Онъ очень способный малый на все, онъ по наукѣ дѣльно работаетъ и преподаватель вышелъ бы хорошій, и пишетъ складно, и воспріимчивъ на каждую идею, говорящую чистому разуму... Cher ami, среди вашихъ соотечественниковъ я не видалъ такой крѣпкой головы; но...

— Договорились-таки до *но?*

— Но онъ лишенъ дарованія въ обширномъ смыслѣ слова. У него нѣтъ таланта, божественной искры, какъ говорятъ эстетики... Онъ типъ благой средины съ радикальными побужденіями... По идеямъ онъ совершенно передовой человѣкъ, по натурѣ, тону, привычкамъ онъ сухой и самодовольный буржуа...

— Русскій баричъ!...

— Нѣтъ, именно буржуа... Я знавалъ вашихъ аристократическихъ fils de famille, — въ немъ сидятъ не тѣ признаки... Онъ именно буржуа... если хотите, русскій буржуа, хоть у васъ, кажется, и нѣтъ tiers état... И что всего забавнѣе: онъ считаетъ себя соціалистомъ или по крайней мѣрѣ солидарнымъ съ соціальнымъ движеніемъ... Онъ такой же соціалистъ, comme moi je suis le grand Turc; но въ немъ все-таки серьезный фондъ двигательныхъ идей... и онъ способенъ на дѣло, какъ только увидитъ, что есть изъ-за чего биться... Я въ его глазахъ дитя, не смотря на то, что я его старше на десять лѣтъ... Онъ совершенно законно смѣется надъ моей наивностью... Его не проведешь! О, нѣтъ!...

Крутицынъ воспользовался передышкой въ рѣчи Рикé и сказалъ:

— Все это мило; но сближеніе съ нимъ врядъ-ли легко и пріятно...

— Ни то, ни другое. Я думаю, что вы даже ни-

когда съ нимъ не сошлись бы такъ, какъ, напримѣръ, со мной... У него нѣтъ никакой задушевности... Есть у васъ горе, онъ скажетъ вамъ: что я могу для васъ сдѣлать? Но и только. Любви онъ, кажется, никогда не зналъ, и говорить съ нимъ о женщинахъ нельзя въ чувствительномъ тонѣ... Съ нимъ и не слѣдуетъ сходиться съ такими требованіями. Вы будете только возмущаться имъ... Не скажу, чтобы и простыя пріятельскія отношенія были съ нимъ особенно пріятны. Онъ, во-первыхъ, ужасный спорщикъ... Сегодня онъ былъ не въ духѣ, да и торопился куда-то, а то-бы тутъ вышла перепалка... Споритъ онъ горячо, съ сухимъ жаромъ, но безъ ѣдкости... Вотъ въ спорахъ-то и обнаруживается, что онъ еще очень молодой человѣкъ и никакого систематическаго бездушія не имѣетъ... Но поставить на своемъ любитъ... Только когда вы его припрете и станете ему доказывать его непослѣдовательность, онъ сейчасъ же перемѣняетъ тактику, выдаетъ вамъ самого себя съ руками и съ ногами и начнетъ даже въ жалобномъ тонѣ изобличать недостатки своей натуры, объявляя, что онъ ратуетъ за одинъ принципъ... Oh! là-dessus il est très fort!...

По одушевленному тону Рике́, Крутицынъ видѣлъ, что личность соотечественника была ему симпатична. Онъ не могъ не вѣрить Рике́, и зналъ, что его чуткая натура способна лучше всякой другой распознать лучшія стороны человѣка и подъ отталкивающей оболочкой.

— Oui! Cet homme m'interesse. Etudiez-le...

У Крутицына не являлось большой охоты изучать соотечественника; но онъ ничего не возразилъ Рике́.

— И предупреждаю васъ, — продолжалъ разговорившійся горбунъ: — что вы пройдете черезъ цѣлый рядъ непріятныхъ ощущеній и разъ двадцать будете колебаться: продолжать ли вамъ знакомство или нѣтъ... У насъ есть тутъ общій пріятель... также занимается химіей... доб-

рякъ, но черезчуръ ужъ нервный человѣкъ. Такъ съ нимъ такая-то лихорадка сдѣлалась... febris intermittens... Пойдетъ онъ къ Прохорову — просидитъ часъ... потомъ забѣжитъ ко мнѣ и начинаетъ кричать: «Нѣтъ! никогда моя нога не будетъ у этого доктринера и спорщика! Онъ мнѣ противенъ! Это не человѣкъ, а сухарь, буржуа, самодовольная посредственность!»... Ну, и не ходитъ къ нему цѣлый мѣсяцъ. Потомъ столкнутся они гдѣ-нибудь случайно... Прохоровъ позоветъ его къ себѣ пообѣдать или вечеромъ поболтать... Перемѣна декораціи, онъ уже совсѣмъ другимъ тономъ отзывается о Прохоровѣ: находитъ, что онъ добрый малый, пріятный умъ, человѣкъ прочныхъ принциповъ... И такъ онъ переходилъ отъ одного впечатлѣнія къ другому цѣлый годъ...

— И чѣмъ же кончилъ? — спросилъ Крутицынъ.

— Помирился съ нимъ, потому что пересталъ требовать отъ него того, что вовсе не слѣдуетъ отъ него ждать... C'est un philosophe, cher animal, et nous ne sommes que des chenapans!...

Оба весело разсмѣялись и пошли по дорожкѣ.

— Довольно однакожь о компатріотѣ, — покончилъ Крутицынъ, беря Рике́ подъ руку или, лучше сказать, подъ горбъ: — у меня къ вамъ, любезный другъ, просьба...

— Какая? Говорите; все, что только мое всемогущество...

— Вотъ какая... не знаете ли вы здѣсь хорошаго учителя декламаціи?

— Декламаціи?

— Да!

— Вы хотите учиться декламаціи?

— Не я.

— А кто же?

Крутицынъ невольно замялся...

— Animal de Croutitzine, il lance une cocotte!...

— Да нѣтъ же...

— Si, si!...

— Нѣтъ же, говорятъ, это для одной...

— Ну, да, для одной; знаю, что не для одного.

— Русской...

— Какъ-будто нѣтъ русскихъ кокотокъ?...

— Конечно есть, — отвѣтилъ съ комической серьезностью Крутицынъ: — только та дѣвушка, которой нуженъ учитель, совершенно порядочная.

— Ah bah!...

— Да что же это васъ удивляетъ?

— И она идетъ въ актрисы?

— Да...

— Въ Парижѣ къ этому всегда готовятся...

— Знаю, кто; но она, повторяю, русская.

Тонъ Крутицына заставилъ Рике́ оглядѣть его и улыбнуться.

— Vous la gobez, animal?

Трудно было Крутицыну свести его съ «блягированья», но минутъ черезъ пять Рике́ подался и сказалъ, съ обычнымъ своимъ добродушіемъ:

— Милый другъ... я не знаю никого въ этомъ мірѣ... Я и въ театрѣ-то не былъ года три...

— Быть можетъ, изъ вашихъ пріятелей...

— Des coureurs de femmes... peut-être...

И вдругъ онъ ударилъ себя по лбу и вскрикнулъ:

— Eureka!

— Нашли?

— Нашелъ, нашелъ... если хотите, сейчасъ мы это обработаемъ.

— Какъ, здѣсь?

— Да, да... я вамъ ничего не говорилъ о нашей новой больной?

— Нѣтъ...

— Ничего вамъ не говорилъ о Cochonette?

— Какъ?

— Cochonette... изъ Большой Оперы.

— Въ первый разъ слышу...

— Какъ же, какъ же... она здѣсь уже съ недѣлю.

— Это ея имя?

— Прозвище.

— Нечего сказать, хорошо...

— Croutitzine, pas de pruderie!...

— Такъ вы у ней хотите спрашивать?

— А то у кого же? Она знаетъ весь театральный міръ, и навѣрно дастъ вамъ совѣтъ: къ какому учителю обратиться.

Крутицынъ подумалъ и согласился.

Рикѐ крикнулъ проходившаго служителя и сказалъ ему шепотомъ нѣсколько словъ. Служитель указалъ ему рукой по направленію аллеи и удалился.

— Да она въ саду! — возвѣстилъ Рикѐ Крутицыну.

— Ваша Cochonette?

— Да, я ее не замѣтилъ... Она тамъ за кустами; пойдемте, я васъ представлю.

— Не лучше ли будетъ сначала поговорить съ ней?

— Вотъ это мило!... не составить ли цѣлую конференцію?... Какъ это вы, animal de Croutitzine, въ ваши лѣта точно какой collégien... Идемте, идемте!

Горбунъ подхватилъ его подъ мышку и потащилъ въ противоположный уголъ сада.

За группой низкихъ кустовъ, на зеленой скамейкѣ, сидѣла, одна, молодая брюнетка, въ красномъ платкѣ на плечахъ, съ книгой. Она протянула на стулъ ноги, обутыя въ высокіе «bottes polonaises» золотистаго цвѣта,

съ обнаженіемъ шелковаго чулка. Она была безъ шляпки. Шиньонъ ея надвигался совсѣмъ на темя.

— M-lle Marià, — поздоровался съ нею Рикé, дотронувшись до плеча: — ça boulotte?

— Oui, mon vieux... — отвѣтила она. Не снимая ногъ со стула, положила она книгу на колѣни и протянула ему обѣ руки, всѣ въ кольцахъ. — Et toi?

— Ça boulotte, — кинулъ Рикé, стараясь поднять ее за руки.

Она уперлась и начала хохотать хриплымъ, низкимъ, почти нахальнымъ смѣхомъ.

Рикé представилъ ей Крутицына, который не нашелся сказать ей что-нибудь подходящее къ ея «общественному положенію» и наружности.

А Кошонетта была очень видная особа, съ круглымъ совсѣмъ лицомъ, глазами навыкатъ, сочнымъ подбородкомъ и высокой грудью. Но на лицѣ ея лежалъ такой слой косметиковъ, что трудно было бы распознать ея лѣта и степень свѣжести.

— Un russe? — рѣзко спросила она, нахмуривъ брови и тотчасъ же затѣмъ разсмѣялась, раскрывъ большой, чувственный ротъ съ накрашенными губами.

— Oui, madame, неловко отвѣтилъ Крутицынъ.

— Bonne race!... Mais sais-tu, ma vieille, — обратилась она къ Рикé: — faire de russes... c'est jouer à la baisse...

— Comment ça? — допросилъ Рикé.

— Oui, cher... ce n'est plus aussi sérieux que par le passé... Ça degrignole, le boyard, ça n'a pas le sou!...

Кошонетта такъ и палила фразами, однимъ духомъ, съ картавостью и стремительностью истой туземки Quartier Bréda...

Она взяла тотчасъ же Крутицына за руку, нашла,

что руки у него мягкія и теплыя, и объявила, что это «единственное прикосновеніе, которое она себѣ вообще позволяетъ».

— Parole!... — воскликнула она и шутовскимъ басомъ, передразнивая голосъ и маньеру Сюзанны Лажье, протянула: — Je suis ma-la-a-de...

Крутицынъ не рѣшился освѣдомиться, чѣмъ она больна; болѣе внимательный взглядъ на нее далъ ему это почувствовать. Минутъ черезъ пять она уже перестала стѣснять его. Рике́ разсказывалъ ей, что нужно было Крутицину. Кошонетта перебила Рике́, перекинула ноги, подъ самымъ его носомъ, на скамейку, велѣла ему покрыть ихъ пледомъ и залепетала:

— Certes, je puis caser la «petite» de monsieur!...

Отъ первой же фразы Крутицына чуть не бросило въ потъ. Рике́ понялъ это и взглядъ его говорилъ:

«Ужь вы ее извините, пожалуйста. На то она и Кошонетта. Отъ своего жаргона она для васъ не откажется».

Крутицынъ отвѣтилъ ему успокоительнымъ взглядомъ и продолжалъ слушать танцовщицу.

— En fait de professeurs, — картавила она: — il a premièrement papa Maucourt... et c'est le meilleur!...

Она сейчасъ же предложила написать ему письмо или даже съѣздить къ нему.

Но Крутицынъ, разсыпавшись передъ ней въ благодарностяхъ, попросилъ просто адресъ. Она его тотчасъ же дала и разсказала даже, въ которомъ часу его всего лучше застать дома, описала его наружность, восторгалась его «débit», прибавила, что онъ въ сущности «soulard» и «canaille», что онъ обдираетъ всѣхъ сво-

ихъ учениць, и что съ нимъ нужно торговаться «comme avec un marchand de soupe».

Видно было, что все, что сообщала Кошонетта — вѣрно, что она сама вѣроятно все это продѣлала.

Крутицынъ спросилъ ее, училась ли она у этого Мокура?

— Oui, ma vieille! — отвѣтила она не безъ гордости. Она уже говорила Крутицыну «ты», да онъ и радъ былъ этому. Мѣстоименіе «вы» не клеилось никакъ въ бесѣдахъ съ Кошонеттой.

— Et tu ne blagues pas? спросилъ ее Рике́.

— Tudieu!.. Seigneur! — крикнула она, тыкая его зонтикомъ въ грудь. — Ma parole est sacrée!..

Она вскочила со скамейки, накинула платокъ на одно плечо, и, драпируясь поантичному, заныла:

«Il devait présumer qu'il était impossible
Que jamais je trahisse un si noble lien!»

И усѣвшись опять, выпалила скороговоркой, обращаясь къ нимъ обоимъ:

— Et si vous dites que ce n'est pas la vrai tradition de Rachel, vous n'etes que des pinioufs!

Крутицынъ смѣясь замѣтилъ ей, что такъ-какъ онъ Рашель не видалъ, то судить и не можетъ, рискуя быть «piniouf».

Она его погладила по плечу и сказала Рике́:

— Il est bien, ton russe, mais pas assez dégommé.

Глядя на нее, Крутицынъ подумалъ:

«Боже мой! Неужели она чему-нибудь училась? Неужели и въ балетѣ возможны подобные экземпляры? Да и не вранье ли, что она изъ Оперы?»

Точно въ отвѣтъ на его недовѣріе, Кошонетта заговорила съ Рике́ о своемъ «Brésilien». Онъ навѣстилъ ее

сегодня утромъ и привезъ ей un joli petit billet de mille francs, а потомъ была у ней подруга, танцующая съ ней «въ одномъ кадрилѣ».

— Въ какомъ? — спросилъ Рике́, тоже съ нѣкоторымъ недовѣріемъ.

— Del primo cartello! Si, senor! Ces b...s de russes s'imaginent qu'ils possèdent toutes les langues! Nous en baragouinons pas mal!

Эта фраза обращалась уже къ Крутицыну. Онъ могъ, значитъ, удостовѣриться въ томъ фактѣ, что Кошонетта была изъ первыхъ корифеекъ.

Не успѣлъ Крутицынъ собраться съ мыслями и припомнить, о чемъ ему еще нужно перетолковать съ Рике́, какъ была уже половна шестаго. И все это время болтала Кошонетта. Онъ, наконецъ, поднялся и сдѣлалъ знакъ Рике́, что пора идти.

— Sans adieu, russe! — крикнула ему Кошонетта.

Рике́ хотѣлъ-было тащить его къ себѣ: прочесть ему главу своей новой статьи по философіи химіи; но Крутицынъ рѣшительно объявилъ ему, что онъ неспособенъ ни къ какому умственному напряженію послѣ «ужаснаго» разговора съ пріятельницей Рике́.

VII.

Крутицынъ все слѣдующее утро былъ подъ впечатлѣніемъ вчерашняго разговора въ саду больницы.

Личность Кошонетты, хоть онъ и зналъ-таки Парижъ, поразила его непосредственностью своею нравственнаго паденія...

«И въ такой-то міръ хочу я ввести Ксенію Николаевну?» спросилъ онъ себя нѣсколько разъ, соображая, какъ приступить къ парижскому устройству этой дѣвушки.

Онъ допросилъ хозяйку отельчика, гдѣ жилъ: нѣтъ ли у ней комнаты франковъ въ 30 или 40? Показали ему комнату въ четвертомъ этажѣ, мило убранную и уютную, самую дешевую, какая была въ отелѣ; но дешевле 35 франковъ хозяйка не уступила ее. Крутицынъ подумалъ:

«Скрою я отъ Ксеніи Николаевны настоящую цѣну... Она, бѣдная, не найдетъ ничего порядочнаго за 25 франковъ, а оставаться въ той трущобѣ ей невозможно... Скажу ей, что комната ходитъ за ту же цѣну».

Но по мѣрѣ того, какъ онъ подходилъ къ Rue St. Jacques, его все больше и больше безпокоили разные щекотливые вопросы.

«Хорошо ли я дѣлаю», думалъ онъ, замедляя шаги: «что хочу помѣстить ее въ одномъ съ собой отелѣ. Вѣдь я поступаю, какъ какой-нибудь сатиръ... Да и ей самой будетъ слишкомъ прозрачно мое намѣреніе...»

Онъ началъ краснѣть.

«Намѣреніе... Но какое же? Я не имѣю на нее никакихъ дурныхъ видовъ... Помѣстить ее въ другомъ отелѣ... Скорѣе откроется то, что я приплачу отъ себя за ея комнату эти десять франковъ...»

Доводъ не сразу убѣдилъ его. Онъ опять спросилъ себя:

«Хорошо ли ставить молодую дѣвушку въ такую необходимость каждый день видѣться со мной?..»

Вопросъ этотъ нашелъ, однако-жь, быстрое опроверженіе:

«Какой вздоръ!» отвѣтилъ онъ самому себѣ. «Развѣ она невинная институтка? Да и что за фатовство такое? Могу ли я быть опасенъ для ея спокойствія? Скорѣе она

для моего!.. Это — особа, отлично знающая, куда она идетъ и зачѣмъ. Но я все-таки поопытнѣе ея, и мой долгъ — оградить ее, сколько можно, отъ лишнихъ соблазновъ и лишней грязи. Станетъ она жить въ томъ же отелѣ, гдѣ и я, я изо дня въ день въ состояніи буду слѣдить за ея знакомствами, успѣхами, ощущеніями, за всѣмъ ея внутреннимъ бытомъ...»

Крутицынъ горячо принялся развивать эту тему. Доводы текли у него какъ по маслу. Ихъ нашлось даже слишкомъ много, чтобы убѣдить его въ положительной необходимости поселить Ксенію Николаевну въ своемъ отелѣ.

Онъ весело и увѣренно вбѣжалъ къ ней на верхъ и громко постучалъ. Нашелъ онъ ее въ прелестномъ туалетѣ и чуть не ахнулъ, такъ она была хороша въ это утро. Она одѣлась въ бѣлое кашемировое платье съ красной бархаткой въ волосахъ, какъ въ тотъ вечеръ, когда онъ увидѣлъ ее въ первый разъ. Встрѣтила она его особенно радушно и долго держала его руки въ своихъ рукахъ.

— Ну, Александръ Павлычъ, — объявила она: — я рѣшилась окончательно остаться въ моемъ вертепѣ... ходила я, ходила по всему Латинскому кварталу. Нѣтъ ничего подходящаго ниже сорока франковъ, или лучше сказать совсѣмъ нѣтъ комнаты дешевле этого. Есть только одни «кабинеты». А знаете ли вы, что такое эти «cabinets?»

— Я не живалъ въ нихъ, — отвѣтилъ Крутицынъ.

— Вотъ что это такое: отворите вы дверку, стоитъ кровать и рядомъ стулъ. Войдя кидайтесь прямо на кровать, а больше уже никакихъ движеній не производите... Цѣна пятнадцать франковъ, но для декламаціи, какъ сами видите, совсѣмъ негодится... Да я какъ осмотрѣла, нахожу, право, что здѣсь не такъ дурно. На лѣстницѣ темно и грязно... Не грязнѣе, чѣмъ у насъ въ Москвѣ въ раз-

ныхъ Челышахъ. Піанино я ужь умудрюсь какъ-нибудь водрузить вотъ здѣсь въ простѣнкѣ.

Она показала, гдѣ поставить піанино, тотчасъ же потомъ подошла къ Крутицыну, сидѣвшему на сундукѣ, взяла опять за руку и заговорила:

— Какъ я вамъ благодарна, что вы свели меня въ «Comédie française». Я сама бы долго не собралась. Въ рай я еще ходить не привыкла, а въ кресла дорого... Вѣдь пять франковъ-то на русскій курсъ почти два рубля.

— Понравилось?

— О, да! Эта Огюстина совсѣмъ ужь старая и дряблая; но какой у ней еще шикъ; какая плутовская тонкость... Въ такую женщину, на сценѣ, и не одинъ «Фигаро» способенъ влюбиться... Мадлена мнѣ меньше нравится... Гренадеръ... Талья ужасная, да и одна лопаточка, кажется, выше другой, голосъ басъ... Но зато глаза прекрасны, и тоже умна въ этомъ, какъ они говорятъ, débit...

— Въ дикціи, — подсказалъ Крутицынъ.

— Да. И въ мужчинахъ тоже... Такъ вотъ и я желала бы говорить... Никто изъ нихъ не читаетъ; каждое слово продумано и такъ и вылито... Прелесть!..

Щеки Ксеніи Николаевны покрылись легкимъ румянцемъ. Видно было, что она говоритъ отъ души. Крутицынъ засмотрѣлся на нее...

— Вы артистка! — вскричалъ онъ. — Вамъ ученье пойдетъ въ прокъ. Порадую васъ: я напалъ на слѣдъ лучшаго профессора декламаціи.

— Уже?

— Но только я вамъ не скажу адресъ сразу.

— Это отчего?

— Позвольте мнѣ самому сходить и справиться: такъ ли все, какъ мнѣ говорили?..

— Зачѣмъ... Я сама...

— Нѣтъ, нѣтъ!.. Я не согласенъ. Мнѣ и безъ того каждый день приходится ходить въ ту же сторону; да и воля ваша, мужчинѣ все это будетъ удобнѣе.

— Ну, хорошо, хорошо...

— Это первый вопросъ. Потомъ квартира...

— Неужто нашли?

— Нашелъ!

— Гдѣ?

— Въ Латинскомъ кварталѣ.

— Около васъ?

— Да...

Крутицынъ остановился на секунду и долженъ былъ сдѣлать надъ собою усиліе, чтобъ не стѣсниться.

— Это въ отелѣ, гдѣ я вижу, — выговорилъ онъ довольно твердо.

Ксенія Николаевна нимало не смутилась, даже и не взглянула на Крутицына и весело проговорила:

— Какъ я рада... И цѣна?

— Цѣна ваша...

Слово «ваша» стоило-таки Крутицыну не малаго усилія.

И это она приняла совершенно просто.

— Двадцать-пять франковъ?

— Да; но въ четвертомъ...

— Какая важность. И просторно?

— Піанино свободно вы поставите.

— Чего же лучше! Ахъ, какой вы умный!..

Тутъ ласковый взглядъ ея упалъ на лицо Крутицына. Она сейчасъ же прочла въ его глазахъ отблескъ смущенія и расхохоталась. Крутицынъ окончательно смутился.

— Кайтесь! — вскричала Ксенія Николаевна: — сейчасъ кайтесь!..

— Въ чемъ же это?

— Вы вѣдь стѣснились, не правда ли?

— То-есть, какъ это стѣснился?

— Какъ? Очень просто; ну, застыдились, если хотите другое слово... и застыдились вы вотъ чего: какъ, дескать, это я, человѣкъ солидный, и вдругъ дѣлаю молодой, неопытной дѣвицѣ такія подозрительныя предложенія, хочу помѣстить ее въ одномъ съ собой отелѣ? Вотъ что взволновало вашу бѣлоснѣжную совѣсть, милостивый государь...

Запираться было невозможно: Крутицынъ сознавался въ своей винѣ, и оба разсмѣялись.

— Вы такъ и знайте, — продолжала Ксенія Николаевна: — что я васъ каждый разъ буду ловить... Васъ, должно быть, въ хлопочкахъ воспитывали?

— Ну, нѣтъ!

— Такъ какъ-же это вы до сихъ поръ точно красная дѣвица? Или ужь вы о нехорошемъ думаете постоянно? вамъ все и кажется неприлично.

«Оно почти-что правда», подумалъ Крутицынъ, и сказалъ вслухъ:

— Преклоняюсь передъ вашей проницательностью; но если вы теперь не заняты, неугодно ли осмотрѣть комнату?

— Хоть сейчасъ, я ничего не дѣлаю. Идемте и впредъ не извольте со мной играть въ щекотливые вопросы.

Крутицынъ поцѣловалъ протянутую ему руку.

VIII.

Комната очень понравилась Ксеніи Николаевнѣ. Она какъ-разъ приходилась надъ комнатой Крутицына. Отель принадлежалъ къ разряду приличныхъ «Chambres garnies», гдѣ на половину жили небольшія семейства. Хозяйки Ксенія Николаевна и не видала совсѣмъ. Крутицынъ взялся переговорить съ ней. Онъ было-порывался заплатить и за наемъ піанино, но Ксенія Николаевна этого не позволила.

Они разстались у Одеона. Ксенія Николаевна отправилась домой укладываться, Крутицынъ — отыскивать ея будущаго учителя декламаціи.

Кошонетта сказала ему, что старика Мокура можно застать утромъ рано, съ восьми часовъ, когла онъ даетъ свои «leçons particulières», и потомъ отъ двухъ до четырехъ, въ фойэ маленькаго ученическаго театра, помѣщающагося недалеко отъ его квартиры, три раза въ недѣлю, по понедѣльникамъ, средамъ и пятницамъ. Она прибавила, что если придти пораньше, то можно застать его одного до начала его «cours» и обо всемъ съ нимъ переговорить, а потомъ остаться посмотрѣть: какъ идетъ преподаваніе.

Была какъ разъ пятница, и Крутицынъ разсудилъ, что лучше пойти на курсъ. Ровно въ два часа онъ вошелъ въ корридоръ театрика, гдѣ играли каждый вечеръ ученики Мокура и другихъ парижскихъ профессоровъ декламаціи. Поднявшись на площадку, гдѣ стояло бюро контроля, Крутицынъ не зналъ, куда ему направить шаги свои: направо по узкой лѣстницѣ, или налѣво по темному корридору.

Онъ оглядѣлся: нѣтъ ли кого поблизости, и услыхалъ позади себя чьи-то скорые и легкіе шаги. Въ полусвѣтѣ сѣней разглядѣлъ онъ дѣвушку, почти дѣвочку, маленькаго роста, блондинку, съ красивымъ, нѣсколько сердитымъ личикомъ, въ темной накидкѣ и бѣдномъ платьицѣ.

— Monsieur Maucourt? — спросилъ онъ ее, когда она съ нимъ поровнялась.

— Un escalier plus haut, — проговорила она низкимъ голоскомъ, въ которомъ слышался металлъ.

Она пошла въ фойэ, и Крутицынъ отправился вслѣдъ за нею.

Они поднялись по лѣсенкѣ и изъ корридора вступили въ довольно большую залу. Направо отъ входа стоялъ прилавокъ, гдѣ по вечерамъ продавали, должно быть, сласти и напитки. Посрединѣ правой стѣны красовался каминъ съ пыльнымъ зеркаломъ и гипсовымъ бюстомъ Наполеона III. Въ углу виднѣлось піанино, довольно убогое. Вдоль всей лѣвой стѣны шелъ рядъ соломенныхъ стульевъ.

По залѣ расхаживалъ, заложивъ руки за спину, высокаго роста старикъ, въ длинноватомъ сюртукѣ и бѣломъ галстухѣ.

Его наружность и на улицѣ бросилась бы въ глаза. Большая голова его покрывалась густыми сѣдыми волосами и такая же сѣдая борода, окладистая, но взъерошенная, обрамляла необычайно типичное лицо съ рѣзкими линіями и морщинами, густыми бровями и орлинымъ, крупнымъ носомъ.

Это и былъ «papa Maucourt», къ которому Кошонетта адресовала Крутицына.

Дѣвушка, войдя, указала на него рукой, подошла къ нему сзади и сказала своимъ низкимъ голоскомъ:

— Bonjour, papa, il vous arrive du monde...

Старикъ круто обернулся и подставилъ ей щеку.

Дѣвушка поцѣловала. Онъ подставилъ другую. Она поцѣловала и другую.

«Дочь она его или просто ученица?» вопросительно подумалъ Крутицынъ, останавливаясь по срединѣ залы.

— Coureuse! — крикнулъ старикъ: — et la leçon d'hier?...

Дѣвушка надула губки, ничего не отвѣтила и начала снимать шляпку. Она отъ ходьбы раскраснѣлась и тяжело дышала.

Крутицынъ подошелъ къ старику и объяснилъ ему причину своего визита. Какъ только тотъ услыхалъ, что дѣло идетъ объ иностранкѣ, сейчасъ же пригласилъ Крутицына присѣсть и началъ разспрашивать объ его «protégée». Крутицынъ съ первыхъ же словъ узналъ, что передъ нимъ очень бойкій мастеръ своего дѣла, немного «hableur» и чувствительный къ вопросу презрѣннаго металла.

— У меня здѣсь, — говорилъ онъ: — только повтореніе того, что я показываю дома, чтобы пріобрѣтался апломбъ. Я не могу вдаваться въ замѣчанія съ дѣвчонками; но вы увидите, чего я требую. Первое: пониманіе, логика, простота, а отсюда явится и красота дикціи. Вотъ я сейчасъ заставлю проговорить какую угодно тираду эту дѣвчонку. У ней память ангельская.

«Дѣвчонка» въ это время наигрывала однимъ пальцемъ на піанино:

J'ai du bon tabac
Dans ma tabatière...

— Orphise! — крикнулъ Мокуръ.

Она обернулась.

— Le monologue d'Hermione!...

Она было-сдѣлала гримасу; но старикъ нахмурилъ брови, и она повиновалась, стала въ позицію и начала.

Голосъ у нея былъ, по ея фигурѣ, очень сильный, и она владѣла имъ съ какой-то наивной отвагой; въ интонаціи каждаго слова слышалась удивительная, въ ея лѣта, осмысленность. Но держалась она дурно, сгорбившись и руки не знала куда дѣть.

— Voilà le débit, que je donne, cher monsieur,—объявилъ старикъ, самодовольно потирая руки.

Крутицынъ остался доволенъ, только ему стало жалко дѣвушку, которую Мокуръ третировалъ, если не жестко, то очень поотечески. Ей, при ближайшемъ разсмотрѣніи, оказалось лѣтъ восемнадцать.

«Неужели», подумалъ Крутицынъ. «этотъ старче и Ксенію Николаевну заставитъ цѣловать себя и будетъ говорить ей «ты?».

Только-что онъ задалъ себѣ этотъ вопросъ, дверь въ залу отворилась и вплыла длинная особа съ длиннымъ же носомъ на сантиментальномъ длинномъ лицѣ, дѣвушка лѣтъ ужь сильно за двадцать. И она приложилась къ Мокуру, и ей онъ крикнулъ:

— Barbouilleuse! bonjour! Tu étais infecte hier dans Hermine!

«Вотъ и эту классную даму онъ тыкаетъ», проговорилъ про себя Крутицынъ.

Она ему показалась похожей на классную даму русскаго института.

Вслѣдъ за ней, дверь отворилась съ шумомъ и въ залу вбѣжала дѣвушка, моложе Орфизы и выше ея ростомъ, въ пестромъ платкѣ, короткой клѣтчатой грязной юбкѣ и соломенной шляпкѣ на бокъ. Весь ея видъ дышалъ безпорядочностью гамена...

Она чмокнула Мокура на ходу, схватила тотчасъ же Орфизу и начала съ ней прыгать по залѣ.

Потомъ подбѣжала къ профессору и вскричала съ пресмѣшной миной самодовольства:

— J'ai eu un bouquet, hier!...

— Où? Où? — крикнули ей дѣвицы.

— A la salle Molière! ..

— Va-te-n! скомандовалъ Мокуръ. — Je te défends de jouer avec ces Auvergnats!...

Она расхохоталась, выставляя рѣдкіе зубы и дёсны; потомъ, остановившись около Крутицына, она шутовски взглянула на него и начала вытаскивать изъ кармана что-то очень объемистое. Это была цѣлая бутылка съ молокомъ. Она приставила горлышко къ губамъ и стала жадно глотать. Напившись, она предложила Крутицыну:

— En usez-vous? — сказала она ему, сдѣлавши гримасу носомъ.

За бутылкой съ молокомъ появился, изъ того же кармана, свертокъ синей бумаги. Изъ свертка вылѣзло три пирожка и, одинъ за другимъ, были поглощены.

— J'ai un appétit boeuf! — крикнула безцеремонная питомица Таліи и Мельпомены.

Крутицыну все это было и ново, и странно. Онъ взглянулъ на профессора. Тотъ просматривалъ какую-то газету и казался уже разсѣяннымъ. Упражненія еще не начинались. Минутъ черезъ пять аудиторія состояла изъ семи дѣвушекъ и троихъ мужчинъ. Одинъ изъ нихъ былъ простой солдатъ въ шако и синемъ солдатскомъ капотѣ, молодой малый съ жидкими усиками и умными глазами. Остальные два смотрѣли студентами или юными адвокатами. Съ ними Мокуръ обращался совершенно иначе, чѣмъ съ женскимъ поломъ. Они заговорили съ нимъ о политическихъ новостяхъ. Старикъ разсуждалъ, какъ старый демократъ, и сообщилъ Крутицыну, что былъ знакомъ съ Фурье...

Наконецъ, въ половинѣ третьяго, начались упражне-

нія. Орфиза проиграла съ солдатомъ сцену изъ «Fils Naturel» Дюма-сына. Крутицынъ былъ восхищенъ искренностью и продуманностью ея тона. Солдатъ давалъ ей реплику съ жаромъ и изяществомъ, которые плохо клеились съ его капотомъ.

За сценой изъ «Fils Naturel» послѣдовалъ разговоръ изъ «Femmes Savantes».

— Claudia! — скомандовалъ Мокуръ хохотушкѣ съ бутылкой.—Prends garde... Pas de sussayement!

А она немного пришепётывала и при постороннемъ начала выправлять свое произношеніе, не выдержала и затараторила, по своему, но очень мило, весело, игриво, умно. Старикъ кричалъ на нее, а въ сущности былъ доволенъ.

Клитандра началъ-было разыгрывать одинъ изъ статскихъ молодыхъ людей, худощавый, скромный малый съ тонкими чертами; но Мокуръ перебилъ его и самъ проговорилъ обращеніе къ Триссотэну:

„Je vois votre chagrin et que par modestie
„Vous ne vous mettez point, monsieur, de la partie"

Крутицынъ въ первый разъ заслышалъ такую дикцію и такой сочный, могучій и блестящій, по оттѣнкамъ, тонъ рѣчи. Онъ захлопалъ и вся аудиторія ему вторила.

Молодые люди окружили Мокура и стали его упрашивать проиграть первый актъ «Мизантропа».

Онъ согласился. Крутицынъ не проронилъ ни одного слова изъ тирадъ «Мизантропа»: такъ онѣ были увлекательно и своеобразно сказаны. Когда Альцестъ приводитъ старую пѣсенку съ припѣвомъ:

„J'aime mieux ma mie
O gué
„J'aime mieux ma mie!"

глаза старика заискрились слезами, и изъ груди вылетѣлъ страстный и наивный крикъ.

Крутицына растрогалъ одинъ звукъ, которымъ сказаны были два стиха припѣва.

Послѣ перваго акта «Мизантропа», Мокуръ познакомилъ съ Крутицынымъ статскихъ молодыхъ людей, назвавъ ихъ обоихъ адвокатами. Онъ сообщилъ ему, что они учатся у него дикціи и очень усердно ходятъ на его спеціальные уроки. Игравшій Клитандра не выказывалъ большихъ талантовъ. Другой — черный и коренастый малый, казался энергичнѣе и страстнѣе.

— Vous nous direz le discours de Mirabeau, — сказалъ ему Мокуръ, желая, должно быть, показать всѣ тонкости своего преподаванія.

Тотъ отправился къ камину, взялъ стулъ, обернулъ его къ себѣ спинкой и однимъ духомъ произнесъ первую фразу изъ знаменитой рѣчи о банкротствѣ:

— «Contemplateurs stoïques des maux incalculables que cette catastrophe vomira sur la France!»

Дикція его отзывалась еще шероховатостью; но огонь и умъ сказывались въ каждомъ поворотѣ тона.

— Mon cher monsieur, — пояснилъ Мокуръ Крутицыну: — toute ma méthode est là: dites d'un trait et enveloppez. Il n'y a pas de beauté de débit sans cela.

Крутицынъ былъ въ полномъ восхищеніи отъ учителя и видѣлъ, что если его ученицы не всѣмъ пользовались, чему отъ него можно было позаимствоваться, то это происходило отъ ихъ юности и неразвитости.

Адвокаты и послѣ «Мизантропа» не оставили въ покоѣ старика и начали его упрашивать, проговорить еще что-нибудь.

— Rouen!... Rouen! — закричала женская половина и облѣпила старика.

Claudia чуть не прыгнула ему на шею.

Онъ поломался, отговариваясь усталостью; но согласился-таки. Въ залѣ стала глубокая тишина.

— «Rouen!...» — воскликнулъ всей грудью Мокуръ, и всѣ встрепенулись.

Крутицынъ весь ушелъ въ зрѣніе и слухъ. Образы поэтическаго творчества, описательное краснорѣчіе, порывы идеи и лирическаго чувства — все это дѣлалось прозрачнымъ, осязательнымъ, принимало краски, увлекало глубиной и страстностью душевнаго захвата.

— «Piramides du Nil, cathédrales du Rhin!» — говорилъ протяжно Мокуръ, и воображенію представлялись грандіозность фараоновыхъ памятниковъ и летучая прелесть башенъ рейнскихъ соборовъ.

— Splendide! — закричалъ Крутицынъ, не сдержавъ своего восторга.

IX.

Дня черезъ три, Ксенія Николаевна уже совершенно устроилась. Крутицынъ перетолковалъ еще разъ съ Мокуромъ, поторговался съ нимъ, и старикъ, осмотрѣвши свою будущую ученицу, согласился взять всего пятьдесятъ франковъ въ мѣсяцъ за три особыхъ урока по утрамъ, кромѣ упражненій въ школѣ. Онъ наговорилъ Ксеніи Николаевнѣ много рѣзкихъ пріятностей, нашелъ, что у ней «l'angle de l'œil» напоминаетъ Марсъ, а улыбка «cette chère Dorval» и обѣщалъ, что ея «débit» выработается на славу.

— Un beau brin de fille! — сказалъ онъ Крутицыну, подмигнувъ плутовски своимъ каримъ пронзительнымъ глазомъ.

Помѣстивши соотечественницу у себя въ отелѣ, Крутицынъ тотчасъ же почувствовалъ что-то новое въ своемъ душевномъ обиходѣ. Онъ весь подобрался, подтянулся, сталъ слѣдить за собой, стараясь не опускаться до припадковъ того, что онъ звалъ не хандрой, а «хандроватостью». У него появился объектъ ближайшихъ наблюденій, болѣе того — существо, которое съ каждой минутой все замѣтнѣе раздражало его пріятнымъ раздраженіемъ. Оно было во всѣхъ отношеніяхъ новостью.

Крутицынъ никогда не бѣгалъ женщинъ, но онъ и не злоупотреблялъ женскимъ обществомъ; почему у него и сохранились не совсѣмъ подходящія къ его лѣтамъ сдержанность и стыдливость. Ксенія Николаевна не отвѣчала ни на одинъ изъ типовъ, какіе ему удавалось встрѣчать или вычитывать изъ книгъ.

По складу натуры, Ксенія Николаевна была настоящая русачка. Ничей взглядъ не подмѣтилъ бы въ ней примѣси чего-либо чужаго, иностраннаго, заимствованнаго. Ее вылили въ цѣльную, законченную форму. Въ ея манерахъ, умѣ, языкѣ не сказывалось никакого нерусскаго вліянія идей, привычекъ или личностей. И все-таки ея своеобычность била въ глаза и всего больше плѣняла въ ней. Крутицынъ продолжалъ не вѣрить тому, что она воспитывалась въ институтѣ. Жизнь въ барскихъ домахъ въ качествѣ компаньонки должна была бы, кажется, наложить на нее печать извѣстной банальности. Ничуть не бывало. Она вышла изъ своего «приживанья» безъ единаго пятнышка, все такая же смѣлая, изящная, внушительная. Каждый штрихъ ея характера, каждое ея слово задѣвали Крутицына своей непосредственностью. Первое время ихъ житья подъ одной кровлей онъ началъ испытывать особаго рода неловкость, до тѣхъ поръ, пока не установилъ своего тона съ Ксеніей Николаевной. Онъ чуялъ подъ ея непринужденными, почти фамильярными,

рѣчами большой тактъ, выдержку, даже «себѣ на умѣ». Но это «себѣ на умѣ» почему-то не отталкивало его. Его, напротивъ, влекло къ распускающейся передъ нимъ логикѣ женскаго разсудка и женской воли. Въ Ксеніи Николаевнѣ чувствовалъ онъ своего антипода. Не смотря на потребности ума, на научное образованіе, на опытъ жизни, въ Крутицынѣ сидѣлъ запасъ лиризма, дѣлавшій его способнымъ на всякіе промахи противъ кодекса житейской мудрости. Въ Ксеніи Николаевнѣ не слыхать было вовсе струны лиризма. Умъ блестѣлъ въ ея прекрасныхъ глазахъ; умъ и только умъ слышался и во всѣхъ проявленіяхъ ея личности.

Отельная жизнь, еслибъ Крутицынъ былъ только шапочно знакомъ съ соотечественницей, должна была сблизить ихъ. И съ первой же недѣли они половину дня проводили вмѣстѣ. Утромъ Ксенія Николаевна отправлялась на урокъ къ Мокуру. Къ десяти часамъ она возвращалась домой, и они пили кофе. Крутицынъ ѣхалъ въ омнибусѣ на Марсово поле. Ксенія Николаевна работала дома надъ «morceaux», заданными Мокуромъ, пѣла и читала. Обѣдали они вмѣстѣ въ «бульйонѣ» и вечеромъ шли гулять въ Елисейскія поля или на бульвары, или оставались дома. Первые дни прошли во взаимныхъ разспросахъ и сообщеніи впечатлѣній. Ксенія Николаевна сразу же оцѣнила своего учителя.

— Этотъ старче, — говорила она Крутицыну: — премилый. Онъ кулакъ и даже немножко старый селадонъ: но умъ у него въ débit — удивительный. Какъ онъ въ первый разъ прочелъ мнѣ «Le lac» Ламартина, я просто въ уныніе пришла: такъ мое собственное чтеніе было сравнительно съ его манерой глупо, плоско, безцвѣтно, грубо по произношенію. Вообще-то онъ не богъ-знаетъ какъ уменъ. Я даже замѣтила, что онъ то и дѣло повторяется. И афоризмы и остроты у него одни и тѣ же.

Внимать имъ съ благоговѣніемъ я не считаю надобностью, — хорошенькаго понемножку. Слушать его надо, — вотъ что всего важнѣе. Еслибъ у меня были лишніе пятьдесятъ франковъ, я бы слушала его по два часа сряду каждый день.

— Понимаете вы суть его манеры? — спросилъ Крутицынъ.

— Начинаю проникать. Штука, въ сущности, совсѣмъ не хитрая. Онъ произноситъ d'un seul trait цѣлую тираду и даетъ ей цвѣтъ и запахъ.

— Даже запахъ?

— Именно запахъ! И, по моему, надо ему рабски подражать. Онъ хоть и толкуетъ, что прежде всего нужна своя смекалка, но лучше его не скажешь. Я вотъ вчера попробовала иначе раздѣлить фразу.

— И что же?

— Ну, и вышло глупо! Да и какъ же можетъ быть иначе? Онъ сорокъ лѣтъ сидитъ на однихъ и тѣхъ же отрывкахъ. Онъ, я думаю, и въ бреду не сдѣлаетъ ни одной фальшивой интонаціи.

Крутицынъ сталъ было возражать Ксеніи Николаевнѣ, доказывая, что необходимо стремиться къ самобытной манерѣ.

Она его перебила восклицаніемъ:

— Ти, ти, ти!...

И прибавила съ улыбкой:

— Вы старше меня, а все изволите пробавляться теоріей. Ну, куда же мнѣ теперь стремиться, какъ вы говорите, къ самобытной манерѣ? Предо мною прекраснѣйшій образецъ. Пока я такъ буду говорить, какъ мой старче, пройдетъ не одинъ мѣсяцъ. Надо только сознать, что дѣйствительно хорошо и почему оно хорошо. А потомъ и безъ того придется работать головой и создавать свою манеру: я вѣдь буду играть по-русски, а не по-французски.

Крутицынъ согласился. Чутье и смыслъ Ксеніи Николаевны и тутъ пріятно поразили его.

X.

Прошелъ цѣлый мѣсяцъ. Мѣсяцъ этотъ пролетѣлъ, а не прошелъ для Крутицына.

Дни казались ему такими коротенькими. На выставкѣ онъ бывалъ помалу; все уже описалъ онъ, русскихъ бѣгалъ, толпа окончательно пріѣлась ему. Его такъ и тянуло на бульваръ St.-Michel. Возвращаясь домой, онъ чувствовалъ нервную тревогу, скоро-скоро взбѣгалъ по лѣстницѣ и спрашивалъ въ бюро у хозяйки чуть не съ сердечнымъ замираніемъ:

— Mademoiselle est chez elle?

Ему всегда почти отвѣчали:

— Oui, elle vient du rentrer.

И онъ съ радостью поднимался въ четвертый этажъ и стучался въ дверку, дожидаясь свѣтлаго голоса, отвѣчающаго:

— Entrez.

Въ первое время Крутицынъ совѣстился заходить каждый день къ Ксеніи Николаевнѣ по возвращеніи съ выставки; но это захожденье сдѣлалось для него, очень быстро, неудержимою потребностью. Онъ предложилъ Ксеніи Николаевнѣ свою квартиру для драматическихъ упражненій, такъ какъ у него было просторнѣе: онъ занималъ двѣ комнаты, и его салончикъ не былъ такъ заставленъ мебелью, какъ ея комнатка. Ксенія Николаевна приняла это предложеніе очень просто, и, каждый почти день, явля-

лась къ нему передъ обѣдомъ вслухъ декламировать. Онъ сидѣлъ въ углу, изображая изъ себя публику. Ея дикція совершенствовалась не по днямъ, а по часамъ. Въ иныхъ монологахъ она поднималась уже до удивительной ширины и красоты исполненія. Она сшила себѣ особый «peplum» для своихъ упражненій, и Крутицыну сталъ необычайно дорогъ ея греческій обликъ. Ему былъ день не въ день тотъ, когда Ксенія Николаевна не приходила къ нему декламировать.

Крутицынъ цѣлыхъ двѣ недѣли не видался съ Рике́. Тотъ звалъ его черезъ разныхъ «ситойеновъ». Наконецъ-то собрался онъ и дорогой сильно упрекалъ себя въ «безобразіи», въ равнодушіи къ пріятелю, съ которымъ связывала его такая живая и живучая симпатія.

Рикѐ встрѣтилъ его словами:

— Cher animal! Vous étes toqué!

Крутицынъ покраснѣлъ, хотя и постарался тотчасъ же заговорить въ шутливомъ тонѣ. Но Рикѐ перемѣнилъ тонъ и освѣдомился, задушевно, о состояніи сердечныхъ настроеній пріятеля.

Были въ его словахъ два-три звука, на которые Крутицынъ почему-то не могъ не откликнуться. Онъ заговорилъ о соотечественницѣ.

— Хороша она? — спросилъ прежде всего Рикѐ.

— Хороша! — вздохнулъ Крутицынъ: — чертовски хороша!

— А сердце?

— Сердце...

Крутицынъ запнулся.

— Что же? — допрашивалъ Рикѐ.

— Не умѣю, какъ вамъ отвѣтить, другъ мой. До сихъ поръ я вижу богатую, широкую, свѣжую натуру, умъ... совсѣмъ мужской.

— Это хорошо!

— Хорошо въ одномъ смыслѣ. Логика у ней изумительная. Она дѣловой человѣкъ.

— Значитъ, она похожа на француженку?

— Нѣтъ, она русская съ головы до пятокъ.

— Всѣ умныя француженки — дѣловые люди.

— Можетъ быть. Но ваши женщины, когда онѣ дѣловые люди, лишены чутья высшихъ интересовъ. Онѣ — конторщицы. А въ ней бездна пониманія красоты, таланта, мiроваго движенія, всего, что отзывается изяществомъ и солиднымъ блескомъ.

— Тѣмъ лучше, она будетъ вамъ прекрасной женой! — рѣшилъ Рикѐ, трепля Крутицына по плечу своей нервной маленькой рукой.

— Ну, ужь сейчасъ и женой.

— А почему же нѣтъ? Не хотите жениться — дѣло обойдется и такъ, если у ней нѣтъ предразсудковъ.

— Да надо сперва полюбить.

И Крутицынъ опять споткнулся.

— А вы къ ней будто ничего не чувствуете?

— Чувствую большую симпатію.

— Ну, и прекрасно!

— Прекрасно ли?... Не знаю... Вотъ что я вамъ скажу, Рикѐ. Намъ съ вами надо слѣдить за собой...

— Это зачѣмъ? Слѣди не слѣди, а все-таки поймаешься. Я на этотъ счетъ давно успокоился.

— А я нѣтъ! Въ мои лѣта женщина становится особенно дорога, и если отдаться ей совсѣмъ... можно плохо покончить...

— Какой вздоръ! Отдатите ей то, что отдаютъ женщинамъ.

— Такъ выходитъ у васъ французовъ

— Et chez les mangeurs de chandelles c'est autrement? Tant pis!

Крутицынъ точно ожидалъ минуты пуститься въ разоблаченіе своего душевнаго процесса:

— Глупо было бы мнѣ таиться, — началъ онъ: — я не юноша. Въ этой дѣвушкѣ есть что-то безконечно-обаятельное. Я боюсь вамъ ее показывать, вы бы въ нее сейчасъ же влюбились!

— А вы бы стали ревновать?

— Да!... Она уже нужна мнѣ. Я теперь весь въ ея интересахъ. Я слѣжу за ея уроками, упражненіями, отмѣчаю каждый ея успѣхъ. Я превратился въ няньку, чуть не въ мать... И она это давно уже разглядѣла. Но въ ней я не слыхалъ еще ни одного звука....

— Нѣжности? — подсказалъ Рикѐ.

— Это слово совсѣмъ нейдетъ къ ней... душевной глубины. Она со мной совершенно попріятельски, ласкова, разговорчива, внимательна, понимаетъ меня, какъ никто, видитъ меня насквозь, но и только...

— Pas un brin de coquetterie?

— О! у ней своего рода неотразимое кокетство; но оно такое, что нельзя ухватиться ни за одинъ штрихъ, ни за одну бездѣлицу: все безукоризненно, просто, дружески, разсудочно...

Въ голосѣ Крутицына задрожали такіе звуки, что Рикé, взявши его за руку, вскричалъ:

— Mais vous aimez, malheureux!...

Крутицынъ ничего не отвѣтилъ. Онъ опустилъ голову и протянулъ долгую паузу.

— На дняхъ я буду знать, что во мнѣ дѣлается... — выговорилъ онъ наконецъ, избѣгая встрѣчи со взглядомъ Рикѐ.

Ему казалось, что вовсе не трудно было говорить о Ксеніи Николаевнѣ, а изліяніе тотчасъ же сдѣлалось томительнымъ. Рикѐ понялъ это и закончилъ сердечный разговоръ восклицаніемъ:

— C'est la fatalité!

Но и бесѣда о политикѣ тоже не клеилась. Не прошло еще время трогать лирическую струну. Этотъ опытъ испугалъ Крутицына. Ему было жутко, и онъ поспѣшилъ удалиться.

Добрый Рикѐ проводилъ его прибаутками; но ему тоже сдѣлалось грустно за Крутицына. «Elle va le mettre dedans!» повторялъ онъ про себя, поднимаясь въ свой нумеръ.

Крутицынъ не вернулся домой, а отправился въ Елисейскія Поля. Сумерки уже падали надъ Парижемъ послѣ жаркаго іюньскаго дня. Узкая дорожка завела Крутицына далеко за прудъ Булонскаго Лѣса, вокругъ котораго разъѣзжали, за часъ передъ тѣмъ, «les dames du lac». Онъ набрелъ на какую-то сторожку и сѣлъ подъ каштановое дерево. Въ немъ еще не проходило чувство страха, желаніе куда-нибудь уйти подальше, забиться въ уголъ и прождать тамъ конца болѣзненнаго кризиса.

— Неужели я люблю? — глухо спросилъ онъ себя вслухъ.

И отвѣтъ не явился на уста.

«Чего же я боюсь?» спрашивалъ онъ себя, нѣсколько минутъ спустя, сидя все подъ тѣмъ же деревомъ: «неужели насталъ для меня предѣлъ, за которымъ нѣтъ ни любви, ни радости?»

Образъ Ксеніи Николаевны сталъ передъ нимъ точно живой. Онъ манилъ къ себѣ своей блистательной и величавой красой и пугалъ чѣмъ-то не женскимъ, безпощаднымъ, мраморнымъ, роковымъ...

«Не пойду я домой», повторялъ онъ про себя: «надо оборвать нить этихъ ежедневныхъ бесѣдъ и чувственныхъ раздраженій... Такая женщина изведетъ меня. Она мнѣ — не жена!»

Онъ всталъ и побрелъ къ Елисейскимъ Полямъ.

«Но почему же не могу я любить ее? Да и въ ней самой я не видалъ ничего, кромѣ вниманія, пріятельской простоты и симпатіи. Какой здоровый умъ, какой цѣльный, *лапидарный* характеръ! Да! лапидарный, то-есть каменный, бездушный, всепоглощающій!»

Не могъ онъ вырваться изъ заколдованнаго круга оцѣнокъ, взаимно уничтожавшихъ одна другую... А ноги его безсознательно двигались по направленію къ набережной, и онъ очнулся только у «Pont au change» около театра Шатлé.

«Слѣдить за каждымъ своимъ шагомъ — вотъ моя программа», рѣшилъ онъ и скорыми шагами двинулся... къ своему отелю.

XI.

Въ бюро отеля Крутицынъ спросилъ все-таки у хозяйки:

— Mademoiselle est rentrée?

И получилъ отвѣтъ:

— Oui, monsieur...

Онъ подумалъ:

«Не пойду я къ ней сегодня. Поднимусь къ себѣ; а если меня будетъ тянуть наверхъ, я спущусь внизъ — въ кафе».

Крутицынъ сталъ искать своего ключа на доскѣ, висѣвшей въ бюро, и не находилъ его. Хозяйка сказала ему:

— Alors c'est mademoiselle qui l'aura prise.

«Она у меня!» чуть не вслухъ выговорилъ Крути-

цынъ, и имъ овладѣло опять чувство страха: онъ готовъ былъ спуститься, а поднялся къ себѣ. Ключъ былъ въ замкѣ. Онъ постучалъ.

—Entrez! — послышалось въ первой комнатѣ.

Ксенія Николаевна стояла посреди его салончика, лицомъ къ двери, въ своемъ греческомъ пеплумѣ, съ приподнятой кверху, полуобнаженной, прекрасной рукой...

— Ахъ, это вы!... Поймали меня! Мнѣ тамъ у себя сдѣлалось ужасно душно; а надо было подтвердить хорошенько монологъ, вотъ я и сошла къ вамъ; вы не сердитесь?

Крутицынъ слушалъ ее, не отрывая глазъ отъ ея античнаго бюста, и улыбался боязливой, смущенной улыбкой.

— Можно продолжать? — спросила она, не дождавшись его отвѣта.

— О, пожалуйста!...

Онъ опустился на диванѣ, все не сводя съ нея глазъ и повторяя про себя фразу Рикé: «C'est la fatalité».

А она, поднявшись всѣмъ корпусомъ впередъ и вскинувъ правой рукой, продолжала прерванный монологъ:

«Rome qui t'a vu naitre et que ton coeur adore,
«Rome enfin que je hais parcequ'il t'honore!»

«Боже мой», — думалъ Крутицынъ, слушая ее: «сколько въ этомъ голосѣ силы, непреклонной, горделивой, всесокрушающей!... Такая женщина готова загубить всякаго, кто не покоритъ ее, а какъ ее покорить?... Гдѣ выучилась она этимъ акцентамъ непримиримой злобы? У кого? Не Мокуръ же могъ вдохнуть въ нее, въ какихъ-нибудь четыре недѣли, душу римлянки, способной подняться до гомерическихъ размѣровъ мстительной страсти?»

Онъ закрылъ глаза, а голосъ Ксеніи Николаевны раз-

давался съ возрастающей силой. Алыми губами выговорила она, точно задыхаясь отъ ярости:

«Puissent tous ses voisins, ensemble conjurés.
«Saper ses fondements, encore mal assurés,
«Et si ce n'est assez de toute l'Italie,
«Que l'Orient contre elle à l'Occident s'allie!».

«Какіе звуки!» ужасался Крутицынъ. «Горе тому, кто вызоветъ ихъ въ дѣйствительной жизни! Римлянка, римлянка!... Ей надо въ мужья и повелители Муція Сцеволу!»

Онъ раскрылъ глаза, и профиль Ксеніи Николаевны, съ золотистыми локонами шиньона и блистающими руками, слѣпилъ его. Краска выступила у ней на щекахъ, по всему торсу пробѣгала нервная дрожь, грудь поднималась могучею волною и выставившаяся изъ-подъ туники нога давала посадкѣ тѣла пластическую, чисто-римскую рьяность...

Когда она крикнула послѣднія слова:

«... mourir de plaisir!»

Крутицынъ весь вздрогнулъ и тихо проговорилъ:

— Полноте, полноте...

Она, вся пылающая жаромъ прекраснаго стиха, сѣла къ нему и положила ему руку на колѣна.

— Полноте, — повторилъ онъ шепотомъ.

— Что, полноте?

— Слишкомъ ужь сильно!... Вы совсѣмъ превратились въ яростную римлянку...

Ксенія Николаевна поглядѣла на него съ горделивой и ласковой улыбкой; а онъ, не поднимая глазъ, думалъ въ эту минуту:

«Не увлекайся, брось, ступай вонъ, или напусти на себя сухость, наведи на нее скуку, не позволяй себѣ ни

одного нѣжнаго слова, ни одного неосторожнаго движенія. Да отыдетъ отъ тебя чаша сія!»

— Хорошо я проговорила, Александръ Павлычъ? Или есть еще русская каша во-рту? Скажите.

— Хорошо, слишкомъ даже хорошо!...

— Ну, не слишкомъ... Papa Maucourt скажетъ завтра: «pas assez d'ambiant, ma chère, pas assez d'ambiant!...» Я вотъ такія вещи люблю, какъ эта тирада Камиллы... Это — въ моемъ духѣ!

— Вы римлянка!...

— Ха, ха, ха! Пожалуй, что и такъ!... Нѣжныя чувства у меня не выходятъ... Я только и понимаю Эрміону, Агриппину, Меропу, Федру...

— И Федру?

— И ее... Въ нихъ не молочко переливается... Это не плаксы въ родѣ разныхъ Андромахъ и Ифигеній...

— Вы клевещете на себя..

— Ни мало!... Я себя знаю. Мнѣ бы надо было родиться двѣ тысячи лѣтъ тому назадъ...

— Матроной?

— Да, матроной... Вы не повѣрите, какъ меня бѣситъ пошлость женщинъ вообще... Что за роль онѣ играютъ?! Какая неспособность faire valoir свою женскую силу, свой женскій умъ, свои женскія дарованія. Бьются изъ-за того, чтобы лекарами быть, сапоги носить, работать всякую грязную, мужскую работу. Великая сласть!... Нечего сказать!... А то, что въ нихъ вложено природой — зарываютъ въ землю, какъ лѣнивыя рабыни. Нѣтъ, я не хочу идти ни по одной изъ пробитыхъ тропинокъ. Ни въ куклу, ни въ кухарку, ни въ студентшу не превращусь!... Я буду женщина не равная мужчинѣ, ни въ какомъ смыслѣ!...

— Со скипетромъ въ рукахъ? — выговорилъ тихо Крутицынъ.

— Если хотите, и со скипетромъ, только не съ картоннымъ.

Смущеніе Крутицына переходило въ раздраженіе по мѣрѣ того, какъ Ксенія Николаевна одушевлялась въ разговорѣ. Ему захотѣлось спорить съ нею, пристыдить ее, доказать ей, что она бездушная эгоистка, холодная интригантка, спекулирующая на свои прелести и разсудочный умъ...

Онъ сказалъ ей вдругъ болѣе рѣзкимъ голосомъ:

— Вы говорите какъ книга, а не какъ женщина.

— Это отчего?

— Я не слышу въ словахъ вашихъ аффективныхъ потребностей...

— Аффективныхъ! Ахъ, какое мудреное слово! Это, должно быть, значитъ чувствительныхъ? Не хотите ли вы этимъ сказать, что я мраморная статуя, у которой вмѣсто сердца кусокъ льду?

— Я ничего не рѣшаю, — отвѣчалъ, тяжело дыша, Крутицынъ: — я хотѣлъ бы слышать отъ васъ самихъ...

— Сантиментальности... Это не мое дѣло!... Насмотрѣлась я у своихъ господъ на всю эту кислятину... Барыни, проѣденныя пустотой и, попросту сказать, золотушной чувственностью, разводятъ разводы и сантименты... Набили онѣ мнѣ оскомину!...

— Но чѣмъ же виновато чувство въ томъ, что московскія барыни опошляютъ его?

— Разумѣется, не виновато. Развѣ я отрицаю чувство?... Нѣтъ!... Только видите ли, мой добрый Александръ Павлычъ, — мнѣ объ этой матеріи неудобно говорить.

— Можно спросить, отчего?

— Можно. Вѣдь въ любви все добиваются полной гармоніи, равныхъ правъ, одинаковой силы чувства! Всѣ этого требуютъ: и мужчины, и женщины. Мужчины немножко

меньше женщинъ, но и они также... Ну, а я совсѣмъ не такъ разсуждаю.

— Вы и тутъ разсуждаете?

— А то какъ же иначе? Голова у меня одна, и я ее никогда и ни въ чемъ не потеряю...

— И ваша теорія?..

— Очень не замысловата. Я ужь вамъ говорила не разъ, что равенства мужчины и женщины не признаю. Точно также и въ дѣлѣ любви, по моему, вовсе не обязательно любить одинаково другъ друга. Почему это, скажите на милость, мужчина не можетъ позволять себя любить, какъ позволяютъ обожать себя сотни и тысячи женщинъ? Я страстно привязалась къ кому-нибудь, а онъ не можетъ отвѣчать мнѣ такой же страстью. Наши сантиментальщицы сейчасъ кричатъ: «какой ужасъ, какой эгоизмъ, какое фатовство, онъ только допускаетъ меня до своей особы! Это унизительно! Я лучше умру, да не покажу ему своей привязанности!!»

— Это понятно, — перебилъ Крутицынъ.

— Можетъ быть; но что это глупо, я въ томъ нимало не сомнѣваюсь. Коли я люблю икса или игрека, значитъ, для меня великое счастіе быть около него, смотрѣть на него, слушать его, довольствоваться его добрымъ словомъ, вниманіемъ, дружбой... И онъ ничѣмъ не обязанъ предо мной... Только будь честенъ, не театральствуй, не играй въ любовь, а скажи мнѣ прямо: мое чувство къ вамъ не идетъ дальше вотъ такого-то предѣла...

— Но какая женщина вытерпитъ подобное признаніе? Вы первая, съ вашей горделивой душой, возмутитесь.

— Я? Нисколько!.. Мнѣ моя свобода — дороже всего, и я себя постараюсь застраховать отъ подобной страсти; но еслибъ она мной овладѣла, повѣрьте, я не стану приставать къ тому, кого я полюбила, съ требованіями пол-

ной взаимности. Вотъ это такъ трехпробный эгоизмъ! Но и мужчины тоже хороши. Имъ также подавай безпредѣльную любовь, чуть только они соизволятъ кинуть на васъ благосклонный взглядъ!

«Неужели это намекъ?» съ горечью и испугомъ подумалъ Крутицынъ, снова опуская глаза и чувствуя на своихъ колѣнахъ руку Ксеніи Николаевны.

— Развѣ это не правда? — спросила она.

— Правда, для очень многихъ мужчинъ...

— На сто человѣкъ такъ ведутъ себя девяносто-девять. И поступаютъ еще глупѣе женщинъ, потому что лишаютъ себя той доли наслажденія, которую они могли бы получить...

— Наслажденія? — повторилъ вопросительно Крутицынъ, поднявши тревожный взглядъ на Ксенію Николаевну.

— Да! Женщина неспособна отвѣчать на вашу страсть вполнѣ...

— Но она допускаетъ васъ до себя!

— Вотъ видите: какимъ вы тономъ это сказали? Васъ уже оно коробитъ. А что же тутъ унизительнаго? Она не отдается вамъ совсѣмъ, corps et âme, но она и не оттолкнетъ васъ. Она отвѣтитъ вамъ пониманіемъ, заботой, улыбкой, смѣхомъ, лаской. Любите вы ее страстно, вамъ и такая взаимность будетъ дорога...

— Но тутъ нѣтъ исхода: человѣкъ изстрадается, ожидая, что его вотъ-вотъ отставятъ отъ своей особы, какъ только явится избранникъ, которому отдадутся corps et âme.

— Ну, а чѣмъ же гарантированъ супружескій союзъ? Жены не покидаютъ мужей? Чѣмъ вы застрахованы въ какой бы то ни было страсти? Сегодня я молюсь на васъ, завтра обожаю другаго!

— Есть нравственныя начала...

— Des navets! какъ восклицаетъ моя товарка Claudia. — Нравственность тутъ ни при чемъ. Легко торжественно объявлять: «твоя — навѣки», но куда какъ глупо отвѣчать за страсть. За то, что будетъ дѣлать умъ мой, я отвѣчу, а за страсть — никогда!..

Крутицына бросило изъ озноба въ жаръ, и онъ провелъ платкомъ по влажному лбу.

— Только будь честна, не показывай того, чего ты не чувствуешь, не обѣщай больше того, чего ты не можешь дать... Вотъ моя философія, добрый Александръ Павлычъ, и еслибы всѣ женщины такъ разсуждали, — право, было бы лучше жить на свѣтѣ Божіемъ. Меньше было бы нелѣпыхъ отравленій и безсмысленныхъ чахотокъ!

Она взяла за руку, и спросила вдругъ:

— Да вы нездоровы?

— Я? — встрепенулся Крутицынъ: — нисколько!

— Помилуйте, у васъ руки точно огонь, и вы всѣ въ испаринѣ.

Онъ всталъ и судорожно отеръ лицо платкомъ. Ксенія Николаевна тоже поднялась съ дивана и, подавая ему руку, проговорила съ удареніемъ:

— Какъ вы нервны. Не волнуйтесь такъ. Если вамъ мои разсужденія не нравятся, — я примолчу. Васъ я не стану тревожить. Вы — мой лучшій другъ и всегда имъ останетесь, не правда ли?

Крутицынъ боязливо поднялъ на нее глаза, и весь вспыхнулъ: какъ хороша она была въ эту минуту.

— Знаете что, Александръ Павлычъ, это отъ духоты вы такъ нервны. Не хотите ли пройтись? Вечеръ прекрасный. Пойдемте въ Люксенбургъ.

«Не ходи», точно шепталъ кто-то въ ухо Крутицыну: «не губи себя».

— Что жь вы молчите? Не хочется?

— Очень радъ, — торопливо выговорилъ онъ, и взялся за шляпу.

— Подождите минутку, я переодѣнусь.

Она вышла. Крутицынъ почти упалъ на диванъ и закрылъ лицо руками. Потомъ выбѣжалъ въ корридоръ; заперъ комнату, повѣсилъ ключъ въ бюро и сталъ ждать на площадкѣ, смотря неподвижно внизъ и считая четвереугольныя плиты нижняго корридора.

Его разбудилъ голосъ сверху:

— Вы уже внизу. Я готова.

«Погибъ!» прошепталъ онъ, и разстегнулъ пуговицу жилета: его душило.

XII.

Въ Люксанбургскомъ саду было очень хорошо. Нѣсколько влажная и теплая ночь приближалась медленно и обволакивала зелень кустовъ и деревьевъ. Дворецъ выступалъ на свѣтлѣющейся лунной полосѣ воздуха съ своими красивыми павильонами. Широкій бассейнъ слегка вздрагивалъ подъ ударомъ крыла дремлющаго лебедя. Со стороны фонтана слышался плескъ воды, и по всему саду проносилось тонкое благоуханье запоздалой сирени...

Крутицынъ съ Ксеніей Николаевной приблизились къ воротамъ, что противъ Одеона. Часовой сказалъ имъ:

— On n'entre plus!

Крутицынъ поглядѣлъ на часы, осмотрѣлся и сказалъ Ксеніи Николаевнѣ:

— Я и забылъ, что теперь ужь поздно въ садъ.

— Ахъ, какъ жаль! Ну, такъ поднимемтесь по бульвару, тамъ есть площадка, гдѣ еще памятникъ генералу.

Они повернули на бульваръ «St. Michel», и стали подниматься къ обсерваторіи. Крутицынъ шелъ молча. Ксенія Николаевна замѣтила его молчаливость.

На площадкѣ обсерваторіи она сказала ему:

— Хотите сѣсть?

Онъ молча согласился.

Они просидѣли на скамейкѣ нѣсколько минутъ, прислушиваясь къ отдаленному гулу экипажей. Наискосокъ отъ нихъ, внизъ по бульвару, загорались газовые рожки студенческаго «Pradó». Съ бульвара Mont-Parnasse шли отрывочные звуки разговоровъ рабочихъ, расходившихся по домамъ.

— Вамъ, право, нездоровится, — сказала тихо и ласково Ксенія Николаевна.

— Что? — нервно откликнулся Крутицынъ.

— Ну, вотъ видите: вы совсѣмъ въ забытьѣ какомъ-то, и все молчите...

— Вы хотите сказать, что обыкновенно я болтаю, какъ за языкъ повѣшенный?

Въ словахъ Крутицына послышалось такое явное раздраженіе, что Ксенія Николаевна поглядѣла на него съ нѣкоторымъ недоумѣніемъ, но тотчасъ же спокойная улыбка явилась на губахъ ея, и она спросила особенно-ласковымъ тономъ:

— Вы недовольны мною, другъ мой?

Крутицынъ весь вздрогнулъ и, не глядя на нее, отвѣтилъ:

— Что за мысль! Чѣмъ же я могу быть недоволенъ вами?..

— Мало ли чѣмъ...

— Я не имѣю на это никакого права!

— Полноте говорить о правахъ... какія права?

Никто ни на кого и ни на что не имѣетъ никакихъ правъ!

— Вы это убаюкиваете меня.

— Да васъ и надо бы сегодня покачать, еслибъ вы были поменьше да полегче.

Голосъ Ксеніи Николаевны раздражалъ Крутицына. Ему было такъ надсадно и жутко, что онъ не зналъ, куда ему смотрѣть, что дѣлать съ своимъ лицомъ и руками.

— Хотите говорить безъ всякой утайки? — спросила Ксенія Николаевна послѣ порядочной паузы.

— О чемъ? — выговорилъ чуть слышно Крутицынъ.

— О насъ съ вами.

— Уже! — вырвалось у него.

— Да, уже! Вотъ вы какой славный. Вы не умѣете рисоваться и представлять изъ себя героя,

— О, нѣтъ! — вскрикнулъ Крутицынъ.

— Это-то въ васъ всего и дороже. Я вижу, что я... волную васъ.

Слово «волную» произнесла она безъ смущенія, только остановилась передъ нимъ на секунду, какъ бы желая оттѣнить его.

Крутицынъ сидѣлъ ни живъ, ни мертвъ, точно приготовляясь выслушивать роковой приговоръ.

— Да, я васъ тревожу, — продолжала она: — и вы меня не настолько знаете, чтобы не заподозрить, быть можетъ... въ кокетствѣ.

И слово «кокетствѣ» выговорила она такъ же просто и съ такой же маленькой оттяжкой.

— Я васъ ни въ чемъ не заподозривалъ, — твердо выговорилъ Крутицынъ.

— Вѣрю вамъ, вы слишкомъ хорошій человѣкъ для пошлыхъ подозрѣній, но я васъ разстраиваю; а мнѣ этого

совсѣмъ не хочется. Вы видите, кто я. У меня лиризму мало, не такъ, какъ у васъ; но я чувствую, что такое вы, сколько доброты и симпатіи вы мнѣ показываете... Этакихъ людей надо съ фонаремъ поискать! И я гораздо ближе къ вамъ, чѣмъ вы думаете...

«Не вѣрь», повторилъ про себя Крутицынъ, идя съ низкоопущенной на грудь головой.

— Вѣрите ли вы мнѣ? — раздался низкій, ласкающій голосъ Ксеніи Николаевны.

— Вѣрю, — выговорилъ съ усиліемъ Крутицынъ.

— Такъ будьте же со мной попроще, совсѣмъ по-пріятельски, говорите мнѣ все, что у васъ на умѣ, о себѣ ли самомъ, обо мнѣ ли. Не бойтесь за ваше самолюбіе, я его не оскорблю. Еслибъ я была тщеславнѣе, я бы, пожалуй, сказала вамъ: бѣгите отъ меня, но я вамъ этого не скажу.

— Отчего? — спросилъ потерянно Крутицынъ.

— Оттого, что не надо вамъ вовсе бѣжать отъ меня. Вы нервны, но вы не дитя. У васъ есть опытъ жизни. Ни до какой глупости вы себя не допустите, да и я не позволю вамъ слишкомъ предаваться лиризму.

— Легко сказать! — выговорилъ Крутицынъ, все еще не глядя на Ксенію Николаевну.

— А если будетъ трудно, я помогу вамъ.

— Какъ?

— До этого еще далеко... Я, по крайней-мѣрѣ, надѣюсь... Главное, хочется мнѣ сбросить всякую неловкость, а для этого есть одно прекрасное средство.

— Какое? — продолжалъ, точно автоматъ, спрашивать Крутицынъ.

— Очень простое. Я для васъ — не русская барышня, не Ксенія Николаевна, а товарищъ, однокашникъ, только другаго пола, не равная вамъ, потому что вы меня

по всему выше, а вѣрная самой себѣ. И тонъ нашъ долженъ отнынѣ быть совсѣмъ другой. Согласны ли вы?

Крутицынъ молчалъ.

— Ахъ, какой! Да поднимите же голову, вы точно портретъ слѣпаго Гейне съ отвислой головой. Мнѣ такъ слишкомъ грустно смотрѣть на васъ. Будьте паинька.

Крутицынъ почувствовалъ, какъ тонкіе пальцы прикоснулись къ его подбородку и стали полегоньку поднимать голову. Онъ вскинулъ, наконецъ, глазами и взглянулъ прямо въ лицо Ксеніи Николаевны.

Лицо, полуосвѣщенное луной, покрыто было матовой блѣдностью и смотрѣло на Крутицына съ мягкой улыбкой, показывая блестящій рядъ бѣлыхъ зубовъ. Рука опустилась съ его подбородка и отыскала его руку.

Онъ вздрогнулъ, но говорить еще не могъ.

— Такъ-то, дорогой Александръ Павлычъ, вотъ мы съ вами и заживемъ попріятельски. Приходите ко мнѣ не какъ знакомый и поощритель моихъ талантовъ, а какъ человѣкъ, которому всегда открытъ теплый уголокъ въ моемъ ледяномъ сердцѣ. А чтобы исчезло между нами всякое цирлихъ-манирлихъ, бросимъ мы это глупое «вы», и будемъ говорить друъ другу «ты».

— Ты? — изумленно спросилъ Крутицынъ, не вѣря ушамъ своимъ.

— Испугались?! Такъ и знала! Да вы развѣ не знаете, что papa Maucourt уже говоритъ мнѣ *ты?*

— Вы позволили?

— И была бы очень глупа, еслибъ не позволила. Только теперь у насъ и пошло дѣло совсѣмъ на ладъ. Въ театральномъ быту здѣсь это обычай. И я гораздо лучше себя чувствую. Только я ему не говорю *ты*; онъ все-таки старикъ. Знаю, что при вашей стыдливости не скоро у насъ установится мѣстоименіе втораго лица единственнаго числа, но полегоньку мы дойдемъ и до него...

Крутицынъ не могъ собраться съ ощущеніями, и еле-еле выговорилъ:

— Вы не шутите?

— Нимало. Да вы поглядите на меня; вы вонъ опять отвернулись. Развѣ у меня лицо показываетъ желаніе дурачиться? Я говорю совершенно серьезно.

— Извините меня, — перебилъ ее Крутицынъ нѣсколько спокойнѣе: — я не могу сегодня отвѣчать вамъ такъ, какъ бы хотѣлъ.

— Полноте, это вамъ только такъ кажется. Не гордость ли закралась немного въ вашу голубиную душу, мой добрый Александръ Павлычъ? Вы не мелочны, но вы все-таки мужчина... васъ все-таки задѣваетъ то, что я — дѣвушка, существо подчиненное, такъ свободно съ вами изъясняюсь о такомъ щекотливомъ вопросѣ.

— О, нѣтъ, — прошепталъ Крутицынъ: — ни гордости, ни самолюбія, — ничего во мнѣ нѣтъ передъ вами. Но я боюсь васъ... Ксенія Николаевна, боюсь любви къ вамъ, боюсь запоздалой страсти...

Онъ не договорилъ. Голосъ дрогнулъ и оборвался. Зубы даже судорожно стукнули.

Ксенія Николаевна положила руку на кисть его лѣвой руки и сказала полушутливо:

— Бояться меня? Какое болѣзненное воображеніе! Я — другъ вашъ. Не вамъ, а мнѣ слѣдуетъ бояться того, что я не съумѣю откликнуться на все, что наболѣло у васъ на сердцѣ. А мнѣ этого такъ хочется...

— Моя жизнь прожита. Зачѣмъ переворачивать пепелъ?

— Прожита!... Не думаю... Да вы моложе иного двадцатилѣтняго студента. До сихъ поръ краснѣете.

Онъ взглянулъ на нее, и невольно улыбнулся.

— Ну, слава Богу! Взошло красное солнышко. Давно бы такъ. Я вѣдь не умѣю говорить лирически. Хотите— корите, хотите — милуйте...

— Милую, милую, — проговорилъ веселѣе Крутицынъ, и сталъ глядѣть на нее болѣе спокойнымъ взглядомъ.

— Вашъ кризисъ пройдетъ скоро, — продолжала Ксенія Николаевна: — я объ этомъ постараюсь. Ну, идемте, пора и домой.

Она поднялась, но тотчасъ опять опустилась на скамейку.

— Вотъ что я вамъ еще скажу: значитъ, вы славный, коли я, дѣвушка, завела съ вами такой разговоръ и такъ вамъ навязываюсь съ своей дружбой.

— Дружбой? — повторилъ уныло Крутицынъ.

— Вамъ этого мало? Знаю. Но дружба — растяжимое слово. Я другихъ словъ не люблю. Почему я знаю... Можетъ быть, черезъ двѣ недѣли я буду изнывать по васъ...

— Оставьте шутки, Ксенія Николаевна!

— Да совсѣмъ я не шучу! И до тѣхъ поръ, пока мы съ вами не будемъ amis cochons, мы не выйдемъ изъ этихъ разговоровъ. Съ завтрашняго дня Ксенія Николаевна больше для васъ не существуетъ, какъ для любезнаго кавалера. Ну, теперь идемъ. А то вонъ тотъ блузникъ подумаетъ, что мы дожидаемся полуночной тишины, и желаемъ, чтобъ онъ поскорѣе убрался.

Ксенія Николаевна оперлась на руку Крутицына, и онъ повелъ ее внизъ по бульвару въ какомъ-то забытьѣ, не умѣя выбраться изъ хаоса ощущеній этого нежданнаго вечера.

— Вамъ полезно будетъ выпить молока, — говорила Ксенія Николаевна, когда они поровнялись съ фонтанчикомъ противъ угла Люксанбургскаго сада.

— Мнѣ? — спросилъ машинально Крутицынъ.

— Это успокоитъ васъ.

«Какъ она смѣется надо мной!» промелькнуло въ воспаленной головѣ Крутицына.

— Почему вы вспомнили о молокѣ?

— А вонъ тамъ, противъ Одеона, въ булочной, какое славное молоко по ночамъ, и хлѣбцы теплые, вы не знаете?

— Нѣтъ, — отвѣтилъ Крутицынъ мрачно.

— Познайте! Стаканъ стоитъ два су.

Она повела его къ Одеону, и они вошли въ булочную, гдѣ на прилавкѣ стояло нѣсколько стеклянныхъ кувшиновъ съ холоднымъ и теплымъ молокомъ.

— Deux verres, — скомандовала Ксенія Николаевна горбатой дѣвушкѣ съ сонными глазами.

— Du froid ou du chaud, madame? — спросила та уныло.

— Du froid.

Крутицынъ выпилъ стаканъ, Ксенія Николаевна поднесла ему горячій хлѣбецъ.

Потомъ, они дошли молча домой.

XIII.

Утро вечера мудренѣе. Крутицынъ проснулся съ новымъ настроеніемъ. Вчерашній разговоръ на площадкѣ Обсерваторіи не казался уже ему ни тяжелымъ, ни страннымъ.

«Я не понимаю и не хочу понять этой дѣвушки», говорилъ онъ про себя, приготовляясь къ встрѣчѣ съ Ксеніей Николаевной: «она гораздо честнѣе и великодушнѣе меня. Она сразу же показала мнѣ, какую степень симпатіи найду я въ ней. Чего же больше требовать отъ нея и чего бояться? Что за малодушіе, что за выгораживаніе своего я! Полюблю я ее еще сильнѣе, — значитъ, я не дошелъ до предѣла, стало-быть жажда при-

вязанности не утолена. По крайней мѣрѣ, все между нами будетъ на чистоту. Пріятельскія отношенія смягчатъ мою лихорадку».

Такъ думалъ Крутицынъ за кофеемъ. Онъ зналъ, что въ это время Ксеніи Николаевны не было дома и у него родилось все-таки желаніе отправиться пораньше на Марсово поле.

Но въ десять часовъ онъ услыхалъ знакомый стукъ и съ нѣкоторымъ смущеніемъ пошелъ къ двери.

Ксенія Николаевна пришла прямо отъ Мокура въ шляпкѣ и легкомъ платьецѣ.

— Какъ изволили почивать? — освѣдомилась она полушутливо, близко подставивъ лицо свое къ его лицу и протягивая ему руку.

Онъ взялъ руку и поцѣловалъ.

— Вотъ какъ вы храбры! — вскричала она: — это, если не ошибаюсь, въ первый разъ. Кофе еще есть у васъ, я ужасно голодна.

Примостившись къ столу, Ксенія Николаевна начала пить съ большимъ аппетитомъ и разсказывать про свой урокъ:

— Мой старецъ былъ сегодня въ полномъ восхищеніи, обѣщалъ меня показать своему другу Жюль Жанену и даже Понсару. Я его очень ужь утѣшила тирадой Камиллы. Но вотъ что я вамъ скажу, мой другъ: декламація декламаціей, время летитъ и надо мнѣ думать о пѣніи. Только оно черезчуръ кусается. Ну, да объ этомъ мы потолкуемъ вплотную во едину отъ субботъ. Присядьте-ка сюда, дайте поглядѣть на себя.

Она пригласила его рукой присѣсть на диванъ. Онъ повиновался и съ опущенными глазами проговорилъ:

— Ксенія Николавна, простите меня...

— Вопервыхъ, я для васъ не Ксенія Николавна. Вы, въ самомъ дѣлѣ, Богъ знаетъ, какъ со мной обхо-

дитесь! Вы меня заставляете быть неприличной, наянливой, почти нахальной...

— Полноте, полноте, — перебилъ Крутицынъ: — выслушайте меня.

— Слушаю; но запрещаю быть торжественнымъ. Этого совсѣмъ не полагается.

— Вы отнеслись ко мнѣ такъ просто и хорошо, какъ я, право, не заслуживаю...

— Опять торжественный стиль! Говорятъ вамъ: я его формально изгоняю изъ нашего обихода. Какой, я погляжу на васъ, вы охотникъ до объясненій. Вы мнѣ скажите попросту: поняла я васъ, да или нѣтъ?

— Поняли...

— Глупо вамъ отвѣчала?

— О, нѣтъ!...

— Не хотите бѣжать отъ меня, какъ Іосифъ Прекрасный?

Она расхохоталась. Лирическому изліянію ходу ужь не было. Но черезъ десять минутъ Ксенія Николаевна говорила Крутицыну:

— *Тебѣ*, право, не тридцать-четыре, а семнадцать лѣтъ. Не въ первый же разъ *ты* любишь?...

Мѣстоименіе «ты» водворилось, и разговоръ пошелъ въ игривомъ тонѣ, который былъ для Крутицына новизной, производящей на него обаяніе, слитое съ чувствомъ тайной горечи. Ксенія Николаевна выполняла свой планъ. Она устанавливала болѣе чѣмъ пріятельскія отношенія, безъ лиризма; но сразу же показала, что она не обѣщаетъ ни одной крупицы больше положеннаго ей самой.

— Я хочу на выставку, — объяснила она Крутицыну. — Надо же мнѣ оглядѣть ее получше.

Крутицынъ очень былъ радъ провести съ ней нѣсколькими часами больше. Они отправились пѣшкомъ до бюро омнибусовъ, и на углу сада Клюни Крутицынъ раскла-

нялся съ соотечественникомъ, съ которымъ познакомился у Рикé. Тотъ шелъ къ нему на встрѣчу и нельзя было не остановиться и не перекинуться двумя-тремя словами.

— Вы въ Латинскомъ кварталѣ обитаете? — спросилъ его соотечественникъ.

— Здѣсь на бульварѣ.

— А я подальше, около института, милости просимъ завернуть какъ-нибудь ко мнѣ. Я до одиннадцати всегда дома.

Крутицынъ молча поклонился. Соотечественникъ протянулъ ему руку, которую онъ молча же пожалъ, тотъ посмотрѣлъ искоса на Ксенію Николаевну и, прикоснувшись пальцами лѣвой руки до борта шляпы, зашагалъ по бульвару «St-Germain».

— Кто это? — стремительно спросила Ксенія Николаевна.

— Компатріотъ.

— Это я вижу, а потомъ?

— Нѣкій г. Прохоровъ.

— Давно ты съ нимъ знакомъ?

— Познакомился на другой день послѣ встрѣчи съ вами.

— Съ тобой, — поправила Ксенія Николаевна.

— Съ тобой, — проговорилъ стыдливо Крутицынъ

— Гдѣ?

— У Рикé.

— Отчего же ты никогда мнѣ ничего не говорилъ объ немъ?

— Я и забылъ совсѣмъ объ этомъ баринѣ. Да признаться, онъ мнѣ очень не понравился.

— Онъ ничего... даже недуренъ.

— Ну, съ этой точки зрѣнія я на него не глядѣлъ. Сухая фигура, самодовольная и скучная.

— Онъ давно здѣсь живетъ?

— Да онъ, кажется, совсѣмъ поселился въ Парижѣ.

— Стало-быть, имѣетъ много знакомствъ?

— Вѣроятно.

— Такой господинъ можетъ быть нуженъ мнѣ. Что, если бы ты сдѣлалъ ему визитъ?

Крутицынъ взглянулъ на Ксенію Николаевну и встрѣтилъ ея свѣтлый и полу-улыбающійся взглядъ.

— Да онъ занимается естественными науками, а не театромъ.

— Все равно, у него навѣрно знакомство въ разныхъ мірахъ. Да знаешь ли, что я тебѣ скажу, у тебя вѣдь есть дикость. Ты человѣкъ перваго впечатлѣнія и недостаточно сходишься съ людьми.

Они сѣли въ омнибусъ, и дорогой Ксенія Николаевна продолжала доказывать Крутицыну, что онъ много потеряетъ въ жизни, если будетъ слишкомъ браковать простыхъ смертныхъ. Онъ согласился съ доводами ея практической мудрости и обѣщалъ ей сдѣлать визитъ г. Прохорову, хотя его совсѣмъ не влечетъ къ этой личности.

На выставкѣ они долго ходили въ «jardin reservé», потомъ въ другихъ частяхъ парка и кончили русскимъ отдѣленіемъ, гдѣ, разумѣется, нашли одного столяра Ѳеодора. Ксенія Николаевна разспросила его: откуда онъ и сколько получаетъ жалованья и доволенъ ли своимъ парижскимъ житьемъ? По полученіи болѣе или менѣе удовлетворительныхъ отвѣтовъ, выпили они чаю у Корещенко, гдѣ Ксенія Николаевна обратила вниманіе на черноватаго красиваго половаго въ желтой рубашкѣ и съ нимъ вступила также въ бесѣду, узнала, что онъ изъ Троицкаго трактира и возбуждаетъ не малое любопытство парижскихъ кокодеттокъ, чѣмъ и пребываетъ доволенъ.

Крутицынъ удивлялся ея способности съ каждымъ найти подходящій разговоръ, и при томъ не по праву красивой женщины, а съ свободой и ловкостью бывалаго мужчины.

Онъ собщилъ ей о своемъ изумленіи, и она ему сказала:

— Ты знаешь, на кого я похожа?

— На кого?

— На Павла Иваныча Чичикова. Вѣдь ты помнишь, онъ со всякимъ умѣлъ найти разговоръ: и о политикѣ, и о таможнѣ, и о коннозаводствѣ, и о голландскомъ полотнѣ. Такъ точно и я вѣрю въ свою звѣзду.

— Не чичиковскую же? ..

— О, нѣтъ! Онъ промышлялъ мертвыми душами, а я живыми.

Набрелъ на нихъ и чиновничекъ, маленькій, худенькій, страдающій «собачьей старостью» и сожигаемый дилетантствомъ къ Патти, которую и слушалъ каждый разъ, платя по двадцати-франковому золотому за кресло.

Крутицынъ успѣлъ сообщить Ксеніи Николаевнѣ, что этого чиновничка какая-то кокотка при немъ обозвала «petit crapaud».

Ксенія Николаевна и его приласкала, начала его разспрашивать про Патти, и повела разговоръ такъ, что онъ предложилъ ей билетъ, отъ котораго она отказалась, сказавши однако, что она собирается слушать Патти изъ рая. Чиновничекъ все оглядывалъ Крутицына, точно хотѣлъ проникнуть къ нему внутрь и узнать: откуда онъ добылъ такую соотечественницу?

Послѣ чиновника, завершилъ галлерею русскихъ какой-то экспонентъ, долго доѣзжавшій Крутицына изложеніемъ успѣховъ своего конфектнаго производства. Ксенія Николаевна проглотила его, какъ карамельку, и онъ совсѣмъ растаялъ. Она такъ обстоятельно и лестно разспросила его о «продуктѣ», какъ онъ выражался о своихъ леденцахъ, что онъ проводилъ ее до англійскаго отдѣленія и всячески упрашивалъ принять отъ него въ знакъ памяти огромную жестянку. Видя, что онъ же-

стоко обидится, если не взять, Ксенія Николаевна взяла «продуктъ».

Крутицынъ только изумился...

XVI.

Мѣстоименіе «ты» принесло съ собой большую простоту и пріятельство отношеній, но Крутицынъ чувствовалъ, что Ксенія Николаевна владѣетъ собою въ совершенствѣ и нимало не боится никакой «défaillance». Онъ помирился съ этимъ. Онъ былъ слишкомъ неиспорченъ, чтобы добиваться «побѣды»... Его безпокоила нравственная сторона дѣла только въ тѣ минуты, когда анализъ бралъ верхъ и заставлялъ кидать на эту любовную исторію отрезвляющіе, разсудочные взгляды.

И въ эти минуты онъ не могъ не вспоминать доктора Швецова, писавшаго ему изъ Германіи, что «псы-нѣмцы совсѣмъ его втюрили въ микроскопію и онъ врядъ-ли угодитъ въ Парижъ на выставку».

Не очень-то радъ бы былъ ему Крутицынъ, еслибъ тотъ нагрянулъ со своей философіей и сталъ прижигать своимъ «пигментомъ» то, что теперь переживалъ Крутицынъ.

«Сладчайшій!» крикнулъ бы онъ ему: «да вы, я вижу, по обѣщанію несете на себѣ крестъ развивателя! Ловко васъ облопошила дѣвица съ золотыми локонами! Одно слово — сожрала! Согласиться играть около нея роль комнатной собачки, которую ласкаютъ въ сокращенномъ размѣрѣ, чтобы она не очень блажила, и старательно стригутъ съ нея шерсть! Ха, ха, ха! Ай, да положитель-

ное міровоззрѣніе! Да это для мягкотѣлаго пса-Турусова, такъ и то было бы постыдно!»

Швецовъ продержалъ бы передъ нимъ спичъ въ такомъ точно вкусѣ, и на его взглядъ то, что творилось въ первомъ и четвертомъ этажахъ отельчика на бульварѣ «St. Michel», было бы, конечно, колоссальнѣйшей нелѣпостью!

Анализъ тревожилъ Крутицына, но урывками, стихая каждый разъ подъ свѣтлыми очами Ксеніи Николаевны. Съ того дня, какъ между ними явилась импровизованная парижская короткость, Крутицына оставила нервность въ тонѣ и обращеніи съ Ксеніей Николаевной: но внутренно онъ горѣлъ на медленномъ огнѣ страсти. Онъ уже не могъ и опредѣлить: въ какой именно степени привязался къ дѣвушкѣ, отмежевавшей ему крайне скудную долю взаимности. Ея теорія дѣлалась въ его глазахъ фатумомъ, которому нужно безропотно покориться. Онъ уже и то сталъ считать за великое блаженство, что Ксенія Николаевна позволяла ему состоять при себѣ, входить во всѣ свои заботы и планы, что онъ *одинъ* около нея, что ему, а не кому другому повѣряетъ она свои интересы и съ нимъ однимъ коротаетъ время.

Развивать ее Крутицынъ не смѣлъ и думать. Онъ очень хорошо видѣлъ, что ея образованіе самое маленькое; но умъ ея такъ первенствовалъ во всемъ, она такъ хорошо знала себя, цѣли ея были такъ опредѣленны, и она такъ заботливо стремилась къ нимъ, что не оставалось и времени для какихъ-нибудь стороннихъ «развиваній». Она же подталкивала Крутицына во всемъ, что касалось ея карьеры.

Ему очень не хотѣлось отправляться съ визитомъ къ Прохорову; но Ксенія Николаевна такъ настояла на этомъ, что онъ пошелъ-таки къ «соотечественнику», взявши его адресъ у Рикé.

Нашелъ онъ господина Прохорова въ барской квартирѣ. Впустилъ его въ переднюю французъ-лакей, съ адвокатской наружностью, въ утреннемъ приборѣ, т. е. въ фартукѣ и башмакахъ. Черезъ небольшую столовую былъ онъ введенъ въ просторный кабинетъ, отдѣланный въ зеленый цвѣтъ. Хозяинъ сидѣлъ, раскинувшись и согнувшись въ три погибели, на мягкомъ и низкомъ креслѣ. На немъ надѣтъ былъ пиджакъ, безъ воротника, изъ бѣлой, мягкой и толстой фланели, широкіе фланелевые же шаровары; а на курчавой головѣ — драповая фуражка съ пуговкой на маковкѣ.

При входѣ Крутицына, онъ привсталъ и полуцеремонно, полунебрежно указалъ ему на кресло, противъ себя. Опять передъ Крутицынымъ произошло скручиваніе папироски, которое показалось ему знаменательнымъ у Рикé.

— Вы оставили химію? — спросилъ хозяинъ безстрастнымъ голосомъ.

— По крайней мѣрѣ, профессуру, — отвѣтилъ Крутицынъ.

— Я читалъ кое-какіе ваши мемуары...

«Очень благодаренъ за честь», подумалъ Крутицынъ и ничего не вымолвилъ, продолжая смотрѣть на процессъ закуриванія папиросы.

— Давно видѣли Рикé?

Вопросъ былъ заданъ такимъ же безразличнымъ тономъ.

— На той недѣлѣ.

— Я все пропускаю его четверги. Теперь я очень занятъ одной работой, по измѣренію кристалловъ. Да признаюсь, надоѣли мнѣ всѣ эти шуты гороховые, которые собираются у Рикé. На три ситойена — два мушара; а онъ-то съ ними няньчится... Вообще, я не понимаю Рикé. Онъ расходуется на всякій вздоръ.

Говорить о Рикé Крутицыну вовсе не хотѣлось съ

господиномъ Прохоровымъ. Онъ продолжалъ осматривать его фигуру и рамку этой фигуры. Ему казалось, что онъ имѣлъ предъ собой «разновидность» Ивана Ѳедоровича съ тѣмъ же самодовольствомъ, тою же ограниченностью и тою же буржуазной сухостью. Все хорошее, что говорилъ ему о соотечественникѣ Рикé, не приставало какъ-то къ его оцѣночной способности, не входило уравновѣшивающимъ элементомъ въ его личныя, непосредственныя воспріятія.

— Вы здѣсь домкомъ живете? — сказалъ Крутицынъ съ умысломъ, желая придать разговору самый буржуазный оттѣнокъ.

— Да, — подтвердилъ съ солидной улыбкой Прохоровъ: — я хорошо устроился и у меня все тутъ подъ рукой. Хотите взглянуть на мою лабораторію?

— Весьма любопытно, — проговориль Крутицынъ, и самъ чуть не разсмѣялся интонаціи своего отвѣта.

Они поднялись въ шестой этажъ, гдѣ помѣщалась въ трехъ комнатахъ цѣлая лабораторія и кабинетъ для микроскопическихъ работъ. Крутицынъ все хвалилъ; а хозяинъ обстоятельно, съ достолюбезнымъ довольствомъ, показывалъ ему придуманныя имъ приспособленія по части газа и вентиляціи. По тѣлу Крутицына пошли мурашки — ощущеніе, являющееся у нервныхъ людей, когда имъ говорятъ что-нибудь совершенно индиферентное или усыпительное.

Хозяинъ остался, должно-быть, доволенъ внимательностью гостя, потому что его физіономія сдѣлалась менѣе кисла. Очутившись опять въ кабинетѣ, другъ противъ друга, они вошли въ тотъ же тонъ, да у Крутицына и не было никакой охоты мѣнять его.

— Вы часто бываете на выставкѣ? — кинулъ ему Прохоровъ.

— Почти каждый день.

— Пхе! Что же вы находите тамъ? Такая тоска ходить

по этимъ глупымъ концентрическимъ кругамъ. Ну, а по части любезнаго отечества, кажется, мы только иотличились, что двумя продуктами cuir de Russie, да caviar?

Крутицынъ кивнулъ головой, въ знакъ согласія, и глядя на презрительную улыбку соотечественника, припоминалъ не безъ злорадства фразу, слышанную у Рике́, которая такъ возмутила его.

— Я вотъ собираюсь на дняхъ посмотрѣть хорошенькій велосипедикъ.

— Велосипедикъ? — повторилъ Крутицынъ съ худо скрываемой улыбкой.

— Да, хочется мнѣ приторговать, выбравши лучшаго мастера.

— Вамъ для дѣтей?

— Какое для дѣтей? Для себя самого. Это, по моему, одно изъ великихъ изобрѣтеній нашего времени. Вы какъ думаете: франковъ въ триста пятьдесятъ можно имѣть что-нибудь порядочное, разумѣется съ запасными приборами и гарантіей?

— Виноватъ, — перебилъ его Крутицынъ: — я недостаточно занялся этимъ новѣйшимъ открытіемъ.

И онъ создалъ воображеніемъ картину соотечественника, «глотающаго пространство» верхомъ на велосипедѣ съ его шевелюрой и сухими ногами...

— Ходите въ Законодательный Корпусъ? — кинулъ опять хозяинъ.

— Заглядывалъ.

— Вотъ ужь не стоитъ! Это такая нелѣпая говорильня! И чѣмъ больше ею будутъ интересоваться — тѣмъ хуже!

Вступать въ разъясненія этого афоризма Крутицынъ не пожелалъ. Онъ оглянулъ кабинетъ еще разъ и остановился глазами на піанино, къ которому онъ сидѣлъ въ полъ-оборота.

— Вы музыкантъ? — спросилъ онъ.

— Немножко. Держу инструментъ — разобрать иногда какую-нибудь партитуру. Я маракую по теоріи музыки.

— Бываете здѣсь въ музыкальныхъ кружкахъ?

— Особенно нѣтъ; но кое у кого изъ моихъ знакомыхъ музицируютъ.

Дальше Крутицынъ не захотѣлъ его разспрашивать, чтобы не имѣть повода заговорить о Ксеніи Николаевнѣ и ея поискахъ.

«Ужъ у господина Прохорова я не стану просить для нея покровительства», сказалъ онъ ѣдко про себя.

Разговоръ окончательно оборвался. Крутицынъ чувствовалъ необычайную тяжесть. Онъ поднялся съ такимъ точно видомъ, съ какимъ гоголевскіе чиновники говорятъ Хлестакову:

«Не смѣю дольше...»

Прохоровъ проводилъ его до передней, гдѣ вдругъ сталъ болтливѣе, проще и даже фамильярнѣе въ тонѣ.

— Не зайдете ли вечеркомъ, — говорилъ онъ: — я дома по средамъ.

«Держи карманъ», думалъ Крутицынъ, беря свою палку изъ рукъ адвокатовиднаго лакея.

— Да! — воскликнулъ Прохоровъ. — Я забылъ васъ совсѣмъ спросить: кто эта особа, съ которой я имѣлъ удовольствіе васъ встрѣтить намедни на бульварѣ St. Michel? Неужели русская?

— Русская. Развѣ это васъ удивляетъ?

— Еще бы! У нашихъ барынь, кромѣ арзамасскихъ носовъ и калмыцкихъ скулъ, я ничего по части формъ не встрѣчалъ, а ваша дама, въ нѣкоторомъ родѣ, античная фигура. Какой профиль!

Не особенно по вкусу пришлась Крутицыну эта аттестація, выданная соотечественникомъ Ксеніи Николаевнѣ.

— Смѣю спросить: замужняя она женщина? — продолжалъ Прохоровъ.

— Нѣтъ, дѣвушка.

— Пріѣхала на выставку?

— Не совсѣмъ, — нехотя отвѣтилъ Крутицынъ: — она готовится здѣсь къ сценѣ.

— Пѣвицей?

— Да, и актрисой также.

— Благое дѣло!

Крутицынъ поспѣшилъ къ двери. Хозяинъ крикнулъ ему:

— Вашъ адресъ?

Надо было дать адресъ, послѣ чего Крутицынъ сбѣжалъ съ лѣстницы и даже плюнулъ. Разговоръ въ передней переполнилъ чашу. Онъ былъ взбѣшенъ, но самъ не зналъ, чѣмъ. Прохоровъ не сказалъ ему ничего непріятнаго и велъ себя, въ сущности, какъ приличный джентльменъ. Но весь его «habitus» сначала навелъ тоску, а потомъ вызвалъ раздраженіе. Съ господиномъ Прохоровымъ нельзя было, какъ казалось Крутицыну, вести никакого разговора, не только задушевнаго, но и чисто-внѣшняго, въ которомъ дѣйствуетъ одна разсудочная способность: до такой степени черства его манера. Не хотѣлось вовсе знать, что онъ такое, чѣмъ занятъ, къ чему стремится, за какое міровоззрѣніе держится, чему сочувствуетъ, что ненавидитъ? А между тѣмъ видно было въ немъ умнаго, серьезнаго, солиднаго молодаго малаго. Но этотъ умъ не задѣвалъ и не радовалъ, эта серьезность отзывалась буржуазной банальностью, эта солидность была такъ же симпатична, какъ и интересъ, возбуждаемый въ господинѣ Прохоровѣ велосипедомъ. Такъ, по крайней мѣрѣ, казалось Крутицыну. Быть можетъ, онъ отнесся бы снисходительнѣе къ соотечественнику, еслибъ не его разспросы о Ксеніи Николаевнѣ. Этого Крутицынъ не могъ

переварить. Комплиментъ зазвучалъ для него, въ губахъ Прохорова, чѣмъ-то чуть не циническимъ, хотя въ немъ ничего подобнаго не было.

Крутицынъ сейчасъ же побѣжалъ къ Рике́ и минутъ десять не могъ кончить тирадъ, устремленныхъ на то, кого онъ тутъ же прозвалъ «l'homme au vélocipède». Рике́, заложивъ руки въ карманы парусиннаго балахона, похаживалъ по своей кельѣ, добродушно ухмылялся и повторялъ:

— C'est ça! C'est l'impression numero un!

И онъ совѣтовалъ Крутицыну повременить деньковъ десятокъ и отправиться къ Прохорову въ лучшемъ настроеніи.

— Jamais, au grand jamais je n'y mettrai le pied! — крикнулъ Крутицынъ съ какимъ-то особымъ задоромъ, отдаваясь своему впечатлѣнію.

Рике́ такъ и не могъ его успокоить. Дома онъ сейчасъ же доложилъ Ксеніи Николаевнѣ, что желаніе ея онъ исполнилъ, былъ у Прохорова, что для нея этотъ господинъ совершенно безполезенъ и что отправляться къ нему больше не намѣренъ.

— Да ты объ немъ чуть не съ пѣной у рта говоришь, — замѣтила ему Ксенія Николаевна: — укусилъ онъ тебя, что ли?

Конечно, Крутицынъ не передалъ ей замѣчанія Прохорова о ея наружности.

— Такъ ты навѣрно знаешь, что онъ никакихъ знакомствъ въ оперномъ мірѣ не имѣетъ? — спросила она.

— Навѣрно.

— Все-таки же его надо приберечь — на черный день.

— Приберечь на что?

— Успокойся, не за тѣмъ, чтобы взять его въ покровители, а лишній человѣкъ—никогда не лишній. Да у него и лицо умное. Умные люди всегда полезны.

Крутицыну стоило большаго усилія не разразиться такъ же, какъ у Рикѐ.

XV.

Подходилъ конецъ втораго мѣсяца уроковъ Ксеніи Николаевны у Мокура. Она сказала Крутицыну, что еще поучится мѣсяцъ, да и довольно, что пора думать о пѣніи. Уроковъ пѣнія она не брала, да и не на что было брать ихъ; но она стала больше пѣть одна. Свое піанино перемѣстила она въ салончикъ Крутицына, солфировала въ его отсутствіе и очень часто пѣла при немъ.

Разъ между обѣдомъ и завтракомъ, Ксенія Николаевна пѣла какой-то русскій романсъ. Крутицынъ сидѣлъ въ углу у окна и слушалъ ее, закрывъ глаза, по своей привычкѣ. Вдругъ она остановилась. Онъ открылъ глаза и увидѣлъ въ дверяхъ господина Прохорова, нерѣшающагося войти. Ксенія Николаевна уже успѣла встать съ табурета и обернуться къ нему лицомъ.

— Виноватъ! — проговорилъ, какъ-бы застѣнчиво, гость: — мнѣ сказали, что эта комната господина Крутицына.

Онъ обратилъ эти слова къ Ксеніи Николаевнѣ.

— Вы у него, — отвѣтила она, нисколько не стѣснившись. — Я здѣсь въ гостяхъ, и угощаю Александра Павлыча моимъ немудрымъ пѣніемъ.

— Какая скромность! — возразилъ Прохоровъ, отдѣляясь отъ двери: — у васъ безподобнѣйшій голосъ!

Крутицынъ вышелъ изъ своего угла, почти сконфуженный, познакомилъ Прохорова съ соотечественницей и усадилъ на диванъ. Глаза его просительно обратились къ

Ксеніи Николаевнѣ. Онъ боялся, что она, при Прохоровѣ, начнетъ говорить ему «ты». Она поняла его и успокоила улыбкой.

— Безъ всякой фразы, — началъ Прохоровъ: — у васъ замѣчательный контральтъ. Вы берете уроки?

— Нѣтъ, — отвѣтила уныло Ксенія Николаевна.

— Это грѣшно и непростительно!

— И не грѣшно, и простительно. На уроки надо презрѣнный металлъ, а у меня его очень немного.

Прохоровъ взглянулъ на нее и тотчасъ же сказалъ, выпятивъ съ нѣкоторой важностью губы:

— Какъ не найти случая. Здѣсь такъ много всякихъ способовъ.

— Рекомендуйте, — проговорила лукаво Ксенія Николаевна: — вы, кажется, совсѣмъ парижанинъ и все здѣсь знаете.

Онъ поежился и продолжалъ проще:

— Я, собственно, не вращаюсь въ этомъ кружкѣ, но я могу вамъ указать нѣкоторые пути. Еслибъ вы желали пропѣть что-нибудь въ обществѣ — у меня есть знакомый весьма музыкальный салонъ.

— Очень рада, только я могу продюизироваться развѣ какъ самоучка.

— Это какъ вамъ будетъ угодно. Тамъ, вѣроятно, вы встрѣтите людей, которые заинтересуются вашимъ голосомъ.

Тонъ Прохорова былъ весьма порядочный; но Крутицына сильно коробило.

Ксенія Николаевна продолжала на ту же тэму и гость весьма оживился, просилъ ее еще пропѣть что-нибудь, послѣ чего сталъ опять хвалить ея голосъ и вдался даже въ нѣкоторыя техническія подробности.

— Позвольте! — вдругъ вскричалъ онъ. — У меня здѣсь есть пріятель русскій, онъ знаетъ всякую штуку по

театральной части и, навѣрно, можетъ познакомить васъ съ кѣмъ-нибудь изъ оперныхъ директоровъ. Я переговорю и напишу вамъ.

— Это было бы всего лучше! — замѣтила Ксенія Николаевна и взглянула вопросительно на Крутицына, который, боясь выдать себя, смотрѣлъ въ окно.

Прохоровъ побылъ еще нѣсколько минутъ и почти пріятельски простился съ Ксеніей Николаевной и Крутицынымъ.

— Онъ очень милъ!

Таково было опредѣленіе, вышедшее изъ устъ Ксеніи Николаевны.

На него отвѣта не воспослѣдовало.

— Ты напрасно такъ фыркаешь. Онъ человѣкъ простой, хоть и съ холодной манерой. Я увѣрена, что онъ сдѣлаетъ для меня очень многое.

— Можетъ быть! — проговорилъ со вздохомъ Крутицынъ и заходилъ по комнатѣ.

— Я явлюсь къ нему на дняхъ и выжму весь сокъ изъ его знакомыхъ.

И на это Крутицынъ ничего не сказалъ. Послѣ небольшой паузы онъ взялъ ее за руку и, посадивъ на диванъ, спросилъ:

— Можно поговорить о дѣлѣ?

— Сдѣлай милость, только говори, а то ты превратился въ какую-то статую командора.

— Намъ церемониться грѣшно, а ты избѣгаешь со мной разговора.

— О чемъ это?

— Да вотъ о презрѣнномъ металлѣ, о которомъ ты сейчасъ упомянула господину Прохорову. Онъ у тебя на исходѣ?

— Не совсѣмъ.

— Полно, я знаю.

— А вы развѣ изволили лазить въ мой портмоне?

— И ты сама же говорила мнѣ, когда только-что пріѣхала въ Парижъ, какіе съ тобой капиталы.

— Ты все это помнилъ.

— Помнилъ.

— Что же особенно сокрушаться: нѣтъ денегъ — передъ деньгами.

— Отчего же ты не хочешь взять на время у меня? Я не проживаю всѣхъ. Къ кому же тебѣ обратиться, какъ не ко мнѣ? Между нами...

Сильное смущеніе овладѣло Крутицынымъ. Онъ путался и краснѣлъ.

— Ты мнѣ предлагаешь деньги? — спросила Ксенія Николаевна.

— Какіе же счеты между... нами?

— Да развѣ у меня не было языка самой попросить ихъ?

— Тебя удерживала ложная деликатность.

— Милый мой Александръ Павлычъ, вы изволите разсуждать, какъ человѣкъ, который столько же меня знаетъ, сколько я китайскаго императора. Если я тебѣ не говорила о презрѣнномъ металлѣ, значитъ я не хотѣла этого.

— Почему же?

— Вотъ почему: мы именно съ тобой въ такихъ отношеніяхъ, къ которымъ денегъ не нужно примѣшивать.

— Ксенія!

— Я выражаюсь безъ обиняковъ. Мою манеру ты знаешь. У меня въ этомъ случаѣ не гордость, и не жантильничанье, и не сантиментальность. Ты для меня и такъ много сдѣлалъ.

— Что же?

— Самъ знаешь, даже пошелъ на плутовство!

Ксенія Николаевна взяла его за кончикъ уха и спросила тонкимъ голоскомъ:

— Сколько моя комната стоитъ — а? Двадцать-пять франковъ, небойсь! Вы это изволили сплутовать съ хозяйкой, а я эту тайну проникла.

Крутицынъ сталъ совсѣмъ алый.

— Вотъ видишь ли? Ужь я и не сочту, сколько разъ ты меня водилъ въ театръ, кормилъ меня, возилъ въ омнибусахъ, вагонахъ и фіакрахъ. Я тебѣ уже стою, по крайней мѣрѣ, двѣсти франковъ.

— Неправда!

— Не извольте перебивать, это невѣжливо съ дамами. Ты человѣкъ трудовой, тебѣ хоть и хватаетъ того, что ты получаешь, но съ какой же стати я, такой же пролетарій, какъ и ты, стану еще кредитоваться у тебя? Развѣ ужь дойду до послѣдней крайности, но я до нея ни въ какомъ случаѣ не дойду.

— Какія же у тебя средства въ виду?

— А! инквизиторство начинается? Не скажу!

— Нѣтъ, серьезно, вѣдь ты знаешь, такъ тяжело за-границей пробиваться, если нѣтъ впереди ничего вѣрнаго.

— Ты мнѣ Лазаря, пожалуйста, не пой, все это я давно передумала, и обманывать тебя не стану: рессурсовъ изъ Россіи не предвидится.

— Стало быть, надо взять у меня, пока мы не подъищемъ тебѣ какого-нибудь gagne-pain.

— Этого «стало быть» я вовсе не принимаю!

— Но гдѣ же, повторяю, добудешь ты?

— Ахъ, Боже мой! какъ надоѣлъ! Да вотъ явлюсь къ тому же monsieur Прохорову, да и скажу ему: дайте мнѣ пятьсотъ франковъ.

Крутицынъ вскочилъ, точно ужаленный, и вскричалъ:

— Ты этого не сдѣлаешь!

Спокойные глаза Ксеніи Николаевны были устремлены на него и улыбка не сходила съ ея прекраснаго рта.

— Ты этого не сдѣлаешь! — повторилъ все такъ же порывисто Крутицынъ.

Она встала, приняла его позу и, передразнивая его же интонацію, спросила:

— А почему я этого не сдѣлаю?

— Просить денегъ у Прохорова!

— Ну, да!...

— Нѣтъ! Умоляю тебя!

Онъ чуть не заплакалъ.

— Полно, Alexandre! ты точно малый ребенокъ или истерическая барыня!... Ну, зачѣмъ, скажи на милость, такіе трагическіе возгласы? Что тутъ ужаснаго?

— Какъ что! Видѣть одинъ разъ человѣка... подобнаго monsieur Prochoroff, и обращаться къ нему съ займомъ... дѣвушкѣ... твоей наружности...

Ксенія Николаевна слегка нахмурилась, взяла его за руку и посадила на диванъ.

— Александръ Павлычъ, — начала она: — вы изволите говорить совершенно неподходящія вещи; но я васъ за нихъ бранить не буду. Я желаю только разсудить съ вами, какъ съ умнымъ человѣкомъ, умѣстность такого пассажа, какъ заемъ денегъ у monsieur Prochoroff... Что можетъ быть проще? Онъ со мной знакомится; видитъ соотечественницу съ талантами и понимаетъ, что она безъ презрѣннаго металла далеко не уйдетъ здѣсь въ Парижѣ. Ты вотъ на него, не знаю изъ-за чего, злобствуешь, а я чувствую, что онъ очень порядочный человѣкъ. Черезъ двѣ—три недѣли, я ему скажу, безъ всякихъ околичностей: мнѣ нужно прожить еще нѣсколько мѣсяцевъ въ Парижѣ. Я готовлюсь на сцену и знаю, что добьюсь своего. Дайте мнѣ въ займы пятьсотъ франковъ. Вотъ и все... И ты увидишь, что оно обойдется прекрасно!

— Я знаю! Но самый фактъ?...

— Да полно же, Alexandre! Вѣдь это, наконецъ, барство или еще что-то похуже... Что такое г. Прохоровъ? Достаточный человѣкъ, un jeune homme vivant de ses rentes; а ты пролетарій, трудовой человѣкъ. Что же можетъ-быть естественнѣе заставить его подѣлиться своей мошной? Въ такомъ вопросѣ у меня нѣтъ ни малѣйшихъ... scrupules! И право, если ты станешь волноваться, ты выкажешь только мелочность и непониманіе моей натуры... очень для меня непріятное.

Въ ея словахъ заслышались такія искреннія и серьезныя ноты, что Крутицынъ взглянулъ на нее съ меньшимъ раздраженіемъ. Она ему улыбнулась улыбкой старшей сестры, которая наводитъ брата на умъ-разумъ.

— Тебѣ бы надо полечиться холодной водой, — продолжала она: —а то ты страшно сталъ нервенъ. Я счастлива тѣмъ, что ты такъ входишь въ мои интересы, но не забывай, другъ мой, что я человѣкъ самостоятельный.

— Знаю, знаю, — шепталъ Крутицынъ.

— А если знаешь, такъ чѣмъ же тутъ волноваться? На то у господина Прохорова и деньги, чтобы онъ ихъ ссужалъ. Только конечно не безъ отдачи. Я вѣдь увѣрена, что черезъ два года я буду получать пять тысячъ жалованья.

— Прекрасно, — согласился приниженнымъ голосомъ Крутицынъ: — ты попросишь у него пятьсотъ франковъ.

— Можетъ, и тысячу.

— Можетъ, и тысячу, — повторилъ Крутицынъ: — на это ты проживешь полгода, но тебѣ необходимо, кромѣ того, учиться пѣть, а это стоитъ дорого...

— И объ этомъ не безпокойся, другъ мой... Я за пѣніе ни копѣйки не заплачу. Только бы мнѣ наложить руку на нужныхъ людей. И меня станутъ учить даромъ. Ты что думаешь? Мой старче уже объявилъ мнѣ, что въ награду за мои блистательные успѣхи, онъ съ слѣ-

дующаго мѣсяца обучаетъ меня «gratuitement». Это — немалая побѣда. Онъ вѣдь — кулакъ; и ему надо будетъ просиживать со мною тѣ же часы. Вотъ видишь, какъ мы умѣемъ обдѣлывать дѣлишки. Посему, многоуважаемый Александръ Павлычъ, не извольте волноваться, а пойдемте-ка лучше вкушать пищу, ибо мнѣ смертельно хочется ѣсть.

Тѣмъ объясненіе и кончилось.

У Крутицына накопилось цѣлое море лирическихъ изліяній; но высшую ноту взяла Ксенія Николаевна, и надо было молчать. Вечеромъ того же дня, оставшись одинъ, онъ перебралъ весь разговоръ и долженъ былъ сознаться, что Ксенія Николаевна послѣдовательна до тонкости и придираться къ ней нелѣпо. Но съ этого же дня, почуялъ онъ нѣчто, дурно пахнущее въ атмосферѣ, которая обволакивала его своей неумолимой лапой. Бѣжать отъ красавицы съ золотыми локонами было уже поздно. Оставалось ждать момента, когда въ прекрасное мраморное тѣло статуи вдохнется пламень...

И онъ ждалъ... Его роль измѣнилась. Ему оставалось наблюдать за «успѣхами» соотечественницы.

Все шло у Ксеніи Николаевны, какъ по писаному. Прохоровъ познакомилъ ее съ господиномъ, который рекомендовалъ ее оперному директору. Тотъ пришелъ въ восторгъ отъ ея голоса и доставилъ ей случай пропѣть нѣсколько русскихъ романсовъ въ концертѣ одного изъ блестящихъ парижскихъ клубовъ. Ея уроки пѣнія устроились, какъ она предсказывала Крутицыну, «безвозмездно». Онъ не заводилъ съ ней больше рѣчи о презрѣнномъ металлѣ; но видѣлъ по всему, что «заемъ» у кого-то былъ сдѣланъ. Ксенія Николаевна не сообщала ему объ этомъ, не желая, должно быть, вызывать непріятный для себя разговоръ; но Крутицыну приходилось жутко...

Она была весела, ровна въ тонѣ, мила, остроумна,

добра по своему; но жить она начала иначе. Крутицынъ видѣлъ ее гораздо рѣже. Уроки ея удвоились. Явилось вскорѣ большое знакомство двоякаго рода: и музыкальное, и театральное. Мокуръ ввелъ ее въ кружокъ драматическихъ критиковъ. Ей дѣлали комплименты Жанены и Готье. Нѣсколько разъ играла она на сценѣ «Des jeunes artistes» и объ ней упомянуто было ужь въ двухъ-трехъ «понедѣльникахъ», гдѣ восторгались ея «сѣверной величавой граціей» и пророчили ей блестящую будущность. Знакомство съ оперными диллетантами повело еще дальше. Она участвовала въ нѣсколькихъ большихъ концертахъ, и на столѣ ея стали появляться карточки, съ разными аристократическими фамиліями. Крутицынъ заставалъ у ней фешенеблей съ усами въ ниточку и моноклями, и кончилъ тѣмъ, что пересталъ заходить къ ней. Но она какъ-будто не замѣчала его волненій, каждый день забѣгала къ нему, разсказывала объ всѣхъ своихъ «побѣдахъ», знакомствахъ, планахъ, успѣхахъ по декламаціи и пѣнію. Она не измѣнила своего тона ни на одну іоту, дѣлалась даже ласковѣе и женственнѣе, предлагала ему безпрестанно билеты въ концерты и спектакли, гдѣ она участвовала, и хлопотала о томъ, чтобы онъ не скучалъ и не хандрилъ. Онъ ходилъ на эти концерты и спектакли, сидѣлъ тамъ блѣдный и мрачный, восхищался ею и глубоко страдалъ, чувствуя, какъ между ними разверзалась пропасть... Но мысль о разрывѣ не заходила вовсе въ его воспаленную голову. Да и что же было разрывать? Никакой цѣпи не лежало на нихъ. Она не была его любовницей. Онъ могъ куда-угодно съѣхать съ квартиры и тѣмъ покончить всякія отношенія. Она ничего не требовала отъ него, ничего не ждала, ничего не обѣщала... Ея «пріятельство» было умно, просто, искренно, честно. Ни единаго факта не всплыло еще, который бы показывалъ, что она сбирается быть куртизанкой. Она умѣла только «выжимать

сокъ» изъ праздныхъ людей съ связями и деньгами. Все, что для нея дѣлали, она разсказывала тотчасъ же Крутицыну. Она приняла нѣсколько подарковъ и всѣ ихъ показала ему. Про деньги она не говорила, но потому что это было для него щекотливымъ вопросомъ. Будь онъ менѣе нервенъ, не люби онъ ее такъ тревожно, онъ бы долженъ былъ радоваться ея удачѣ, любоваться развитіемъ этой своеобразной и широкой натуры. Упрекать ее въ бездушіи и холодности онъ не имѣлъ ни малѣйшаго права. Она сразу показала, какой у ней душевный складъ, и было бы непростительной глупостью и жалкимъ эгоизмомъ казнить ее за то, что она не съ голубинымъ сердцемъ и не съ испанскимъ темпераментомъ. Отталкивать отъ себя Крутицына ей не слѣдовало, именно *не слѣдовало*, и она давала все, что могла дать своей дружбой и лаской такая женщина, какъ она. И Крутицынъ, въ минуты нѣкотораго успокоенія, видѣлъ, что Ксенія Николаевна проявляетъ искреннее и даже трогательное уваженіе къ его личности, нравственнымъ свойствамъ, уму, стремленіямъ. Ему казалось даже, что въ иныя минуты, урывками, у ней прорывались проблески болѣе горячаго чувства. Только эти проблески тотчасъ же стушевывались за дѣловыми заботами ея житья-бытья. Или она только сдерживала себя? Онъ не могъ еще разобрать этого.

Вотъ къ какимъ итогамъ пришелъ онъ черезъ три мѣсяца. Но Крутицынъ боялся задать себѣ вопросъ: «когда же конецъ? гдѣ же разрѣшеніе?»

Еслибъ онъ задалъ его себѣ торжественно, пришлось бы отвѣтить сознаніемъ, что не хватаетъ силъ взвалить на себя крестъ резигнаціи. Взаимности, ведущей къ браку, не было. Оставалось стушеваться, когда настанетъ роковая минута и прекрасныя уста выговорятъ: «благодарю васъ, вы были мнѣ очень полезны. Я васъ уважаю и сохраню о васъ добрую память; но вы меня стѣсняете въ

моей карьерѣ. Прощайте и постарайтесь излечить вашу лирическую нервность».

И онъ ждалъ, считая дни и съ ужасомъ думая о срокѣ своего пребыванія въ Парижѣ.

XVI.

Тихимъ вечеромъ шелъ Крутицынъ внизъ по «Quai Voltaire». Онъ возвращался изъ Булонскаго лѣса. Лицо его было блѣдно, глаза красны, въ костюмѣ оказывался безпорядокъ, присущій нервнымъ людямъ, когда они долго двигаются безъ цѣли, захваченные какимъ-нибудь назойливымъ ощущеніемъ или тягостной думой.

Дойдя до одной изъ скамеекъ набережной, стоявшей въ нѣсколькихъ шагахъ отъ кіоска, Крутицынъ тяжело опустился на нее и снялъ шляпу. Потъ блестѣлъ крупными каплями на его бѣломъ, высокомъ лбу. Худая рука судорожно прошла по нему платкомъ и упала на колѣна. Крутицынъ ходилъ безъ устали шесть часовъ сряду. Выбѣжалъ онъ изъ дому передъ обѣдомъ, часу въ третьемъ. Вотъ что погнало его къ Булонскому лѣсу.

Сидѣлъ онъ у себя въ квартирѣ, и только-что началъ письмо къ тетушкѣ Еленѣ Петровнѣ, которой давно уже не писалъ, потому что не хотѣлъ ей разсказывать, что съ нимъ происходитъ. Но старушка безпокоилась, и нельзя было тянуть дольше отвѣта на вопросы: «живъ ли и здоровъ ли?»

Къ нему постучались. Онъ, не отнимая головы, крикнулъ: «entrez», и когда поднялъ ее, увидалъ передъ столомъ мужчину высокаго роста, брюнета, лѣтъ за со-

рокъ, съ напудренными щеками изношеннаго лица, завитаго, въ цвѣтной рубашкѣ, со свѣтлой шляпой на головѣ.

— Mademoiselle du 38 est ici? — спросилъ онъ картавя и прищуриваясь.

— Non, monsieur, — рѣзко отвѣтитъ Крутицынъ: — elle n'y est pas.

Кокодесъ выпятилъ грудь и протянулъ карточку, пропустивши съ оттяжкой:

— Marquis de Rocheblanche... Voulez-vous remettre ma carte à mademoiselle.

Онъ оглядѣлъ Крутицына съ ногъ до головы, послѣ чего прибавилъ съ двусмысленной улыбкой:

— Monsieur est un compatriote à mademoiselle?...

Щеки Крутицына такъ и запылали. Онъ привсталъ съ кресла и, отклоняя отъ себя карточку, выговорилъ задыхающимся голосомъ:

— Vous pouvez laisser votre carte au bureau.

Брюнетъ сдѣлалъ легкую гримасу и спросилъ съ удареніемъ:

— Monsieur est russe, n'est-ce pas?

— Oui, monsieur, — отвѣтилъ уже совсѣмъ гнѣвно Крутицынъ: — je le suis, et je me permets de vous observer, que dans mon pays on ôte son chapeau en entrant chez quelqu'un.

— Pardon, monsieur... — брезгливо отозвался кокодесъ, повернулся на каблукахъ, издалъ презрительный звукъ носомъ и вышелъ.

Надо было Крутицыну собрать все свое самообладаніе, чтобы не кинуться за нимъ и не схватить его за горло. Ярость и боль овладѣли имъ такъ стремительно, что онъ, схвативши шляпу, кинулся на улицу и бѣжалъ по набережной, толкая всѣхъ и ничего не видя передъ собой.

Опять очутился онъ подъ тѣмъ каштановымъ деревомъ, гдѣ въ первый разъ чувствовалъ уколы страсти.

Приходъ этого маркиза переполнилъ чашу черезъ край. Въ тонѣ, съ какимъ кокодесъ обратился къ нему, увидалъ Крутицынъ, за кого его принимаютъ.

«Мнѣ отдаютъ визитныя карточки!» говорилъ онъ, дрожа всѣмъ тѣломъ: «посѣтителямъ Ксеніи Николаевны сообщаютъ въ бюро, что я ея компатріотъ и пріятель!... Пріятель... Прежде это называлось Arthur... а теперь этакихъ пріятелей зовутъ просто: maquereau!»

Слово такъ и пронизало Крутицына, точно кто заклеймилъ его вслухъ. Не одна ревность кипѣла въ немъ, но стыдъ, горечь, совсѣмъ неизвѣданное чувство безпомощнаго позора...

«Вотъ до чего дожилъ ты съ твоимъ сумасбродствомъ, съ твоей чувствительностью, съ твоей дрянностью!...»

Упреки самому себѣ полились рѣкой. Какихъ, какихъ именъ не надавалъ Крутицынъ своей натурѣ. Но на душѣ было также ѣдко и больно. Исходилъ онъ весь Булонскій садъ и, разбитый усталостью, потащился въ городъ.

«Бѣжать, бѣжать отсюда, завтра же, не видавшись съ ней, безъ оглядки, сбросить съ себя клеймо, вырваться изъ добровольнаго рабства, гдѣ я не пользуюсь даже тѣмъ, что дарятъ каждому Артюру, каждому ма...»

Слово не сходило съ губъ.

«Бѣжать», повторилъ онъ, сидя на скамейкѣ Quai Voltaire и глядя на павильоны Лувра, красиво отдѣляющіеся отъ синяго густаго неба.

Какъ разъ противъ него запирался букинистъ изъ оверньятовъ, у котораго онъ покупывалъ книжки и пріобрѣлъ даже за франкъ пятьдесятъ сантимовъ прекрасный, полный экземпляръ Сопикова. Букинистъ заперъ уже половину своихъ ящиковъ, разставленныхъ по каменной оградѣ набережной. Крутицынъ поднялся и подо-

шелъ къ предпослѣднему ящику, гдѣ лежала въ кучѣ всякая всячина, по тридцати сантимовъ au choix. Онъ сталъ шарить и вытащилъ старый томикъ въ кожѣ, съ крапленымъ радужнымъ обрѣзомъ. Развернувши, онъ даже отшатнулся. Книжка точно судьбой была подложена для него.

— C'est 30 centimes? — спросилъ онъ глухо букиниста.

— Oui, mon bourgeois, — прошамкалъ тотъ, получая деньги.

Крутицынъ сѣлъ опять на скамейку и началъ перелистывать книжку, кидая по сторонамъ потерянные взгляды.

Вспомнилось ему, что когда-то, въ Россіи, смѣялся онъ надъ русскимъ переводомъ заглавія этой самой книжки, прославившейся на весь громадный міръ. Русскій переводчикъ назвалъ ее: «*Исторія Машеньки Леско и кавалера Дегріе*». Дико казалось Крутицыну сочиненіе словъ: «Машенька» и «кавалеръ» и онъ былъ тогда почти обиженъ за «Manon» даровитаго аббата.

«Вотъ кто ты», шепталъ онъ, перечитывая еще живыя въ памяти сцены: — ты — кавалеръ Дегріе, или будешь имъ скоро, завтра же, если не убѣжишь отъ твоей Машеньки... Дай срокъ, пройдешь и ты черезъ всѣ мытарства кавалера... И ты опустишься до того, что станешь жить на деньги ея любовниковъ и содержателей... Тутъ нѣтъ иного исхода... бездушіе родитъ развратъ, а безумная страсть — купается въ низости, только бы ей глотать, безъ помѣхъ, свой позоръ».

Совсѣмъ уже стемнѣло. Крутицынъ положилъ книжку въ карманъ и опять поплелся къ Елисейскимъ полямъ. Онъ не хотѣлъ возвращаться домой раньше полуночи.

«Завтра,» шепталъ онъ, «чѣмъ свѣтъ я съѣду. Вонъ, куда-нибудь, хоть назадъ въ Россію!».

Въ Елисейскихъ поляхъ просидѣлъ онъ три часа пе-

редъ сценой кафе-шантана, гдѣ кривлялись какіе-то американскіе клоуны и обнаженныя дѣвицы пѣли chansonnettes и богъ-знаетъ чего только не дѣлали. Ничего этого онъ не видалъ и не слыхалъ. Машинально прихлебывалъ онъ свой «mazagran», разбавляя его безпрестанно водою, и ушелъ, когда погасили газовые рожки и садикъ совсѣмъ опустѣлъ.

Позвонилъ онъ у себя въ отелѣ въ началѣ перваго. Еле волоча ноги, поднялся онъ, взялъ ключъ въ бюро, не глядя: виситъ ли ключъ на нумерѣ 38-мъ, и дотащился до своей комнаты. Кинулся онъ на диванъ, закрылъ лицо руками и оставался такъ нѣсколько минутъ, не имѣя силъ добраться до кровати.

— Alexandre! — вдругъ раздалось надъ его головой: — что съ тобой, мой другъ?

Крутицынъ вскочилъ. Передъ нимъ стояла Ксенія Николаевна со свѣчкой и огромнымъ букетомъ, въ бѣлой ротондѣ, полуспущенной съ одного плеча. Она была въ открытомъ платьѣ и прическѣ съ цвѣтами. Вокругъ шеи легла черная бархатка и дѣлала еще блистательнѣе бѣлизну шеи и плечъ.

— Что съ тобой? — повторила она и протянула ему свою мраморную руку въ длинной перчаткѣ.

Онъ не могъ отвѣчать. Языкъ точно присохъ къ гортани. Ксенія Николаевна поставила свѣчу на столъ, взяла Крутицына за руку и сѣла рядомъ съ нимъ.

— Я тебя ждала проводить меня въ концертъ, ты вѣрно и забылъ. А какъ бы ты за меня былъ радъ! Такого успѣха я еще не имѣла, просто голова кругомъ пошла. Маркизъ Rocheblanche...

Только-что она выговорила это имя, Крутицынъ весь вздрогнулъ и гнѣвно взглянулъ на нее.

— Да что съ тобой? Зачѣмъ ты кидаешь на меня такіе взгляды? Ты лучше извинись, что не написалъ за-

писочки и не сказалъ никому, придешь ли къ обѣду. Я ждала и страшно проголодалась. Былъ у меня въ три часа этотъ маркизъ и оставилъ карточку. Хозяйка мнѣ говорила, что онъ сюда поднялся. Ты былъ дома?

— Да, — выговорилъ съ усиліемъ Крутицынъ.

— Тебѣ, можетъ быть, непріятно, что этотъ баринъ зашелъ къ тебѣ. Они тамъ въ бюро такіе глупые... Воображаютъ, конечно, что мы съ тобой находимся въ любовныхъ отношеніяхъ. Мнѣ-то все равно; но вы, многоуважаемый Александръ Павловичъ, изволите быть весьма щекотливы.

Шутливый тонъ Ксеніи Николаевны былъ такъ простъ, что Крутицынъ не могъ вымолвить ни одного слова горечи и гнѣва. Онъ только глядѣлъ на нее и тяжело дышалъ.

— Ахъ, Alexandre! — вздохнула она, подсаживаясь къ нему поближе: — вотъ еще годикъ, другой, и моему искусу конецъ, и я вернусь въ Россію съ именемъ, да, мой другъ, и ты будешь гордиться твоей ученицей и товаркой. Вѣдь я прежде всего твоя ученица. Не встрѣть я тебя, я не попала бы такъ скоро и удачно на свою дорогу. Я никогда этото не забуду, Alexandre. Такъ взгляни же на меня помягче. Ты, право, сталъ престранный... и что хуже, скрытничаешь со мной... Не нравится тебѣ что, скажи прямо... Передъ тобой я, ей-богу, ни въ чемъ не провинилась... какъ твой другъ... Но я знаю, что тебѣ мало этого имени...

Она стала говорить тише. Крутицынъ опустилъ голову и продолжалъ тяжело дышать.

— Очень я занята своей карьерой, это правда. Но кто же за меня похлопочетъ, кто меня поставитъ такъ, какъ мнѣ нужно? Я сама, и никто больше. Но это все временно. Вотъ погоди годъ, другой, не больше, и я добьюсь своего, и можно мнѣ будетъ позволить себѣ задушевную жизнь. Ты и въ самомъ дѣлѣ не вздумай, что у

меня куски льду вмѣсто сердца, что я завертѣлась со своими маркизами и кокодесами, что мнѣ хочется быть кѣмъ-нибудь въ родѣ Cora Pearl или Léonide Leblanc... Если бы у меня сердце и замерло, ума у меня еще Господь не отнималъ, и я съ каждымъ днемъ вижу и понимаю, какъ ты, мой дорогой, выше всего, что меня теперь окружаетъ. Съ тобой я живу, тѣми я пользуюсь. Прости же мнѣ все, что ты испыталъ горькаго со мною, и позволь мнѣ пожить около тебя.

Крутицынъ чувствовалъ, точно очарованный, какъ влажныя уста приближались къ его лицу и благоуханіе блистательнаго тѣла пахнуло на него.

— Изстрадался я! — прошепталъ онъ, и рыданіе остановилось въ груди.

Руки Ксеніи Николаевны легли вокругъ его шеи и губы прикоснулись ко лбу.

— Ты не долженъ страдать, — сладко говорила она, гладя его рукой по кудрявымъ волосамъ: — я не дамъ и не позволю. Развѣ я тебя гоню, развѣ ты не видишь, какъ ты мнѣ дорогъ? Не смущайся моей внѣшностью. Мнѣ нужно себя сдерживать. Ты слишкомъ привязался ко мнѣ, Alexandre, ты поставилъ меня на пьедесталъ, и я не удержусь на немъ, когда пройдетъ твой пылъ, а онъ пройдетъ, какъ все проходитъ. Будь ты не такъ пылокъ, ты бы разглядѣлъ меня лучше. Я вѣдь больше ничего, какъ...

— Не договаривай! — прервалъ Крутицынъ, глядя на нее со слезами наболѣвшей страсти. — Кто бы ты ни была, я люблю тебя ужасно, безумно, мучительно! Вотъ сейчасъ, до твоего прихода, я презиралъ себя, я хотѣлъ бѣжать... Я клеймилъ и тебя!.. Я... но развѣ я могу разсказать все, что со мной было сегодня... послѣ того, какъ этотъ маркизъ пришелъ сунуть мнѣ свою карточку?! Молю тебя, Ксенія... убей меня вотъ здѣсь на

мѣстѣ однимъ словомъ, скажи мнѣ, что для меня нѣтъ надежды, что никогда ты не будешь моей женой, никогда!..

Онъ опустился на полъ и спряталъ голову въ ея колѣни.

— Женой твоей, — тихимъ и низкимъ голосомъ говорила Ксенія Николаевна. — Это слово мнѣ дороже всякой награды. Я его не заслужила, Alexandre... Ты слышишь... Такъ я имъ тронута.

И въ самомъ дѣлѣ, въ ея голосѣ дрожали слезы.

— Я могла бы, — продолжала она: — сдѣлаться женой твоей только тогда, когда я сама буду чего-нибудь стоить.

— Ты не гонишь меня? — прервалъ Крутицынъ, хватая ея руки: — ты не говоришь мнѣ: нѣтъ?

— Говорить тебѣ: нѣтъ?.. Что ты!.. Ну, позволь мнѣ кончить мой искусъ... успокойся же, милый мой... отбрось всякую мысль о томъ, что я когда-нибудь отвергну тебя... О! ты ничего не потеряешь, пождавъ какой-нибудь маленькій годикъ...

Долгій, томительный и сладкій поцѣлуй закончилъ слова Ксеніи Николаевны; но когда Крутицынъ, совсѣмъ обезумѣвъ отъ него, кинулся цѣловать ея колѣни, плечи, руки, она остановила его, встала и выплыла изъ комнаты...

XVII.

Точно послѣ долгой болѣзни проснулся Крутицынъ. Онъ ощупалъ себѣ пульсъ, приложилъ ладонь къ головѣ, вспомнилъ, что было съ нимъ наканунѣ, и сказалъ:

— Все это правда, а не сонъ.

Онъ бодро вскочилъ съ кровати. Утро было яркое и радостное. Бульваръ уже гудѣлъ народомъ. Захотѣлось двигаться, работать, ѣсть.

Ксенія Николаевна сошла къ нему передъ завтракомъ, спросила о его здоровьѣ, нашла, что цвѣтъ лица его сталъ лучше, и объявила, что она приглашена въ Версаль на три дня, въ одно музыкальное семейство.

Крутицынъ огорчился-было, но она такъ погладила его по головѣ, что онъ опять расцвѣлъ.

— Ты поработай безъ меня, — говорила она: — а то ты совсѣмъ излѣнился. Я больше трехъ дней не пробуду...

Уѣхала она въ тотъ же день передъ обѣдомъ. Крутицынъ былъ въ это время на Марсовомъ Полѣ. Когда онъ вернулся домой, гарсонъ сказалъ ему:

— Madame a pris tous ses bagages.

Онъ не обратилъ никакого вниманія на его слова, подумалъ только:

«Она тамъ заживется, коли взяла съ собою сундуки».

Прошелъ день, прошелъ другой. На третій Крутицынъ съ утра поджидалъ Ксенію Николаевну къ завтраку.

Пробило двѣнадцать. Она не являлась. Крутицынъ нарочно остался завтракать дома. Позавтракавши одинъ, онъ сѣлъ на балконъ и смотрѣлъ въ сторону Сены: не покажется ли фіакръ съ фигурой Ксеніи Николаевны.

— Monsieur! окликнулъ его гарсонъ изъ спальни.

— Qu'est ce qu'il y a?

— Une lettre pour monsieur.

Гарсонъ подалъ ему письмо съ голубой маркой. Крутицынъ посмотрѣлъ на штемпель. На штемпелѣ стояло: «Versailles».

Рука Ксеніи Николаевны на конвертѣ заставила его торопливо развернуть листокъ. Онъ пробѣжалъ двѣ страницы, поблѣднѣлъ и вбѣжалъ въ первую комнату. Тамъ

онъ забѣгалъ изъ угла въ уголъ, читая и перечитывая письмо, потомъ, остановившись какъ вкопанный, онъ зашатался и повалился на диванъ. Письмо выпало изъ рукъ его.

Въ письмѣ стояло:

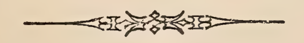
«Любезнѣйшій Александръ Павлычъ.

«Если вы еще не завтракали, поджидая меня, такъ лучше поѣшьте: вы меня слишкомъ долго будете ждать. Я въ Парижъ не вернусь, а куда ѣду, вы, надѣюсь, допытываться не станете. Продѣлывать съ вами «le parfait amour» мнѣ очень надоѣло. Мнѣ нужно дѣло дѣлать, а не заниматься сантиментами. Вамъ не мѣшало бы успокоить свои нервы и поискать себѣ что-нибудь подходящее. Гдѣ же вамъ добиваться любви такой женщины, какъ я? Вы слишкомъ слабы, чтобы возбуждать серьезное чувство. Моимъ мужемъ будетъ тотъ, кто передо мной не спасуетъ, если я вообще когда-нибудь возьму мужа. Вы потеряли со мной не мало времени, но, по правдѣ сказать, и мнѣ было не особенно вкусно просиживать съ вами цѣлые дни и выслушивать всѣ ваши сладости и разглагольствованія. Пожалуйста, не думайте, что вы меня облагодѣтельствовали: всѣ мужчины способны на фатовство, а вы тоже мужчина, хоть и изъ плохонькихъ... Будьте счастливы и великолѣпны». Крутицынъ пролежалъ нѣсколько минутъ въ обморокѣ. Когда онъ очнулся, его глаза остановились на чьемъ-то лицѣ, которое нагнулось надъ нимъ съ заботой и безпокойствомъ.

— Что съ вами? — спросилъ его мужской голосъ.

Чьи-то руки терли ему високъ.

Онъ совсѣмъ пришелъ въ себя. Надъ нимъ стоялъ Прохоровъ.



КНИГА ТРЕТЬЯ.

СОЛИДНЫЯ ДОБРОДѢТЕЛИ.

КНИГА ТРЕТЬЯ.

I.



ОСПОДИНЪ Прохоровъ сдѣлался воспріемникомъ острой скорби, уязвившей Крутицына. Онъ не сталъ допытываться, что случилось съ соотечественникомъ, и безъ всякихъ околичностей окружилъ его заботами.

Нѣсколько дней Крутицынъ былъ физически боленъ. Надо было облегчить ему заброшенность, которую каждый иностранецъ чувствуетъ въ парижскомъ «garni», какъ только онъ разнеможется и сляжетъ, хоть бы на два дня. Прохоровъ привелъ пріятеля доктора, добродушнаго француза съ рѣзкими пріемами и зычнымъ голосомъ:

— Très secoué! — выговорилъ онъ вслухъ, держа больнаго за руку: — mais ça passera bien vite!

Подыскалъ Прохоровъ и сидѣлку. Ея присутствіе при-

давало комнатѣ тоскливый видъ; но Крутицыну оно было все-таки пріятно. На него напалъ страхъ одиночества. Дней пять продолжалось его нервное недомогательство. Безъ ухода оно могло бы перейти во что-нибудь гораздо серьезнѣе. Оправившись, Крутицынъ прежде всего сказалъ Прохорову:

— Простите меня...

— За что? — спросилъ тотъ удивленно.

— Я, когда очнулся, и потомъ, лежа въ нервномъ разстройствѣ, заподозрилъ васъ и злобствовалъ...

— Заподозрили... въ чемъ?

— Стыдно признаться: въ участіи...

Крутицынъ не могъ сразу договорить. Онъ глядѣлъ на озабоченное лицо Прохорова и ясно видѣлъ, что тотъ ровно ничего не понимаетъ.

Съ запинками, но подробно сознался онъ ему, что побѣгъ Ксеніи Николаевны связалъ онъ съ тѣми поощреніями, какими она была обязана Прохорову. Тотъ точно съ облаковъ свалился Оказалось, что Прохорову причина потрясенія, приключившагося съ Крутицынымъ, извѣстна была очень смутно, по однимъ намекамъ хозяйки отеля и гарсона.

Знакомствъ и связей бѣглянки онъ не зналъ и не могъ дать Крутицыну никакихъ указаній, какъ напасть на ея слѣдъ.

Да Крутицынъ и не хотѣлъ этого. Нить была съ болью перерѣзана; но операція удалась. Присутствіе Прохорова, его суховатая серьезность, его тонъ, устраняющій всякую сантиментальность, додѣлали то, что вызвано было грубымъ фактомъ письма Ксеніи Николаевны. Крутицынъ до ядра раскусилъ пошлость и цинизмъ разрыва, его смущала только безпричинность выходки.

«Зачѣмъ же такъ грязнить самое себя, когда можно было сдѣлать то же самое гораздо опрятнѣе?» спрашивалъ онъ съ остаткомъ горечи за нравственную личность

Ксеніи Николаевны. И все, что ему извѣстно было объ ея умѣ и тактѣ, рѣзко противорѣчило возможности подобной выходки. Но фактъ такъ безпощадно казнилъ личность, что одно его засвидѣтельствованіе составляло безповоротный приговоръ. Безъ злобы, но съ ядовитой печалью сдавалъ онъ въ архивъ свою парижскую любовь. До самаго себя онъ боялся дотрогиваться: до такой степени казался ему непростительнымъ диллетантизмъ, съ которымъ онъ вдался въ «амуры» подъ прикрытіемъ эстетическаго развиванія и дешеваго меценатства.

«Довольно, довольно!» повторялъ онъ, сближая обѣ свои страсти и ихъ почти тождественнный исходъ. «Отъ женщинъ не ждать мнѣ нечего кромѣ траги-комическихъ сюрпризовъ! Неспособенъ я помѣщать свои привязанности! Сама себя раба бьетъ, коли не чисто жнетъ!»

Реальная личность Прохорова начала тотчасъ же стыдить его своею дѣятельностью. Онъ видѣлъ передъ собою человѣка, моложе его на шесть, на семь лѣтъ, и уже вполнѣ сложившагося, съ рѣзкими гранями характера, съ отсутствіемъ самогрызенія, застрахованнаго отъ всякихъ фальшивыхъ увлеченій. «Господинъ Прохоровъ» выяснялся ему съ каждымъ днемъ, и все къ лучшему. Онъ принялъ участіе въ Крутицынѣ просто, человѣчно, скромно, не обезпокоилъ его ни однимъ ненужнымъ словомъ, ни одной наянливой услугой. Все, что больному человѣку нужно было — онъ выполнилъ, и еслибъ самъ Крутицынъ не пошелъ дальше въ сближеніи съ нимъ, онъ удалился бы такъ же просто, какъ пришелъ. Когда онъ узналъ о печальномъ концѣ любви Крутицына, онъ выпятилъ свою нижнюю губу и выговорилъ:

— Не красиво! Я думалъ, что она порядочнѣе! Матушка Русь сказалась таки!

Въ изліянія съ нимъ нельзя было пускаться, и Кру-

тицыну такой собесѣдникъ помогъ бросить за бортъ ненужный скарбъ лиризма. Не допрашивалъ Прохоровъ и на тэму: что намѣревается Крутицынъ дѣлать въ Парижѣ, послѣ выставки, подходившей къ концу? Его личность и складъ жизни подсказывали Крутицыну: «бери примѣръ съ соотечественника, онъ не кидается изъ стороны въ сторону, а идетъ себѣ полегоньку и умѣетъ удовлетворяться тамъ, гдѣ русскіе люди только хандрятъ и киснутъ».

Какъ только Крутицынъ сталъ выходить, онъ участилъ свои посѣщенія къ Прохорову, спокойно оглядывалъ его со всѣхъ сторонъ и кончилъ тѣмъ, что заинтересовался этой личностью и съ общечеловѣческой, и съ русской точки зрѣнія.

Онъ нашелъ, во-первыхъ, что ихъ соединяла общность міровоззрѣнія, чего бы никакъ никто не сказалъ, глядя на нихъ обоихъ. У Прохорова были тѣ же устои мышленія, какъ и у Крутицына, только онъ держался за нихъ рѣзче, съ другимъ темпераментомъ, съ нѣкоторымъ формализмомъ молодаго ученаго и въ то же время съ задоромъ закоренѣлаго спорщика. Ему и нельзя было не держаться своихъ устоевъ: натура его наклонна была, несмотря на разсудочность мозга, къ выходкамъ умственнаго своеволія, даже самодурства. Безъ доктрины Прохоровъ превратился бы въ безпорядочнаго, да вдобавокъ еще, сухаго, русскаго діалектика, которому только то и дорого, что нужно взять съ бою въ схваткѣ съ противникомъ. Темпераментъ же спорщика не давалъ ему, въ свою очередь, уйти въ сектаторство, въ узкое мыслительное изувѣрство, въ мелочность доктринера, не дерзающаго помышлять о расширеніи рамокъ своего «credo». Голова Прохорова была изъ самыхъ обширныхъ; по положительной наукѣ онъ зналъ очень много, не все одинаково, въ системѣ, съ уясненіемъ себѣ причинной связи и іерархіи разныхъ отраслей точнаго вѣдѣнія. Постоянное занятіе

естествознаніемъ не отвратило его вовсе отъ политическихъ и соціальныхъ вопросовъ. Онъ жилъ ими серьезно, хотя и не пылко, выяснялъ ихъ безостановочно, приводилъ ихъ въ связь, пріобрѣталъ симпатіи и антипатіи, приковывалъ свои теоретическія настроенія къ тѣмъ или инымъ жизненнымъ фактамъ общественнаго движенія. И что особенно нравилось въ немъ Крутицыну, это — здоровое, широкое отношеніе ко всякому спеціальному знанію. Ни въ одномъ русскомъ не встрѣчалъ Крутицынъ такого истинно-философскаго взгляда на свою эрудицію. Прохоровъ говорилъ ему:

— Все, чему я учусь, чѣмъ занимаюсь спеціально — все это матеріалъ. Это меня не можетъ удовлетворить. Для меня дорогъ синтезъ, и если я современемъ сдѣлаю что-нибудь порядочное, то, конечно, по философскому обобщенію, а не по узкой спеціальности...

Съ политическими науками и областью искусства Прохоровъ былъ знакомъ болѣе диллетантски, но ничего не игнорировалъ. Тутъ его темпераментъ заводилъ его частенько за черту солидности и положительнаго факта. Онъ спорилъ или толковалъ, съ интонаціями знатока, о такихъ вещахъ, о которыхъ зналъ или по школьному, или по наслышкѣ. Крутицынъ въ этихъ случаяхъ съ особымъ интересомъ изучалъ противорѣчія личныхъ свойствъ съ общимъ мыслительнымъ складомъ человѣка. Умъ держался позитивныхъ началъ и пріемовъ, а темпераментъ зазывалъ въ тину произвольной діалектики. Потому-то споры о шаткихъ вопросахъ жизни и творчества и выходили такъ безплодны съ Прохоровымъ, а человѣка впечатлительнаго могли вести только къ раздраженію и неправильному умаленію личности спорщика. Все, что Рике говорилъ Крутицыну о соотечественникѣ, выяснилось передъ нимъ въ характерныхъ подробностяхъ: только разъ поставивъ себѣ задачей изучить его, онъ уже не переходилъ, какъ другіе, отъ

оправданія къ осужденію и наоборотъ. Его болѣзнь и участіе Прохорова слишкомъ крѣпко убѣдили его въ томъ, что Прохоровъ, какъ къ нему ни придирайся, по сущности своей, *хорошій* человѣкъ, въ самомъ прямомъ смыслѣ слова. И его отрицательныя качества только выпуклѣе выставляли эту хорошую сущность. Онъ не только былъ способенъ на дѣятельное добро, но и на широкое гуманное отношеніе ко всякимъ человѣческимъ немощамъ и нуждамъ; только среда, откуда онъ вышелъ, и наслѣдственный складъ натуры наложили на него слой особаго «барскаго мѣщанства», какъ опредѣлилъ Крутицынъ, нашедшаго теоретическое оправданіе въ самомъ его міровоззрѣніи. Среда, откуда онъ вышелъ, была барская. Наслѣдственный складъ натуры — брюзгливость и раздражительное резонерство. А положительное міровоззрѣніе позволяло ему смотрѣть безъ страстнаго протеста на исключительность своего положенія и мириться съ нимъ.

Крутицынъ попробовалъ пощупать его на эту тэму и получилъ въ отвѣтъ:

— Я не стою за равенство, потому что его быть не можетъ! Аристократія ума и дарованій всегда была, есть и будетъ.

Къ своему экономическому положенію относился Прохоровъ «позитивно». Онъ былъ землевладѣлецъ, получалъ большія деньги за свою землю, ренту проживалъ спокойно, не волновался нисколько ея безнравственнымъ источникомъ и не имѣлъ ни малѣйшаго намѣренія отдать свой достатокъ «меньшей братіи». А между тѣмъ, по симпатіямъ своимъ онъ стоялъ за пролетарія, за необходимость другихъ экономическихъ порядковъ. Такое противорѣчіе стѣсняетъ, конфузитъ русскихъ радикаловъ; но Прохоровъ и въ усъ себѣ не дулъ. Онъ разсуждалъ такъ:

— Однѣхъ экономическихъ реформъ недостаточно для того, чтобы общество устроилось на болѣе разумныхъ на-

чалахъ. Стало быть, какой же выйдетъ толкъ изъ того, что люди обезпеченные раздадутъ свои капиталы и земли пролетаріямъ? Это капля въ морѣ.

Онъ способенъ былъ помочь всему, что маломальски отзывалось дѣломъ, идеей, серьезнымъ трудомъ, жертвой: но на свое «рантьерство» закрывалъ глаза и никогда не распространялся на тему о неблаговидности проѣданія наслѣдственныхъ хлѣбовъ, даже и признавая ту истину, что однѣ экономическія реформы не спасутъ человѣчество. Это была ахиллесова пята Прохорова, и Крутицынъ, еслибъ ему пришлось защищать его, навѣрно бы сплоховалъ передъ нѣкоторыми доводами. Вдобавокъ, происхожденіе и привычки обезпеченности дали Прохорову то мѣщанское самодовольство, которое такъ возмутило Крутицына, когда онъ увидалъ его въ первый разъ у Рике́. Онъ дѣйствительно уходилъ въ свои лампы, газовые аппараты, калориферы, въ свою мебель и квартиру, въ мелкія подробности своего домоводства. Онъ любилъ «уходъ» за своей личностью и удѣлялъ на него больше усердія и времени, чѣмъ бы слѣдовало человѣку, стремящемуся къ высшимъ задачамъ жизни. Крутицынъ подмѣтилъ и другія черты, еще менѣе приличныя мыслителю. Прохоровъ, какъ только онъ касался житейскихъ вещей, напримѣръ, своего прошедшаго въ Россіи, ученья, столкновеній съ профессорами, родственныхъ связей, становился просто русачкомъ, матушкинымъ сынкомъ, баричемъ, полнымъ раздраженій, пристрастій, пересудъ, даже наивности и смѣшныхъ выходокъ. Крутицыну и это объяснилось средой и... юностью. Въ Прохоровѣ сказывалось то, что обыкновенно замѣчаютъ въ такъ-называемыхъ «геніальныхъ дѣтяхъ». Онъ слишкомъ скоро выросъ. По задачамъ и формальному складу жизни въ немъ сидѣлъ почти старикъ. По бытовымъ инстинктамъ и деталямъ онъ оставался еще юношей. Послѣ теоретическихъ споровъ онъ то и дѣло пе-

реходилъ къ добродушнѣйшимъ разсказамъ изъ той русской жизни, въ которой онъ возросъ, къ школьнымъ воспоминаніямъ, къ болтовнѣ, нѣсколько даже утомительной для Крутицына, какъ человѣка несравненно старше его, по совокупности развитія и жизненнаго опыта. И фраза Прохорова о Россіи, впервые возмутившая Крутицына, стала ему понятна. У Прохорова, дѣйствительно, не было ничего общаго не съ Россіей, въ обширномъ смыслѣ, а съ тѣмъ русскимъ меньшинствомъ, гдѣ онъ принужденъ былъ бы вращаться!

— Помилуйте, — говорилъ онъ Крутицыну, уже не брюзгливымъ, а добродушнымъ тономъ: — мнѣ ни въ Петербургѣ, ни въ Москвѣ не къ кому пристать. Я не солидаренъ ни съ одной изъ нашихъ партій, ни съ однимъ кружкомъ, хотя нѣкоторымъ весьма сочувствую.

— Начните съизнова, — возражалъ ему Крутицынъ: — образуйте свой кружокъ, соберите вокругъ себя лучшую молодежь, сдѣлайтесь центромъ, у васъ есть характеръ и воля. Нельзя все на среду надѣяться. Надо и самому начинать.

— Я думалъ остаться въ Россіи, согласенъ былъ взять профессуру, но увидалъ, что кромѣ мерзостей я ничего не найду на этой дорогѣ, и разругавшись уѣхалъ...

— Другими словами: у васъ не хватило выдержки.

— Положимъ; да вы вотъ и старше меня, но кончили же тѣмъ, что оставили должность.

— А журнализмъ?

— Я не пишу и не писалъ по-русски, да и надо имѣть особенный складъ натуры для вліянія на наше общество. Здѣсь же все мнѣ близкое: и наука, и соціальные интересы. У меня въ Парижѣ давнишнія связи, я учился и развился среди французовъ, все у меня тутъ подъ рукой, всѣ мои стремленія удовлетворены.

— И все-таки вы будете вѣчно седьмой водой на

киселѣ, чужимъ человѣкомъ. Воля ваша, не радостна доля какого-нибудь Анахарсиса Клотца!

— Надо каждому предоставить его элементъ. Да и какъ сказать, что люди, удаляющіеся изъ своего отечества, совершенно безполезны ему. Надо еще доказать это.

Больше уже не толковали они на тэму отечества. Прохоровъ не убѣдилъ Крутицына, но значительно помирилъ его со своимъ заграничнымъ житьемъ. Крутицынъ взглянулъ на этотъ видъ диллетантизма гораздо проще и спокойнѣе. Онъ и его объяснилъ молодостью Прохорова, неимѣніемъ тѣхъ порывовъ, которые начинаютъ теребить человѣка гораздо позднѣе. Прохоровъ переживалъ западническую цѣльность внутренняго настроенія. Ему, точно, некогда было заниматься тонкимъ анализомъ своихъ стремленій, какъ большинству западныхъ людей. Онъ весь ностоялъ изъ кусочковъ, въ видѣ отдѣльныхъ интересовъ, идей, заботъ, затѣй и инстинктовъ. Доктрина вела его но прямому пути; принципа онъ не упускалъ изъ виду; но душевнымъ своимъ «я» занимался весьма мало, и замѣнялъ анализъ дѣловой работой подъ-силу и умѣреннымъ сознаніемъ своихъ недостатковъ. Такая черта развитія впервые попадалась Крутицыну среди молодыхъ русскихъ людей. Крутицынъ объяснялъ ее преждевременнымъ ростомъ Прохорова, но видѣлъ, въ то же время, что задатковъ дальнѣйшей рефлексіи въ немъ не оказывалось. Онъ уже собрался жить по одной и той же программѣ. Работалъ онъ понемножку, не «запоемъ», какъ русскіе люди, а размѣренно; изъ лабораторіи переходилъ онъ къ ученой или политической брошюрѣ; отъ газеты — къ книгѣ; но ничего безъ толку не читалъ. Въ писатели готовилъ онъ себя исподволь, и хотѣлъ писать исключительно для дѣла, а не для забавы. Литературные его опыты, прослушанные Крутицынымъ, дали ему главный ключъ къ объясненію «мѣщанства», мѣшающаго полному

расцвѣту этой натуры: она была крайне способна, но лишена таланта и воображенія, на что отчасти и намекалъ Рикé, говоря о Прэхоровѣ.

Какъ русскому, личность Прохорова дала Крутицыну въ концѣ его изслѣдованія весьма отрадный выводъ. Онъ увидалъ въ ней задатки новой силы. Западничество Прохорова не мѣшало ему быть, въ сущности, русакомъ. Не будь у него состоянія, онъ остался бы въ Россіи и работалъ бы на почвѣ. Въ немъ какъ разъ жили свойства и навыки, которымъ русская распущенность не позволяетъ развиться: методъ изученія, система мышленія, серьезность въ трудѣ, дѣльность пріемовъ, основательность задачъ, порядочность отношенія къ людямъ, чужимъ и собственнымъ дѣламъ и заботамъ.

Но ближайшее знакомство съ соотечественникомъ не помогло Крутицыну въ пріобрѣтеніи довольства и равновѣсія. Послѣ нервнаго кризиса, явился опять назойливый вопросъ: «За что же опять приниматься?» Выставка кончилась. Поѣздка въ Россію начала пугать Крутицына. Онъ чувствовалъ, что въ немъ еще не перекипѣла горѣчь послѣдняго испытанія. Нѣтъ, нѣтъ, да и открывалась рана. Вернуться такимъ полубольнымъ нравственно, онъ рѣшительно не хотѣлъ: ему стыдно было отправиться гостить къ Еленѣ Петровнѣ и лечить около нея свои душевные недуги. Да и Парижъ пріѣлся ему. Съ Рикé онъ не любилъ говорить о своей хандрѣ. Добрая натура француза не откликалась на нѣкоторыя ноты. Любовную же свою исторію Крутицынъ почти скрылъ отъ него, боясь, что тотъ скажетъ что-нибудь черезчуръ французское. Наступили холодные и мокрые дни. Никуда не тянуло, ни въ театръ, ни къ пріятелю, ни въ кафе, но и дома сидѣть, безъ дѣла, было бы невыносимо...

Вдругъ пришло письмо изъ редакціи газеты, гдѣ предлагали Крутицыну продолжать парижскую корреспонденцію

и послѣ выставки, а изъ одного изъ толстыхъ петербургскихъ журналовъ просили у него большой статьи о выставкѣ. На то и другое онъ, долго не думавши, согласился.

II.

Послѣ завтрака, сидѣлъ Крутицынъ противъ камина и прочитывалъ сдѣланныя имъ выписки для статьи. Въ дверь, послѣ обычнаго стука, вошелъ высокій господинъ въ синемъ ратиновомъ сьютѣ, въ лоснящейся новой шляпѣ, съ зонтикомъ. По лицу онъ смотрѣлъ русскимъ купеческимъ молодцомъ, носилъ большую бороду, полу-гостинодворскаго, полу-англійскаго покроя и по остальнымъ частямъ осанки своей отзывался гораздо больше Замоскворѣчьемъ, чѣмъ Итальянскимъ бульваромъ.

— Monsieur Крутицынъ? — спросилъ онъ утвердительно, снимая шляпу.

Крутицынъ отвѣтилъ наклоненіемъ головы и пригласилъ его сѣсть противъ себя.

— Я къ вамъ на счетъ работы-съ... Вы меня не изволите знать... Моя фамилія Толоконниковъ. Проживаю здѣсь больше десяти лѣтъ и русскихъ, по малой мѣрѣ, всѣхъ знаю; о васъ много наслышанъ, только до сихъ поръ какъ-то не имѣлъ удовольствія встрѣчаться...

— Позвольте, — прервалъ его Крутицынъ: — кажется, я васъ видѣлъ...

— Гдѣ же, смѣю спросить-съ?

— Въ январѣ я сюда пріѣхалъ, и помню, на гàрѣ насъ заставили дожидаться выдачи багажа. Вы тутъ были

и подошли ко мнѣ прямо съ русскимъ вопросомъ, предлагая мнѣ остановиться въ какой-то гостиницѣ. Я былъ удивленъ такой проницательностью, но потомъ сообразилъ, что вы узнали мою національность по теплымъ калошамъ, которыя носятъ только русскіе.

Гость почему-то переконфузился.

— Быть можетъ-съ, — заговорилъ онъ запинаясь.— Я обыкновенно не дѣлаю этого-съ. Тогда мало было стояльцевъ... А оно точно-съ... Русскіе... больше въ калошахъ...

Онъ совсѣмъ запутался. Крутицынъ, чтобы вывесть его изъ замѣшательства, спросилъ:

— Могу я вамъ быть чѣмъ-нибудь полезенъ? Какой работы ищете вы?

— Совсѣмъ напротивъ-съ, — возразилъ г. Толоконниковъ.

— Какъ напротивъ?

— Я прослышалъ, что вы нуждаетесь въ работѣ?

— Я?

— Такъ точно-съ.

— Въ настоящую минуту нѣтъ. У меня есть постоянная газетная работа и другіе журнальные заказы.

— А мнѣ сказывали на счетъ уроковъ... Тутъ есть благородныя семейства. Такъ-какъ я пользуюсь довѣріемъ... франковъ на десять за урокъ...

— Благодарю васъ. Я учительствомъ не занимаюсь.

— Быть можетъ, наслышаны про какого русскаго?... Здѣсь теперь есть всякіе... иные совсѣмъ замотались...

— Не умѣю вамъ сказать; но вы собственно ищете учителя для русскаго семейства?

— То-есть не то, чтобы мнѣ дано было порученіе, а на всякій случай... Я же всѣхъ почти знаю... На дняхъ ѣду въ По̀, потому тамъ наши аристократы зиму проводятъ, по ихъ дѣламъ... Княгиня Зюзюкина уже изволили переѣхать... Имъ надо по довѣренностямъ...

— Стало, — перебилъ его Крутицынъ, не желавшій слушать подробностей о княгинѣ Зюзюкиной: — вы порученій не имѣете?

— Никакъ нѣтъ-съ. А на всякій случай. Если позволите вашъ адресъ.

— Это напрасно: я давать уроки не намѣренъ, да дольше весны и не останусь въ Парижѣ...

— Все же...

— Какъ вамъ будетъ угодно: я этой квартиры до отъѣзда не перемѣню...

— Вотъ тоже мнѣ говорили о русскомъ, господиномъ Ломовымъ прозывается... Желаетъ какой ни на есть работишки... Дали мнѣ его адресъ... вы позволите закурить папироску?

— Сдѣлайте милость.

— Такъ вотъ-съ, иду я его отыскивать, у чорта, съ позволенія сказать, на куличкахъ живетъ... и, я вамъ скажу, въ такомъ его помѣщеніи нашелъ. Признаюсь... я даже, вотъ мнѣ четвертый десятокъ идетъ, и не повѣрилъ бы ни въ жизнь, что русскій, все-таки вѣдь туристъ... въ такой, можно сказать, нищетѣ...

— Въ нищетѣ? — переспросилъ Крутицынъ.

— Логовище-съ какое-то, а не комната: темень, смрадъ, и на немъ самомъ ни бѣлья, ни прочей одежды. Теперь сами посудите, какъ этакого чадушку въ благородный домъ представить? Никакъ невозможно-съ!

— Что же онъ здѣсь дѣлаетъ?

— Повидимости, никакого занятія не имѣетъ.

— Эмигрантъ?

— Нѣтъ-съ, при паспортѣ.

— Учится?

— Книжекъ и письменнаго матеріала не видалъ-съ; да окромя кровати и мебели-то никакой, сколько помнится, нѣтъ въ его конурѣ...

— Вы помните его адресъ?

— Какъ же-съ, Rue des Ursulines, 28. Въ самомъ отчаянномъ кварталѣ. Тамъ тряпичникамъ самый водъ.

— Такъ вы и оставили господина Ломова?

— Пообѣщалъ... не хотѣлъ обезкураживать, да въ этакомъ видѣ какъ же возможно представить его въ благородное семейство...

Вышла пауза. Гость докурилъ папиросу. Крутицынъ не зналъ, о чемъ съ нимъ еще говорить.

— Имѣю честь кланяться, — произнесъ г. Толоконниковъ, поднимаясь съ кресла. — Если вамъ, паче чаянія, понадобится работа, вотъ мой адресъ...

И онъ подалъ карточку.

— Для себя врядъ-ли, — отвѣтилъ Крутицынъ... — развѣ для кого изъ русскихъ. И вы можете скоро пристроить всякаго?

— Если подходящій... будьте благонадежны. Я довольно извѣстенъ въ лучшихъ домахъ. Франковъ до десяти за часъ. Вы только извольте извѣстить. Мое почтеніе-съ.

Высокая фигура исчезла быстрѣе, чѣмъ появилась.

«Что это за баринъ?» спросилъ про себя Крутицынъ. «Коммисіонеръ по частнымъ порученіямъ, или просто господинъ, проникающій къ соотечественникамъ подъ разными предлогами?»

Разсказъ о русскомъ, живущемъ въ «логовищѣ», заинтересовалъ его. Онъ записалъ тотчасъ же адресъ и сообразилъ, что для статьи ему не мѣшало бы переписчика или писца подъ диктовку. Минутъ черезъ десять зашелъ къ нему Прохоровъ, съ кислой-прекислой миной, жалуясь разомъ на ломоту въ спинѣ, каттаръ и ячмень на лѣвомъ глазу. Крутицынъ разсказалъ ему о посѣщеніи искателя русскихъ учителей и полюбопытствовалъ узнать: не слыхалъ ли онъ о нѣкоемъ Ломовѣ?

— Нѣтъ, не слыхалъ, — отвѣтилъ Прохоровъ.

— Говорятъ, въ страшной нуждѣ.

— Что онъ здѣсь дѣлаетъ?

— Этого я отъ господина Толоконникова не добился.

— Навѣрно баклушки бьетъ. Я, признаюсь, собираюсь окончательно запереть дверь ото всѣхъ подобныхъ компатріотовъ.

— Да инымъ некуда дѣться.

— Кому возврату нѣтъ, еще другое дѣло. Что можно, каждый изъ насъ сдѣлаетъ; но разныхъ шелопаевъ!...

— И ихъ отчего же не направить?...

— Направишь ихъ. Это — отпѣтый народъ!

Крутицыну не понравился новый припадокъ рѣзкаго резонерства въ Прохоровѣ. Когда онъ ушелъ, Крутицынъ наскоро одѣлся и, выйдя на бульваръ, помѣстился въ омнибусѣ, который могъ довести его до царства тряпичниковъ.

Нашелъ онъ домъ, служившій берлогой соотечественнику. Это былъ отельчикъ, въ родѣ того, гдѣ Ксенія Николаевна помѣстилась по пріѣздѣ въ Парижъ, но еще грязнѣе, темнѣе и подозрительнѣе. Въ ложѣ привратника, подъ лѣстницей, въ самой глубинѣ сѣней, никого не было. Крутицынъ дожидался минутъ съ десять. Что-либо, похожее на гарсона, тоже не показывалось на лѣстницѣ. Онъ уже собрался вонъ, но на порогѣ наружной двери показалась старуха, повязанная платкомъ, какъ парижскіе пуассардки, съ усами подъ краснымъ носомъ. Она несла вязанку дровъ на крючкахъ.

— Monsieur Lomoff? — спросилъ ее Крутицынъ.

— Hein! — отозвалась она въ носъ. — S'y vous plait?

— Monsieur Lomoff?

— Vous demandez quelqu'un?

— Un jeun homme russe!

— Ah!...

Она опустила крючки съ дровами на полъ, подбоченилась, раскрыла огромный ротъ съ клыками зеленоватаго цвѣта и разсмѣялась.

— Le russe! — вскричала она своей осиплой гортанью: — en voilà un boyard! Cré nom! Qué'misère!...

Покачавши головой, потащилась она къ ложѣ, заглянула на доску съ ключами, опять покачала головой и сдѣлала Крутицыну знакъ идти за ней, остановилась на первой ступенькѣ, перегнулась всѣмъ туловищемъ назадъ, и показывая ему вверхъ по крутѣйшей, почти винтовой лѣстницѣ, крикнула:

— Au sixième, la porte au fond du colidor, je ne sais pas s'il y est; il laisse la clef à la porte, votre russe!

Крутицынъ почувствовалъ, что и въ этой берлогѣ соотечественникъ не пользуется особымъ почетомъ. Подъемъ въ шестой этажъ хоть кому могъ дать одышку. Добравшись до него, Крутицынъ въ темнотѣ сталъ двигаться ощупью по корридору и нащупалъ въ углу ручку узкой дверцы и ключъ. Онъ постучалъ. Отвѣта не было. Постучалъ онъ во второй разъ. То же самое. Онъ рѣшился пріотворить дверь.

Передъ нимъ открылось дѣйствительно «логовище». Такой мансарды еще не видалъ Крутицынъ. Не темнота ея, не чердачное окно и не низменность потолка поразили его, а глубокая, всеобъемлющая грязь и мизерабельность. Это логовище принадлежало къ разряду «кабинетовъ», которые когда-то описывала ему Ксенія Николаевна; но *какихъ* кабинетовъ! Кровать приставлена была къ самой двери и покрывала собою почти всю площадь чуланчика. Она подходила къ уровню полукруглаго стола, похожаго на столярный верстакъ. Больше, кромѣ прорваннаго стула —

никакой мебели! На постели и на столѣ валялось какое-то столпотворенія вавилонское тряпокъ, рванаго платья, грязныхъ носковъ, пустыхъ коробочекъ, изъ-подъ табаку, обглодковъ сыру, обрывковъ колбаснаго пузыря, газетъ, исписанныхъ листовъ, разрозненныхъ томовъ, скорлупы жареныхъ каштановъ... Съ четверть часа созерцалъ Крутицынъ это море грязи и безпорядочности.

«Кто же этотъ Ломовъ, если не эмигрантъ?» спрашивалъ онъ себя. «Какая судьба могла его довести по доброй волѣ до этакого житья? Тутъ должна быть драма... Такъ не бѣдствуютъ люди, не удрученные рокомъ».

Онъ согласился мысленно съ господиномъ Толоконниковымъ: подобная парижская обстановка русскаго немыслима даже и человѣку бывалому.

Хозяинъ отсутствовалъ. Крутицынъ заперъ логовище, сошелъ въ раздумьѣ въ ложу привратницы и, отдавая ей ключъ, сказалъ:

— Monsieur est sorti.

— Cré nom! Je le savais bin! Qué drole de pistolet, va!...

Оставлять свою карточку Крутицынъ не захотѣлъ.

«Зачѣмъ смущать его», подумалъ онъ, «это покажется барствомъ, я лучше зайду еще разъ или напишу ему».

Старуха не спросила, какъ объ немъ сказать, но онъ узналъ отъ нея, что «drole de pistolet» спитъ до перваго часа и тотчасъ уходитъ. Стало быть, застать его было не совсѣмъ-то легко.

Придя домой, Крутицынъ разсудилъ, что такой Ломовъ, кто бы онъ ни былъ, грамотѣ навѣрно обученъ. Онъ видѣлъ у него листы, исписанные довольно красивымъ русскимъ почеркомъ, французскіе книги и журналы. Въ переписчики онъ долженъ годиться, а человѣку въ такой крайности дорогъ каждый сантимъ.

На другой день нужно было Крутицыну сдѣлать справку въ русскомъ консульствѣ. Старшій чиновникъ пошелъ съ бумагой къ консулу, и Крутицынъ дожидался его, сидя противъ входной двери въ канцеляріи. Видитъ онъ: показывается на дорогѣ темная, малаго роста фигура, въ сакъ-пальто русскаго покроя, молодой малый съ блѣднымъ, неумытымъ лицомъ, длинными безпорядочными волосами темно-русаго цвѣта и полухмурой, полусконфуженной миной. Такія наружности народъ называетъ «потема». Въ рукахъ держалъ онъ мѣховую обшарканную шапку и, ступивши черезъ порогъ грязными, порыжѣлыми сапогами, дошелъ, какъ-то помедвѣжьи, до перваго стола, за которымъ сидѣлъ старичекъ-писецъ.

Что-то такое онъ ему шепнулъ, встряхнувъ волосами, какъ дѣлаютъ русскіе мастеровые въ работѣ.

Старичекъ указалъ головой на Крутицына. Сакъ-пальто пододвинулось къ креслу, гдѣ сидѣлъ Крутицынъ, и не поднимая головы, глухо выговорилъ по-русски:

— Работы нѣтъ ли у васъ?

Почему-то Крутицынъ тотчасъ же сказалъ про себя: «Это Ломовъ!»

Вопросъ былъ сдѣланъ въ одинъ звукъ и безъ всякихъ коментарій.

— Вамъ угодно имѣть работу? — спросилъ Крутицынъ.

— Да, я вотъ приходилъ узнать адресъ вашъ... Мнѣ сказывали тутъ, что у васъ переписка можетъ быть...

— Какъ же... ваша фамилія?

— Ломовъ.

«Такъ и есть», подумалъ Крутицынъ и хотѣлъ-было сообщить, что былъ уже въ логовищѣ, но удержался.

— Пожалуйте ко мнѣ завтра, въ десять часовъ.

— Хорошо.

И никакого больше разговору не было. Сакъ-пальто

выдвинулось изъ канцеляріи, а Крутицынъ, передъ которымъ встала опять картина неописуемаго «кабинета», глядѣлъ ему вслѣдъ, спрашивая: «Что такое можетъ быть господинъ Ломовъ?»

III.

Не въ десять, а въ половинѣ двѣнадцатаго пришелъ обитатель логовища. Крутицынъ рѣшилъ-было, что онъ не явится, и собрался идти завтракать.

— Который часъ? — былъ первый вопросъ Ломова.

— Половина двѣнадцатаго, — отвѣтилъ безъ всякаго ударенія Крутицынъ.

— Ишь ты!

Онъ усмѣхнулся съ нахмуренными бровями, и Крутицынъ, взглянувъ на его глаза, нашелъ, что они умные.

— Вы устали, — сказалъ онъ: — присядьте.

— Нѣтъ, чего тутъ. А я на счетъ времени. Часовъ у меня нѣтъ. Старуха, у насъ въ отелѣ, ко мнѣ не приходитъ. Вотъ и опоздалъ.

— Поздно ложитесь, быть можетъ?

— Это точно: поздно. И не спится. Свѣчка догоритъ. Валяешься... ну и проспишь... Папиросочку пожалуйте.

Онъ это выговорилъ не просительно и не вопросительно, а такъ сказать «положительно».

Крутицынъ, глядя на него съ возрастающимъ любопытствомъ, подалъ ему папироску. Ломовъ все еще не садился. Видно было, что въ немъ не жила привычка

мѣнять положеніе. Онъ почесалъ въ головѣ и, не глядя на Крутицына, спросилъ:

— На счетъ переписки?

Выговоривши эту фразу, онъ не ждалъ отвѣта на нее, а началъ оглядывать комнату, и прежде чѣмъ Крутицынъ собрался отвѣтить, замѣтилъ вслухъ:

— Квартирка хоть куда... И дерутъ же, чай, поди...

И на это онъ отвѣта не ждалъ, сдѣлавъ новое замѣчаніе:

— Ну и каминчикъ, и часики, и кушеточка, все какъ слѣдуетъ...

Крутицынъ стоялъ, слушалъ и улыбался. Отрывистыя фразы могли продолжаться до безконечности; но надо же было обратиться и къ дѣлу.

— Вы свободны цѣлый день? — спросилъ Крутицынъ.

— Свободенъ,—откликнулся Ломовъ, смотря совсѣмъ въ другую сторону, на шкапъ съ книгами: — ишь ты, и Прудонъ есть... это мы почитаемъ...

— У меня, — продолжалъ Крутицынъ: — будетъ двоякая работа: и переписка, и диктовка; если вамъ можно, приходите по утрамъ...

— Ладно. Только вотъ проспишь иной разъ.

— Ну, такъ лучше послѣ завтрака. Съ часу...

— Книжечку-то вы вотъ мнѣ эту пожалуйте... Давно я до нея добирался.

Онъ вынулъ желтый томикъ изъ ряда, стоящаго на полкѣ, и сталъ его перелистывать. Крутицынъ опять съ улыбкой обглядѣлъ его, но не хотѣлъ безпокоить...

Минуты черезъ три, Ломовъ поднялъ голову и спросилъ:

— Вы что?

— Да я, — отвѣтилъ ему добродушно Крутицынъ:— хотѣлъ бы порѣшить съ вами.

— Мнѣ все едино.

— Значитъ, съ часу до пяти... а условія ваши?

— Да побольше-то съ васъ содрать — получше.

Крутицынъ расхохотался: съ такимъ хмурымъ юморомъ была сказана фраза.

— За что же; вѣдь я пролетарій?

— Вы?.. Накось!... за квартиру-то что платите?

— Семьдесятъ франковъ.

— И пролетарій!...

— Ну, а Прудонъ какую часть заработка позволяетъ удѣлять на квартиру?

— Запамятовалъ.

— Шестую, если не ошибаюсь...

— Ну такъ что-жь?

— Я получаю сто съ небольшимъ рублей въ мѣсяцъ, по курсу 420 франковъ; шестая часть сколько выходитъ?

— Все же... кушеточка... гардинки...

— Такъ какъ же ваши условія? Я полагаю за почтовый листъ большаго формата, съ бортами...

— Пошире...

— Ну, хоть и пошире...

— Сколько положите?

— Франкъ...

— Ладно.

— Не обидно вамъ будетъ?

— Ладно, молъ.

— Или вы находите, быть можетъ, что такая цѣна слишкомъ мала?

— Да съ господами что-жь лишнее калякать...

Крутицынъ разсмѣялся.

— Я, значитъ, въ патроны попалъ? — спросилъ онъ.

— Извѣстное дѣло: хозяинъ. На васъ же будемъ работать.

— Видите ли, г. Ломовъ, — заговорилъ уже серьез-

нымъ тономъ Крутицынъ: — въ Парижѣ я цѣнъ не знаю; но въ Россіи я платилъ по пятиалтынному и по двугривенному за листъ писчей бумаги, больше мнѣ платить не случалось. Я не хочу, чтобы вы только согласились на мою плату; надо, чтобы вы нашли ее удовлетворительной.

Ломовъ вскинулъ волосами, поглядѣлъ на Крутицына изподлобья и усмѣхнулся, не мѣняя хмураго выраженія глазъ.

— Ну, доволенъ. Я вѣдь тоже цѣнъ не знаю.

— Справьтесь.

— А вы, пожалуй, другаго возьмете.

— Нѣтъ, не возьму.

— Хорошо-инъ. Когда же приходить?

— Да хоть сегодня, послѣ завтрака, въ часъ.

— А теперь который?

— Ровно двѣнадцать.

Ломовъ кивнулъ головой, помялся на мѣстѣ, обернулся какъ-то всѣмъ корпусомъ къ двери, потомъ опять сталъ передъ Крутицынымъ и вопросительно пробурчалъ:

— Деньгами вы богаты?

«Такъ и есть», подумалъ Крутицынъ: «будетъ просить за мѣсяцъ впередъ».

— Не особенно.

— То-то, а я было-хотѣлъ...

— Да мы лучше будемъ разсчитываться понедѣльно.

— Это ладно, да мнѣ бы... четыре су.

— Четыре су? — изумительно переспросилъ Крутицынъ.

— Да, я бы вотъ пока въ кремери зашелъ.

— Что-жь вы на четыре су сдѣлаете?

— Ишь ты, а еще пролетаріемъ себя прозывалъ! Какъ что? На три су стаканъ мазаграну, да на су хлѣбъ...

«Да пойдемте завтракать», хотѣлъ-было предложить ему Крутицынъ, но побоялся его обидѣть.

— Вотъ четыре су, — подалъ онъ съ улыбкой Ломову.

Тотъ сунулъ ихъ въ карманъ сакъ-пальто, нахлобучилъ шапку и, оборачиваясь къ двери, проговорилъ:

— Тамъ часы есть, такъ я не боюсь, не опоздаю. Счастливо оставаться...

— Что за экземпляръ! — мысленно вскричалъ Крутицынъ, когда дверь стукнула за Ломовымъ. — Кто онъ: студентъ, грамотный крестьянскій парень, бывшій дворовый или кантонистъ? И зачѣмъ его нелегкая занесла въ Парижъ, гдѣ онъ, видимо, ничего не дѣлаетъ и ничего не могъ имѣть въ виду?

Ни одного изъ этихъ вопросовъ Крутицынъ, конечно въ одиночку, не рѣшилъ. Вообще же Ломовъ скорѣе понравился ему. Его неопрятную внѣшность онъ тотчасъ же забылъ, а угловатость этого обитателя «логовища» не отталкивала. Онъ нисколько не рисовался своей манерой.

«Бѣдняга!» сказалъ Крутицынъ, подведя итогъ своему впечатлѣнію: «надо его пристроить, присмотрѣвшись къ нему поближе.»

IV.

На первый сеансъ Ломовъ не опоздалъ. Ровно въ часъ онъ вдвинулся въ салончикъ Крутицына, гдѣ уже не было піанино Ксеніи Николаевны.

— Ну-съ, — сказалъ ему Крутицынъ: — начнемъ благословясь. Почеркъ у васъ какого рода?

— Больно хитро спрашиваете, — отозвался Ломовъ, садясь за столъ.

— Убористый или разгонистый?

— Да поразгонистѣе-то съ вашимъ братомъ повыгоднѣе... Вотъ увидите... вы диктовать что ли будете?

— Диктовать. Вы скоро пишете?

— Не больно. Лекціи я не мастеръ былъ записывать; да и на какой шутъ!

«Былъ, стало быть, въ университетѣ», отвѣтилъ про себя Крутицынъ.

— Пишите!

Началась диктовка. Ломовъ, сильно нагибаясь надъ столомъ, водилъ перомъ довольно медленно, но красивымъ почеркомъ. Крутицынъ, ходя взадъ и впередъ по комнатѣ, останавливался позади его фигуры. При ближайшемъ обслѣдованіи, Ломовъ оказывался адски-нечистоплотнымъ и отъ него шелъ даже душокъ. Руки недѣли съ двѣ не знали мыла и отъ крученыхъ саморучно папиросъ пальцы всѣ побурѣли.

Сдѣлалъ онъ чернильное пятно, мазнулъ его пальцемъ и обтеръ пальцемъ о волосы.

— Смотрите, — сказалъ онъ, не поднимая и не мѣняя тона, поднеся подъ глаза Крутицыну исписанную страницу. — Такъ ладно будетъ? Вы вѣдь, поди, грамотѣй, ошибокъ какихъ нѣтъ ли?

Крутицынъ просмотрѣлъ страницу и нашелъ ее, вообще, грамотно написанной, кромѣ нѣкоторыхъ особенностей.

— Вы позволите маленькое замѣчаніе? — сказалъ онъ мягко.

— А что?

— Вы, я вижу, любите отставлять частицы тамъ, гдѣ ихъ нужно писать слитно, со словами....

— Нужно... а кто приказалъ?

— Правило.

— Не все равно... ну, да я буду ставить, какъ вы толкуете.

Работали они часа полтора, и Крутицынъ предложилъ сдѣлать передышку. Ломовъ началъ скручивать папироску, не оборачивая головы.

— Вамъ кто обо мнѣ говорилъ? — спросилъ Крутицынъ.

— Да есть тутъ мужиченка, Толоконниковъ прозывается, такъ зрящій, лѣзетъ во всякое мѣсто. Уроки хотѣлъ достать, а между прочимъ только брешилъ. Онъ и сказывалъ.

— Вы давно здѣсь?

— Да ужь давненько, скоро годъ будетъ.

— Годъ?

— Да, мы осенью, такъ къ зимѣ пріѣхали.

— Васъ, стало, было нѣсколько человѣкъ?

— Трое было спервоначалу. Волжскій одинъ паренекъ, машину онъ изобрѣлъ, ну и пріѣхалъ насчетъ привиллегіи хлопотать, я съ нимъ все время и путался.

— Служили ему переводчикомъ?

— Нѣтъ, я по-французски не мастеръ говорить; ну, да все побойчѣе его, а онъ, почитай, совсѣмъ ни гу-гу.

— Изобрѣлъ машину какого рода?

— По телеграфной части. Штука богатая. Ему здѣсь модель мастерили. Теперь готова.

— Онъ все время и жилъ здѣсь безъ языка?

— Да и объ эту пору, не знаю, убрался ли. Я съ нимъ компанію не вожу теперь, больно ужь безобразничать началъ.

— Какъ же это?

— Зашибается хмѣльнымъ. Ну, утромъ-то ничего, въ мастерскую пойдетъ, туда, сюда, а за обѣдомъ-то заложитъ, и потянетъ его въ кафе-шантанъ, а спиртный-то товаръ здѣсь, сами знаете, дешевъ, ну, онъ и закурилъ, и почнетъ куражиться, такъ-то изо-дня въ день и хороводится.

— И думаетъ успѣть со своимъ изобрѣтеніемъ?

— Большія деньги можетъ зашибить, да что дѣлать-то съ ними станетъ! На водку да на гулящихъ дѣвокъ все и пойдетъ...

Ломовъ затянулся и неодобрительно тряхнулъ головой.

«Трезвъ и цѣломудренъ», отмѣтилъ Крутицынъ.

Началась снова диктовка. Ломовъ писалъ и посапывалъ, но частицы продолжалъ отдѣлять. Когда работа кончилась, Крутицынъ спросилъ его: желаетъ ли онъ, чтобы плата производилась по субботамъ, или же иначе какъ?

— Пожалуй, и по субботамъ, — промычалъ Ломовъ, и почесавши въ затылкѣ, неизмѣнной интонаціей вопросилъ: — деньгами вы не богаты?

«Неисправимъ», подумалъ Крутицынъ и тутъ же добавилъ: «надо ему дать впередъ».

— Вамъ, быть можетъ, крайность, — проговорилъ онъ вслухъ: — такъ вы, пожалуйста, не стѣсняйтесь.

— Шесть су соблаговолите.

— Только?

— Пообѣдаю роскошно.

— На шесть-то су?

— А то какъ же? Мазагранъ — три су, хлѣбъ — на су, сыру — на два су. Чего еще, вѣдь мы не хозяева.

— Да вы, я вижу, одними мазагранами питаетесь?

— Это — первая статья. Лучше пойла на свѣтѣ нѣтъ.

— Вотъ отъ него-то у васъ и безсонница и поздно встаете.

— Пожалуй, и такъ, да нашему брату гдѣ же барскіе порядки соблюдать: утромъ кофейку со сливочками, а тамъ позавтракать котлетку съ горошкомъ или омлетъ какую-нибудь, а тамъ опять въ шесть часовъ цѣлый обѣдъ: и раки морскіе, и спаржа, и шеврели всякіе...

Онъ даже сплюнулъ, и Крутицынъ подмѣтилъ у него въ губахъ довольно-таки явственную черту раздраженія.

— Этта какъ-то, — продолжалъ Ломовъ, стоя уже у дверей: — обѣдалъ я тутъ на бульварѣ Сенъ-Мишель, у Петіо, въ семьдесятъ сантимовъ обѣдъ полный.

— И не схватили воспаленія желудка? — спросилъ шутливо Крутицынъ.

— Ишь, что выдумаютъ... воспаленія! Роскошь—обѣдъ! Такой слѣдуетъ про великій праздникъ приберегать, а не то-что каждый день. Чего-чего не даютъ: и супу, какого хочешь, и три блюда на выборъ, рыба, сиве всякіе.

— Изъ кошекъ...

— Вы, извѣстное дѣло, баринъ! Вамъ и причудится, что кошка; а я вамъ говорю: обѣдъ — роскошь! Послѣ двое сутокъ облизываешься.

Крутицыну казалось, что Ломовъ и теперь еще облизывается. Заводить еще разъ рѣчь о деньгахъ было не ловко, хотя онъ и очень жалѣлъ питательной системы соотечественника. Ломовъ получилъ свои шесть су и, нахлобучивъ шапку, спросилъ:

— Завтра объ эту же пору?

— Пожалуйста, — крикнулъ ему въ корридорѣ Крутицынъ.

Первый сеансъ расположилъ Крутицына, весьма рѣшительно, въ пользу обитателя логовища. Ему стало его безусловно жаль. Что бы ни привлекло Ломова въ Парижъ, свою «мизерію» сносилъ онъ съ простой и внутренней порядочностью, которыхъ не встрѣтишь у испорченныхъ шатуновъ.

Крутицынъ воспользовался первой паузой слѣдующаго сеанса, чтобы поразузнать, въ самой скромной формѣ, болѣе точныя подробности о прошедшемъ Ломова, и разсудить: можно ли его направить къ какому-нибудь доброму исходу.

— Есть у васъ батюшка? — спросилъ онъ между прочимъ.

— Батька у меня подохъ.

Покоробило Крутицына; но онъ все-таки пошелъ дальше:

— А матушка?

— И мать подохла.

«Часъ отъ часу не легче!» подумалъ Крутицынъ, и боясь опять ломовскаго глагола, не сталъ уже разспрашивать о другихъ родныхъ.

А Ломовъ произносилъ свой глаголъ безъ всякаго цинизма, даже съ кроткимъ выраженіемъ лица.

Узналъ Крутицынъ, что Ломовъ рано остался сиротой и воспитанъ былъ опекуномъ-плутомъ. Происхожденія своего онъ въ точности не обозначалъ; но сколько могъ Крутицынъ догадаться, былъ онъ изъ чиновничьихъ или мелкодворянскихъ дѣтей, учился въ гимназіи, походилъ около университета, не то въ Казани, не то въ Петербургѣ, да на томъ и забастовалъ. Опредѣлить: что онъ дѣлалъ въ университетскихъ аудиторіяхъ, Ломовъ, кажется, самъ не могъ. Говорилъ онъ и объ житьѣ въ земледѣльческой академіи, но какой — не выяснилось достаточно изъ его разсказовъ. Онъ выражался такъ, какъ-будто собесѣдникъ уже давнымъ-давно знакомъ съ его біографіей. Начиналъ онъ больше:

— А вотъ у насъ, тоже, собрались ребята.

А гдѣ у насъ? Крутицынъ его и останавливалъ вопросами, но получалъ разные отвѣты: иной разъ «въ Казани», другой «въ Питерѣ», а то такъ просто: «тамъ».

Но все-таки, кое-какъ, смогъ Крутицынъ возстановить одиссею Ломова до отъѣзда за-границу.

— Зачѣмъ же вы двинулись въ Парижъ? — спросилъ онъ, наконецъ, своего секретаря, когда всѣ прелиминаріи были исчерпаны.

Ломовъ, разумѣется, почесалъ у себя въ затылкѣ и съ разстановками выговорилъ:

— Видите, спервоначалу... хотѣли мы въ Америку. Землячки мои и я.

— Книжку Диксона, что ли, прочли?

— Ну, да; слухомъ земля полнится. Житье-то больно привольное тамъ.

— Гдѣ?

— А тамъ, вонъ гдѣ новые-то люди живутъ. Тутъ вотъ и паренекъ этотъ подвернулся съ машиной-то: ѣдемъ, молъ, братцы, коли пофитулитъ, я васъ снаряжу и въ Америку, и на все обзаведеніе дамъ.

— А вы какъ же думали устроиваться — общиной?

— Извѣстно. Ну, и сѣли на судно, голландцы насъ тащили, на ихнихъ харчахъ, пища знатная была и водка шведская тоже. Я-то не пью, а другіе одобряли; плыли-плыли, насмотрѣлся я на всякую эту чухну, тупѣйшій народецъ...

— Вѣдь не все же до Парижа моремъ плыли?

— До Парижа-то не мало колесили, выгадывали, а все въ копѣйку намъ въѣхало.

— И съ тѣхъ поръ отсюда никуда?

— Да куда же! Одинъ-то товарищъ подохъ на дорогѣ, тифъ схватилъ, другой вернулся, третій поѣхалъ дальше; а гдѣ они — ни слуху, ни духу: сказывали, ровно видѣлъ его кто въ Нью-Йоркѣ, а я неизвѣстенъ.

— Остались вы, стало быть, одни какъ перстъ?

— Вотъ съ паренькомъ-то возжался, да больно ужь безобразничать началъ.

Крутицыну совѣстно было спрашивать: «на что же жилъ Ломовъ нѣсколько мѣсяцевъ?»

Онъ сдѣлалъ этотъ вопросъ въ другой формѣ.

— Вы, конечно, сохранили какія-нибудь связи съ Россіей?

— Какія связи... рай у насъ, пишутъ... лѣнь-народъ.

— И легко находили работу?

— Нѣтъ, никакой работы не фитулило... Прослышалъ,

я этто, лѣтомъ еще, что въ Версали езуиты какіе-то проживаютъ и переписка у нихъ есть русская. А въ карманѣ у меня всего-то было отдать за омнибусъ; ну, думаю, работишки дадутъ, такъ ужь франка попрошу впередъ. Нашелъ я ихъ, домина-палаты, и садъ, и всякія угодья, говорю привратнику: «доложите, молъ, такой-то». Ввели меня въ прихожую. Жду. Отворилъ дверь какой-то старичишка и спрашиваетъ: «ваша фамилія Ломовъ?» — «Ломовъ». «Не надо намъ васъ, вы такой сякой»!... Я такъ, на голодуху-то, да съ шишомъ въ карманѣ пѣшкомъ изъ Версали и прибрелъ, верстъ, почитай, добрыхъ тридцать будетъ.

Хмурый юморъ не оставлялъ Ломова въ этомъ разсказѣ. Имъ онъ вполнѣ разъяснилъ Крутицыну безпомощность своего положенія.

— Неужели вамъ не хочется отсюда? — спросилъ онъ его.

— Подожду... авось и укачу.

— Куда, въ Америку?

— Коли товарищъ живъ, онъ мнѣ смастеритъ.

— А въ Россію?

— Что я тамъ забылъ?

Сказалъ онъ это безъ горечи; но фраза была посильнѣе прохоровской.

— Вы съ паспортомъ?

— Какъ же.

— Стало быть, можете вернуться?

— Чего не вернуться?

Но возвращаться Ломовъ, видимо, не хотѣлъ, и ни мало не страдалъ ностальгіей. Крутицынъ ломалъ себѣ голову: какъ онъ могъ сносить свое парижское житье, и разводилъ только руками.

Сталъ Ломовъ заработывать до двадцати пяти франковъ въ недѣлю; но порядка все-таки нельзя было установить

по части сроковъ платы. Не отражался заработокъ и на внѣшнемъ видѣ. Разъ Крутицынъ шутя прошелся насчетъ махровыхъ и необычайно грязныхъ манжетъ Ломова. Минутъ черезъ пять Ломовъ говоритъ ему:

— Дайте-ка мнѣ ножницы.

И, оттянувши рукава рубашки, онъ откромсалъ обѣ манжеты.

Въ другой разъ Крутицынъ намекнулъ ему на гигіеничность бани. Ломовъ, добродушно улыбаясь, отвѣтилъ ему:

— У меня въ головѣ три царства: минеральное, растительное и животное.

Крутицынъ махнулъ рукой, но продолжалъ думать на тэму: какъ навести Ломова на какую-нибудь дорогу?

V.

Рике́ продолжалъ отсиживать свое «темничное заключеніе» и писалъ книгу, гдѣ излагалъ квинтъ-эссенцію своихъ философскихъ, политическихъ и соціальныхъ принциповъ. Крутицынъ зашелъ къ нему утромъ, до завтрака, и прослушалъ нѣсколько страницъ по корректурѣ.

— Qu'en dites-vous, cher animal?

— On va vous coffrer, de nouveau!

Съ этимъ Рике́ безусловно согласился, но прибавилъ, что не напечатать книги онъ не можетъ, что это обѣтъ его юности, и что онъ теперь слишкомъ обсидѣлся, чтобы брать въ соображеніе quelques misérables six mois de prison.

Зная, что Рике́ знакомъ со всякимъ народомъ, Крутицынъ заговорилъ съ нимъ о своемъ новомъ секретарѣ

и просилъ совѣта: куда бы можно было его пристроить, въ рабочую ассоціацію или въ другое мѣсто?

— Je crois, que j'ai son affaire! — тотчасъ же вскричалъ Рикé.

Это восклицаніе напомнило Крутицыну точ но такой же по характеру разговоръ, когда онъ пришелъ къ Рикé спрашивать объ учителѣ декламаціи.

«Неужели я и тутъ не буду удачнѣе?» промелькнуло у него въ головѣ.

— Видали вы у меня,—спросилъ Рикé:—русскаго... очень большаго роста?

— Нѣтъ, не видалъ.

— Его зовутъ Filibert.

— Русскаго-то?

— C'est son nom de guerre.

— Первый разъ слышу.

— Это прекрасный малый. Онъ много бѣдствовалъ, и началъ здѣсь въ Парижѣ учиться сапожному ремеслу.

— Быть не можетъ!

— Parole! И вотъ нѣсколько вашихъ компатріотовъ помогли ему устроить маленькую мастерскую. Онъ теперь можетъ идти, и его мечта — собрать вокругъ себя такихъ же бѣдняковъ, какъ онъ, и образовать маленькую кооперацію... Да вамъ ничего объ немъ не разсказывалъ Прохоровъ?

— Ничего.

— Видите, какъ онъ скроменъ. Впрочемъ, что же я вамъ буду проповѣдывать. Vous étes un converti. Вы вѣдь помирились съ Прохоровымъ?

— Окончательно.

— Онъ вамъ ни слова не сказалъ про Филибера; а я отлично знаю, что онъ принимаетъ въ немъ участіе и не на словахъ только. Другой бы, если и не хвалился этимъ, то уже далъ бы тонко замѣтить; а онъ ни слова...

C'est peut-être une vertu bourgeoise; mais c'en est une.

— Стало быть, Прохоровъ прекрасно знаетъ этого Филибера и можетъ мнѣ разсказать про его мастерскую все, что слѣдуетъ?

— Разумѣется, да и я могу. Я тамъ не былъ. Она заведена всего мѣсяца полтора; но я знаю, что дѣло идетъ... Tenez... вотъ вамъ ботинки ихъ производства.

Онъ поднялъ ногу, и Крутицынъ осмотрѣлъ ботинку: ботинка оказалась добропорядочной.

— Cher animal, — пригласилъ его Рикé: — donnez leur votre clientèle.

— Когда онъ у васъ будетъ, этотъ Филиберъ? — освѣдомился Крутицынъ.

— Ему некогда ходить часто. Онъ заходитъ больше по четвергамъ. Вотъ вамъ его адресъ.

Крутицынъ прочелъ на билетикѣ: «Filibert. Chaussures en tous genres. 9 Rue du Vieux Colombier. Au fond de la cour».

«Вонъ оно какъ компатріоты-то начали дѣло дѣлать», подумалъ онъ: «вотъ бы и Ломову пристать къ нимъ».

Въ тотъ же день онъ зашелъ къ Прохорову и разспросилъ его о русскомъ сапожникѣ. Прохоровъ заговорилъ объ немъ, по обыкновенію, безъ всякихъ жантильностей, но сочувственно.

— Да, сапоги тачаетъ, — произнесъ онъ со своей улыбкой: — а былъ драгунскимъ поручикомъ, или чуть-ли даже не ротмистромъ. Изъ всѣхъ нашихъ шатуновъ онъ, кажется, порядочнѣе и дѣльнѣе. По крайней мѣрѣ съумѣлъ взяться за трудъ. Онъ ко мнѣ заходитъ; работаетъ онъ очень не дурно. Да вотъ на мнѣ ботинки — поглядите.

Опять Крутицынъ осмотрѣлъ ботинку, нашелъ, что она сработана добропорядочно, и опять мысленно одобрилъ компатріота.

О прошедшемъ Филибера Прохоровъ не сталъ распространяться, и Крутицынъ еще разъ оцѣнилъ его скромность. Выходя отъ Прохорова, онъ мысленно поработалъ на тэму: «какъ обманчива наружность». Факты всѣ говорили въ пользу Прохорова и то и дѣло выказывали его съ симпатичной стороны; но Крутицынъ все-таки продолжалъ жалѣть объ отсутствіи въ этой натурѣ высшаго изящества. И не простой диллетантизмъ осужденія копошился въ немъ. Онъ досадовалъ, жалѣя о недодѣланности натуры Прохорова, за то поколѣніе, къ которому принадлежалъ соотечественникъ. Видимо, натура была изъ самыхъ крупныхъ; но священный огонь тускнѣлъ отъ какой-то копоти...

На слѣдующее утро Крутицынъ предпринялъ путешествіе на rue Colombier. Нашелъ онъ дворъ и на дворѣ стеклянную дверь съ изображеніемъ сапога. Дверь была заклеена кое-гдѣ бумагой; отворилъ онъ ее и очутился въ тѣсной мастерской. Налѣво стоялъ станокъ съ колодками и всякимъ сапожнымъ снарядомъ; направо прорванный диванчикъ и столъ. Прямо на табуретѣ сидѣлъ кто-то, низко наклонясь, и стучалъ сильно молоткомъ по каблуку неотчищеннаго сапога, притянутаго ремнемъ къ колѣну. Вообще, въ мастерской сказывался сильный безпорядокъ, и сквозь пыльную распахнувшуюся занавѣску Крутицынъ могъ разглядѣть, что и «arrière boutique» была такихъ же свойствъ.

— Monsieur Filibert! — окликнулъ Крутицынъ.

Человѣкъ, колотившій молоткомъ по каблуку, приподнялъ голову и сказалъ голосомъ, въ которомъ слышался насморкъ.

— C'est moi.

Крутицынъ оглядѣлъ его лицо. Оно было своеобразно, но весьма некрасиво. Рябины рѣзко осѣлись на щекахъ и на носу, покраснѣвшемъ отъ простуды. Голубые

добрые глаза смотрѣли воспаленно. Широкій ротъ съ нечастыми зубами какъ-то перехватывалъ нижнюю часть лица, точно клещами. На подбородкѣ торчали бѣлокурые волосики, а голова покрывалась безпорядочными прядями такихъ же свѣтлыхъ волосъ. На Филиберѣ надѣта была черная шерстяная блуза. Длинныя-предлинныя ноги въ обрѣзанныхъ старыхъ ботинкахъ болтались въ жиденькихъ штанишкахъ.

— Мнѣ далъ вашъ адресъ, — началъ Крутицынъ по-русски: — знакомый вашъ Рике́.

— Пріятель...

— И Прохоровъ тоже...

— А!... хорошій онъ человѣкъ.

Оба замѣчанія были сдѣланы «между прочимъ» искреннимъ и молодымъ тономъ. Крутицыну тонъ понравился.

— Вамъ сапожки? — спросилъ Филиберъ.

Заказывать Крутицынъ собственно не собирался, но отказать не захотѣлъ.

— Да, — выговорилъ онъ безъ запинки: — если вы найдете время.

— Какъ не найти... ха, ха... только давайте побольше заказовъ. Мы хоть по десяти паръ въ день. Да что вы стоите, присядьте вотъ на диванчикъ. Ужь извините, не совсѣмъ у насъ авантажно; да не убираться и съ работой... гдѣ ужь чистоту соблюдать!

Голосъ Филибера звучалъ простуженно, но съ какой-то вибраціей, располагавшей къ нему собесѣдника. Онъ часто и пріятно улыбался, не смотря на свой утиный ротъ.

— Вы одни работаете? — освѣдомился Крутицынъ.

— Какъ можно. Товарищъ есть. Онъ понесъ заказъ. А что не сможемъ, то отдаемъ. Вотъ тутъ-то и запинка, — продолжалъ онъ, отставляя сапогъ къ сторонѣ: — безъ батраковъ-то, видно, и въ коопераціи трудненько! Ну, да мы устроимся какъ-нибудь, только бы насъ че-

ловѣкъ пять было; а я говорю — въ большихъ-то ассоціаціяхъ и не могутъ обойтись безъ оксильеровъ...

Онъ заговорилъ съ Крутицынымъ о вопросахъ общиннаго труда съ необычайной простотой, точно они наканунѣ толковали о томъ же предметѣ. Это, опять-таки, понравилось Крутицыну.

— Такъ вы бы съ удовольствіемъ взяли еще товарища?

— Двоихъ, троихъ, сколько хотите! Я, какъ завелъ эту лавчонку — добрые люди поддержали — сейчасъ же положилъ, что патронствовать я не желаю, а предоставляю мастерскую съ наймомъ квартиры, инструментомъ и прочей рухлядью коопераціи изъ русскихъ или кто съ ними держится. Ну, вотъ началось дѣло. Не знаю, какъ пойдетъ. Разумѣется, это не въ бирюльки играть, а вѣдь у насъ любятъ больше лясы точить. Да и я, грѣшный человѣкъ, не такой работникъ, какъ бы слѣдовало. Прихварываю. Простуды всякія да ревматизмы. Людей, людей намъ подавайте, и шутя по пяти франковъ на брата заработаемъ.

— Въ день?

— Извѣстно.

— Ну, а до сихъ поръ?

— Гдѣ же! хорошо, кабы перепадало и по три. Магазинная работа, знаете, какъ сбиваетъ цѣны. Вотъ вы небось. Запроси съ васъ тридцать франковъ за ботинки, станете кричать: дорого; а коли порядочный матеріалъ поставить, такъ съ пары-то больше не придется трехъ — четырехъ франковъ барыша... то-есть заработной платы.

— Вы знакомы, я вижу, съ здѣшнимъ кооперативнымъ міромъ, — замѣтилъ Крутицынъ.

— Малую толику потолкался я промежду всякаго народа.

— И что же скажете?

— Есть ребята славные. И два — три общества на самыхъ широкихъ началахъ. А вообще-то, по правдѣ сказать, заросло буржуазнымъ жиромъ.

— Будто?

— Да какъ же, помилуйте. Каждый норовитъ, какъ бы ему поскорѣе пайщикомъ сдѣлаться и капиталишко скопить, а потомъ свою лавочку открыть и батраковъ въ такой же бараній рогъ скручивать, въ какой его самого гнули. Это не кооперація!

Филиберъ всталъ послѣ этого восклицанія во весь ростъ и оказался съ цѣлую «коломенскую версту».

— Нѣтъ, это не настоящее дѣло! — началъ онъ въ болѣе нервномъ тонѣ, но безъ раздраженія. — Коли ассоціація, такъ чтобы каждый могъ свободно входить, а тутъ заставы всякія, въ видѣ паевъ да взносовъ, да ограниченное число членовъ. Ну, и выйдетъ то же купецкое компанейство, и выѣзжаютъ на батракахъ, на оксильерахъ, и тѣ на нихъ работаютъ, какъ на чистыхъ патроновъ...

Все сказанное Филиберомъ подходило подъ то, что самъ Крутицынъ зналъ и думалъ о большинствѣ парижскихъ коопeрацій; но теоретическая бесѣда не отвлекла его отъ цѣли посѣщенія.

— Мнѣ кажется, — сказалъ онъ Филиберу: — я вамъ достану товарища, только его надо будетъ взять въ выучку.

— Съ нашимъ удовольствіемъ, присылайте хоть сегодня. А мѣрочку-то позвольте.

Произошло сниманіе мѣрки, послѣ чего Филиберъ спросилъ:

— Вы церемонный баринъ?

— Нѣтъ, а что?

— Вѣдь мы сапожники простецкіе. Капиталовъ у насъ нѣтъ, такъ не пожалуете ли на матеріалъ?

— Съ большимъ удовольствіемъ.

— Мы вамъ въ двадцать-два франка поставимъ.

Крутицынъ отдалъ всѣ деньги впередъ и поспѣшилъ предупредить, что ему ботинки «не къ спѣху».

— А Прохорова часто видите? — спросилъ его Филиберъ.

— Частенько.

— Значитъ, вы его выносите?

— И очень.

— Сколько народу его ругаетъ. Такую оболочку имѣетъ, а человѣкъ добрѣйшій.

— Я это знаю.

— Извѣстно, не такой, какъ Рике́: тотъ совсѣмъ малина-человѣкъ; а Прохоровъ съ ноготкомъ... Ну, я опять заколочу, вы извините; а товарища намъ присылайте. Мы его сейчасъ же въ члены возьмемъ.

Крутицынъ пожалъ руку драгуна-сапожника и просилъ на прощанье навѣстить его въ свободную минуту.

VI.

— А какъ вы на счетъ ремесленной работы? — спросилъ онъ въ тотъ же день Ломова.

— Чего дѣлать?

— Да хоть бы, напримѣръ, сапоги шить?

Ломовъ, почесавши въ затылкѣ, выговорилъ:

— Въ батраки не пойду.

— Кто говоритъ въ батраки. Видите ли, Ломовъ, право бы вамъ не мѣшало на себя оглянуться.

— Какъ это?

— Нельзя же вамъ здѣсь въ Парижѣ оставаться,

между небомъ и землей. Вѣдь работа, какую вы теперь имѣете у меня, непрочная вещь. Надо мнѣ ваше писаніе — хорошо, а кончилъ я статью, вотъ вы и остались безъ денегъ.

— Это точно.

— Стало быть, не мѣшаетъ пристроиться, коли вы не хотите возвращаться въ Россію.

— Что я тамъ забылъ! — выговорилъ Ломовъ, на этотъ разъ уже съ бо́льшей рѣзкостью. — Голодать-то здѣсь все лучше...

— Будто нельзя тамъ найти дѣла?

— Нашему брату нельзя. Я, въ Питерѣ живучи, еле-еле пять рублей выхаживалъ на урокахъ. Въ деревню въ волостные писаря не пускаютъ. Вѣдь это вамъ, господамъ, — лафа.

Онъ не договорилъ и уткнулъ носъ въ листъ почтовой бумаги, лежавшій передъ нимъ.

— Ну, прекрасно, — замѣтилъ успокоительно Крутицынъ: — не было вамъ житья въ Россіи, такъ рѣшимъ, по крайней мѣрѣ, вопросъ вашего заграничнаго существованія...

— Да вотъ подожду... чего торопиться-то... изъ Америки придетъ письмецо.

— А какъ оно будетъ идти два года?

— Туда и даромъ довезутъ... матросомъ, али какъ ни то...

— Отчего же вы не ищете случая?

— Подожду.

— Но для жданья надо пить-ѣсть, это первое дѣло; а второе дѣло, для вашей американской программы не мѣшаетъ знать хоть какое-нибудь рукомесло...

— Это точно.

— Вотъ видите, а знакомы ли вы съ какимъ мастерствомъ?

— Нѣтъ, никакого не знаю.

— Я думаю, что здѣсь вамъ представляется случай поступить въ хорошую выучку и въ условіяхъ, которыя всего больше подходятъ подъ ваши симпатіи.

Голова Ломова поднялась, и хмурое лицо выразило пріятное любопытство.

— Вы взаправду? — спросилъ онъ.

— Взаправду. Я познакомился съ однимъ русскимъ... да вы можетъ про него слышали. Его зовутъ Филиберъ.

— Филиберъ... — повторилъ раздумывая Ломовъ: — нѣтъ, такого имени не слыхивалъ.

— Онъ выучился сапожному дѣлу, завелъ мастерскую на кооперативныхъ началахъ и весьма радъ будетъ всякому товарищу.

Ломовъ всталъ и совсѣмъ поднялъ голову.

— Русскій? — спросилъ онъ.

— Да, настоящій русскій.

— Изъ господъ?

— Онъ былъ, слышно, офицеръ; но въ немъ теперь ничего не видно офицерскаго. Мнѣ онъ очень понравился.

— Вы были у него, значитъ?

— Былъ вчера и заказалъ даже ботинки.

— Ишь ты!

— Вы съ нимъ навѣрно сойдетесь. Онъ только и мечтаетъ о томъ, какъ бы повести дѣло сообща, безъ батраковъ и патронской эксплуатаціи.

— Ну, значитъ, душа-человѣкъ. Накось! Я и слухомъ не слыхалъ. Что же — первый сортъ. Чего еще лучше? Въ такую-общину я сейчасъ поступлю, и все ученье пройду.

Онъ заходилъ, противъ обыкновенія, по комнатѣ и сталъ живѣе скручивать папиросу.

— Вы удѣлите, — говорилъ ему Крутицынъ: — ча-

совъ по пяти на вашу выучку, а остальное время до обѣда будете у меня работать.

— Время какъ не найти!...

— Только надо ужь вставать-то пораньше.

— И вставать буду; вы адресъ мнѣ пожалуйте, я сегодня же послѣ писанья пойду.

Крутицынъ далъ ему адресъ и былъ очень обрадованъ такимъ скорымъ рѣшеніемъ Ломова. Работали они меньше обыкновеннаго. Ломовъ выказывалъ пріятное волненіе, и Крутицынъ хотѣлъ поскорѣе отпустить его.

Съ распустившимся отъ улыбки лицомъ, явился на другой день Ломовъ и даже крякнулъ на особый ладъ, подавая Крутицыну все также грязную руку.

— Были? — спросилъ его увѣренно Крутицынъ.

— Еще бы!

— И что-жь?

— Пріятели — одно слово! Сейчасъ столковались, потому нашего поля ягода человѣкъ, хоть и былъ въ драгунахъ...

— Начинаете работу?

— Да, я совсѣмъ къ нимъ переберусь.

— На житье?

— Да, на житье.

— Они, кажется, не богаты помѣщеніемъ.

— Не богаты... Квартира — роскошь! За перегородкой спальня какая! Тамъ двѣ кровати; а въ мастерской, чай видѣли, диванъ стоитъ?

— Видѣлъ.

— Ну такъ я на немъ спать буду.

Крутицынъ хотѣлъ-было сказать, что ему, конечно, будетъ не хуже, чѣмъ въ «логовищѣ», но удержался; онъ не выдавалъ еще Ломову тайны своего перваго посѣщенія.

— И васъ принимаютъ членомъ ассоціаціи? — спросилъ онъ.

— Какже. Когда выучку пройду, барышъ будемъ дѣлить поравну.

— Ну, вотъ, Ломовъ, вы и устроитесь понемногу, и когда придетъ письмецо изъ Америки, будете уже заправскимъ мастеромъ.

Ломовъ опять крякнулъ и отъ внутренняго довольства не отдѣлилъ ни одной частицы и даже неопредѣленныя наклоненія сталъ писать, на радостяхъ, безъ мягкихъ знаковъ.

Писанье продолжалось въ тѣ же часы. Крутицынъ разспрашивалъ Ломова: какъ идетъ ученье?

— Присматриваюсь, — отвѣчалъ обыкновенно Ломовъ, и прибавлялъ почти каждый разъ: — штука не хитрая.

Крутицынъ замѣчалъ однако, что выучка сводилась больше на исполненіе разныхъ коммисій по городу. Сапожныхъ деталей онъ что-то не слышалъ въ разговорѣ Ломова. Но секретарь его видимо ободрился и сталъ гораздо рельефнѣе проявлять свою личность.

Ломовъ смотрѣлъ на первый взглядъ бирюкомъ, угрюмымъ флегматикомъ, простодушной брюзгой, русскимъ самородкомъ, прожигающимъ больше растительную, чѣмъ рефлективную жизнь.

Но когда онъ привыкъ къ Крутицыну и сбросилъ съ себя оболочку формальныхъ отношеній, онъ оказался вовсе не чистымъ флегматикомъ-растеніемъ, а скорѣе холерикомъ на подкладкѣ какой-то чудной смѣси резонерства, мистицизма и русскаго фырканья. Крутицынъ распозналъ въ его отрывочныхъ, немудрыхъ фразахъ цѣлый мыслительный остовъ, разношерстный, угловатый, безпорядочный, какъ вся личность Ломова, и при томъ не народный, не деревенскій, а кружковой и городской. Когда Крутицынъ дотрогивался до нѣкоторыхъ вопросовъ и сторонъ русской жизни, Ломовъ начиналъ глухо и порывисто ругаться,

заикаясь и путаясь, точно бранныя слова недостаточно повиновались его сердцу. Онъ способенъ былъ, кромѣ такихъ нервныхъ выходокъ, и на непосредственную діалектику Собакевича. Опредѣлить, что онъ въ сущности одобрялъ въ жизни, политикѣ, литературѣ, на западѣ и у насъ, было почти невозможно: по крайней мѣрѣ, послѣдовательно добиться этого Крутицыну не удавалось. Отдѣльные образы засѣли въ мозгъ Ломова и привлекали его... Какая-то «взыскуемая» имъ община въ Америкѣ стояла на первомъ планѣ. Восклицаній и громкихъ фразъ онъ не любилъ, да они бы и смѣшны были въ его устахъ. На логику подробностей въ безобразіяхъ общественнаго строя его хватало, и даже въ анализѣ своемъ выказывалъ онъ особую манеру, не навѣянную книжками, а выработанную, какъ нѣмцы говорятъ: «aus sich selbst heraus». Рядомъ со всѣмъ этимъ жило въ немъ простодушіе шатуна съ самыми микроскопическими личными требованіями, и свой затаенный, но не замирающій гоноръ, чувство достоинства, граничащее съ обидчивостью, которую можно было возбудить совершенно невзначай. Грубой безцеремонности богемы по части угощенія и денегъ въ Ломовѣ не было, по крайней мѣрѣ съ Крутицынымъ. Онъ отдѣлялъ себя чертой отъ людей другаго экономическаго быта, безъ гордыни, но съ внутреннимъ мѣриломъ, показывающимъ, что на иной жизненной дорогѣ и при иномъ «царѣ въ головѣ» онъ былъ бы даже спеціалистомъ въ дѣлѣ житейскаго такта...

Крутицынъ каждый день отмѣчалъ его характерныя свойства, считалъ его все больше и больше добрякомъ, но съ грустью началъ убѣждаться, что изъ него не выработается ни интеллигентнаго дѣятеля, ни даже толковаго пролетарія...

— Зайдите къ намъ, — сказалъ ему Ломовъ, не-

дѣли двѣ послѣ начала своей выучки, кончая писанье: — полусапожки примѣрить, вишь, надо.

Крутицынъ воспользовался этимъ случаемъ, чтобы посмотрѣть на Ломова въ мастерской. Пошелъ онъ утромъ, часу въ десятомъ. Въ мастерской, кромѣ самого Филибера, сидѣлъ на низкомъ стулѣ, съ обломанной спинкой, очень блѣдный и худой малый, лѣтъ за тридцать, съ впалыми, пугливыми глазами и синими, лихорадочными губами. На немъ была такая же блуза, какъ и на Филиберѣ; изъ-за ея разстегнутаго ворота виднѣлась грязная и толстая холщевая рубаха. Онъ вбивалъ деревянные гвоздики въ подошву и то и дѣло поплевывалъ на полъ. У столика, заваленнаго всякой всячиной, примостился Ломовъ въ какихъ-то котахъ, на босу ногу, съ пухомъ на головѣ, въ неизмѣнномъ сакъ-пальто. Онъ хлопоталъ около кофейника.

— Вотъ спасибо, что зашли, — обратился къ Крутицыну Филиберъ, все еще страдавшій насморкомъ: — а то я боялся испортить ваши сапожки. Присядьте-ка. Да кофею не хотите ли. Ломовъ, готовъ ли?

— Готовъ. Да Александру Павлычу гдѣ же пить изъ нашей посуды.

Вбивавшій гвоздикъ ухмыльнулся вслухъ.

— Вотъ все злобствуетъ на меня, — заговорилъ Крутицынъ, указывая на Ломова.

— Лютъ ругаться! — отозвался Филиберъ, тряхнувъ головой.

— Такъ же ли лютъ въ работѣ? — спросилъ Крутицынъ.

Синегубый опять ухмыльнулся, на этотъ разъ уже полуязвительно.

— Осматривается понемножку, не торопясь, — объяснилъ Филиберъ, не то снисходительно, не то насмѣшливо.

Ломовъ совсѣмъ опустилъ голову надъ кофейникомъ и упавшіе волосы закрыли ему лицо.

«Что-то, кажется, не ладно», подумалъ Крутицынъ.

Должность «кафешенка» исправлялъ Ломовъ усердно: но Крутицынъ тщетно отыскивалъ глазами какихъ-нибудь слѣдовъ его ученичества.

— Позвольте-ка,— обратился къ нему дѣловымъ тономъ Филиберъ: — примѣряйте-ка вотъ эту ботинку, съ лѣвой ноги.

Когда кончился процессъ примѣриванья, Крутицынъ взглянулъ, не безъ улыбки, на Ломова, тянувшаго кофе изъ невымытой полоскательной чашки.

— Охотникъ до кофею, — замѣтилъ онъ, ни къ кому особенно не обращаясь.

— Оттого и ночи не спитъ, — пропустилъ глухо блѣднолицый, съ какимъ-то страннымъ русскимъ акцентомъ: — и другимъ спать не даетъ.

— Это отъ блохъ вамъ тамъ не спится, — отозвался Ломовъ изъ глубины полоскательной чашки.

— Блоха блохой, — шутилъ Филиберъ: — а мазаграны загубятъ васъ, Ломовъ. Это вѣдь мы сегодня только его въ десять-то часовъ подняли, господинъ Крутицынъ, а то раньше двѣнадцати не растолкаешь.

— Неужели тутъ на диванѣ, подъ стукъ вашихъ молотковъ изволитъ почивать?

— Завалится тамъ, за перегородкой... да ему колоти — не колоти... днемъ онъ удержу не знаетъ въ спаньѣ; только въ показанные часы ему не спится.

Началъ Ломовъ немного ежиться и поглядывалъ съ полудѣтской улыбкой на Крутицына; а взглядъ его точно говорилъ:

«И охота имъ все въ одну доску бить. Вѣдь знаютъ небойсь, что толку изъ этого никакого не будетъ».

— Ну, а какъ идетъ, вообще, работа?

Этотъ вопросъ былъ предложенъ Крутицынымъ для

того, чтобы разговоръ не принималъ инквизиторскаго оттѣнка.

— Попрыгиваемъ, — проговорилъ все тѣмъ же шутливымъ тономъ Филиберъ: — не очень густо, а все идетъ себѣ, да вотъ думаемъ съ товарищемъ (онъ указалъ на блѣднолицаго) пристать къ хорошему мастеру изъ французовъ.

— Какъ, въ работники къ нему пойдете?

— Нѣтъ! Какое! Онъ — золото человѣкъ. Былъ другомъ секретаря... кого-бы вы думали?

— Кого?

— Кабе.

Вышла пауза.

— Ишь ты! — раздалось изъ полоскательной чашки, гдѣ Ломовъ дохлебывалъ свой кофе.

— Да, батенька, — продолжалъ Филиберъ, черня каблукъ съ особымъ ожесточеніемъ, такъ что даже стиснулъ зубы: — золото человѣкъ... Мы съ нимъ въ ассоціацію... Онъ насъ самъ зоветъ... А дѣло-то онъ знаетъ получше насъ, такъ что и подучимся малую толику... и жить будетъ дешевле.

— Извѣстно, дешевле, — сумрачно подтвердилъ блѣднолицый.

— Чѣмъ вамъ здѣсь не житье? — раздалось изъ-за кофейника.

— А платить-то кто будетъ? — окрикнулъ его блѣднолицый.

— Хозяина въ пай взять; довольно имъ, кровопивцамъ, съ пролетаріевъ шкуру-то драть.

Филиберъ глядѣлъ все на Ломова, пока тотъ выговорилъ свою фразу, и спросилъ его, не оставляя добродушнаго тона:

— Съ вами въ долю будете звать, Ломовъ?

— А хоть бы и со мной.

Блѣднолицый расхохотался болѣзненнымъ смѣхомъ.

— Только вотъ запиночка какая, — продолжалъ Филиберъ: — жена у нашего француза — ехидна. Баба она умная, спору нѣтъ, съ мужемъ въ ногу идетъ и по идеямъ, да все червякъ-то заѣдаетъ мѣщанство паскудное, о ребятишкахъ ноетъ и ужь такъ его исчекрыжываетъ, что вжучѣ жаль бѣднягу.

— Женщину не трожь! — прогудѣлъ Ломовъ, принявшійся за новую полоскательную чашку бурды съ кофейной гущей.

— Кто ее трогаетъ? — спросилъ сердито блѣднолицый.

— Вы, я вижу, лодыри, нечего сказать... сейчасъ такая сякая... Не я ругаться-то лютъ, а вы.

Откликъ Ломова пропустили мимо ушей.

— Мнѣ, съ самаго началу, — заговорилъ опять Филиберъ: — хотѣлось устроить русскую или хоть славянскую мастерскую, да обуха-то, видно, плетью не перешибешь; нѣтъ народу, да и конченъ балъ!

Онъ даже вздохнулъ и уныло посмотрѣлъ на каблукъ, отведя его въ даль.

— Людей нѣтъ! Ишь что выдумалъ! — раздалось изъ-за кофейника.

— Первый человѣкъ — Ломовъ, — выговорилъ блѣднолицый.

— Извѣстно, онъ.

Всѣ разсмѣялись, кромѣ Ломова, выговорившаго фразу съ обычнымъ хмурымъ юморомъ.

«Плохо дѣло», опять подумалъ Крутицынъ и сталъ прощаться съ сапожниками.

— Вы по послѣобѣдамъ-то бываете дома? — спросилъ Филиберъ.

— Очень часто. Я теперь мало выхожу.

— Такъ я къ вамъ, какъ-нибудь, на недѣлѣ заверну, да кстати и сапожки занесу.

— Работать будемъ? — освѣдомился Ломовъ у Крутицына.

— А вамъ не хочется?

— Чего не хочется...

— Это вѣдь не сапоги тачать, — замѣтилъ блѣднолицый.

— Ладно, молъ, — откликнулся Ломовъ, переведя духъ послѣ послѣдней чашки кофейной бурды.

Онъ былъ такъ любезенъ, что отворилъ дверь Крутицыну.

VII.

Дѣлать нотаціи Ломову Крутицынъ не считалъ себя въ правѣ; а увидалъ онъ въ-очію, что житье въ сапожной ассоціаціи плохо идетъ въ прокъ его секретарю.

Но самъ Ломовъ заговорилъ съ нимъ на тэму мастерской.

— Ребята они не плохіе, — гудѣлъ онъ: — да сами еще ни на чемъ не утвердились. И такъ, и сякъ. То толкуютъ: русскую хотимъ кооперацію, а то къ французамъ лѣзутъ... Да и барствуютъ тоже.

— Барствуютъ? — переспросилъ удивленно Крутицынъ.

— А то какъ же? Званіемъ своимъ тяготятся.

— Однако работаютъ?

— Еще бы не работать. Кто чему обученъ...

— Надо было выучиться. Филиберъ-то, вы вѣдь

знаете, верхомъ въ эскадронѣ ѣздилъ. Послѣ такой подготовки не очень-то легко въ сапожника превратиться.

Лимовъ помолчалъ и заговорилъ болѣе угрюмымъ голосомъ:

— Здѣсь ничего не подѣлаешь! Надо на новыхъ мѣстахъ поселиться. Все сызнова начать. А то что въ этой червоточинѣ!

И онъ оборвалъ нить своихъ изобличеній, точно не желая разсыпать бисеру.

Крутицыну такъ и не удалось узнать у него: умѣетъ ли онъ держать въ рукѣ шило?

Филиберъ пришелъ на другой день вечеромъ. Въ салончикѣ Крутицына онъ казался еще длиннѣе. Блузу замѣнилъ онъ потертымъ, старымъ сюртукомъ, въ которомъ онъ долженъ былъ страшно зябнуть на улицѣ. Онъ весь скорчился, и носъ его покраснѣлъ сильнѣе обыкновеннаго. Красный шерстяной шарфъ укутывалъ ему горло.

— Совсѣмъ распростудился, — началъ онъ хриплымъ голосомъ, садясь у камина и развязывая шарфъ. — У васъ какая благодать. Вотъ мы, русскіе, точно тараканы мерзнемъ здѣсь въ Парижѣ. Я въ Россіи и не зналъ, что такое за анжёрюры, а здѣсь и на рукахъ и на ногахъ хватилъ. . Французики надъ нами потѣшаются: дѣтская, говорятъ, болѣзнь; дѣтская-то она — точно дѣтская, да всѣ мы проходили черезъ нее и вы, небойсь, заполучили?

— Прежде бывали, какъ я въ первый разъ пріѣхалъ въ Парижъ.

— Это отъ каминовъ. У французовъ первое наслажденіе: un bon feu! Да оно весело, кто говоритъ... А посидишь у камина, ну, и ознобилъ ноги. А у насъ въ мастерской желѣзная печка. Отъ нея простуда идетъ уже по всему тѣлу.

Онъ все это говорилъ усталымъ, болѣзненнымъ тономъ; но Крутицыну сдавалось, что думаетъ онъ совсѣмъ объ иномъ.

— Сапожками будете довольны, нечего и примѣривать, да они же и холодные. Мною собственноручно сфабрикованы. Секретарь вашъ только за подошвами ходилъ.

— Ну, а какъ онъ подвизается насчетъ тачанья?

Филиберъ покачалъ головой и жалостливо улыбнулся.

— Знаете, что я про него скажу!

— Что?

— Ни швецъ, ни жнецъ, ни въ дуду игрецъ!

— Будто бы?

Крутицынъ выговорилъ это сомнительно, но внутренно уже соглашался въ Филиберомъ.

— Да какъ же, помилуйте! Вотъ больше двухъ недѣль онъ у насъ, а вѣдь онъ куска кожи еще въ руки не взялъ. Въ первые дни мы его не понукали. Ну, думали, пускай осмотрится, что его запугивать-то. А ему этого только и надо. Спитъ до полудня, потомъ кофейничаетъ, а тамъ къ вамъ пойдетъ; а вечеромъ лежитъ да книжки читаетъ. Не знаю, ходилъ ли онъ по нашимъ дѣламъ больше трехъ разъ во все то время. Жаль его. Онъ малый не злой, и не дуракъ, и не прощалыга. Насъ онъ не объѣдаетъ. Какія деньжонки у васъ зарабатываетъ, готовъ сейчасъ отдать. Да вѣдь мы не этого просимъ. Надо лямку тянуть, сплотиться, спѣться. А безъ этого какая же у насъ кооперація? Курамъ на смѣхъ! Намъ двоимъ приходится невмоготу, да я къ тому же то и дѣло валяюсь. А онъ здоровый, свѣжій малый. Чего бы, кажется, не работать? Такъ нѣтъ! Только фыркаетъ на все и на вся...

— Фыркаетъ?

— А вы нешто не распознали? Всѣ у него дураки! Такъ-то онъ потихоней смотритъ, а чуть началъ свои разводы разводить, откуда только ехидство берется!

Филиберъ поправилъ головешку въ каминѣ и, взглянувъ на Крутицына, улыбнулся.

— Вамъ обидно за вашего секретаря?

— Его дѣло; только васъ-то я угостилъ новой обузой.

— Обуза, что за обуза! Онъ насъ не объѣдаетъ. Пускай себѣ валяется на кровати, да на диванѣ; а противно глядѣть на него. Да-а! — вздохнулъ Филиберъ: — нѣтъ работниковъ, а одни только пророки да преобразователи! А тутъ еще здоровья-то нѣтъ, да и свои всякія мерзости...

Голосъ его дрогнулъ. Крутицынъ пододвинулся къ нему и сказалъ:

— Не подъ силу вамъ парижское житье?

— Да ужь что разбереживать старыя раны! Куда намъ, съ суконнымъ рыломъ, соваться въ калачный рядъ! Думали все, что въ насъ ни вѣсть какіе таланты; а какъ угодишь въ настоящее-то пекло и восчувствуешь, что и силы-то нѣтъ, и ничего-то ты не знаешь. Бороться-то съ здѣшними порядками — воду въ ступѣ толочь.

— Вы, однако, выбрались.

— Куда? Одинъ въ полѣ не воинъ. Вотъ тоже глупость всероссійская. Я-то здѣсь, въ Парижѣ, почитай, одинъ человѣкъ, которому ходу назадъ нѣтъ, а другіе-то архаровцы...

— Какіе?

— Какъ, какіе? Цѣлая арава. Да вы, я вижу, съ соотечественниками-то хлѣба-соли не водите?

— Немного.

— И прекрасно изволите поступать... Вы спрашиваете: какіе? Цѣлая арава, говорю я. Вы думаете, пожалуй, что г. Ломовъ — особа единственная въ своемъ родѣ, числѣ и падежѣ. Какъ бы не такъ! Ну, да онъ десятерыхъ стоитъ. Ужь вы навѣрно спрашивали, глядя на его житье-бытье, зачѣмъ, молъ, этакое чудо морское въ Парижъ затесалось?

— Спрашивалъ, — отвѣтилъ улыбаясь Крутицынъ.

— На это оракулъ еще не далъ никакого рѣченія. А всего менѣе разумѣетъ самъ Ломовъ: зачѣмъ онъ здѣсь, что ждетъ, на что надѣется? На какую-то бѣлую Аравію, гдѣ онъ мазаграны будетъ распивать!... И такихъ Ломовыхъ найдете вы здѣсь цѣлую коллекцію, въ разныхъ вкусахъ.

— Гдѣ же это?

— Гдѣ? Да у васъ по сосѣдству.

— Здѣсь, въ Латинскомъ?

— А то гдѣ же. Чай, Café de la Rotonde знаете?

— Захаживалъ, когда работалъ въ École de médecine.

— Ну, такъ тамъ имъ самый водъ. По вечерамъ застанете синклитъ.

— Кто же это такіе?

— Съ дубка да съ сосенки. Говорю: все Ломовы въ разныхъ вкусахъ. Одинъ только, кажется, отъ архангеловъ бѣжку далъ, по какому-то соляному или водяному дѣлу.

— Уголовному?

— Онъ вамъ самъ разскажетъ въ назиданье. Этотъ еще умнѣе всѣхъ. А остальная братья — унеси ты мое горе на гороховое поле!

Филиберъ заговорилъ безъ ѣдкости, но съ большимъ одушевленіемъ:

— Имъ бы жить да поживать на Руси-матушкѣ, благо тамъ всякому кормъ припасенъ, а они, вонъ, вояжировать пустились, или бѣжку дали по причинѣ своей заячей храбрости; а теперь и самихъ себя увѣрили, что имъ и ходу нѣтъ... Да что и толковать!... Вы не думайте, что я злоязыченъ. Ругаться и сплетничать я не мастакъ; а больно мнѣ, какъ русскому. Ни одинъ пальца о палецъ не хочетъ обвести! Устроишь тутъ кооперацію, держи карманъ!

Онъ всталъ, высморкался громко и опять скорчилъ на креслѣ свою долгую фигуру.

— Бросьте компатріотовъ, — сказалъ Крутицынъ: — коли съ ними ничего не подѣлаешь!

— Да такъ я и сдѣлаю. Французы, правда, блягеры, хвастовства въ нихъ короба съ три, да какъ же ихъ сравнить съ нашими? Хорошій-то здѣшній уврьеръ — да передъ нимъ гг. Ломовы въ ножки должны поклониться. Онъ до двѣнадцати франковъ въ день заработаетъ, да не на одного себя, а и на общее-то дѣло трудится. Изъ интернаціоналовъ — есть парни на удивленіе!.. Съ ними бы житье — масляница, да вотъ что я вамъ скажу, г. Крутицынъ: какъ бы мы съ ними ни ладили, а все мы другаго поля ягода, все мы — русскіе бары... У меня хоть руки въ сапожной ворвани выпачканы, а чувствую я, что сидитъ во мнѣ драгунскій корнетъ.

— Ну, вы, кажется, выкупались въ купели.

— Гдѣ выкупаться! Да будь я изъ мужиковъ, изъ разночинцевъ, изъ кого хотите, все равно: между нами все лежитъ пропасть какая-то; не такъ мы думаемъ, не такъ любимъ, не такъ дружимся, ѣдимъ и пьемъ не такъ, и работа наша не ихъ работа!..

— А позвольте узнать, — прервалъ его Крутицынъ: — вы это сами выносили?

— Извѣстное дѣло, не въ книжкѣ прочелъ. Да чего лучше — взять примѣръ. Прохорова вы знаете? Ну, кажется, совсѣмъ французъ. Человѣкъ учился у нихъ, вѣкъ свой читалъ ихъ книжки, высушилъ себя на позитивный манеръ, какъ приказано по французской же философіи, работалъ въ лабораторіяхъ и кабинетахъ разныхъ, пишетъ только по-французски, живетъ какъ французъ, и пьетъ и ѣстъ по ихнему, шапочку даже дома носитъ.

Крутицынъ громко разсмѣялся.

— Да вѣдь я это говорю безъ всякаго ехидства.

Прохорова я искренно люблю, и обязанъ ему, какъ русскіе люди говорятъ, по гробъ жизни; но развѣ все это не правда?

— Совершенная.

— Ну-съ, и что же мы видимъ? Онъ ни къ какому французскому дѣлу вплотную не присталъ, ни къ политическимъ кружкамъ, ни къ соціалистамъ, ни къ рабочимъ-практикамъ, ни къ литераторамъ. Съ учеными знакомъ, и видается, да вѣдь это особая статья: тутъ кровной связи нѣтъ; сами знаете, что чухонецъ, что австріякъ,— все едино, потому главное дѣло — кислородъ съ водородомъ соединить.

Филиберъ закурилъ папиросу, и продолжалъ:

— Кислородъ-то перегонять-то онъ могъ бы и въ Царевококшайскѣ.

— Ну, не очень-то.

— Я совралъ... въ Царевококшайскѣ-то не могъ бы, а въ Питерѣ и въ Москвѣ — сколько хочешь. Онъ же человѣкъ съ достаткомъ; лабораторію себѣ гдѣ хочетъ заведетъ. А здѣсь живи онъ пятьдесятъ лѣтъ, сдѣлайся французскимъ подданнымъ, въ депутаты подади, — онъ все будетъ «mangeur de chandelles».

Съ особымъ удовольствіемъ слушалъ Крутицынъ Филибера и провѣрялъ по его искренней рѣчи свои соображенія.

— И мнѣ за Прохорова досадно, — заговорилъ опять Филиберъ: — а за нашу молодежь вдвое: онъ бы дома не оставался «citoyen Prochoroff», а жилъ бы однимъ естествомъ со своей землей. Но все-таки онъ единственный человѣкъ, который проживаетъ деньги и тратитъ время не зря, не по-ломовски, а какъ ему угодно. И отними у него доходъ, онъ не сталъ бы болтаться и макадамъ парижскій утаптывать, а досталъ бы себѣ заработокъ, и не изъ мелкихъ!

Сдѣлавши глубокую передышку, Филиберъ сказалъ потише:

— Вотъ я какъ разглагольствовался... А языкъ-то лучше вѣдь за зубами держать. Да и самъ-то я хорошъ. Со стороны посмотрѣть, такъ и мнѣ цѣна — два гроша. Слаба плоть, да и духъ-то не больно бодръ!

Онъ взялъ голову въ обѣ руки, и нагнулся въ сторону камина.

— Киснемъ мы всѣ по славянской-то привычкѣ и немощи; все-то насъ перевертываетъ...

Вышла пауза. Крутицынъ не хотѣлъ ее нарушать первый.

— Любили вы? — спросилъ вдругъ Филиберъ голосомъ, въ которомъ сказалось волненіе.

— Любилъ, — выговорилъ спокойно и тускло Крутицынъ.

— По-русски?

— Какъ же иначе?

— Ну, такъ вы знаете, во что наша славянская братья превращается, когда закрутитъ зазноба.

Крутицынъ не хотѣлъ ничего выспрашивать. Онъ ждалъ изліяній.

— Вѣдь, вотъ французы, — совсѣмъ у нихъ другой приборъ сидитъ...

— Какой приборъ?

— Да сердечный-то.

— Да...

— Влюбится онъ до зарѣзу и бѣснуется: рѣзать или отравлять лѣзетъ и себя, и возлюбленную. И вдругъ все, какъ рукой сниметъ. Глядишь, онъ черезъ мѣсяцъ колѣна выкидываетъ въ канканѣ!.. Вотъ хоть бы пріятель нашъ съ вами...

— Рике́ — хотите вы сказать?

— Онъ самый. Вѣдь какъ бѣсновался съ годъ тому назадъ.

— Будто бы?

— Самъ себѣ, кажись, ціонъ-кали готовилъ, а теперь посмѣивается надъ собой.

— Да вѣдь и мы, русскіе, вылечиваемся отъ любовныхъ припадковъ.

— Вылечиваемся, быть можетъ, да какъ?.. Мы выздоравливаемъ-то — точно умираемъ. Наше такое дѣло — киснуть и кряхтѣть. У француза нахлынетъ припадокъ, — прошелъ, и онъ на всякую работу годенъ, а мы... все у насъ...

Онъ громко сплюнулъ, и Крутицыну показалось, что слеза дрогнула въ послѣднемъ восклицаніи.

«Вкусилъ любовнаго-то яда», подумалъ Крутицынъ.

— Гдѣ ужь нашему брату, голышу, — продолжалъ Филиберъ съ новымъ наплывомъ горькаго чувства: — мечтать о разныхъ амурахъ. Все это блажь, не такъ ли, господинъ Крутицынъ?

И не дожидаясь отвѣта, который Крутицыну пришлось бы выговорить скрѣпя сердце, Филиберъ произнесъ гораздо рѣзче:

— Тянуть надо лямку до послѣдняго издыханія! Сытъ — и не проси ничего больше, ни отъ судьбы, ни отъ добрыхъ людей! Понадѣялся на свое геройство, и вертись на вертелѣ!

Вышла опять томительная пауза.

— Вы не подумайте, — заговорилъ Филиберъ: — что я у васъ утѣшенія прошу. Довольно глупо и то, что я въ такую меланхолію вдался.

— По правдѣ сказать, — отозвался Крутицынъ: — я плохой утѣшитель; но вотъ что я извлекъ изъ собственныхъ испытаній; быть можетъ, оно вамъ и пригодится.

— Что, что?..

— Любовь, какъ бы она ни была сильна, не играетъ уже въ насъ роли такой разрушающей силы, какъ въ русскихъ людяхъ лѣтъ тридцать тому назадъ.

— Вы думаете?

— Припомните только все то, что вы читали и слышали. Мы такъ же страдаемъ, какъ и они; но намъ некогда и не на что уходить въ наши страданья.

— А попроще бы вы мнѣ это сказали.

— Вы послужите мнѣ самымъ убѣдительнымъ примѣромъ; вы человѣкъ труда, вы бьетесь какъ истый пролетарій.

— Съ лѣнцой.

— Положимъ, но все-таки каждый вашъ шагъ — борьба за существованіе.

Филиберъ громко вздохнулъ.

— Это васъ подавляетъ? — спросилъ Крутицынъ.

— Вотъ это-то меня и бѣситъ! — вскричалъ Филиберъ. — Все въ тебѣ драгунъ и помѣщикъ сидитъ.

— Иначе и быть не можетъ; но этотъ драгунъ и помѣщикъ закинутъ въ пропасть, и ему нужно или выкарабкаться изъ нея, или погибнуть.

— Выкарабкаешься!

— Я думаю, что да; но какъ бы ни кончилась борьба, вы схвачены теперь клещами. И каждый изъ насъ— со своей обузой, недозволяющей лиризму хозяйничать безусловно...

— Да развѣ всѣ пролетаріи? А Прохоровъ?

— Еще — безподобный примѣръ. Онъ обезпеченъ, живетъ на ренту, могъ бы отдаваться всѣмъ сердечнымъ ощущеніямъ...

— Ха, ха! гдѣ же ему! Вы знаете, какъ въ Женевѣ его одинъ человѣкъ прозвалъ?

— Какъ?

— Мудрорыбица!

Крутицынъ расхохотался и нѣсколько разъ повторилъ:

— Мудрорыбица! мудрорыбица!.. Безподобно!

— Да какъ же... То бѣлорыбица бываетъ, а это — мудрорыбица.

И они еще разсмѣялись.

— Ну, да, — продолжалъ Крутицынъ: — мудрорыбица, разсудочный, но вовсе не бездушный человѣкъ.

— Добрѣйшій, мы это знаемъ!

— Отчего же онъ такъ застрахованъ отъ страстныхъ побужденій?

— Да сказано: мудрорыбица!

— Тутъ не одни только личныя свойства... Всегда были сухіе или нечувствительно-добрые люди; но въ Прохоровѣ новый признакъ, признакъ родовой, общій всѣмъ намъ, то-есть и тому поколѣнію, къ какому мы съ вами принадлежимъ, — мы, кажется, однихъ почти лѣтъ, — и поколѣнію Прохорова. Мы можемъ быть безпорядочны, и все-таки въ насъ болѣе дѣловая подкладка, мы не въ состояніи такъ носиться съ своимъ личнымъ «я», какъ носились съ нимъ люди сороковыхъ годовъ.

— Пожалуй, и такъ, — откликнулся Филиберъ, поднимая голову: — больно ужь насъ подъ колесо-то забрало.

— Въ этомъ и горе наше, и радость.

— А коли такъ, — вскричалъ Филиберъ: — завьемъ горе веревочкой... и... — хотѣлъ было сказать: — запьемъ горькую, да вспомнилъ, что мы не пьющіе.

— Вотъ еще родовой признакъ! — подхватилъ Крутицынъ: — у насъ нѣтъ этого эликсира забвенія, а кажется не трудно добыть его. Но какъ бы насъ ни приплюснула судьба, мы, пожалуй, сболтнемъ: я сопьюсь! но ни одинъ изъ насъ не сопьется... Что-нибудь это да значитъ...

— Къ французамъ, значитъ, подошли, отрезвѣли. Они

не по нашему любятъ, за то имъ хорошо амуры свои повѣрять.

— Вы испытали?

— А какъ же. Да вотъ хоть бы Рикѐ.

— Ну, я бы не думалъ.

— Какъ кому; а мнѣ съ нимъ всегда полегче. Онъ вамъ брякнетъ что-нибудь этакъ пофранцузистѣе.

— Вотъ это-то и жутко.

— Нѣтъ, мы вѣдь не нѣженки насчетъ этого. Однако, что я съ вами лясы точу, надо и совѣсть знать.

— Полноте, — сказалъ Крутицынъ, протягивая ему руку: — со мной грѣхъ оговариваться. Я знаю, что вамъ время дорого, а то мы бы почаще видѣлись.

— Заходите, намъ разговоръ не мѣшаетъ постукивать. Ломовъ все равно болтаетъ же...

— Въ изобличительномъ больше тонѣ?

— Въ изобличительномъ.

— Какъ же вы думаете съ нимъ?

— Да пускай живетъ; только работать его не засадишь, а на однѣ побѣгушки его употреблять совѣстно. Мы не на шутку сбираемся пристать къ французу, про котораго я вамъ намедни говорилъ. Такъ тогда Ломовъ, быть можетъ, самъ не захочетъ съ нами жить. Вѣдь у него гоноръ большой.

— Отправить его лучше въ Россію.

— Не поѣдетъ, ему и здѣсь хорошо. Мазагранъ-то три су въ кремери, а больше у него — никакихъ потребностей... Не поѣдетъ до тѣхъ поръ, пока самому не огадится его безтолковое тасканіе. А когда явится...

— Этотъ кризисъ?

— Да, кризисъ... не умѣю вамъ доложить. Онъ вѣдь любитъ на колгихъ ѣхать во всемъ, — и въ спаньѣ, и въ ходьбѣ, и въ кофеяхъ.

— Не можетъ же онъ удовлетворяться работой у

меня... вѣдь это всякій двѣнадцатилѣтній мальчикъ исполнитъ. Я все ломаю голову: къ чему бы другому припустить его. Вѣдь онъ не глупъ.

— Нѣтъ.

И читалъ кое-что. Попробовать развѣ припустить его къ легкой литературной работѣ, къ переводамъ, извлеченіямъ.

Филиберъ покачалъ головой.

— Думаете, что и на этомъ спасуетъ?

— Попробуйте. Мнѣ же не отбивать у него лишній десятокъ франковъ. А знаете что, вѣдь каковъ онъ ни есть Ломовъ, а онъ, ей-богу, лучше остальной братіи.

— Да покажите мнѣ ее.

— Нѣтъ, я туда не хожу; ругательные лясы точить я не люблю, боки пить тоже не охотникъ, да и денегъ нѣтъ. Да вѣдь съ ними больше двухъ вечеровъ не просидишь: сейчасъ каверзы и пакости.

— Какъ же вы меня-то приглашаете!

— Вы — дѣло десятое. Вы — баринъ другаго полета.

— Вотъ и баринъ... оставимъ Ломову эту номенклатуру.

— Что ужь грѣха таить, есть немножко жантильомскаго даже и во мнѣ, замарашкѣ, подъ запахомъ-то сыромятной кожи. А я хотѣлъ сказать, что вы къ нимъ никакъ не пристанете, послушаете, а коли охотники до всякихъ курьезовъ, такъ потолкуете.

— Какъ-нибудь зайду.

— И вѣдь штука-то какая выходитъ, г. Крутицынъ! Дѣловой-то народъ, какой здѣсь имѣется — вотъ хоть бы медики, присланные на казенный счетъ, — эти совсѣмъ незамѣтны, точно ихъ и званья нѣтъ. Они себѣ по госпиталямъ, а вечеромъ читаютъ книжки. Наружу-то и всплываетъ вся эта интеллигенція...

— Да вы, сказать на прощанье, преэхидный, — замѣтилъ шутливо Крутицынъ, пожимая руку Филибера.

— Какое ехидный! Болтливъ дѣлаюсь, а при насморкѣ-то не слѣдовало бы. Я увѣренъ, вы то же чувствуете, что и я, насчетъ соотечественниковъ вообще; только я не умѣю все это складно высказать. Вернетесь когда въ Россію, и нашъ разговорецъ у камина припомните, а меня, быть можетъ, въ это время стащутъ здѣсь, свалятъ въ яму, въ fosse commune.

— Вы до ипохондріи-то не доходите. Отправляйтесь завтра къ Рике́: онъ васъ развлечетъ... а то, знаете, когда два русскихъ человѣка начнутъ другъ передъ другомъ нутро-то свое выворачивать...

— И жалостно выходитъ. Прощенья просимъ, г. Крутицынъ; спасибо на добромъ словѣ.

— Я даже и чайкомъ васъ не напоилъ... такъ мы разговорились.

— Что за чай! Еще бы хуже расходились нервы.

Филиберъ поднялъ свой вязаный шарфъ подъ самый носъ и запахнулся въ сюртукъ, какъ-будто онъ былъ въ пальто. Крутицынъ посвѣтилъ ему на лѣстницу и сверху крикнулъ:

— Знаете что: я нашелъ средство исправить Ломова.

— Какое?

— Лишить на недѣлю мазаграновъ.

— Онъ сбѣжитъ.

— Куда?

— А въ бѣлую-то Арапію!...

Они посмѣялись, но Крутицынъ вернулся къ камину очень и очень грустный.

VIII.

Да и было съ чего... Разговоръ Филибера задѣлъ двѣ струны, на которыя Крутицынъ откликался чутче и болѣзненнѣе, чѣмъ на что-либо: — любовная незадача и «шатаніе вскую» умственнаго пролетаріата.

Но личную долю онъ съ послѣдняго своего опыта пересталъ совсѣмъ перебирать. Передъ нимъ стояло опять нѣчто, говорящее еще сильнѣе объ общемъ удѣлѣ цѣлой общественной группы. Дума, запавшая въ него въ «Челышахъ», облеклась въ новыя краски, пріобрѣтала болѣе яркія формы, приносила болѣе осязательные выводы. Онъ перенесся воображеніемъ въ Москву, въ Долгоруковскій переулокъ, въ «комнаты съ небелью», гдѣ у Турусова велись разговоры съ участіемъ пигментнаго Швецова. Еслибъ теперь пришлось ему, Крутицыну, заговорить съ юношами, жаждущими жизненныхъ испытаній, вѣрующими еще въ свою удачу и въ выборъ душевнаго дѣла — какимъ бы тономъ повелъ онъ свою рѣчь? Какіе прочные устои принесъ бы онъ съ собою въ ихъ бесѣду? Чѣмъ могъ бы онъ окрылить ихъ порыванья и закрѣпить ихъ вѣру? Онъ бы совсѣмъ умолкъ, не желая смущать ихъ, или предоставилъ бы держать слово Швецову съ его живучестью, задоромъ и торжествомъ личной воли.

«Но много-ли жилъ Швецовъ?» спросилъ себя Крутицынъ, глядя неподвижно на умирающій огонь камина и чувствуя уже сзади свѣжій воздухъ остывшей комнаты. Его практика — одна страница жизни, чисто-формальная, или, по крайней мѣрѣ, исписанная чернилами одного цвѣта. Папуанцы и Митродоры Кузминишны не застрахуютъ чуткую натуру отъ засадъ и капкановъ, которые ждутъ каж-

даго изъ насъ. Довольство Швецова — тепличный цвѣтокъ, прикрытый законопаченными рамами отъ дуновенія всеразъѣздающей идеи. Врядъ-ли онъ теперь такъ рѣчистъ, какъ въ голяшкинскихъ комнатахъ, если только дѣловая выучка не забиваетъ его неумѣреннымъ школьнымъ трудомъ».

И Крутицынъ вспомнилъ, что о Швецовѣ давнымъ-давно ни слуху, ни духу.

Вошедшій гарсонъ, вмѣстѣ съ вечерними журналами, подалъ Крутицыну письмо, съ какой-то нефранцузской почтовой маркой.

Письмо было отъ Турусова. Мягкотѣліе совсѣмъ скрылся, и послѣ сдачи кандидатскаго экзамена ничего не писалъ Крутицыну.

«Добрѣйшій и высокоуважаемый Александръ Павловичъ,» — изображалъ онъ пухлой и разгонистой рукой, похожей на него самого, — «чувствую передъ вами все свое окаянство и слезно молю о прощеніи. Вотъ уже безъ малаго полгода, какъ я оставилъ весь московскую, а васъ не извѣстилъ въ должное время. Экзаменъ мой я въ наилучшемъ видѣ отмахалъ и всю зубристику сдалъ, такъ сказать, въ архивъ моей памяти. Отроковицу, вамъ не безъизвѣстную, обитавшую купно со мной въ Капернаумѣ, оставилъ я на стезѣ врачебновѣдѣнія и сѣмена, вами на оную почву заброшенныя, ей же ей, не пошли даромъ. Было у меня, каюсь, блудное поползновеніе оную отроковицу по заморскимъ странамъ провезти; но она сама, съ мудростью змія, таковой прожектъ отклонила и, по письменнымъ свѣдѣніямъ, нынѣ приступаетъ къ первому испытанію въ повивальномъ искусствѣ. Малую толику я, среди нѣмчуры, поскучалъ, но пріобыкъ полегоньку. Семестръ проковырялъ я микроскопію, съ сугубымъ проникновеніемъ въ сравнительную анатомію и зоологію у «свѣтилы» (чай, помните *скнипу* филологическую съ косоглазіемъ и дру-

гими аттрибутами), обрѣтающагося въ городѣ Лейпцигѣ, гдѣ и пребываю по сіе время. Окромя ковырянья, почитай что и ничего для идейныхъ-то началъ здѣсь не имѣется. Лавченокъ и всякой жидовы съ три короба, да и только. И женскій полъ скуденъ и допотопными одеждами облеченъ. На головахъ все какіе-то грибы, вмѣсто шляпокъ. Театръ внутри и снаружи — храмина богатая; но по лицедѣйству — скудно: захаживаю больше для усовершенствованія въ тевтонскомъ нарѣчіи. Теперича я жалѣю очено, что спервоначалу не устремился въ «центры». Вы, поди чай, какъ меня честите, что я въ Капернаумѣ такъ передъ вами канючилъ на счетъ сожительства въ всемірномъ городѣ, а вмѣсто того, сбрендилъ, и даже писать порядкомъ не писалъ. Оченно я объ этомъ мечталъ, да позамѣшкался въ Москвѣ и дома, на Волгѣ, и разсудилъ, что выставка уже въ доходѣ, и вы, поди, собираетесь до дому. Такъ я и началъ съ нѣмцевъ, испугавшись, что цѣлый семестръ у меня уйдетъ зря. Все это во мнѣ еще школьная закваска сидитъ, Александъ Павловичъ. А можетъ оно и не плохо будетъ, что я спервоначалу на факты-то напру, а тамъ ужь башку свою шлифовать явлюсь на берега Сенскіе. Безъ языка-то да безъ добраго человѣка, куда я тамъ дѣнусь. Для сего и помышляю взять учителя и загодя навостриться во франко-галльскомъ діалектѣ. А между тѣмъ извѣстился я, что вы все еще пребываете въ Парижѣ и корреспонденціи пишете и послѣ выставки. И запала въ меня надежда: не свидимся ли гдѣ-нибудь на перепутьѣ. Вотъ бы стеклись мы въ тройномъ естествѣ, вы, азъ худородный и сладчайшій нашъ эскулапъ — Швецовъ, Григорій Пантелѣичъ. Объ немъ вы врядъ-ли, какъ слѣдуетъ, извѣстны. Писать-то тоже небольно охочъ, какъ и всѣ мы русскіе. Мнѣ, однако, изобразилъ цидулку. И я, зная, что вы онаго эскулапа одобряете, воспроизведу вамъ его посланіе. Поживаетъ онъ въ имперскомъ градѣ Вѣнѣ

и описываетъ его квинтиліановскимъ слогомъ. Мѣсто, по его писанію, выходитъ и прохладное и злачное, преимущественно по женскому полу. У меня, каюсь, какъ читалъ, даже слюнки потекли. Юницы, пишетъ эскулапъ, формами напоминаютъ весь женскій Олимпъ и даже ту нимфу, которую Чичиковъ узрѣлъ на картинѣ въ столовой гостиницы губернскаго города N, гдѣ въ первый день обѣдалъ. Таковое женское совершенство истекаетъ, по толкованію сладчайшаго, изъ причинъ этнографическихъ и національныхъ, главнѣе же отъ сочетанія нѣмецкаго естества съ мадьярской породой и славянскими расами. Чешскія дѣвы особливо изумляютъ своими прелестями, кои сладчайшій уподобляетъ даже «горамъ карпатскимъ». И о *братьяхъ славянахъ* повѣствуетъ онъ больше все въ смѣхотворномъ тонѣ, хотя и сообщаетъ, что пріятельство съ ними ведетъ и даже не инако выражаетъ теперь одобреніе, какъ словомъ «виборне», что значитъ первый сортъ. Прельщаетъ же меня эскулапъ, наипаче, по части театральнаго искусства; говоритъ, что какой-то тамъ есть лицедѣй Левинскій, которому равнаго на сценахъ россійскихъ не обрѣтается. О себѣ же пишетъ какъ-то смутно, и я даже смекаю, высокопочтенный Александръ Павловичъ, что не приключилось ли со сладчайшимъ чего-нибудь экстраординарнаго. Какая-то не то меланхолія, не то конфузія, сдается мнѣ, приспичила его. И еще не знаю: по какой причинѣ ѣздилъ онъ вдругъ въ Миланъ, о чемъ вскользь упоминаетъ. Онъ, сами знаете, человѣкъ линію свою въ строгости соблюдающій; слѣдственно изъ-за какого шута, прости Господи, было ему ѣздить въ Миланъ? Не терапіи же обучаться у тальянцевъ?... Все это мы разнюхаемъ самолично. Я говорю—самолично, ибо подаюсь я на зовъ эскулапа, и ковыряніе здѣсь покончивши, пожалуй, и хвачу въ имперскую столицу. Заскучалъ вѣдь я: по душѣ съ кѣмъ же здѣсь покалякать? — Да въ Вѣнѣ и мик-

роскопію можно повести дальше, тамъ и по этой части есть кое-что. Семестрикъ бы я побаловался. Что бы вамъ не проѣхаться, на пути во-свояси, али и пожить малую толику? Меня сладчайшій объ васъ спрашиваетъ, а писать, потому-де не пишу Крутицыну, что дожидаюсь масляницы; а теперь для меня — великій постъ, какъ для «блуднаго кота». Что сія алегорія обозначаетъ — не вопросить ли дельфійскаго оракула? Я же своимъ умишкомъ не могу распутать. Вы его не допросите ли по пунктамъ? Быть можетъ, просто, хандритъ безъ добраго человѣка и не съ кѣмъ за чайкомъ покричать и поругать добрымъ порядкомъ некого. Надумайтесь-ка, добрѣйшій Александръ Павловичъ, насчетъ злачнаго мѣста и обрадуйте меня, столь передъ вами провинившагося. Я бы, вами окураженный, началъ собираться въ путь и укладывать мои склянки, а ихъ набралось не одинъ пудъ. Локти кусать поздно; пропустилъ я златое время для сожительства съ вами въ Парижѣ; авось наверстаю въ Вѣнѣ. А пока, слезно прошу васъ сложить гнѣвъ на милость, и мягкодушно принявъ сіе малограмотное писаніе, извѣстить о себѣ побольше.

«Душевно васъ любящій и почитающій

«Павелъ Турусовъ».

«NB. Писулька моя растянулась на цѣлый папирусъ, такъ лишь малый кончикъ остался для одного дѣльца, съ которымъ я благоутробію вашему буду докучать. Подробно изображу въ слѣдующій разъ; а теперь только сдѣлаю легкій намекъ. Проживаетъ у васъ, на самыхъ, слышь, сенскихъ берегахъ, великій искусникъ, микроскопы орудующій, по имени Гартнакъ; сказывали мнѣ — гдѣ-то на острову, около самой полиціи. Оный Гартнакъ давно уже смущаетъ мой духъ. И вожделѣлъ я къ штрументу, публикуемому имъ, со всякими ухищреніями, а иначе съ *тринадцатой системой*. Раскошелюсь я на цѣлыхъ пятьсотъ серебряныхъ рублей; но причта-то та, что искус-

никъ одержимъ недугомъ проволокъ и оттяжекъ и надо его шпынять съ наивящей бдительностью. Черезъ васъ помышляю, добрѣйшій Александръ Павловичъ, совершить заказъ и куплю штрумента, способнаго уязвить смертною завистью всѣхъ моихъ настоящихъ и будущихъ коллеговъ. Писать больше негдѣ; да и то, небось, надоѣлъ вамъ хуже горькой полыни».

Такъ и окунуло Крутицына многоглаголивое посланіе Турусова въ струю «мягкотѣлія». Не мастеръ былъ писать обитатель Капернаума и скрывалъ свое плохое умѣнье подъ вычурами пестраго языка; но все письмо его принесло съ собою воздухъ молодой жизни.

«Быть можетъ», подумалъ Крутицынъ, «Турусовъ и его ровесники и уйдутъ отъ нашей чаши, выучатся съ первыхъ шаговъ завоевывать себѣ прочное мѣсто и не тратить силъ на одни опыты. Но вѣдь и мы въ его года сидѣли надъ чистой наукой, и мы не предвкушали еще никакого оцта, и вѣровали въ то, что исканіе истины застрахуетъ насъ отъ всякаго душевнаго недуга, отъ всякаго ѣдкаго житейскаго итога.»

Онъ перечелъ еще то мѣсто письма, гдѣ говорилось о Швецовѣ.

«Что бы значило?» спросилъ онъ, взвѣшивая фразу Турусова: «ужь не споткнулся ли и Швецовъ обо что-нибудь на своей, такъ твердо начертанной имъ дорогѣ? Или зазноба... да нѣтъ, не такой человѣкъ, чтобы сталъ киснуть. Но самый плохой признакъ тотъ, что не хочетъ написать мнѣ. Стало быть, заподозрилъ самого себя и боится выказать «желудочное трясеніе» передъ кѣмъ-нибудь постарше мягкотѣлія».

Крутицынъ и не замѣтилъ, что было уже далеко за полночь. Комната его совсѣмъ остыла, и по бульвару, среди безмолвія, раздался сухой и жесткій громъ каретныхъ колесъ, катившихся по замерзшему макадаму. Онъ

взялъ свѣчу со стола и, отворивъ дверь въ маленькую спальню, оглянулъ уныло свою холостую квартиру.

«Мумеръ», повторилъ онъ про себя, «трактирная комната съ небелью!... Нѣтъ выхода изъ этого дантова чистилища!»

А утромъ надо было отправить корреспонденцію до двѣнадцати часовъ; а послѣ завтрака имѣлось въ перспективѣ все то же появленіе искателя «бѣлой Арапіи».

IX.

«Искатель бѣлой Арапіи» пришелъ въ обычный часъ, очень сумраченъ.

— Не здоровится вамъ, что ли, Ломовъ? — спросилъ его Крутицынъ.

— Нѣтъ.

— Что же вы такъ мрачно смотрите?

— Ничего.

Но въ первую паузу Ломовъ заговорилъ самъ:

— Ребята наши совсѣмъ съ панталыку сбились.

— Какъ-такъ?

— Къ французу идутъ.

— Вы этого не одобряете?

— Мнѣ-то что! Я съ лѣваго боку припека; а ужь коли русскую али славянскую артель затѣвали, такъ и держались бы до конца.

— Филиберъ говоритъ: работниковъ нѣтъ изъ компатріотовъ.

— Работниковъ нѣтъ!

Ломовъ сапнулъ и еще больше нахмурился.

— Все привередничаютъ, — продолжалъ онъ.

— Вы имъ помогаете ли?

— Я — что! Мнѣ эта работа неподходящая.

— Почему же?

— Такъ... ковырять шиломъ... сидѣть цѣлый день сгорбившись.

— Это надо было предвидѣть.

— Да мы и не спѣлись бы никогда.

— Филиберъ, кажется, добрый человѣкъ и не задорнаго нрава.

— Это точно, да у меня не такой нравъ... характеренъ я.

— Сознаете сами?

— Сознаю.

— Куда же вы теперь?

— Да опять въ свой отель переселюсь.

— Что вы платили?

— Десять франковъ въ мѣсяцъ.

«Вотъ тебѣ и ученье», подумалъ Крутицынъ: «удаченъ опытъ, нечего сказать!»

И тутъ же онъ все-таки рѣшилъ сдѣлать еще опытъ: припустить Ломова къ какой-нибудь литературной работѣ.

— Вы вѣдь по-французски свободно читаете? — спросилъ онъ въ слѣдующую передышку.

— Какъ не читать — читаю все. Только вотъ журнальцы эти съ каррикатурами, шутъ ихъ дери, такія слова все печатаютъ, — ищешь, ищешь въ лексиконѣ, такъ и не найдешь, а лексиконъ у меня богатѣйшій есть.

— Ну, а обыкновенный языкъ?

— Все понимаю.

— И могли бы перевести?

— Какъ, чай, поди, не перевести. Не мудрящая статья.

— Извлеченіе сдѣлать?

— Какъ это?

— Разсказать вкратцѣ, своими словами.

— Тоже статья не мудрящая. Извѣстно, не по вашему. Такъ вѣдь на васъ капиталы ушли.

— Вы думаете?

— А то не капиталы? Извѣстно, капиталы.

Съ этого пункта Крутицынъ не могъ, никакимъ образомъ, сдвинуть Ломова. Искатель бѣлой Арапіи продолжалъ отрицать, что оба они пролетаріи, и все на томъ основаніи, что онъ, Ломовъ, не зарабатывалъ и четверти того, что получалъ за свой трудъ Крутицынъ.

Разспросъ о французскомъ языкѣ Ломова повелъ къ заказу.

— Попробуйте, — предложилъ Крутицынъ, давая Ломову брошюру: — отмѣченныя мною мѣста перевести; а вотъ изъ этой книжицы сдѣлать извлеченіе.

Ломовъ обнюхалъ книжку и брошюру и сказалъ:

— Ладно!

— Ну, а на счетъ возвращенія въ любезное отечество какъ мѣкается? — освѣдомился опять Крутицынъ.

— Да въ чемъ я поѣду-то? Чай, теперь у насъ, поди, 35 градусовъ; да и дорога одна пятьдесятъ рублей стоитъ.

«Подается», подумалъ Крутицынъ.

— Изъ Америки нѣтъ вѣстей? — спросилъ онъ совершенно серьезно.

— Нѣтъ.

— Туда вѣдь зимой-то не особенно удобно ѣхать, хотя бы и матросомъ.

Ломовъ запыхтѣлъ и, не отводя глазъ отъ листа бумаги, проговорилъ:

— Да вѣдь нашему брату гдѣ же искать задачи. Толкаться-то... этакъ... тошно... оно точно.

— И безцѣльно.

— Ну, и безцѣльно.

— Стало быть, надо помышлять о любезномъ отечествѣ.

На это Ломовъ отвѣта не далъ.

А въ ожиданіи литературныхъ трудовъ Ломова, Крутицынъ пошелъ освѣдомиться у сапожниковъ, на чемъ они порѣшили и окончательно ли потеряна надежда превратить его секретаря въ «трудолюбивую пчелу».

Но мастерскую онъ нашелъ запертою, и консьержъ сказалъ ему, что «messieurs les cordonniers» переѣхали вчера въ «Faubourg du Temple». Онъ далъ Крутицыну полный адресъ, прибавивъ, что найти такую трущобу не особенно легко.

Однако, Крутицынъ нашелъ ее въ тотъ же день.

Въ коротком̆ъ переулкѣ, безъ выхода, отыскалъ онъ узенькій домъ въ три этажа. Двѣ дѣвочки, на которыхъ онъ наткнулся у дверей, не могли ему отвѣтить на окликъ:

— M. Filibert-cordonnier?

Сходившій сверху блузникъ заговорилъ съ нимъ и началъ пространно объяснять, ему что сапожника Филибера онъ въ домѣ не знаетъ, а что живетъ, точно, во второмъ этажѣ сапожникъ, но не Филиберъ, а Шуверъ.

Крутицынъ поблагодарилъ его за указаніе и полѣзъ во второй этажъ, сообразивши, что Шуверъ и долженъ быть тотъ французъ, къ которому пристали русскіе сапожники.

На лѣстницѣ зацѣпился онъ за цѣлую груду ребятишекъ малъ-мала меньше. Все это бурчало на разные тоны. На площадку дверь квартиры была полуотворена, и оттуда шелъ кухонный запахъ.

Крутицына встрѣтила женщина за тридцать лѣтъ, съ желтымъ, длиннымъ лицомъ, впалыми, острыми глазами и южнымъ типомъ лица. Одѣта она была очень бѣдно, но

опрятно, въ сѣрый, шерстяной капотъ; на головѣ сидѣлъ чистый чепчикъ.

Когда она узнала отъ Крутицына, что онъ ищетъ русскихъ сапожниковъ, то очень сухо сказала ему, что они помѣстились въ третьемъ этажѣ, но что въ эту минуту ни ихъ, ни ея мужа дома нѣтъ.

— Они пошли разглагольствовать! — выговорила она съ язвительной улыбкой.

— Куда? — полюбопытствовалъ Крутицынъ.

— Est-ce que je sais! въ какой-нибудь кабакъ, или въ какую-нибудь section... Вся эта «Internationale» думаетъ, что она перевернетъ Европу, а кромѣ голода ничего она имъ не дастъ...

«Это жена-ехидна», подумалъ Крутицынъ.

— Вы русскій? — спросила она, не докончивъ своей филиппики.

— Русскій.

— Что же это нынче за русскіе завелись... Пріѣзжаютъ сюда шить сапоги! A t'on jamais vu ça! Неужели у васъ тамъ ѣсть нечего? Я не вѣрю этому. Я очень мало знаю вашу страну; но я слышала, что у васъ есть департаменты больше всей Франціи, не правда ли?

— Совершенная правда.

— А жителей мало... Стало быть, у васъ пролетаріямъ лучше. Руки нужны, не правда ли?

— Нужны, — подтвердилъ Крутицынъ.

— Зачѣмъ же ваши компатріоты ѣдутъ сюда? Это неблагородно! Отнимать у насъ работу! И они вовсе не рабочіе... Это сейчасъ видно... Для нихъ это такъ un pis aller, капризъ, а мы не знаемъ другихъ средствъ къ жизни.

Сапожница говорила рѣзко, отчетливо, точно гвоздемъ вколачивала каждое слово. Отрывистый тонъ былъ замѣчательно твердый и умный.

— Есть люди, — отвѣтилъ ей Крутицынъ: — которымъ нельзя вернуться, а ѣсть и имъ хочется.

— Qu'ils s'embarquent pour l'Amérique! — вскричала сапожница.

— На это надобны деньги.

— Не больше, чѣмъ толкаться здѣсь въ Парижѣ. Вы меня извините, можетъ быть, эти господа ваши друзья, но еслибъ у нихъ дѣйствительно была крайность, они бы отправились вонъ изъ старой Европы. Вѣдь были же у нихъ деньги завести мастерскую. И теперь имъ нужно же платить за квартиру. На эти деньги они доплыли бы до Нью-Іорка.

«До бѣлой Арапіи», добавилъ мысленно Крутицынъ.

— Наконецъ .. и здѣсь... уже если они хотятъ непремѣнно оставаться въ Парижѣ, совсѣмъ не такъ имъ слѣдуетъ жить.

— А какъ же?—мягко освѣдомился Крутицынъ.

— Просто поступать увріерами къ хорошему мастеру и сначала пройти все ученье, а не лѣзть въ мастера, когда не умѣешь порядочно снять мѣрку... Безъ капитала, безъ работниковъ глупо заводить кооперацію... Какая же это была кооперація! C'est à mourir de rire!... Они покупали готовые ботинки и прибивали къ нимъ подошвы... вотъ ихъ работа... Два человѣка не могутъ образовать ассоціацію... А ихъ было только двое... Еще какой-то русскій жилъ съ ними; но онъ, кажется, только спалъ и пилъ кофе...

«Это мой чадушко!» подумалъ Крутицынъ.

— Словомъ, все дѣло было, въ самомъ началѣ, вздорно... такъ поступаютъ пустые люди, не рабочіе, а прокутившіеся проходимцы... des aristos!..

— Ну, какіе же они aristos? -- возразилъ съ улыбкой Крутицынъ.

— Они очень грязны, это правда; но они все-таки

не пролетаріи: пролетаріемъ надо родиться... On ne le devient pas, cher monsieur, quand on n'est pas peuple!

«Вонъ она баба-то какая!» воскликнулъ про себя Крутицынъ: «задала бы она феферу искателю бѣлой Арапіи, еслибъ онъ ей попался на зубъ».

— И вотъ теперь они подружились съ моимъ мужемъ, — продолжала сапожница одушевляясь. — Ну, пускай бы слушали его проповѣди, но они испортятъ все наше хозяйство. И безъ того мы бьемся... У насъ семь человѣкъ дѣтей... Мужъ мой честный человѣкъ... et je m'associe à ses idées, но онъ болтунъ, энтузіастъ, цѣлый день готовъ проповѣдывать; а ребятишки просятъ ѣсть... Одинъ онъ все-таки меньше бы болталъ и что заработаетъ — клалъ бы въ свою домашнюю кассу; а теперь... съ этой коопераціей... онъ станетъ втрое меньше работать... время у него уйдетъ на болтовню «avec ces cordonniers de pacotille», на ихъ ученье... Они ничего еще не смыслятъ... и clientèle... и все пойдетъ... sens dessus-dessous!..

И она вскинула рукой на воздухъ.

Крутицынъ слушалъ ее съ возрастающимъ интересомъ.

— Я увѣрена, что мы не будемъ имѣть и половины теперешняго дохода!

— Увѣрены прежде, чѣмъ сдѣланъ будетъ опытъ?

— Опытъ!.. Ça se voit!.. Изъ ихъ товарищества никакого добра выйти не можетъ! Ужь дружиться, такъ со своимъ братомъ... Вы, пожалуй, обидитесь за друзей вашихъ, но у меня ужь этакій характеръ. Я говорю безъ утайки... Да и вы навѣрно согласитесь, что они — безпорядочные люди!

Крутицынъ отвѣтилъ ей, что онъ вовсе не другъ русскихъ сапожниковъ, знаетъ ихъ мало, но все-таки не можетъ согласиться безусловно съ ея мнѣніемъ.

— Ну, когда узнаете, — начала опять пигментная сапожница: — будете говорить то же, что и я.

Она бы еще долго продолжала на ту же тэму, но на лѣстницѣ послышались мужскіе шаги.

— Вотъ они .. Вы думаете, за работу сейчасъ примутся? Пойдетъ болтовня на цѣлый вечеръ!..

Первый поднялся на площадку и вошелъ въ кухню, гдѣ происходилъ разговоръ, самъ Шуверъ.

Наружность его была такъ же низменна и коренаста, какъ наружность жены его сухопара и вытянута. На верху короткой его фигурки торчала совершенно круглая голова съ густыми, плотно-остриженными волосами съ просѣдью. Борода тоже была подстрижена. Изъ-подъ густыхъ бровей глядѣли два большихъ, сѣрыхъ, восторженныхъ глаза. Носъ, по размѣрамъ, не соотвѣтствовалъ величинѣ головы. Южный типъ еще рѣзче сказывался въ мужѣ, чѣмъ въ женѣ. На Шуверѣ накинуто было старенькое коричневое пальто поверхъ испачканной блузы.

За нимъ вошелъ Филиберъ въ неизмѣнномъ, красномъ шарфѣ, пододвинутомъ подъ самые глаза.

— А! — крикнулъ онъ, увидавъ Крутицына: — на новоселье къ намъ пожаловали... Позвольте представить пріятеля нашего... Шуверъ...

Представленіе произошло, разумѣется, на французскомъ языкѣ.

— Vivent nos frères de Russie! — вскричалъ Шуверъ, пожимая руку Крутицына.

Крутицынъ невольно взглянулъ на лицо жены, и увидалъ, что «русскимъ братьямъ» она желаетъ провалиться въ тартарары.

Шуверъ пригласилъ чужаго гостя въ свою мастерскую, гдѣ было немного почище, чѣмъ въ сапожной на Rue du vieux Colombier. Онъ закурилъ деревянную трубочку, сѣлъ посрединѣ комнаты и заговорилъ.

Чего только не прибралъ онъ по поводу знакомства съ новымъ русскимъ. Сейчасъ же проектировалъ онъ особое кооперативное общество съ цѣлью, которую развивалъ цѣлыхъ полчаса, и которую Крутицынъ все-таки хорошенько не понялъ. Слова вылетали у него точно какой горохъ, и одна фраза погоняла другую, увлекая за собою новые потоки. Шуверъ говорилъ по-французски съ самымъ яркимъ гасконскимъ акцентомъ. Такія слова, какъ «pain», выходили у него «пенгъ». Онъ сосалъ свою трубочку, кидалъ направо и налѣво быстрые взгляды и плевалъ.

Потокъ его рѣчей былъ остановленъ приходомъ жены, сдѣлавшей ему тотчасъ же окликъ.

— Замолчишь-ли ты? — вопросила она его: — этотъ господинъ пришелъ за дѣломъ и не къ тебѣ, а ты его задерживаешь... Этакій...

Она договорила бранное слово, обернувшись къ двери. Ея материнскій глазъ замѣтилъ, что одинъ изъ ребятишекъ что-то куралеситъ въ кухнѣ. Тотчасъ же произошла расправа. Мальчуганъ получилъ нѣсколько полновѣсныхъ giffles.

Крутицыну сдѣлалось непріятно. Филиберъ это понялъ и пригласилъ его къ себѣ наверхъ.

— Vivent nos frères de Russie! — крикнулъ еще разъ Шуверъ, пожимая руку Крутицына, и даже вверхъ по лѣстницѣ пустилъ цѣлую тираду, послѣ которой раздалось ворчанье и брань супруги.

Филиберъ привелъ гостя въ маленькую квартиру изъ двухъ комнатъ, заставленныхъ только-что перевезенными кроватями, ломанными стульями и разной рухлядью.

— Съ новосельемъ, — сказалъ Крутицынъ, не зная гдѣ присѣсть.

— Только-что перебрались. Вы, кажется, познакомились уже съ хозяюшкой Шувера?

— Да, толковалъ съ ней полчаса.

— Какова Иродіада?

— Умная баба!

— Умна. Потому-то я ей и прощаю ея ехидство. Должно быть, понапѣла она вамъ про насъ.

— Напорядкахъ...

— Знаю, знаю, это намъ не особенно вкусно; ну, да не разстраивать же дѣла изъ-за того, что злая баба ругается...

— Будто она изъ одной злости?

— Нѣтъ... умничаетъ, кромѣ того, да и мѣщанство: боится, что мы эксплуатировать будемъ ея мужа... Да вѣдь это все равно — безъ насъ ли, съ нами ли, она не перестанетъ костить его. Такой ужь нравъ. А онъ вамъ какъ показался?

— Энтузіастъ!

— Болтать здоровъ; но за то сердце золотое. И память какая. Все онъ помнитъ, что съ 1848 года было съ увріерами... Точно книгу читаетъ...

— Какъ же вы устроитесь и гдѣ же у васъ будетъ мастерская?

— Мастерская тамъ у Шувера. Онъ и завѣдывать станетъ, какъ нашъ gérant... Разумѣется, ему мы предоставимъ долю побольше. И работаетъ-то онъ лучше насъ, да и семейство такое. А мы здѣсь вдвое дешевле проживемъ.

— Ну, а нашъ мудрецъ какъ съ вами простился?

— Какой мудрецъ? Ломовъ, что-ли?

— А то кто же?

— На немъ я крестъ поставилъ. Ни къ какому дѣлу онъ не приткнется, вѣрьте моему слову. Мы его не гнали. И здѣсь бы могъ спать. Да у него амбиція. Не захотѣлъ сюда. Тамъ, говоритъ, другой будетъ командовать; вы, говоритъ, сами въ батраки идете, а я свободный гражданинъ! Ну, и переѣхалъ въ свою дыру.

— Печально!

— Да что жь сокрушаться! Онъ счастливѣе насъ съ вами. Ему другой жизни и не надо. Здѣсь ли, въ Питерѣ ли или какихъ-нибудь Чебоксарахъ, онъ, все едино, шкуры своей не измѣнитъ.

— Сознался, что для сожительства непріятенъ нравомъ.

— То-то. А мы на него не злобствуемъ, ей же ей, а вы, господинъ Крутицынъ, если ему дѣло какое найдете, такъ надо вамъ будетъ поставить монументъ, право.

Филиберъ казался гораздо веселѣе. Въ голосѣ его не слышно уже было элегическихъ нотъ. Крутицынъ это замѣтилъ.

— Позвольте маленькій, нескромный вопросъ, — сказалъ онъ шутливо: — вы были у Рике́?

— Былъ.

— То-то.

— А что?

— Должно быть, онъ васъ чѣмъ-нибудь смазалъ. Я съ удовольствіемъ вижу, что вы сегодня пободрѣе.

— Да не все же Лазаря пѣть. А Рике́, точно, цѣлительный бальзамъ. Вы къ нему не собираетесь ли?

— Иду отъ васъ.

— Такъ сдѣлайте божескую милость, отдайте писулечку. Я сейчасъ изображу.

Онъ присѣлъ къ окну, и написалъ нѣсколько словъ карандашомъ.

Провожая Крутицына на лѣстницу, онъ спросилъ его:

— А русскую-то коллекцію все еще не видали?

— Не собрался еще.

— Сходите, когда хандра одолѣетъ. Занятно.

«И въ самомъ дѣлѣ», думалъ Крутицынъ, выходя на улицу: «вѣдь надо мнѣ, прощаясь съ Парижемъ, дополнить галлерею компатріотовъ. Прощаясь съ Парижемъ!»

повторилъ онъ, и ему стало до гадости ясно, что парижская жизнь потеряла для него вкусъ. «Вѣдь если ты», продолжалъ онъ думать, «не уберешься отсюда во время, ты, пожалуй, превратишься въ своего рода Ломова, а оправданья твоему шлянью будетъ несравненно меньше. И добро бы ты былъ еще художникъ, и смотрѣлъ на людей, какъ на матеріалъ. А то, какой толкъ изъ того, что ты возишься сегодня съ иксомъ, завтра съ игрекомъ, воспитываешь безпардоннаго лѣтняя. Въ результатѣ выходитъ одинъ колоссальный и постыдный нуль... Вотъ Рике́, къ которому ты идешь теперь тоже безъ особой надобности: онъ хоть и твоего поля ягода, но онъ здѣсь дома, общественная волна вскинетъ его, но и унесетъ опять въ родное море, а ты... Увѣщеваешь Прохорова не быть Анахарсисомъ Клотцомъ, а самъ, по доброй волѣ, вертишься безъ толку и исходу, точно бѣлка въ колесѣ».

Къ Рике́ Крутицынъ пришелъ съ понурой головой и разсѣяннымъ видомъ.

А узникъ находился все въ такомъ же безмятежномъ настроеніи, и почитывалъ корректуры своей книги.

— J'engraisse, cher ami; j'engraisse énormément! — говорилъ онъ Крутицыну, потирая себѣ бока.

Крутицынъ отдалъ ему записку Филибера. Онъ ее пробѣжалъ и, тряхнувши курчавой головой, вскричалъ:

— Pauvre animal!

Восклицаніе это повело къ бесѣдѣ о Филиберѣ.

— Вѣдь вы не знаете, —разсказывалъ Рике́: — Филиберъ былъ въ ужасномъ настроеніи...

— Отъ чего?

— Отъ любви... Superlativement toqué, comme disent les pioupiou.

— Я это немного замѣтилъ.

— Но теперь онъ успокоился, и мы его развлекаемъ.

— Кто же это мы?

— Я и одна особа.

— Женскаго пола?

— Да и этого мало: ваша соотечественница.

— Какъ, еще?

— Я вамъ ничего про нее не говорилъ?

— Ничего.

— Она живетъ здѣсь.

— Въ больницѣ?

— Да, лечится... Вотъ Филиберъ проситъ меня коечто передать ей.

— Какъ же они познакомились?

— Я ихъ познакомилъ.

— Молодая женщина?

— Une demoiselle s'il vous plait. Да вотъ пойдемте.

— Къ ней?

— Нѣтъ, въ корридоръ. Вы знаете, у насъ такое глупое правило. Больнымъ разныхъ половъ не позволено бывать другъ у друга въ гостяхъ.

— Быть не можетъ?

— Parole!.. Въ гости вы можете принимать кого угодно, хоть цѣлый кордебалетъ, но только не изъ числа больныхъ. Вотъ мы и видимся въ саду, когда хорошая погода; а то такъ въ корридорѣ.

— И Кошонетта подчиняется тому же правилу?

— Она давно улетѣла!.. Vous voudriez bien avoir son adresse, animal?!

Они вышли въ корридоръ. Рикé повелъ Крутицына въ другую половину зданія, черезъ галлерею, и послалъ сидѣлку впередъ, шепнувъ ей что-то на ухо.

Въ дверяхъ одного изъ нумеровъ показалась молодая женщина въ длинномъ пальто съ мѣховой отдѣлкой, яркая брюнетка, малороссійскаго типа.

Рикé подошелъ къ ней и потолковалъ съ ней вполго-

лоса, потомъ представилъ Крутицына, а самъ отправился въ аптеку, крикнувъ, что онъ вернется сейчасъ же.

Соотечественница смотрѣла больше дамой, чѣмъ дѣвушкой. Ей было лѣтъ двадцать пять, а то и больше. Широкое ея лицо съ круглыми глазами немного чопорно улыбалось; но заговорила она съ Крутицынымъ простымъ тономъ. Разумѣется, не обошлось безъ вопросныхъ пунктовъ.

— Вы лечитесь? — освѣдомился Крутицынъ.

— Да, — вздохнула она: — очень ужь мнѣ надоѣло.

— Давно познакомились съ Рике́?

— На другой же день, какъ поступила... Онъ такой славный.

Оказалось, что соотечественница уже третій годъ живетъ въ Парижѣ.

«Зачѣмъ?» хотѣлъ спросить Крутицынъ.

Она говорила медленно, «хохлацкимъ» акцентомъ, никакихъ особенныхъ интересовъ не заявила; о Россіи сказала нѣсколько словъ и на вопросъ Крутицына:

— Думаете скоро домой?

Отвѣтила:

— Что я тамъ забыла?

«Не Ломовъ ли въ юпкѣ?» — подумалъ Крутицынъ.

Потомъ она вдругъ пожелала узнать: не было ли у Крутицына родственницы въ какомъ-то московскомъ институтѣ?

Онъ напрягъ свою память и нашелъ, что одна троюродная сестра могла учиться и въ такомъ заведеніи. Сообразилъ онъ, послѣ того, что соотечественницѣ уже подъ тридцать.

— Васъ ничего особенно къ Парижу не привязываетъ? — допросилъ онъ.

— Пріятно здѣсь, — протянула она: — надо же гдѣнибудь жить.

Опять перешли къ Россіи, и Крутицынъ узналъ, что она родомъ изъ Черноморья.

— Вы, стало быть, казачка?

— Казачка.

«И три года живетъ одна въ Парижѣ! Дико!»

Бесѣда, вѣроятно, оборвалась бы, если бы не пришелъ опять Рике́ и не взялъ соотечественницы въ à parte.

— Что за странная особа, — замѣтилъ ему Крутицынъ, когда они вернулись въ комнату Рике́.

— Bonne fille. Vous ne trouvez pas?

— Зачѣмъ она въ Парижѣ?

— Ахъ, какой вы! вскричалъ Рике́. — Что у васъ за полицейскіе инстинкты развились. Ну, просто, живетъ, лечится.

— Не все же время лечится?

— Elle a eu des malheurs.

— Бѣжала, что ли, изъ дому родительскаго?

— Я ее не допрашивалъ. Да и что тутъ удивительнаго? У васъ, должно быть, такъ вкусно жить, что всѣ бѣгутъ.

— Всѣ, — повторилъ задумчиво Крутицынъ. — Вотъ это шатанье и огорчаетъ меня своею безцѣльностью.

— Animal!... La France est si belle!

— Прекрасно, только мои компатріоты не берутъ въ ней того, что дѣйствительно хорошо, а прозябаютъ хуже и глупѣе, чѣмъ у себя дома.

— Croutitzine... Vous étes infecte!

— Можетъ-быть, но компатріоты все-таки поражаютъ своей нелѣпостью.

— Мой другъ, — началъ кроткимъ голосомъ Рике́: — всякій индивидъ на что-нибудь да пригодится. Вотъ вамъ кажется, что эта особа ни на что не годна, а напротивъ, она въ настоящую минуту очень полезна. Она утѣшаетъ ce pauvre Filibert!

— Утѣшаетъ?

— Да, онъ былъ совсѣмъ плохъ, а теперь поправляется съ каждымъ днемъ. На такое сердечное леченіе способна только женщина.

— Онъ въ нее, что ли, влюбленъ?

— Vous n'y êtes pas. Онъ испыталъ несчастную любовь. И я не зналъ, что съ нимъ дѣлать. A Catherine...

— Это соотечественница?

— Да, ее зовутъ Catherine, она...

— Съумѣла уврачевать душевныя раны?

— Animal!... D'où vient méchanceté!

Крутицынъ вздохнулъ и спросилъ послѣ маленькой паузы:

— Развѣ я, въ самомъ дѣлѣ, золъ?

— Ужасно!

— Что же дѣлать, Рикé: эта злость не спроста. И вы озлитесь, погодите немножко.

— Съ какой стати?

— Въ этой злости выражается не темпераментъ.

— А что же?

— Судьба наша.

Рикé тоже задумался.

— Вы, можетъ-быть, и правы, выговорилъ онъ гораздо серьезнѣе.

— Ну, что мы такое съ вами? — продолжалъ Крутицынъ.

— Deux personnages! — отвѣтилъ Рикé и грустно разсмѣялся.

— Хороши персонажи! Сбившіеся съ пути ученые, отставные профессора, безъ прямаго дѣла и признанія.

— Taisez-vous, Croutitzine, vous me rendrez nerveux!

— Нечего, мой другъ, зажмуривать глаза; правда сто-

итъ во всей своей наготѣ... Наши товарищи по наукѣ имѣютъ право презирать насъ. Разумѣется, мы можемъ привести въ свое оправданіе обстоятельства; но кто же не встрѣчалъ неудачъ? Вы еще все не такъ провинились, какъ я. Васъ увлекъ политическій темпераментъ, а у меня просто не хватило выдержки. Оно бы ничего, если бы теперь въ рукахъ было что-нибудь.

Рикé не далъ ему докончить, взялъ его за руку и, поглядѣвши ему въ глаза, спросилъ:

— Вы знаете, что въ васъ говоритъ теперь?

— Что?

— То же, что я слышалъ отъ Филибера три недѣли тому назадъ, что я самъ болталъ полгода тому назадъ! Il y a une femme dessous!

— Quelle idée!

— Il y a une femme, cher animal!... Я знаю все... вы отъ меня скрывали... Я не сержусь... Вотъ теперь вы и ворчите. Дайте срокъ, мы васъ вылечимъ.

— Отыщете другую соотечественницу?

— Ужь кого-нибудь да отыщемъ.

И Рикé началъ балагурить на любовную тэму. Крутицынъ съежился и черезъ полчаса ушелъ отъ него еще сумрачнѣе.

— Французскій мармеладъ! — вскричалъ онъ на улицѣ. — Нѣтъ! нашу русскую хандру имъ не понять. да и нечего съ ней соваться!...

Еслибы, въ эту минуту, подвернулся ему какой-нибудь соотечественникъ, онъ бы способенъ былъ на самую язвительную діалектику.

X.

Крутицынъ долго ходилъ по бульварамъ. Давно уже зажгли фонари. Сухая морозная погода выгнала на макадамъ весь людъ, привыкшій шляться отъ Мадлены до угла Монмартрскаго бульвара.

«И почемъ я знаю», подумалъ вдругъ Крутицынъ, глядя на кокотокъ, шмыгающихъ между фланерами: «пока я предаюсь здѣсь своей нелѣпѣйшей хандрѣ, небезъизвѣстная мнѣ дѣвица срываетъ тутъ же въ Парижѣ цвѣты удовольствія и обитаетъ гдѣ-нибудь въ Елисейскихъ Поляхъ, въ собственномъ отелѣ? Какъ она умнѣе и сильнѣе меня! Какое неотъемлемое право имѣла она ошельмовать меня въ видѣ любовнаго финала, показать мнѣ все мое убожество!»

Съ особымъ сладострастіемъ продолжалъ онъ язвить и унижать самого себя и дошелъ до геркулесовыхъ столбовъ самогрызенія... Онъ двигался медленно, почти не глядя, куда онъ идетъ. Только окончательная пустота желудка заставила его вспомнить, что пора подумать о бренномъ тѣлѣ. Этотъ физіологическій моментъ насталъ, когда Крутицынъ былъ уже давно за Сеной въ окрестностяхъ Одеона. На площади онъ взглянулъ издали на афишу.

«Не пойти ли мнѣ въ театръ сегодня? я работать неспособенъ,» подумалъ онъ; но афиша гласила, что идетъ «Britannicus». Крутицынъ отступилъ почти съ ужасомъ, зная, что классическій репертуаръ идетъ въ Одеонѣ изъ рукъ вонъ плохо.

Противъ театра набрелъ онъ на ресторанчикъ, и пообѣдалъ въ антресоляхъ, въ душной комнатѣ, гдѣ не-

стерпимо пахло газомъ. Отъ запаху ему вступило въ голову.

«А вѣдь я въ двухъ шагахъ отъ Café de la Rotonde,» сообразилъ онъ: «пойду туда читать газеты и дополнить коллекцію компатріотовъ».

Въ кафе было еще пустовато. За конторкой сидѣла пожилая мадамъ съ краснымъ, нечистымъ лицомъ. За желѣзной печкой, въ глубинѣ кафе, какой-то господинъ съ адвокатской физіономіей доканчивалъ обѣдъ. Гарсоны тоже обѣдали въ сторонкѣ. На сѣрыхъ мраморныхъ столикахъ, составленныхъ въ одинъ рядъ, лежало множество журналовъ. Крутицынъ порылся и нашелъ «С.-Петербургскія Вѣдомости», сѣлъ въ уголъ одной изъ амбразуръ ротонды и спросилъ себѣ «une demi-tasse».

Не успѣлъ онъ пробѣжать фельетона, какъ надъ ухомъ его послышалось по-русски:

— Нумерочекъ-то одолжите, когда кончите.

Онъ поднялъ голову. Надъ нимъ поднималась высокая и обширная фигура въ сѣромъ длинномъ пальто покроя московской чуйки. Голова покрыта была мерлушчатой шапкой. Лицо, смахивающее на цѣловальника или деревенскаго кулака, ухмылялось. Сѣдая, подстриженная борода и морщинистыя щеки показывали, что компатріоту за пятьдесятъ.

— Я сейчасъ кончу, — отвѣтилъ ему Крутицынъ.

— Да вѣдь и намъ не къ спѣху. Примоститься позвольте къ вамъ... У насъ это мѣстечко насиженное... Гарсонъ!... демиверъ, силь ву пле.

Пальто размѣстилось рядомъ съ Крутицынымъ.

— Изволили только-что прибыть?

Вопросъ былъ сдѣланъ съ плутовской усмѣшечкой.

— Нѣтъ, я давно живу здѣсь.

— Скажите пожалуйста. Слѣдственно заведенія нашего не изволили посѣщать?

— Я не хожу по кафе.

— А здѣсь вся Русь православная и прочіе славянскіе языки. Вотъ и вѣдомости для ихняго обихода держатъ.

Гарсонъ подалъ графинчикъ коньяку и рюмку, налилъ ее и хотѣлъ унести графинчикъ.

— Пермете... вѣдь экій дошлый народецъ: думаетъ, что мы по ихнему... анкоръ!

И компатріотъ взялъ графинчикъ изъ рукъ гарсона и поставилъ его передъ собою.

Крутицынъ чуть-чуть улыбнулся.

— А я желудкомъ скучаю здѣсь отъ пищи... Все этотъ бефъ-афтоматъ... кислятина, ну и заведутся дрожжи. Вечеромъ-то и надо согрѣть желудокъ... А позвольте полюбопытствовать: по какимъ дѣламъ изволите проживать?

— Пріѣхалъ на выставку корреспондентомъ и остался еще на нѣкоторое время.

— Такъ это мы ваши статейки читали?... Основательное сужденіе вы въ мысляхъ вашихъ выражали. И насъ малограмотныхъ просвѣщали. Я кажный день вѣдомости читаю... родину свою люблю, и ее ни на что не промѣняю... А вотъ копчу небо четвертый годъ... Гдѣ — гдѣ не перебывалъ... и перомъ не описать!

— Все ѣздили по Европѣ?

— По одной ли Европѣ!... Въ Іерусалимѣ былъ, въ Египтѣ былъ собственной персоной. И нашихъ тамъ мужичковъ посѣтилъ...

— Какихъ мужичковъ?

— Самыхъ коренныхъ... Тверской губерніи. Землекопы, батюшка, землекопы и каменотесы. На каналѣ работаютъ...

— На Суэзскомъ?

— Такъ точно, на самомъ на Суэзскомъ. И живутъ отлично, артель промежь себя устроили, и мазанки у нихъ

какія, — на славу! Иные и женъ выписали. Вотъ чуть ли не четвертый годъ тамъ работаютъ... А обычай свой блюдутъ, и одежа и пища; посты тоже соблюдаютъ. А мастера, особливо каменотесы, поискать съ фонаремъ. Французы ихъ взяли съ собой съ желѣзной дороги аршавской. Видѣлъ все это я, государь мой, видѣлъ. И Дранданделлы проплыли. И къ острову Мальтѣ причаливали, и въ Кадиксѣ погуляли. Господа офицеры флотскіе стрѣлись съ нами. Народецъ, изволите знать, бравый... сейчасъ это по всякимъ увеселительнымъ мѣстамъ. А оттуда-то, какъ поѣхалъ я по Гишпаніи-то... аля-валя; они ни по каковски не разумѣютъ, а деньги-то у меня были русскія. Я въ тѣ поры консула за бока. Я хошь иностраннымъ діалехтамъ и не обучался, а меня провести — шалишь!

Крутицынъ слушалъ не безъ изумленія.

Разсказчикъ сдѣлалъ передышку, пропустилъ еще рюмочку, крякнулъ, и продолжалъ:

— Вы, глядя на меня, поди думаете, что, молъ, онъ, старый шутъ, брешетъ? Куда ему въ такія страны соваться и въ города мудреные? А вѣдь все это — сущая правда. Вотъ шляюсь по разнымъ палестинамъ, ровно кто деньги мнѣ платитъ... Пятый годъ такъ-то треплюсь..

— Пятый годъ? — переспросилъ Крутицынъ.

— Четыре года минуло.

— Любите вояжировать?

— Полюбишь!

И онъ плутовато ухмыльнулся.

— Или по дѣламъ?

— Дѣловъ нѣтъ... какія дѣла. Такъ вотъ хоровожусь съ народомъ православнымъ. Вездѣ теперь русскихъ развелось, — во всякомъ мѣстѣ... Молодые пареньки, иные работящіе, другіе, какъ и я же, небо коптятъ. Я ужь ихъ не мало ругаю: что, молъ, вы, шалопуты, зря бол-

таетесь? Для чего вы, примѣрно, въ Парижѣ жительство имѣете? Только родителевъ своихъ нагрѣваете, а то такъ на даровщину норовите прокормиться, да въ пріятельскую мошну лапу запустить. Такого художества я не одобряю. Нашъ братъ — особь статья! Мы юдоль свою совершили, всего перепробовали, такъ съ насъ и не взыщется; а эти, видишь ли, образованный народъ, рожу воротитъ, пока его хорошенько не обрѣешь, потому только съ нашимъ братомъ и компанію водитъ, что норовитъ поживиться на нашъ же счетъ... Ну, да они теперь разнюхали, что Ужу палецъ въ ротъ не клади.

— Ужу?

— Такъ я, батюшка, прозываюсь. Ужовъ моя фамилія, а покороче-то просто Ужъ... А вотъ и первый завсегдатель явился. Ужь вы извините... столикъ-то этотъ— ихнее мѣсто...

— Вы мнѣ нисколько не помѣшаете, — успокоилъ его Крутицынъ, отодвигаясь въ уголъ.

Съ Ужомъ поздоровался молодой малый, тоже въ пальто, смахивающемъ на чуйку. Пухлое и ухмыляющееся его лицо съ жидкой бородкой щурилось на свѣтъ.

— Ну, дядя! — крикнулъ онъ: — двигайся туды... зазябъ я чертовски! Ты сколько пропустилъ? Небось, съ полдюжины?

— Пересчитай, — отвѣтилъ пренебрежительно Ужъ, указывая на градусные рубчики графина.

— Ишь нажрался!

— На твои, что ли, карбованцы?

— А то на чьи же?... У нашего брата рабочаго наворовалъ.

— У кого это... Не у тебя ли? Вотъ рабочій-то выискался... Промыселъ-то у тебя извѣстный.

— Какой?

— Въ проходномъ ряду пылью торговать!

— Ври еще! А въ экарте не хочешь сразиться?
— Съ тобой?
— А хошь бы и со мной?
— На шереметевскій я не играю, паря.
— Кто говоритъ на шереметевскій?
— А то на какой же? У тебя, чай, самъ знаешь, въ одномъ-то карманѣ — вошь на арканѣ, а въ другомъ — блоха на цѣпи!
— Ехидна ты старая!... Шляешься вотъ по бѣлому свѣту, и нигдѣ-то тебя кондрашка не хватитъ.
— Всѣхъ васъ стрекулистовъ переживу.
— Такъ играемъ, что ль?
— Клади деньги на столъ.
— А ты полно куражиться... Рюмочку можно?
— Я платить не стану.
— Ты думаешь, у меня и кредиту нѣтъ... Гарсонъ!.. енъ бокъ!... И подадутъ... вотъ тебѣ сталовѣръ треклятый...

Крутицынъ какъ-то застылъ, слушая діалогъ: такъ онъ подавлялъ и изумлялъ его. Молодой русскій раза два взглянулъ на него, но, вѣроятно, принялъ его за француза. Когда Крутицынъ оторвалъ глаза отъ газеты и взглянулъ на столъ соотечественниковъ, около него сидѣло уже трое.

Третій смотрѣлъ больше «благороднымъ». Желтое, болѣзненное лицо съ расчесанной окладистой бородой брюзгливо улыбалось. Сухощавая фигура горбилась. На немъ надѣта была короткая двубортная визитка. Онъ сѣлъ между Ужомъ и пухлымъ парнемъ въ чуйкѣ. Ужъ обращался съ нимъ немного почтительнѣе.

— Вѣдомость прочелъ? — спросилъ онъ насмѣшливо Ужа: — съ объявленіями включительно?
— Нѣтъ, не заглядывалъ еще.
— Гдѣ она? Подай!

Ужъ обратился къ Крутицыну.

— Вамъ больше не требуется?

Крутицынъ отвѣтилъ наклоненіемъ головы, подавая газету.

Пухлый парень сейчасъ же обернулся въ его сторону, и нахальнымъ голосомъ спросилъ:

— Руссакъ?

— Рай не видишь? — оборвалъ его Ужъ.

— Не хотите ли въ нашу компанію? Должно быть, вновѣ? Или съ нашимъ братомъ возжаться нежелательно?... А кого, примѣрно, изъ русскихъ знаете? Поди, чай, знакомы съ Прохоровымъ?

— Знакомъ, — отвѣчалъ Крутицынъ.

— Ну, такъ и есть. И какъ, на вашъ вкусъ, приходится сей индивидъ?

— А вы его знаете?

— Довольно-таки вкусилъ его... Скотина сверхъестественная! Этакихъ надо на первую осину.

— Ну, а тебя на которую? — спросилъ Ужъ.

— Молчи, старовѣръ! Я вѣдь у господина Прохорова въ услуженіи два мѣсяца выжилъ, плюнулъ ему въ харю и былъ таковъ! Въ крѣпостную зависимость меня обратить хотѣлъ — да-съ! Посуду ему въ лабораторіи перемывалъ и фырканье его съ утра до вечера выслушивалъ. Нѣтъ ужь, братцы, такого аспида на всей Руси православной поискать! Ну, а какъ вы его насчетъ интеллекта считаете?

Вопросъ обращенъ былъ въ сторону Крутицына.

— Умный человѣкъ.

— Умный! Ха-ха-ха! Да этакихъ идіотовъ еще мать сыра-земля не рожала! Сплюснутую башку свою начинилъ ерундой позитивной, да и воображаетъ, что онъ рѣшето премудрости и сито учености. Идіотъ-съ!

— Лодыревъ, — прервалъ его глухимъ голосомъ жел-

товатый: — не ори, ты любишь, я знаю, свою собственную кличку; но орать тебѣ, все-таки, не полагается...

«Боже мой!» воскликнулъ про себя Крутицынъ: «куда я попалъ!»

— Идіотъ! Не будь онъ барченокъ, онъ бы рукава жевалъ. Капиталы въ него всажены. Да и то нашего же брата въ батраки беретъ. Это вамъ, изволите видѣть, іерархія интеллигенціи. Лаборанты имъ нужны, да офиціанты, да секретари всякіе. Вотъ тоже, сказывали мнѣ, проживаетъ здѣсь корреспондентишко какой-то... статейки сочиняетъ. Секретаря завелъ — на-кось! Сами-то не могутъ писать; спинка, видно, болитъ, ну, и куражатся, а послѣ на всѣхъ крышахъ зѣваютъ: мы-де меньшую братію призрѣваемъ! А меньшая братія плевать хотѣла на всѣхъ этихъ скотовъ!

— Не ори, Лодыревъ, — прервалъ опять желтый: — пошлю за сержанъ-де-виллемъ и велю тебя взять, какъ вагабунда, законнаго вида не имѣющаго.

— Врешь, я при паспортѣ, а ты бы лучше молчалъ. Притащился сюда форсу пускать, да и сѣлъ въ лужу... верхнимъ-то концомъ, да къ низу. Не хочешь ли кавалеріи свои заложить — а? У тебя Аннушка на шеѣ? Али Станиславчикъ?

— Въ Привислянскомъ краѣ службу проходили, — сказалъ вполголоса Ужъ, наклоняясь къ Крутицыну: — голова большой умственности, только замотамшись здѣсь.

— Что тамъ шепчешься, Никита Пустосвятъ? — крикнулъ пухлый. — А ты объявленья-то свои читай. Авось набредешь на вызовъ въ окружной судъ купеческаго брата Виссаріона Малафѣева сына Ужова, за прикосновенность по дѣлу о превращеніи казенной соли въ нѣкоторый малосольный растворъ, а потомъ и въ пустое мѣсто!

Ужъ нахмурился и глухо вскрикнулъ:

— Не замай! Тресну — мокренько будетъ!

— Попробуй... А ужь ты не куражься, коли царя-государя обворовалъ, да утекъ съ мошной... Вы что думаете, — Лодыревъ обратился къ Крутицыну: — кубышку съ собой возитъ, скаредъ; удавится, а бока не поставитъ!

— Держи карманъ!

— Коли бы не придерживался горькаго испитія, онъ бы тридцати франковъ въ мѣсяцъ не проживалъ. Одно слово — сибирскій каторжникъ. Вы его разспросите-ка, гдѣ онъ наукамъ обучался? Въ тундрахъ сѣвера, гдѣ золотой песочекъ промываютъ. Тамъ онъ всю эквилибристику проходилъ!

— Онъ у насъ Емеля-дурачекъ, — пояснилъ Ужъ Крутицыну: — красные штаны хотѣли ему въ складчину соорудить, а въ Сибири я точно родился.

— Это ты разсказываешь! Не родился ты, а безъ прогонъ тебя туда препроводили для обученья наукамъ и художествамъ!

— Лодыревъ! Цыцъ! — окрикнулъ желтый. — Ужъ! давай въ трынку...

— Да на какой счетъ-то?

— Да вѣдь ты мнѣ долженъ десять боковъ.

— Я?

— Иль запамятовалъ?

— Ни въ жисть я тебѣ ни единаго бока не проигрывалъ.

— Побойся Бога!

— Лопни мои глазыньки! Да кому изъ васъ я хоть сѣмечко подсолнечное проигралъ? Не народился еще такой человѣкъ.

— Козырять не обучены? — крикнулъ «Емеля» Крутицыну.

— Не играю.

— Въ компанію нашу вступить, что ль, не желательно? Это какъ вамъ будетъ угодно. На великомудрыя

рацеи къ Прохорову не желаете ли прогуляться? То-то, братцы, скука-то смердящая! Всѣхъ ископаемыхъ отрылъ. И чайкомъ ихъ по четвергамъ попаиваетъ. На ужинъ не раскошелится — шалишь! Онъ и меня-то какъ кормилъ: себѣ шеврель закатитъ, а мнѣ вчерашнюю баранину.

— А тебѣ еще какихъ разносоловъ? — презрительно спросилъ Ужъ.

— Халуемъ меня держалъ — вотъ я къ чему...

— Такъ тебя и слѣдуетъ, оболдуя!

— Что-жь въ трынку, отче? — проговорилъ тихо желтый, обращаясь къ Ужу.

— Нѣтъ, други милые, я своего пантенера поджидаю. Онъ у меня обученъ по семи боковъ въ вечеръ мнѣ профершпиливать.

— Да все равно — безъ отдачи.

— Нѣтъ, на немъ крестъ есть, не такъ, какъ на васъ прощалыгахъ. Въ первыхъ числахъ каждаго мѣсяца у него деньги водятся. И онъ мнѣ сполна всѣ боки выставляетъ; ну, а потомъ на книжку. Нельзя же и кредитецъ не оказать. А вотъ и онъ, мой сердечный, экъ его отъ холоду-то скрючило.

Въ кафе вошелъ щедушный человѣчекъ въ смятой низкой шляпѣ и старомъ короткомъ пальто желтотабачнаго цвѣта. Онъ закутался въ него такъ, что видны были только очки и покраснѣвшій кончикъ носа.

— Сочинитель! — гаркнулъ Лодыревъ. — Скорчило, небойсь! А Никита Пустосвятъ поджидаетъ. Больно, говоритъ, мнѣ сподручно у сочинителя боки вытягивать!

«Сочинитель» примостился къ тому же столу, опустилъ воротникъ и сталъ оглядываться, протирая запотѣвшія очки. Лицо его совсѣмъ посинѣло отъ холоду. Простуженнымъ и недовольнымъ голосомъ проговорилъ онъ:

— Табачекъ у кого есть?

— Былъ у меня, да весь вышелъ! — крикнулъ Лодыревъ.

— А я зелья не употребляю, — отозвался Ужъ.

— А я у васъ хотѣлъ попросить, — сказалъ съ скверной усмѣшкой желтый.

— Скричите гарсона! — скомандовалъ Лодыревъ.

— А вы заплатите? — спросилъ его прищуриваясь вновь пришедшій.

— Заплачу ли? Видали какъ лягушки прыгаютъ?!

Крутицыну показалось, что Ужъ имѣетъ поползновеніе привлечь его къ бесѣдѣ. Онъ всталъ, бросилъ на столъ пятьдесятъ сантимовъ, не крича гарсона, и поклонившись всей компаніи, торопливо вышелъ.

Очутившись противъ «Ecole Pratique», онъ почти боязливо оглянулся на стеклянную ротонду и прошепталъ:

— Святые угодники! Гдѣ я былъ?

Филиберъ не обманулъ его: коллекція превзошла все, что онъ ожидалъ.

Крутицынъ всю ночь видѣлъ какихъ-то чудищъ. Они гнались за нимъ и кричали: «ты проигралъ десять боковъ! Ты проигралъ десять боковъ!.. Отдай ихъ!...» Онъ просыпался съ нервнымъ вздрагиваньемъ и засыпая видѣлъ Ужа, подсмѣивающагося надъ нимъ гдѣ-то на необозримой тундрѣ, а изъ-за широкихъ плечъ «Никиты Пустосвята» выглядывала нахальная рожа «Емели» въ красныхъ штанахъ, повторяющая безъ конца: «Прохоровъ идіотъ, идіотъ, идіотъ!...» Потомъ его схватывалъ за шиворотъ соотечественникъ «большой умственности», служившій въ Привислянскомъ краѣ, и шипѣлъ: «давай въ трынку на шереметевскій!»

Онъ проснулся точно съ пивнымъ котломъ вмѣсто головы, и первый его звукъ былъ:

— Вонъ изъ Парижа!

Когда онъ освѣжилъ холодной водой голову, на ми-

нуту ему показалось, что вчерашній вечеръ — сонъ; но типы соотечественниковъ предстали опять во всей своей непосредственности.

XI.

Легко было вскричать: «вонъ изъ Парижа!» но гораздо труднѣе выполнить это тотчасъ же. Надо было Крутицыну списаться съ редакціей газеты, куда онъ корреспондировалъ, и докончить статью, которая приняла гораздо большіе размѣры, чѣмъ какіе онъ давалъ ей въ проектѣ.

Онъ началъ торопить Ломова насчетъ заказанныхъ ему переводовъ и извлеченій. Долго тянулось понуканіе. Наконецъ-то принесъ Ломовъ разрозненные листики, куда онъ вписывалъ кусочки перевода. Крутицынъ просмотрѣлъ ихъ, нашелъ крайне плохими и выругалъ себя за то, что поручалъ «искателю бѣлой Арапіи» какую-нибудь серьезную работу. Ему не хотѣлось говорить Ломову въ глаза рѣзкую истину о его неспособности къ труду; но приходилось однакожь разсчитать его такъ или иначе.

Крутицынъ долженъ былъ предложить вознагражденіе совершенно наобумъ, потому что раціонально высчитать его не представлялось никакой возможности. Ломовъ взялъ, что ему дали. Его писецкая работа подходила тоже къ концу; но Крутицынъ прекрасно зналъ, что другихъ ресурсовъ къ существованію у Ломова не имѣлось.

Онъ началъ замѣчать, что Ломовъ сдѣлался особенно молчаливъ. Вдругъ онъ исчезъ на нѣсколько дней и когда явился, то сразу объявилъ:

— Я въ Питеръ ѣду...

Крутицынъ очень этому обрадовался. На разспросы его о средствахъ къ отъѣзду, Ломовъ отвѣтилъ кратко:

— Вышла оказія.

И распрощался.

У себя въ своемъ трудовомъ салончикѣ Крутицынъ остался совершенно одинъ. Ему жалко стало этого чудака, ни на какое дѣло не годнаго и нимало не занимательнаго. Ему еще разъ прискорбно сдѣлалось то, что такъ безплодно прошла ихъ встрѣча.

Опытъ съ Ломовымъ кончился блистательнымъ фіаско; но по крайней мѣрѣ не вышло ничего пошлаго, грязнаго, такого, гдѣ желаніе добра приводитъ къ взаимному непониманію и озлобленію. Крутицынъ былъ уже доволенъ и тѣмъ, что судьба не подослала ему въ секретари одного изъ «завсегдателей» Café de la Rotonde, компатріота, въ родѣ Лодырева. Не хотѣлось ему узнавать и отъ Филибера, гдѣ нашелъ Ломовъ средства ѣхать въ Россію. Вообще онъ чувствовалъ себя въ припадкѣ благодушія, точно съ него спала какая-то обуза.

Но отъѣздъ Ломова не ускорилъ окончанія работы, а напротивъ нѣсколько задержалъ ее. Крутицынъ привыкъ диктовать. Статья все разрасталась, а изъ редакціи отвѣта не приходило.

Дня черезъ три послѣ прощанія съ Ломовымъ, Крутицынъ по привычкѣ сѣлъ работать надъ статьей во второмъ часу. Гарсонъ пришелъ доложить ему, что его спрашиваетъ какой-то господинъ, но что впустить этого господина сразу онъ не рѣшился, такъ-какъ «много всякаго народу ходитъ».

— Русскій? — спросилъ Крутицынъ.

— Il a l'air ouvrier.

— Faites monter.

Крутицынъ встрѣтилъ у двери плотнаго, смуглаго ма-

лаго лѣтъ за тридцать, съ большими усами и рѣдкими волосами, въ синей блузѣ и холщевыхъ синихъ же панталонахъ, какіе носятъ парижскіе увріеры и кондукторы омнибусовъ. Когда Крутицынъ оглядывалъ его фигуру, онъ замѣтилъ, что конецъ башмака лѣвой ноги срѣзанъ и большой палецъ выставлялся оттуда, укутанный въ бинтъ. Лицо было доброе и унылое.

— Мнѣ говорили, — началъ онъ по-русски, мягкимъ, южнымъ голосомъ: — что вамъ нуженъ переписчикъ.

— Да, — отвѣтилъ Крутицынъ: — но только на короткое время.

— Все равно.

И онъ грустно улыбнулся и тотчасъ же поморщился отъ боли.

— Садитесь, — пригласилъ его Крутицынъ и спросилъ его недоумѣвающимъ тономъ: — вы русскій?

— Какъ видите. Вамъ, навѣрно, дико видѣть русскаго въ такой сбруѣ. Что-жь дѣлать!

Вздохъ его задѣлъ Крутицына.

— У меня работа — письмо подъ диктовку. Такъ вамъ, быть можетъ, тяжело ходить каждый день?

— Нѣтъ, ничего. У меня нога совсѣмъ ужь зажила. Только цѣлаго башмака еще не велятъ надѣвать.

— Гдѣ вы ранили ее?

— Бревномъ отдавилъ. Несъ бревно.

— Бревно?

Крутицынъ окончательно смутился.

— Васъ удивляетъ? — выговорилъ смиреннымъ тономъ соотечественникъ въ блузѣ.

— Признаюсь!

— Да вѣдь нынче заграницей всякіе русскіе. Только позвольте мнѣ съ вами на чистоту изъясниться... вамъ, пожалуй, будетъ сумнительно взять меня къ себѣ на работу.

— Отчего же, помилуйте.

— Рекомендаціи у меня нѣтъ. Я, коли хотите знать правду, бѣглый!

— Бѣглый?

— Да, просто бѣглый... За эмигранта я себя выдавать не хочу. Это я ужь другимъ господамъ предоставляю, которые эмигрантствомъ своимъ прикрываются... Засосало меня одно дѣло съ казной. Кѣмъ и какъ загубленъ — долго разсказывать. Помалодушествовалъ и очутился за-границей, но надѣясь на скорый исходъ процесса. А вмѣсто того и сѣлъ. Коли вамъ не угодно имѣть со мною какія ни на есть отношенія... я отретируюсь... стану опять бревна таскать.

«Это не Ломовъ», подумалъ Крутицынъ и сказалъ съ удареніемъ:

— Благодарю васъ за откровенность. Буду душевно радъ подѣлиться съ вами трудомъ.

Тонъ блузника отзывался тихой горечью, но нельзя было заподозрить его искренность.

Черезъ двѣ — три минуты Крутицынъ говорилъ съ нимъ совершенно попросту.

— Въ Парижъ-то я пріѣхалъ еще во время выставки,— разсказывалъ ему блузникъ: — въ первые мѣсяцы были у меня кое-какія деньжишки, да и форсъ прежній оставался, ходилъ я еще бариномъ, думалъ: какъ это въ такомъ городѣ не пробиться. Какъ послѣдніе-то франки подвелись, я и очутился на самомъ днѣ... Ничего-то я не умѣю, ни языка не знаю, ни наукамъ никакимъ порядкомъ не обученъ, куда пойдешь, какой работы запросишь? А гордость-то не унялась еще. Христовымъ именемъ побираться не хотѣлось, да и не позволяютъ здѣсь Лазарято пѣть по улицамъ. Два дня я шлялся по Елисейскимъ Полямъ. Ночь подойдетъ, и бухнешься на скамейку, и сейчасъ какъ мертвый заснешь. Разбудитъ тебя сержантъ

де-виль... спать, молъ, въ публичныхъ мѣстахъ не показано. *Сиркюле*, молъ, *мусье*. И поволочишь опять ноги до слѣдующей скамьи. И такъ-то всю ночь. На третій день свело мнѣ животъ и въ глазахъ позеленѣло. Тутъ только я восчувствовалъ, что такое есть голодъ. Дурацкій гоноръ-то купецкій сшибло съ меня. Иду на желѣзную дорогу: есть, молъ, у меня руки, впрягусь-де во всякую поденщину. Меня приняли. И сталъ я доски и бревна таскать. Видите: я и плечистъ выгляжу, а на первыхъ-то порахъ не разъ всплакнулъ. Снаровки-то нѣтъ; какъ ни схватишь, все не такъ. Обдеретъ тебѣ плечо, спину разломитъ, разогнуть нельзя, и такъ-то цѣлый день безъ устали. Ну, привыкъ. Вижу, народъ не хуже меня работаетъ, сотни человѣкъ, и французы, и нѣмцы, ребята все бравые, пограмотнѣе меня, и газеты читаютъ и обо всемъ толкуютъ съ разумѣніемъ. И смѣхъ у нихъ идетъ, шутки, пѣсни. Это меня и поддержало, хоть я и не могъ съ ними свободно объясняться. Обращаются съ тобой, какъ съ человѣкомъ, и товарищи, и контръ-метры. Никто на тебя не оретъ, какъ у насъ, никто тебя ни однимъ словомъ не обидитъ. Хоть ты и батракъ, да человѣкомъ себя чувствуешь. Плата 3 франка въ день. И ресторанъ тамъ свой, по дешевымъ цѣнамъ, и платье съ разсрочкой можно купить. Началъ втягиваться и забылъ про то, чѣмъ былъ когда-то. Да вдругъ и свалило меня: бревно хвать вотъ по этому самому мѣсту. Безъ памяти меня понесли. Всѣ кинулись помогать, даромъ что чужой. Одинъ передъ другимъ. Пролежалъ я немало, прикинулась нога болѣть. Сначала получалъ отъ компаніи половину платы, а тамъ совѣстно стало. Вотъ прослышалъ про васъ и пришелъ.

Крутицынъ былъ глубоко тронутъ разсказомъ и радъ внезапному явленію этого бѣдняги, который показывалъ пока одну внѣшнюю сторону своихъ мытарствъ.

Съ перваго же дня у нихъ установились простыя отношенія, безъ всякихъ щепетильностей и лишнихъ замысловъ со стороны Крутицына. Передъ нимъ былъ цѣльный, сложившійся, посѣщенный несчастіемъ, человѣкъ, котораго поздно уже было наводить на новую дорогу, но которому хотѣлось помочь вдвое больше, чѣмъ десятку «искателей бѣлой Арапіи». Какимъ-то особымъ спокойствіемъ печали дышало существо этого «русскаго въ блузѣ», и Крутицынъ готовъ былъ приняться еще за статью, еслибъ послѣ Ломова не осталось никакой писецкой работы.

Справляться о своемъ новомъ секретарѣ Крутицынъ ни у кого не пошелъ.

Василій Кирилычъ (такъ звали его) оказался если не большимъ грамотѣемъ, то настоящимъ калиграфомъ: такъ красиво и отчетливо писалъ онъ. Начиная съ почерка, все въ немъ дышало степенностью и приличіемъ. И работать, и говорить, и молчать съ нимъ было особенно ловко. Еслибъ самъ Крутицынъ не пожелалъ узнать подробностей его судьбы, Василій Кирилычъ ни однимъ словомъ не заявилъ бы своихъ личныхъ испытаній. И никогда еще не встрѣчалъ Крутицынъ такой чистый типъ человѣка разбитаго жизнью, гдѣ бѣда стряслась въ видѣ греческаго фатума и посадила человѣка разомъ на дно безысходной пропасти. Жилъ онъ обычной купеческой жизнью, вошелъ въ крупныя дѣла подъ руководствомъ отца своего, и очутился «козломъ очищенія» и неоплатнымъ должникомъ. Ненависть къ неволѣ, такъ всецѣло охватывающая существо русскаго человѣка, побудила его къ бѣгству. Онъ не особенно стыдился его и говорилъ, что скрывшись онъ только избавилъ отъ лишней скорби тѣхъ, кому онъ близокъ. Кредитъ, почетъ, добытый долгимъ мытарствомъ, довольство, все это стояло въ безвозвратной дали и оставило въ немъ особый гоноръ, не позво-

лявшій ему опускаться до униженья и пороковъ мизерабля.

— Просить, — говорилъ онъ Крутицыну: — до сихъ поръ рука не протягивается, а особливо у нашихъ баръ. Не могу якшаться и съ разными проходимцами. Я ихъ не казню: у каждаго свой крестъ; но въ компанію съ ними не пойду... Самое еще чистое мѣсто —поденщина. Тутъ у человѣка и жалость къ другому является, и достоинство. Канючить да героевъ изъ себя представлять — некогда. Коли хочешь быть сытъ, такъ пыхти двѣнадцать часовъ въ сутки!

Злоязычья, неразлучнаго съ горькой долей, въ Васильѣ Кирилычѣ не было и тѣни. Онъ только признавался, что не можетъ терпѣть нѣмцевъ, за то Францію и французовъ любилъ и притомъ своеобразно и говорилъ о нихъ не общими фразами, а примѣрами, извлеченными изъ своей житейской доли.

— Хорошій народъ; послѣ насъ, — заключалъ онъ каждый разъ свои отзывы.

О Филиберѣ Василій Кирилычъ слышалъ. Крутицынъ намекнулъ ему, что не примоститься-ли ему къ сапожникамъ?

— Нѣтъ-съ, — отвѣчалъ Василій Кирилычъ: — это дѣло пустое, продержаться оно не можетъ, вотъ вы увидите. Гдѣ же нашимъ русскимъ тягаться съ французами? Покуражатся, да и на попятный. Не мало я насмотрѣлся на нихъ. А мнѣ потому — не рука, что на выучку время надо. За ученье никто платить мнѣ не станетъ. Чѣмъ же питаться-то, пока начнешь что-нибудь зарабатывать?

— Васъ бы поддержали...

— Другіе мастера на это; а я нѣтъ. Надо ходить по добрымъ людямъ-да канючить: я-де вотъ въ мастеровые иду изъ благороднаго званія, такъ вы мнѣ благо-

дѣтельствуйте, невпримѣръ прочимъ. Ужь лучше бревна да доски таскать...

Перспектива превратиться опять въ простаго поденщика не страшила его; но о Россіи и семействѣ своемъ тосковалъ онъ страшно. Его горе питалось всѣми кровными связями съ почвой, а не рефлексіей; чувствовалъ онъ, какъ съ каждымъ днемъ безысходная доля пролетарія въ чужой землѣ рветъ эти связи.

Василій Кирилычъ рѣзко отличался отъ всѣхъ русскихъ шатуновъ, съ какими столкнулся Крутицынъ въ Парижѣ; но онъ-то и мирилъ съ ними. Въ немъ ярко выражалась безпомощность русскаго человѣка, выброшеннаго изъ житейскаго моря своей родины на чужой берегъ. Его бытовая фигура вѣщала про нѣчто, кроющееся въ дѣвственныхъ нѣдрахъ неустроенной и чудной страны и объясняющее всякую безпорядочность, а главное — всякое шатанье. И Ужи, и Лодыревы, и Филиберы, и Прохоровы — всѣ находятъ оправданіе въ этомъ «нѣчто». Такъ и взглянулъ на нихъ окончательно Крутицынъ; а Василій Кирилычъ, точно угадывая его думу, говорилъ ему:

— Эхъ, Александръ Павлычъ, какъ разобрать по-судейски, такъ ни одному изъ насъ нѣтъ оправданья, а вѣдь что-нибудь да значитъ незадача русскихъ людей... Кто полѣзетъ по доброй волѣ въ чужой станъ?... Придетъ такое время, всѣхъ насъ мытарствующихъ оправдаютъ; да только тогда и косточки наши сгніютъ!

XII.

Пришло письмо изъ редакціи. Въ немъ сожалѣли, что Крутицынъ покидаетъ Парижъ, и просили подыскать, если возможно, себѣ преемника. Просьба озадачила его.

«Кого же я выберу?» спросилъ онъ себя въ великомъ недоумѣніи. Прохоровъ? Онъ слишкомъ обезпеченъ и дорожитъ своимъ временемъ. Онъ не впряжетъ себя въ хомутъ срочной работы, да и по-русски не писалъ. Филиберъ? Онъ хорошій малый и знаетъ уголокъ рабочаго Парижа; но литературнаго образованія у него — никакого, снаровки и опыта — еще менѣе. И остается коллекція соотечественниковъ въ «Café de la Rotonde...»

И о Васильѣ Кирилычѣ подумалъ-было Крутицынъ; но не предложилъ ему такой работы, зная, что тотъ навѣрно откажется.

«Вотъ такъ итогъ», заключилъ Крутицынъ свое обозрѣніе: «ни одного человѣка, годнаго на трудъ газетнаго корреспондента».

Но свой отъѣздъ рѣшилъ онъ безповоротно. Къ какому дѣлу пристанетъ онъ въ Россіи, онъ не спрашивалъ себя. Онъ бѣжалъ отъ возможности «застрять» за-границей и кончить хроническимъ недугомъ диллетантскаго существованія. А возможность эта представлялась совершенно ясно и отчетливо. Стоило остаться еще на два, на три года съ кускомъ хлѣба, съ нетрудной работой и съ отсутствіемъ всякихъ волненій. Хандра поддалась бы напору лѣтъ. Дѣлаясь, по жизни, запоздалымъ холостякомъ, пріобрѣтешь и всѣ коренныя свойства старой дѣвы мужскаго пола. Явится одна мелкая забота: о своемъ бренномъ тѣлѣ, о ревматизмѣ, каттарѣ, пищевареніи, несвареніи желудка,

сквозномъ вѣтрѣ, хорошемъ кускѣ бифштекса, доброй рюмкѣ бургундскаго... Умъ обратится на безразличное питаніе мозга безъ симпатій, протестовъ, упованій. Политика и искусство, новости и скандалы, міровыя задачи и театральныя сплетни — все калейдоскопомъ завертится предъ умственными очами, не радуя, не возмущая, не зовя къ кипучей дѣятельности, не возраждая новыхъ силъ на подвигъ и жертву. А тамъ подползутъ и дѣйствительныя тѣлесныя немощи и человѣкъ — тряпка воцарится въ своемъ бренномъ остовѣ, и будетъ скаредно ситать минуты своей безплодной и бездушной жизни.

Съ глубокою радостью откликнулся Крутицынъ на зовъ Елены Петровны, писавшей ему:

«Голубчикъ Саша, все больше и больше боюсь я уйти изъ этого міра, не повидавшись съ тобой. Видишь, какая я дрянная старушонка: когда мы съ тобой прощались, я храбрилась и говорила тебѣ, что ни въ жизнь тебя не обезпокою собой. А теперь выходитъ по другому. Было бы безумно и непростительно съ моей стороны отвлекать тебя отъ твоихъ дѣлъ и интересовъ. Но, дитя мое, вижу я по твоимъ письмамъ, что за-границей ты оставаться не хочешь (да и какъ разорвать надолго связь съ родиной?), и даже тяготишься Парижемъ. Насъ, старухъ, вы, умники, не проведете. Ты хоть и стараешься сдѣлать свои письма веселенькими, но чутье наше распознаетъ тотчасъ, гдѣ ноетъ душа. Не хочу упрекать тебя въ скрытности; но сдается мнѣ, что была какая-то полоса изъ твоей парижской жизни, которую ты мнѣ не показалъ. Сдѣлать ты это могъ только изъ нежеланія огорчить меня. А такъ какъ я и въ послѣднихъ твоихъ письмахъ не вижу особаго довольства сердечнаго, то и заключаю, что ты нравственно очень плохо себя чувствуешь. Не правда ли, Саша? Лгать ты не станешь и отвѣтишь мнѣ безъ запиночки... Если же тебя ничто къ Парижу не привлекаетъ,

что-бы тебѣ послѣ трудовъ и душевныхъ испытаній не отдохнуть хоть съ полгодика? Къ веснѣ думаю переѣхать въ деревню. Вотъ бы мы съ тобой и поблагодушествовали... А тамъ, на свободѣ-то и остановился бы ты на чемъ-нибудь окончательно. Я страшно за тебя боюсь, Саша. При твоей наклонности къ хандрѣ, затянуть скитальческую жизнь — божеское наказаніе. Если не угодно было Провидѣнію осчастливить себя семейными радостями, ты, съ твоими талантами и умомъ, навѣрно найдешь уголокъ, который замѣнитъ тебѣ семью и гдѣ все твое душевное добро пойдетъ въ прокъ...

«Вотъ какъ я разумничилась съ тобой, дитя мое. А попросту-то сказать: такъ тебя хочется обнять, что съума сойду, ждавши. Да пожалѣй и жертву твою — Маргариту. Она совсѣмъ высохла и по десяти разъ на дню шепчетъ: «если Александръ Павлычъ къ лѣту не вернутся, нечего больше мнѣ на свѣтѣ ждать радостей; воля ваша, уйду въ монастырь». А Личарда совсѣмъ тоже свихнулся, все отъ той-же причины: тебя ждетъ. Да и Параша, на что ужь молится на своего Ивана Өедоровича, и то нѣтъ-нѣтъ, да и всплакнетъ о тебѣ: «скучно, говоритъ, безъ Саши, хоть бы онъ посмѣялся надъ нами, а то совсѣмъ мы дѣлаемся глухой деревенщиной, скоро рукава станемъ жевать».

«Прости мнѣ, дитя мое, малодушіе и эгоизмъ старухи. Поступай, какъ тебѣ лучше; только не забывай ты никогда, что твои душевныя раны не залѣчишь ты никогда въ одиночествѣ. А намъ, убогимъ, нѣтъ высшей радости, какъ усладить, хотя чуточку, горечь безталанныхъ и дорогихъ намъ существъ».

Тетушка звала къ веснѣ, а Крутицынъ порывался отправиться тотчасъ. На сборы онъ былъ коротокъ, но раньше двухъ — трехъ недѣль выбраться все-таки было трудно: дождаться денегъ, отправить книги, повидаться и

проститься кое съ кѣмъ. Рѣшилъ онъ ѣхать въ Вѣну и написалъ объ этомъ Турусову и Швецову. Отвѣтъ Швецова пришелъ тотчасъ же, и содержаніе его усилило желаніе Крутицына повидаться съ проповѣдникомъ теоріи хомута.

«Овощей интеллигентныхъ насадитель», писалъ Швецовъ, «никогда въ жизни вашей не осѣняла васъ болѣе благая и человѣколюбивая мысль, какъ та, которая поведетъ за собою наше свиданіе. Въ эпистоляхъ не мастеръ я изливать свои чувства; но со мною происходитъ нѣчто, перевертывающее утробу мою вверхъ дномъ. Явитесь и прострите дружескую длань! Около меня никого! Мягкотѣлая пса слишкомъ юна; своя медицинская братія... ну, да вы сами ее увидите. Аки перстъ я, и минутами уязвленъ бываю всладцѣ, да такъ, что хоть вервіе вокругъ выи полагай!... Словомъ, вмѣсто кренделя-то, хвостъ самую мизерную закорючку выдѣлываетъ: жду васъ, какъ манны небесной: понимаете ли, сладчайшій?!»

Соображеніе Турусова подтверждалось. Швецовъ переживалъ что-то казусное.

Въ концѣ письма стояло:

«Какъ бы нашъ братъ ни корячился со своими мужскими мозгами, а супротивъ бабы все-таки окажется мальчишкой и щенкомъ».

Крутицыну не хотѣлось вѣрить, чтобы «сладчайшій» споткнулся на чемъ-нибудь чувствительномъ; но тонъ всего посланія былъ слишкомъ миноренъ. Отвѣтилъ онъ Швецову, что будетъ нарочно торопиться и двинется прямо на Вѣну.

XIII.

Совершенно неожиданно пришелъ къ Крутицыну Рикé.

— Какъ? — вскричалъ Крутицынъ: — на свободѣ!...

— Со вчерашняго дня. А завтра ѣду.

— Куда?

— Къ отцу, въ Ниццу.

— Къ чему такая поспѣшность?

— А то какъ же. Моя книга отпечатана и выйдетъ надняхъ въ свѣтъ.

— Ну, такъ что-жь?

— Меня сейчасъ же будутъ преслѣдовать; а мнѣ не хочется опять отсиживать мѣсяцы заключенія.

— Что-жь, вы бѣжите?

— Нѣтъ; я только поживу, погуляю, тѣмъ временемъ меня осудятъ par contumace. Захочется мнѣ — я вернусь въ Парижъ; нѣтъ — уѣду въ Италію. Мнѣ тамъ предлагаютъ каѳедру, да я не хочу забиваться туда.

— Неужели не надоѣло?

— Eh! cher animal!... Мое время придетъ.

— Когда?

— Когда повалится этотъ режимъ.

— А пока, знаете ли, что васъ ждетъ за книгу?

— Что?

— Потеря гражданскихъ правъ.

— Знаю.

— Все равно, вамъ не будетъ никакой дороги во Францію.

— А я все-таки не хочу удаляться!

— Неисправимъ! — вздохнулъ Крутицынъ, глядя на доброе и беззаботное лицо богемы-пріятеля.

— Cher Croutitzine, quand on a le vivre et le couvert, le reste est le cadet de mes soucis!

Рике́ пристально взглянулъ на Крутицына и полушепотомъ сказалъ ему:

— Franchement, vous êtes un grand animal!

Крутицынъ привыкъ къ этимъ эпитетамъ; но фраза была сказана такимъ тономъ, что онъ попросилъ объясненія.

— Зачѣмъ вы отъ меня скрывали нѣкоторую исторію?...

Крутицынъ слегка поморщился.

— Эти русскіе всѣ на одинъ ладъ, — продолжалъ Рике́: — пускаютъ васъ только въ одинъ уголокъ своей души... Eh bien, votre secret n'est qu'un secret de polichinelle!

— Ну, и прекрасно.

— Я говорю это не за тѣмъ, чтобы дразнить васъ; но мнѣ досадно, что вы такъ долго хандрили... У меня есть талантъ утѣшать, и я бы васъ утѣшилъ...—Вы знаете Филибера?

— Что?

— Женится.

— На комъ, на той русской?

— Да.

— И вы ихъ сосватали?

— И я ихъ сосваталъ.

— Поздравляю.

— Нечего злиться... Они очень счастливы.

— Другихъ-то вы сватаете, а сами-то? Не пора ли вернуться къ очагу?

— Жена моя бомбардируетъ меня письмами...

— А вы на нихъ отвѣчаете?

— Нѣтъ, не отвѣчаю... Сойтись я съ ней не могу. Больше двухъ недѣль мы не проживемъ.

— И васъ не страшитъ будущность одиночества?

— Я созданъ безъ семейной шишки; да и вообще не очень-то сокрушаюсь о своей личной долѣ... Вы, русскіе, совсѣмъ другое дѣло. Въ васъ сидитъ какой-то червякъ.

— Сидитъ.

— И гложетъ васъ безъ устали. Сколько я васъ зналъ, и ученыхъ, и просто туристовъ, и людей, въ родѣ Филибера. Въ каждомъ есть этотъ русскій сплинъ, для котораго въ нашемъ языкѣ нѣтъ даже и имени. Ужь на что, кажется, спокоенъ и доволенъ Прохоровъ, а и въ немъ замѣчалъ я тотъ же признакъ.

— Я не замѣчалъ.

— Вы потеряли чутье. И главная причина, по моему...

Рике́ остановился...

— Какая же?

— Неумѣнье любить женщинъ.

Крутицынъ разсмѣялся.

— Да, да! — вскричалъ Рике́. — Вы не умѣете любить ихъ. Вы не то въ нихъ ищете. Согласитесь, что я не врагъ женщинъ.

— О нѣтъ!

— Я говорю въ смыслѣ теоретическомъ. Вы знаете, что я сказалъ о женщинѣ въ своей книгѣ?

— Которую я никогда не дочту.

— Потому что вы — животное. Но я повторяю: за право и роль женщинъ я ломалъ всегда копья и буду ломать. Онѣ найдутъ во мнѣ, и въ прессѣ, и на трибунѣ, самаго горячаго защитника; но... въ интимной жизни съ ними слѣдуетъ быть совсѣмъ иначе...

— Разъясните.

— Вы русскіе требовательны, какъ никто... Вы не влюбляетесь въ одно лучшее свойство женщины; нѣтъ, вамъ надо собраніе всевозможныхъ добродѣтелей. Потому-то

вы и не знаете наслажденія. Вы копаетесь въ самихъ себѣ и пріучаете женщину къ тому же скверному анализу. Вы не стоите любви именно потому, что не умѣете пользоваться мгновеніями...

Рикé перевелъ духъ, потрепалъ Крутицына по плечу и проговорилъ:

— Довольно. Вы, кажется, до сихъ поръ не вылѣчились, и невеликодушно добивать васъ. Я знаю, на этомъ пунктѣ мы не поймемъ другъ друга. Я отношусь къ женщинѣ черезчуръ какъ любитель, а вы — слишкомъ серьезно. Мы мечтаемъ о новомъ обществѣ, гдѣ женщина будетъ не то, что она теперь; но пока она сдѣлается гражданиномъ, мы ищемъ наслажденія и находимъ его, гдѣ можемъ.

Крутицынъ не возражалъ. Рикé говорилъ за себя и говорилъ свою правду.

— Послушайте, — продолжалъ онъ, беря Крутицына за руку: — вы, быть можетъ, объявили торжественно: конченъ періодъ лиризма, прочь мечты о любви и женской симпатіи, вычеркнемъ самое слово изъ нашего лексикона, бросимся въ водоворотъ идей, труда, общественной борьбы... Des navets, cher animal, des navets! Не пройдетъ вашъ сплинъ до тѣхъ поръ, пока вы не удовлетворите этой потребности. И вы менѣе, чѣмъ кто-либо! Я чувствую въ васъ человѣка, который до сихъ поръ только смотрѣлъ на виноградъ, но не вкушалъ его; лѣта тутъ ничего не значатъ: не найдете удовлетворенія въ шестьдесятъ лѣтъ, и шестидесятилѣтнимъ старикомъ будете такъ же скучать... C'est une loi, cher Croutitzine, c'est une loi... И будь вы пооткровеннѣе въ вашихъ любовныхъ дѣлахъ, вы бы легче сносили удары и проще бы любили женщину; а такъ вы совсѣмъ зачахнете... Простите, опять я началъ васъ допекать. Но, въ сущности, вы этого заслуживаете... Au fond, Croutitzine, vous étes un grand coureur!

Фраза произнесена была такъ убѣжденно, что Крутицынъ не могъ не расхохотаться.

— Смѣйтесь, сколько вамъ угодно, но у меня есть доказательства.

— Доказательства?

— Которыя я вамъ сейчасъ и представлю.

— Занимательно послушать.

— Вы притворяетесь рыцаремъ печальнаго образа; а васъ отыскиваютъ какія-то таинственныя незнакомки...

— Что такое, что такое?

— Да, да, отыскиваютъ.

— Ничего не понимаю.

— Слушайте. Есть у меня въ числѣ моихъ бывшихъ учениковъ одинъ идіотъ. Онъ теперь изучаетъ больше кулисы. Вотъ на дняхъ является онъ ко мнѣ, начинаетъ меня разспрашивать о томъ, о семъ, и вдругъ произноситъ ваше имя, освѣдомляется, знакомъ ли я съ вами, и гдѣ вы теперь: въ Парижѣ или уже уѣхали? Я ему сказалъ, что вы собираетесь въ Вѣну. Это подстрекнуло мое любопытство; но идіотъ на вопросъ мой: зачѣмъ ему всѣ эти свѣдѣнія, отвѣтилъ уклончиво и даже немного сконфузился.

— И только?

— А этого вамъ мало?

— Гдѣ же женщина?

— Il y a une femme dessous!

— Не вижу.

— Не хотите видѣть; но кто же не догадается, что идіота подослала ко мнѣ женщина, знающая, что вы мнѣ другъ. Ей нуженъ былъ вашъ адресъ. Такъ вотъ вы каковъ! За вами гоняются покинутыя вами женщины!

Рике́ кончилъ смѣхомъ, къ которому присоединился и Крутицынъ; но разсказъ объ идіотѣ кольнулъ его. Онъ спросилъ серьезнымъ тономъ:

— Vous ne blaguez pas?

— Tout ce qu'il y a de plus sérieux.

Послѣ этого діалога Рикѐ началъ прощаться и даже порусски расцѣловался съ Крутицынымъ.

— Увидимся вѣдь? — вскричалъ онъ, пожимая руку пріятеля.

— Врядъ-ли, — глухо отвѣтилъ Крутицынъ.

— Вы, стало быть, разлюбили Францію?

— Нѣтъ, но я мало любилъ свою землю.

— La Cosaquie?

— Oui, la Cosaquie.

— И не заглянете больше въ Парижъ?

— Безъ цѣли — нѣтъ; а цѣль врядъ-ли будетъ.

— А когда мы сбросимъ постылое иго?

— Не пріѣду смотрѣть на то, какъ вы тотчасъ же надѣнете на себя другое... Этотъ годъ, другъ Рике́, выучилъ меня новой премудрости.

— Какой?

— La philosophie du terre à terre.

— Не вѣрю!

— Но не того terre à terre, какое выбираютъ люди, рожденные въ кожѣ буржуа.

— Vous étes capable de m'en faire une conférence!

— Non, cher ami, — выговорилъ съ удареніемъ Крутицынъ: — мнѣ не до конференціи! И безъ того мы слишкомъ болтаемъ. До сихъ поръ живое дѣло бѣгало отъ меня больше женщинъ.

— Неужели вы плачете объ ученой карьерѣ?

— Нѣтъ! За то я васъ такъ и люблю, что вы объ ней не плачете. И безъ насъ откроютъ не одинъ десятокъ новыхъ элементовъ.

— Neufs et d'occasion!

— Не о томъ плачу я. Но я ужаснулся диллетан-

ства, которое въ натурахъ менѣе наивныхъ, чѣмъ вы, ведетъ къ безразличiю и безпробудному эгоизму.

Лицо Рикé сдѣлалось внезапно почти строгимъ, взглядъ принялъ твердое выраженiе, и онъ вымолвилъ груднымъ голосомъ:

— Ami, vous parlez d'or!

И еще разъ обнялъ онъ Крутицына, оставшагося посрединѣ комнаты съ понурой головой.

Еще полоса жизни пронеслась...

«А кто же искалъ меня черезъ знакомаго Рикé?» вдругъ подумалъ онъ, чувствуя, какъ щеки его краснѣютъ. «Неужели?..»

И онъ сдѣлалъ рукой движенiе, точно хотѣлъ отогнать какой-нибудь кошмаръ.

— Croutitzine! раздалось съ лѣстницы.

Онъ вышелъ въ корридоръ.

— Vous irez dire adieu à Filibert et le féliciter... Sans adieu, cher animal!

И горбунъ сбѣжалъ съ нижней площадки.

XIV.

Пару ботинокъ, сооруженныхъ въ кооперативной мастерской, Крутицынъ ни разу не надѣвалъ и даже не примѣрялъ. Укладываясь онъ наткнулся на нее и примѣрилъ. Оказалось, что обѣ ботинки нестерпимо жали.

Пришлось захватить ихъ, отправляясь на прощанье съ Филиберомъ.

Крутицынъ опять попалъ въ квартиру Шувера, думая застать Филибера въ мастерской. Но тамъ сидѣлъ одинъ

Шуверъ и стукалъ по подошвѣ. Передъ нимъ стояла жена и «исчекрыживала» его.

— Мы по міру пойдемъ! — кричала она, все ближе и ближе подступая къ нему: — съ твоими безумными затѣями насъ выгонятъ на улицу!

— Ты не понимаешь великой идеи кооперативнаго труда... — отвѣчалъ Шуверъ, продолжая дѣйствовать молоткомъ.

— Я ее очень хорошо понимаю! Но ты, болванъ, безъ того убиваешь время на болтовню; а теперь съ этими русскими, ты сдѣлался совсѣмъ идіотомъ. Развѣ не дѣлается такъ, какъ я предсказывала? Одинъ улизнулъ...

— Онъ поѣхалъ по дѣламъ общества.

— Знаемъ эти дѣла! Это только тебя можно такъ дурачить... Ну, а другой... твой Филиберъ, ton enfant chéri. Онъ гдѣ же? Отчего онъ не возлѣ тебя?

— Онъ пошелъ къ невѣстѣ.

— То-то къ невѣстѣ!.. Онъ только и дѣла дѣлаетъ, что ходитъ къ ней. И ты думаешь, что женившись онъ будетъ работать здѣсь? Онъ ужь и теперь тяготится. Это ты, кретинъ, ничего не замѣчаешь.

Крутицынъ хотѣлъ-было удалиться, но сапожница запримѣтила его и окликнула:

— Вамъ Филибера?

Мужъ ея сейчасъ вскочилъ и началъ упрашивать посидѣть, но Крутицынъ боялся усиленья жениныхъ филиппикъ и, отдавши ботинки, удалился.

На улицѣ у самаго входа онъ столкнулся съ Филиберомъ.

— Поздравить васъ? — спросилъ онъ.

— Съ чѣмъ это?

— Слышалъ — женитесь.

— Съ чѣмъ же тутъ поздравлять. Нашему брату какъ же безъ хозяйки.

— Останетесь здѣсь?

Филиберъ немного поморщился.

— Нѣтъ, я думаю переѣхать. Вотъ теперь бѣгаю — ищу квартиры.

— Опять свою кооперацію заведете?

— Не изъ чего заводить-то. Товарищъ мой отлучился. Я все хвораю. Думаю сдѣлать паузу. Добрые люди хотятъ дать мнѣ средства поступить въ медицинскую школу.

— Стало, сапоги по боку?

— Да что-жь, батенька, дѣлать; я ужь вамъ говорилъ, одинъ въ полѣ не воинъ!

— Не поздненько ли вамъ въ студенты?

— Учиться, знаете, никогда не поздно. А сапоги отъ меня не уйдутъ... въ случаѣ новой незадачи.

Крутицынъ промолчалъ.

— Вы ѣдете? — спросилъ Филиберъ.

— Совсѣмъ уложился.

— Въ Россію матушку?

— Да... вамъ хочется?

Филиберъ вздохнулъ.

— Полетѣлъ бы сейчасъ, да крылья обрѣзаны. Бьешься какъ рыба объ ледъ, а все въ ступѣ воду толчешь!

И точно сдерживая наплывъ чувства, онъ пожалъ руку Крутицына и, крикнувши все еще простуженнымъ голосомъ:

— Не поминайте насъ лихомъ! — скрылся въ дверяхъ.

«И онъ свихнулся», думалъ Крутицынъ, идя отъ Филибера: «хоть и хочетъ дѣлать дѣло. Кто же пойдетъ своей дорогой изъ всѣхъ соотечественниковъ, которымъ пристанодержательствуетъ всесвѣтная столица? Одинъ Прохоровъ.»

Этотъ отвѣтъ заставилъ его вспомнить, что онъ очень

давно не видалъ Прохорова, а теперь приходилось идти къ нему прощаться. Все, что Крутицынъ передумалъ и пережилъ въ послѣднія двѣ недѣли, и не заставило ни разу обратиться мыслію къ Прохорову. Къ нему можно было идти съ какимъ-нибудь готовымъ результатомъ, съ опредѣленнымъ дѣломъ: за объективнымъ совѣтомъ, помощью, указаніемъ; но міръ настроеній и задушевныхъ думъ былъ для него закрытъ. Крутицынъ не только помирился съ нимъ, но чувствовалъ къ нему болѣе чѣмъ разсудочное благожелательство, а все-таки Прохоровъ не привлекалъ его, и цѣлыя недѣли проходили безъ потребности видѣться. Прохоровъ не зналъ даже, что Крутитынъ совсѣмъ собрался въ путь.

Онъ сидѣлъ у себя въ кабинетѣ, у лампы, съ кофе на столѣ, и скручивалъ папироску, когда Крутицынъ пришелъ къ нему проститься. Отъѣздъ Крутицына какъ-будто огорчилъ его. Онъ сталъ даже горячо отговаривать его отъ возвращенія въ Россію.

— Не всѣ, — сказалъ ему Крутицынъ: — обладаютъ вашей натурой. Вамъ здѣсь будетъ хорошо.

— Да чѣмъ же вамъ было плохо?.. Вѣдь это просто — нервы!

— Нѣтъ, не нервы. Вы забыли мою прибаутку объ Анахарсисѣ Клотцѣ.

— Не забылъ, но знаете что: вѣдь вы не вылечились.

— Отъ чего?

Прохоровъ улыбнулся кончикомъ губъ и вымолвилъ:

— Отъ припадка любовной горячки.

Крутицынъ махнулъ рукой.

— Вамъ бы попробовать гидротерапія, — продолжалъ Прохоровъ: — мнѣ она очень помогла, въ прошломъ году.

— Отъ любви же?

— Отъ нервнаго утомленія.

— Холодная вода — хорошая вещь; но она не привлекла бы меня къ Парижу, — выговорилъ убѣжденно Крутицынъ.

— Кто знаетъ!.. Мнѣ пришло также въ голову, думая какъ-то о васъ, что вы еще встрѣтитесь съ этой женщиной.

— Какой? — вырвалось у Крутицына.

Прохоровъ опять улыбнулся.

— Виноватъ, — заговорилъ онъ: — «кто старое помянетъ — тому глазъ вонъ!..» Позвольте только пожелать вамъ, дорогой Александръ Павловичъ, найти наконецъ добрую пристань.

— У васъ надо учиться.

— Я многаго-то не ищу.

— Потому многое и дается вамъ; только, воля ваша, грѣшно безъ нужды оставаться гражданиномъ вселенной.

— Послушайте, — прервалъ его Прохоровъ: — мы довольно говорили на эту тему. Вотъ мое послѣднее слово: если во мнѣ есть что-нибудь побольше свойствъ порядочнаго человѣка — я и отсюда буду полезенъ отечеству, выражаясь высокимъ слогомъ; если-же нѣтъ — не о чемъ и жалѣть!

Крутицынъ мысленно поставилъ на немъ крестъ и сказалъ: «съ миромъ отыде».

И вдругъ почувствовалъ онъ, что говорить имъ больше не о чемъ.

— Благодарю васъ, — еще разъ началъ онъ послѣ значительной паузы, протягивая руку Прохорову: — за ваше доброе участіе.

— Полноте! — остановилъ его Прохоровъ.

Лампа горѣла тускло. Въ кабинетѣ чувствовалась особая сухая чопорность, наводившая на Крутицына слой липкой скуки.

Онъ взглянутъ на лицо хозяина: оно съ трудомъ удерживало зѣвоту.

— Какова погода? — спросилъ онъ.

— Кислая и пронзительная.

— Вы не знаете, что нынче дается въ театрахъ получше? — Я драмъ и комедій никогда не смотрю. Вотъ офенбахіады, или въ Пале-Ройялѣ шутовскія вещи съ Жофруа...

— Я давно не заглядывалъ въ театры.

— Вотъ иногда такъ случается, и въ Парижѣ некуда дѣться... прибираешь зрѣлище, или что... и не приберешь.

— Вы въ кафе не ходите?

— Терпѣть не могу!..

Опять вышла пауза, послѣ которой Крутицынъ началъ прощаться.

— Да вы когда? — заговорилъ Прохоровъ: — я васъ провожу.

— Зачѣмъ? Не хочу все-таки прощаться съ вами навсегда.

— А сами еще въ Парижъ?

— Нѣтъ!

— О! Патріотъ!

И вслѣдъ за этимъ восклицаніемъ, Прохоровъ, какъ истый русакъ, облобызался съ Крутицынымъ, и по лицу видно было, что ему жаль его. Онъ вышелъ на лѣстницу и, держа Крутицына за руку, сказалъ ему задушевнымъ голосомъ:

— Если что-нибудь вамъ понадобится... хотя бы и по сердечнымъ дѣламъ... не забывайте меня... и, пожалуйста, пишите...

«Добрый и прочный человѣкъ», говорилъ про себя Крутицынъ: «но долго ли ты выдержишь свой буржуазный искусъ... начала и тебя посѣщать вечерняя скука!»

XV.

На станціи страсбургской желѣзной дороги Крутицынъ стоялъ у дверей въ залу втораго класса съ Васильемъ Кирилычемъ, который уже два раза толкнулся туда и былъ отражаемъ служителемъ.

— Экіе порядки, — ворчалъ онъ: — проститься нельзя... Да позвольте я до слѣдующей станціи, коли такъ, билетъ возьму, Александръ Павлычъ.

— Простимся и здѣсь, — сказалъ Крутицынъ: — безъ дальнихъ проводъ.

Секретарь смотрѣлъ на него своими кроткими и унылыми глазами, и Крутицыну сдѣлалось особенно жаль бѣднягу. Онъ, передъ отъѣздомъ, предлагалъ ему разныя комбинаціи для пріисканія подходящей работы, но Василій Кирилычъ отклонилъ ихъ, говоря:

— Клянчить надо, Александръ Павлычъ, да пороги обивать. Пойду опять бревна таскать. Съ голоду не умру, а пришибетъ чѣмъ-нибудь, — туда мнѣ и дорога...

Служитель, приставленный къ дверямъ, отошелъ на минуту. Василій Кирилычъ воспользовался этимъ и проникъ за Крутицынымъ въ salle d'attente. Онъ хлопоталъ около двухъ мѣшковъ, разспрашивая Крутицына: «не забылъ ли онъ чего?» Успокоившись и сѣвши на лавку рядомъ съ Крутицынымъ, онъ сказалъ ему съ тихой улыбкой:

— Въ сапожную кооперацію что опять не зовете меня, Александръ Павлычъ?

— Да вы развѣ не слыхали?

— Что?

— Филиберъ женится...

— Художество не мудреное

— И кооперація...

— Небось, рухнула?

— Кажется.

— Извѣстное дѣло!.. Какъ я умишкомъ моимъ мѣкалъ, такъ и вышло.

— Филиберъ хочетъ учиться медицинѣ.

— А ѣсть-то на что?

— Его кто-то поддерживать будетъ.

— Пенсію платить?

— Вѣроятно...

Василій Кирилычъ покачалъ головой и проговорилъ съ разстановкой:

— Срамники, срамники!

— Не строгонько ли? — замѣтилъ Крутицынъ.

— Да какъ же не срамники? Вѣдь это онъ навѣрно русачка какого-нибудь поддѣлъ: что вотъ, молъ, хочу наукамъ обучаться, такъ дайте мнѣ вспомоществованіе... сто тамъ франковъ, али больше: а который ему годъ? Вѣдь онъ намъ съ вами, Александръ Павлычъ, ровесникъ. Учиться надо, я знаю, пять лѣтъ, а онъ и больше проучится. Шесть-то тысячъ франковъ онъ съѣстъ, а докторомъ все не будетъ.

— Почемъ знать!

— Не будетъ! Вы это только по добротѣ вашей надѣетесь... Голова не къ тому пріучена. Я вѣдь это по себѣ знаю... Гдѣ ужь въ наши лѣта, да еще больному человѣку въ студенты идти!.. Малый онъ не плохой, а тутъ ужь, воля ваша, шарлатанить началъ... А другіе-то... хоть бы вотъ Ломовъ тутъ проживалъ... въ какую-то Аргентинскую республику звалъ народъ на корабляхъ плыть, а тамъ чемоданы съобща мастерить.

— Чемоданы!

— Чемоданы съобща; а въ пищу мяса не употреблять. Я самъ и приглашеніе его читалъ.

— Не можетъ быть!

— Лгать я не умѣю... животики надорвалъ я! И почему какъ разъ—чемоданы? На это отвѣта не прописано! Такъ вотъ этакіе-то Ломовы насъ всѣхъ спасти хотятъ отъ голодной смерти, — и какъ фордыбачатъ! А самому надоѣло болтаться, да мазаграны въ Парижѣ распивать; небойсь, и фордыбаченье забылъ и куда нужно обратился: прогоны, молъ, желаю имѣть до Питера... И выходитъ капитанъ Копѣйкинъ. Такъ тотъ, по крайности, кровь проливалъ за отечество!

Василій Кирилычъ хотѣлъ продолжать въ томъ же тонѣ, но раздался звонокъ. Они оба встали.

— Позвольте, Александръ Павлычъ, обнять васъ и благ...

Онъ не договорилъ; въ голосѣ дрогнули слезы.

— А знаете, — вдругъ началъ Василій Кирилычъ, сдерживая свое волненіе: — я вамъ исповѣдываться буду, Александръ Павлычъ.

— Въ чемъ? — спросилъ шутливо Крутицынъ.

— Не говорилъ вамъ, до сей минуты, объ одной вещи, до васъ касающейся.

— Скажите теперь, если нужно.

— Просто и смѣшно, и скверно за своихъ соотечественниковъ. Знаете, какой про васъ слухъ былъ пущенъ?

— Что я шпіонъ?

— Нѣтъ, получше.

— Недоумѣваю.

— Что вы секретарей себѣ для работы набирали, морили ихъ по восьми часовъ и платили имъ... по четыре су въ день!

Оба они расхохотались.

— Вы повѣрили этому?

— Вѣрить — не вѣрилъ, а собираясь къ вамъ, сказалъ въ тѣ поры: тебѣ на всякую плату слѣдуетъ идти.

Раздался втовой зворокъ.

Крутицынъ сѣлъ въ вагонъ и съ грустью выговорилъ:

— Четыре су! Какая печальная сплетня!

Признаніе Василія Кирилыча могло бы переполнить чашу сладостей, доставленныхъ Парижемъ и компатріотами обоего пола; но на Крутицынѣ сидѣла какая-то непроницаемая броня мягкодушія. Онъ не полюбопытствовалъ даже узнать, кто пустилъ басню о четырехъ су, искатель ли бѣлой Арапіи, или завсегдатели Café de la Rotonde?

Подъ шумъ поѣзда думалъ онъ такую думу:

«Двѣ эпохи, два поколѣнія, два года — 1848 и 1868! Какой рѣзкій, поражающій контрастъ! Тогда... кто ѣхалъ или попадалъ въ Парижъ безъ спеціальной цѣли, изъ-за общихъ упованій и стремленій? Головы кипѣли идеями, воображеніе рвалось къ прекраснымъ формамъ, талантъ выбиралъ изъ храмины западной культуры лучшіе перлы мышленія, соціальнаго протеста, художественнаго творчества. Самое фланерство, московское благодушество, прожиганіе жизни походя облечено было въ какой-то ореолъ красиваго задора, симпатичной отваги, широкой расточительности, не разбиравшей, на что тратились душевныя силы, во имя правды, блага и красоты. Какъ бы ни блуждали эти люди въ дебряхъ самообмана, какую дань ни платили бы они немощамъ плоти и духа, они могли, положа руку на сердце, повторить слова ихъ же поэта:

Мы въ жизнь вошли съ прекраснымъ упованьемъ,
Мы въ жизнь вошли съ неробкою душой,
Съ желаньемъ истины, добра желаньемъ,
Съ любовью, съ поэтической мечтой!

«А теперь... Ломовы, Лодыревы, Ужи, Филиберы, Васильи Кирилычи! Вѣрить ли такой дѣятельности? Надо

вѣрить! Но неужели кромѣ ихъ нѣтъ никого? Есть, тѣ же люди, что были и въ 1848 году: медики, химики, математики, люди спеціальныхъ штудій. Они нейдутъ въ сравненіе. Но русскіе, просто русскіе, проживающіе въ Парижѣ, въ кварталѣ мысли и соціальныхъ задачъ, — Лодоревы, Ломовы...»

Крутицынъ не могъ кончить перечня.

«Одинъ человѣкъ»,— продолжалъ онъ:— «одинъ, изъ мнѣ извѣстныхъ, Прохоровъ. Въ немъ есть сила; но онъ въ торричеліевой пустотѣ, онъ безъ среды, онъ безъ будущности для страны своей. Что жь это значитъ? Не то ли, что миновало время барскаго развитія, время заграничнаго всплыванія сливокъ, подъ которыми зіяла бездонная хлябь мракобѣсія? Вывелись избранники, казавшіе Европѣ казовой конецъ русской интеллигенціи. На сцену явились бѣгуны, вагабунды, искатели бѣлыхъ Арапій... Выкинуть ихъ могло море, чреватое болью, неурядицей, глухимъ напоромъ силъ, рвущихся къ свѣту и шири, куску хлѣба и мірской правдѣ...»



КНИГА ЧЕТВЕРТАЯ.

СОЛИДНЫЯ ДОБРОДѢТЕЛИ.

КНИГА ЧЕТВЕРТАЯ.

I.

Лихая пара венгерскихъ лошадокъ катила подъ гору щеголеватую извощичью карету, взятую Крутицынымъ на станціи вѣнской юго-западной дороги. Бойкая и шумная улица Mariahilf, съ сильнымъ мѣстнымъ колоритомъ, запестрѣла передъ нимъ безконечнымъ рядомъ лавокъ и лавченокъ.

Потомъ открылось цѣлое поле, не похожее ни на площадь, ни на скверъ, и по широкому, обставленному роскошными домами, бульвару, карета проѣхала до монументальнаго театра, повернула въ улицу Rue Richelieu, и заколесила въ тѣсномъ лабиринтѣ «Бурга».

Въѣздъ въ Вѣну оживилъ Крутицына, почти не выходившаго изъ вагона цѣлыхъ тридцать-шесть часовъ.

Въ отелѣ, къ нему явился вертлявый молодой малый, назвалъ себя коммиссіонеромъ и началъ предлагать услуги по части осматриванія города.

Крутицынъ отблагодарилъ его; но коммиссіонеръ не тотчасъ удалился. Онъ вынулъ изъ боковаго кармана нѣсколько фотографій и поднесъ ихъ Крутицыну. Фотографіи изображали женскія головки, почти всѣ очень красивыя.

— Которая вамъ нравится? — спросилъ коммисіонеръ, стоя въ выжидательной позѣ.

— Всѣ хороши, — отвѣтилъ Крутицынъ.

— Но какую находите лучше другихъ?

Крутицынъ, понявъ въ чемъ дѣло, поспѣшилъ заявить, что онъ въ такихъ знакомствахъ не нуждается.

— Да вы не подумайте, что это такъ, кто-нибудь. Тутъ есть дамы благороднаго происхожденія... Если кто вамъ понравится — вы извольте только писать. Или припечатать въ «Tagblatt». Какъ вамъ будетъ угодно!

Насилу-насилу выпроводилъ Крутицынъ навязчиваго руфіана и тотчасъ же вспомнилъ письмо Турусова о сладостяхъ города Вѣны.

Часамъ къ двѣнадцати, отправился Крутицынъ отыскивать мягколѣтіе. Адресъ былъ очень сложный съ цѣлымъ рядомъ нумеровъ: дома, двери, этажа, комнаты, какъ это водится въ Вѣнѣ. Нашелъ онъ длиннѣйшій, двухъ-этажный домъ съ галлереей вокругъ внутренняго двора.

— Herr Turussoff? — спросилъ онъ на лѣстницѣ у смазливой горничной, въ короткихъ рукавахъ.

— Numero zwei und zwanzig, — отвѣтила она и привѣтливо улыбнулась.

Отворивши дверь двадцать-втораго нумера, Крутицынъ увидѣлъ у окна, спиной къ себѣ, широкую фигуру Турусова, все въ томъ же домашнемъ пиджакѣ и телячьихъ туфляхъ, съ головой, наклоненной надъ микроскопомъ.

— Турусовъ! — окликнулъ онъ.

— Батюшки! Александръ Павлычъ! Вотъ не ожидалъ!

Стулъ съ грохотомъ отодвинулся, и Турусовъ устремился къ Крутицыну для троекратнаго лобызанія.

— Садитесь, садитесь, — говорилъ Турусовъ, пожимая обѣ руки Крутицына: — дайте-ка себя оглядѣть. Въ добромъ-ли здоровьѣ? Да что-жь это вы телеграммы намъ не изобразили? Мы бы васъ съ должнымъ почетомъ повстрѣчали на машинѣ. И квартирку бы вамъ наилучшимъ манеромъ подыскали.

— Какую квартирку... Я здѣсь заживаться не могу.

— Полноте, не выпустимъ! Не хотите ли объ закладъ побиться, что мѣсяцъ-другой съ нами прохороводитесь?

— Давайте.

— Коли черезъ недѣлю угодите уѣхать, я два флакона ставлю.

— Идетъ.

Крутицынъ, не безъ удовольствія, оглядывалъ контуры мягкотѣлаго микроскописта.

— Какъ вы раздобрѣли, Богъ съ вами, Турусовъ, — сказалъ онъ съ оттѣнкомъ зависти.

— Ползу, это точно, отъ сидѣнья больше, я полагаю. Да и вамъ бы, Александръ Павлычъ, пора хоть немножко понагулять жирку. Парижское житье, видно, вамъ впрокъ не пошло?

— Нѣтъ, — подтвердилъ со смѣхомъ Крутицынъ.

— У насъ раздобрѣете мигомъ. Вѣдь въ Вѣнѣ только и дѣла дѣлаешь, что зейдели пива пропускаешь, да разные шнитцеля да голлаши уписываешь. Жизнь, могу сказать, самая растительная. Естеству своему поблажаешь, яко Мамонѣ... Ежели бы не ковырянье микроскопіи, совсѣмъ бы погрязъ.

— А Швецовъ? — прервалъ Крутицынъ.

— Въ отсутствіи.

— Какъ?

— Ужь больше двухъ недѣль. Онъ, нешто, не писалъ вамъ?

— Нѣтъ.

— Какже, поѣхалъ въ Грацъ, докончить одну работку...

Турусовъ кисло улыбнулся и, тряхнувши своей гривой, заговорилъ другимъ тономъ:

— Между нами, Александръ Павлычъ, что́-то неподобное творится со сладчайшимъ.

— Что же такое?

— Позвольте ужь вамъ все по пунктамъ разсказать... Въ тѣ поры, какъ я здѣсь отыскался, сладчайшій съ первыхъ словъ оченно сталъ на меланхолическія рѣчи напирать, хоша и въ ругательномъ родѣ. Совсѣмъ другой человѣкъ, ни форсу прежняго, ни гику: одно слово, перевернулся. Я ужь и такъ, и этакъ къ нему, чтобы открылся, значитъ, по душѣ. Не тутъ-то было, не подается. Сказалъ, что у него тамъ дома что-то неладно, по больницѣ, а больше ничего не говоритъ. Съ тѣмъ я отъ него и отъѣхалъ... Но такое у него, нѣтъ-нѣтъ, лицо вдругъ сдѣлается, что жалости подобно глядѣть...

— Встрѣча, что ли, какая?

— Надо тутъ женскому полу быть; это вѣрно. Какъ я, говорю вамъ, сюда заполучился, видно ужь сладчайшій вкусилъ оцту: горечь такая у него, и рветъ, и мечетъ, и лицо все желто-красное сдѣлалось, ей же ей. Потомъ, этакъ недѣльки черезъ три, какъ-будто полегчало, сталъ балагурить, разными прибауточками угощать и все сворачиваетъ разговоръ: какъ, молъ, хорошо ожениться, и что такъ или иначе, а надо нашему брату конецъ сдѣлать...

— Жениться собрался?

— А вы позвольте!... Послѣ такихъ-то разговоровъ, вдругъ опять какъ въ воду канулъ на нѣсколько дней, и потомъ, какъ зашелъ разъ подъ вечеръ ко мнѣ, я инда вскочилъ съ кровати, думалъ, онъ совсѣмъ спятилъ: такая у него физія сверхъестественная!... И тутъ ужь онъ только звуки какіе-то односложные издавалъ, а въ разговоръ ни въ какой его такъ я и не втянулъ. Обрадовался одначе вашему пріѣзду и повторялъ все: «вотъ пріѣдетъ овощей насадитель, угощу я его, угощу!...» Черезъ два дня опять удралъ и написалъ мнѣ записку по городской почтѣ: уѣхалъ, молъ, докончить работу въ Грацъ; а какъ Крутицынъ предъявится, такъ я сейчасъ въ Вѣну, ему пишу особо и прошу захватить письмо на посте-рестанте...

Турусовъ перевелъ духъ, и заговорилъ опять:

— Такъ вотъ какія дѣла, Александръ Павлычъ! Просто ума помраченье! Я не обижаюсь тѣмъ, что Григорій Пантелѣичъ со мной по душѣ не хотѣлъ потолковать. Молодъ я для него, да и натура не такая... Это я оченно хорошо разумѣю... Только его-то больно мнѣ жалко, а коли я ничего не знаю, съ какими я къ нему балясами подойду, сами разсудите?... Вы, Александръ Павлычъ, встряхните его малую толику.

— Посмотримъ! — отозвался Крутицынъ, представляя себѣ, въ эту минуту, рожу Швецова съ выраженіемъ мрачной меланхоліи; но воображеніе отказывалось сочетать меланхолическую экспрессію съ пигментомъ «сладчайшаго».

«Неужели,» думалъ онъ: «и для Швецова настала минута испробовать не одну докторскую, а и кое-какую другую практику?»

Лицо Турусова смотрѣло на него выжидательно.

— Такъ встряхнете, что ли, сладчайшаго? — спросилъ онъ.

— За глаза чтó же скажешь толковаго, юноша... Вотъ вызовемъ эскулапа сюда.

— Онъ сейчасъ прикатитъ. Вы ему депешу пустите.

— Пустимъ депешу.

— Онъ завтра же предъявится.

— Но неужели вы не замѣтили, съ кѣмъ Швецовъ проводилъ больше времени?

— Да какъ же замѣтишь-то? Съ нами по вечерамъ онъ мало бывалъ. Кофейныхъ онъ не любитъ... Сначала было я спрашивалъ, а потомъ вижу, ему это въ тягость, я и бросилъ... Любовная зазноба, вѣрьте моему слову, или ужь по карьерѣ его вышла какая пакость!... Вотъ онъ надо мной сколько потѣшался: «женолюбіе-де тебя, пса-ты этакая, доконаетъ»; я, между прочимъ, попрыгиваю, а его прикрючило!

— Сердце ваше совсѣмъ свободно?

— Какъ есть!

— А Соничка?

— Это чтó!

— Старая исторія?...

— Извѣстно дѣло... Она душевная бабенка... И мы съ ней добрымъ порядкомъ повстрѣчаемся, только что не въ сурьезъ же это брать...

«Онъ, пожалуй, практичнѣе насъ обоихъ,» подумалъ Крутицынъ, и спросилъ:

— Ну, Турусовъ, а рѣшили вопросъ: Гамлетъ вы, или Кёлликеръ?

— Въ Гамлеты позыва такого ужь нѣтъ, какъ въ Москвѣ... Потому насмотрѣлся я здѣсь на Левинскаго. Вотъ, сударь мой, изображаетъ! Это — умъ, это — выдержка, это — сила. Во «Францѣ Морѣ» такъ даже ужасъ наводитъ, да и въ «Ричардѣ» тоже... Какъ вникъ я въ то, какую гимнастику надо спервоначалу пройти, чтобъ хошь азбуку-то, значитъ, актерскую твердо знать,

у меня и руки опустились... Чувства во мнѣ найдется сколько хочешь, да на одномъ этомъ фортелѣ не выѣдешь...

— Стало-быть, микроскопія пойдетъ безъ перерыва?

— У меня вотъ какое теперь мечтаніе, Александръ Павлычъ... Кромѣ микроскопіи, я по низшимъ животнымъ въ Лейпцигѣ работалъ, и по веснѣ тянетъ меня въ Италію закатиться, въ Неаполь...

— Для морскихъ породъ?

— Именно... Матеріалъ тамъ — первый сортъ, и природа... Хошь разокъ пожить на лонѣ ея... А то что коптишь все въ комнатахъ, да мѣсишь грязь, какъ и въ Москвѣ бѣлокаменной? Да и это еще не все, Александръ Павлычъ... Дерзаю помышлять: въ Египетъ переплыть.

— Въ Египетъ?

— А что жь!... Не такъ же оно дорого... И наши русскіе пароходики туда бѣгаютъ... Совсѣмъ бедуиномъ заживу, и богатѣйшую коллекцію оттуда вывезу.

— А въ центры-то когда же?

— Въ центры? Въ Парижъ до сей поры больше позываетъ, да вотъ съ языкомъ-то еще не справился, да опять же, что я тамъ одинъ болтаться буду?... Вотъ вѣдь и Вѣна тоже центръ, а хороводишься все съ своей же братьей, съ руссаками...

— И что же?

— Ну, то же и выходитъ, что и дома...

— Отчего же не знакомитесь съ туземцами?

— Языкъ... По малости мы маракуемъ, а въ настоящій разговоръ съ дѣльнымъ человѣкомъ не сунешься... Да опять же, Александръ Павлычъ, надо самому-то пообтесать мозги свои. Есть такіе охотники, все наровятъ къ знаменитостямъ представляться, а самъ, что-называется, лба хорошенько перекрестить не умѣетъ... Фана-

беріи-то я этой не набрался, да, кажись, и не наберусь ни въ жизнь.

— А соотечественники каковы вообще?

Турусовъ жалостливо улыбнулся и, свертывая папиросу, заговорилъ:

— Благую вы, бывало, истину вѣщали, Александръ Павлычъ, у насъ въ Леманскихъ нумерахъ, что безъ устоевъ-то, а по моему, безъ идейныхъ-то началъ, никакая ученость не сдѣлаетъ тебя человѣкомъ. На вѣкъ обрубкомъ останешься. И всего опаснѣе, когда тебя спеціальность одолѣетъ. Ну, вотъ здѣсь не мало нашихъ ребятъ. Доктора медицины все, дѣло дѣлаютъ, работы печатаютъ, нивѣсть какихъ курсовъ не слушаютъ. Ребята съ мозгами и съ толкомъ, что и говорить, да все это по одной своей части, а какъ ткнулъ во что-нибудь иное, — ну, и кончено: никакого отзыва. Литература тамъ, политика, а кольми паче искусства, театръ, али-бы картина... ни Боже мой! На смѣхъ тебя сейчасъ подымутъ! На все взираютъ съ трехаршинной высоты. Все пустяковина и ерунда, что не ихъ спеціальность! Даже, иной разъ, одурь возьметъ, на ихъ глядя... Возьмешь, плюнешь, да нѣсколько дней и не встрѣчаешься нарочно!

Турусовъ заходилъ по комнатѣ, шлепая туфлями и пуская струи дыма.

— Фыркаютъ? — спросилъ Крутицынъ.

— Именно, фыркаютъ, а подъ фырканьемъ то, Александръ Павлычъ, никакой подкладки-то и не имѣется! Ничего порядкомъ не читали, ничего не видали, а ругаться — мастера первой руки. И свою-то науку не умѣютъ подвести подъ общій-то сводъ. Дайте-ка срокъ, мы вамъ приподнесемъ кое-какіе экземплярчики; а теперь, осмѣливаюсь доложить, не благоугодно ли вкусить пищи?

— Который часъ?

— Часъ въ доходѣ. По-вѣнски такъ обѣдаютъ. Вы завтракали?

— Нѣтъ.

— Ну, такъ и валимъ. Сведу я васъ въ ресторацію, гдѣ сейчасъ-же кое-кого изъ русачковъ обрѣтемъ. Заведеніе съ грязцой, за то внушительныхъ размѣровъ и пиво богатое.

Турусовъ зашлепалъ усиленно туфлями, доставая изъ шкафа разныя части туалета.

«Все тотъ же», думалъ, глядя на него, Крутицынъ: «не пришелъ еще для него передѣлъ, за которымъ уже не тянетъ ни въ Египетъ, ни въ центры».

II.

Пройдя черезъ поле, отдѣляющее предмѣстье Вѣны отъ «города», мимо парламента съ внѣшностью станціи желѣзной дороги, Турусовъ и Крутицынъ взяли налѣво, за уголъ огромнаго дома.

— Въ подземелье спускаться будемъ, — сказалъ Турусовъ.

И дѣйствительно пришлось спускаться въ подвальный этажъ, гдѣ Крутицына обдало паромъ и запахомъ съѣстнаго. Онъ изумился, стоя на лѣстницѣ, громадности залы, уже набитой биткомъ.

— Вонъ, — указывалъ ему Турусовъ: — въ томъ углу матушка Россія собирается... Ужь поди кое-кто есть.

Они присѣли къ большому круглому столу.

— Іоганъ! — крикнулъ Турусовъ бѣлокурому кельнеру разбитнаго вида съ воспаленными глазами: — ейнъ

сливовицъ ундъ-ейнъ герингъ... Это, обратился онъ къ Крутицыну: — я по-россійски водочку употребляю. Такая здѣсь имѣется водка: сливовицъ прозывается.

Рюмку водки подалъ мальчуганъ съ большими глазами и комическимъ вздернутымъ носомъ. Его фракъ обратилъ вниманіе Крутицына.

— Изъ чего это у него фракъ? — спросилъ онъ Турусова.

— Ха, ха, ха! Это здѣсь заведеніе такое для кельнеровъ — изъ люстрина.

— Изъ люстрина?

— Да, матерія такая шерстяная, чай знаете.

Люстриновый мальчуганъ, прислушиваясь къ разговору, ухмылялся.

— Вы что думаете, Александръ Павлычъ, понимаетъ вѣдь онъ.

— По-русски?

Турусовъ потрепалъ мальчугана по плечу и вскричалъ:

— Чеши, чеши!

Люстриновый фракъ осклабился.

— Эйне фесслауеръ! — скомандовалъ ему Турусовъ.

— Объясняетесь-то однако не на россійскомъ? — замѣтилъ Крутицынъ.

— На междуславянскомъ, Александръ Павлычъ, на междуславянскомъ, сирѣчь на нѣмецкомъ діалектѣ.

Прислуживали имъ съ особымъ усердіемъ; это Турусовъ тотчасъ же объяснилъ решпектомъ, питаемымъ всѣми кельнерами къ россіянамъ за полученіе на водку втрое противъ туземнаго.

— А вотъ и Россія валитъ! — крикнулъ Турусовъ, съ жадностью уписывая огромный шницель.

Къ столу подошли двое знакомыхъ Турусова: одинъ съ заспаннымъ широкимъ лицомъ военнаго деньщика, дру-

гой съ окладистой бородой и дерзкой усмѣшкой изнуреннаго, но красиваго лица.

— Вы меня, пожалуйста, не знакомьте, — успѣлъ шепнуть Крутицынъ.

— Что за...!

И крѣпкое словцо гоголевскаго капитана-исправника вылетѣло изъ устъ перваго россіянина, послѣ чего онъ помѣстился подлѣ Турусова.

— Ерничаешь все?

— Это кто? — спросилъ Турусовъ.

— Кто? Да ты же...!

И опять крѣпкое словцо слетѣло съ устъ россіянина.

— Никакъ нѣтъ.

— А лекцію-то что же прозѣвалъ?

— Такая оказія вышла сегодня.

— То-то оказія. На счетъ, должно быть, клубнички...

— Ну, не угадали.

— Или книжку литературную читалъ. Ахъ, ты микроскопистъ...!

И опять крѣпкое словцо.

«Да это у него такъ, что-ли?» спросилъ про себя Крутицынъ, съ студенческихъ временъ не слыхавшій такой приправы въ пріятельской бесѣдѣ.

— А вы гдѣ были? спросилъ Турусовъ у бородастаго, проглатывая чудовищный кусъ бифштекса, который ему подали тотчасъ за шницелемъ.

Бородатый, скосивъ ротъ въ гнилую усмѣшку, небрежно отвѣтилъ:

— Въ Берлинъ ѣздилъ... Потомъ въ Гамбургъ.

— Хорошъ городъ?

— Городъ капитальный.

— Какъ противъ Берлина?

— Сравнить нельзя! Одна набережная бассейна чего стоитъ.

Любитель крѣпкихъ словъ перебилъ его вопросомъ:

— А на счетъ женскаго пола? Говорятъ, тамъ лафа!

Бородатый усмѣхнулся сластолюбиво и проговорилъ:

— Есть-таки товаръ.

— А вы что объ этомъ допытываетесь, Чибисовъ,— вмѣшался Турусовъ: — вѣдь вы женатый человѣкъ.

— Такъ чтожь что женатый... я теперь хуже холостаго: жена на сносяхъ. А ты, — обратился онъ опять къ бородатому: — деньжатъ напорядкахъ таки, поди, ухнулъ?

— Казенныя, — отвѣтилъ бородатый.

— Тебѣ прибавили?

— Прибавили; а то-бы я не остался.

— А много ли еще промаешься?

— Еще годъ.

— Ахъ...! Ловко ты ихъ объегориваешь. Вотъ и я по начальству отписалъ намедни: если вы..! мнѣ еще на семьсотъ рублей оклада не подпишете, не хочу я таскаться. И подпишутъ!

— А Ковыряева видѣлъ? — спросилъ бородатый любителя крѣпкихъ словъ.

— Нѣтъ.

— Ѣдетъ въ Парижъ. Онъ на полтора года командировку себѣ выхлопоталъ по двѣ тысячи восемьсотъ рублей.

— Ай-да...! Лихо!

«Это они такъ-то объ наукѣ бесѣдуютъ?» думалъ Крутицынъ и вопросительно взглянулъ на Турусова.

Тотъ ушелъ совсѣмъ въ тарелку съ какимъ-то пирожнымъ.

— Мое почтеніе! — вдругъ раздалось надъ ухомъ Крутицына.

Онъ поднялъ голову. Надъ нимъ стояла сухопарая фигура въ очкахъ.

— Не узнаете?

— Виноватъ.

— Имѣлъ, если не ошибаюсь, удовольствіе видѣть васъ въ Москвѣ, вотъ у г. Турусова... Магистръ Петинъ.

Турусовъ покончилъ пирожное и задвигался на стулѣ.

— Господинъ Петинъ, — заговорилъ онъ: — точно видѣли васъ, Александръ Павлычъ, у меня, въ Леманскихъ нумерахъ.

— Помню, помню, — поспѣшилъ заявить Крутицынъ.

Онъ вспомнилъ не только очки и косоглазіе филолога, но и «свѣтилъ», къ которымъ онъ сбирался тогда отправиться въ Германію.

— Давно ли прибыли? — освѣдомился магистръ.

— Сегодня.

— Съ научною цѣлію?

— Проѣздомъ. А вы штудируете?

— Да-съ... по сравнительной филологіи... и славянскимъ корнямъ. Да и время такое настало для Россіи... Наши братья... достойны просвѣщенной поддержки. Классическое образованіе вкусили они раньше насъ и многіе могу́тъ быть полезны.

— Вы хотите сказать?

— Я разумѣю преподавательское поприще...

Изъ-за фигуры Петина выплыла другая черноватая вертлявая фигура, въ однобортномъ казакинѣ съ мелкими пуговками.

— Вотъ позвольте вамъ представить... брата славянина... кандидатъ философіи, то-есть по нашему филологіи, Зильберглянцъ.

Петинъ указалъ на казакинъ, который и устремился къ рукѣ Крутицына, сталъ ее пожимать, издавая какіе-то звуки, не то смѣхъ, не то взвизгиванія.

— Ратьче, мили хость... — слышалось Крутицыну: — пр́ошу... пр́ошу...

И еще что-то бормоталъ братъ-славянинъ, и Крутицыну казалось, что онъ старается говорить по-русски.

Такъ-какъ мѣста у стола больше не было, то филологи и удалились къ другому столу.

— Батюшка, Александръ Павлычъ, — зашепталъ Турусовъ: — я совсѣмъ вѣдь и забылъ вамъ сказать, что скнипа-то здѣсь, ужь вы извините. Коли онъ сюда похаживать начнетъ, я брошу это заведеніе. Вотъ изволите видѣть, какую онъ на себя теперь важность напущаетъ. Магистръ, и каѳедра ему приготовлена, и братьямъ мѣста выхлопатываетъ.

— Какія мѣста?

— Классическихъ языковъ въ гимназіи. Вонъ около него тотъ черномазый увивается. Тоже братомъ-славяниномъ себя величаетъ; а прозывается Зильбергляяцъ; только слава что въ Чехіи родился, а вовсе и не чехъ: жидова нѣмецкая, вѣрьте слову... Ему скнипа схлопочетъ мѣсто учительское, и онъ тамъ на Руси православной такого брата изъ себя изображать будетъ! Всѣ только и бьются, съ голоду, изъ-за подачки.

Турусовъ сплюнулъ. Крутицынъ предложилъ ему удалиться.

— Ерничать? — кинулъ на прощанье Турусову любитель крѣпкихъ словъ.

Бородатый удовольствовался небрежнымъ кивкомъ.

На лѣстницѣ вышла опять остановка.

— Михаилъ Иванычъ! — крикнулъ Турусовъ, загораживая дорогу небольшому человѣчку въ синемъ пальто русскаго покроя, съ палкой, спускавшемуся полегоньку и какъ-то бокомъ.

— А! микроскопистъ! Вы уже отобѣдали?

— Нажрался, Михаилъ Иванычъ, превыше всякой мѣры... Позвольте васъ, господа, познакомить хоть и на лѣстницѣ, да оба вы больно хорошіе люди, такъ нельзя:

Крутицынъ Александръ Павлычъ... Михаилъ Иванычъ о-васъ довольно извѣстенъ; докторъ Леховъ, нашъ первѣй-шій психіатръ...

— Экъ хватилъ!

— Ну, будете имъ, потому — мудрецъ, хоша гемо-роемъ и сокрушаемый.

Небольшой человѣчекъ какъ разъ въ эту минуту помор-щился, и выговорилъ:

— Доѣзжаетъ сегодня: ни стать, ни сѣсть...

— Всякому свой таланъ, Михаилъ Иванычъ.

Крутицынъ осмотрѣлъ психіатра. Смуглое и блѣдное лицо глядѣло ласково и умно. На крупныхъ губахъ ле-жала спокойная усмѣшечка.

— А вы не увезете ли съ собой микроскописта? — спросилъ его психіатръ.

— А что́?

— Да больно избаловался здѣсь, и объѣдается шни-целями.

— Боитесь мозговаго разстройства?

— Побаиваюсь.

Всѣ трое разсмѣялись и раскланялись. Психіатръ на-чалъ спускаться бочкомъ по лѣстницѣ.

— Какъ на вашъ вкусъ наши русачки? — спросилъ на улицѣ Турусовъ.

— Примолчу.

— Вотъ они все такъ-то. Коли не ругаются — одинъ разговоръ: какъ у кого окладъ, и кто ловчѣе казну обло-пошилъ. А Михаилъ Иванычъ изъ другой совсѣмъ глины. Душевнѣйшій человѣкъ. Да и нужный всякому...

— А вы развѣ съ ума сходить сбираетесь?

— Никто не застрахованъ...

«Никто», подтвердилъ мысленно Крутицынъ.

Онъ вспомнилъ о письмѣ Швецова, и попросилъ Ту-русова проводить его до почты.

На poste-restante Крутицынъ нашелъ письмо Швецова, состоящее изъ двухъ строкъ:

«Какъ только явитесь, извольте телеграфировать и подождать мою персону».

Онъ это и исполнилъ.

III.

Въ тѣсной комнаткѣ невзрачной кофейной, около почты, часовъ въ пять послѣ обѣда, сидѣлъ Крутицынъ передъ Швецовымъ за чашкой бурды, которую вѣнскіе гарсоны называютъ «мелянше».

Швецовъ пріѣхалъ утромъ; но случился тутъ Турусовъ, и задушевная бесѣда не клеилась. Крутицынъ съ перваго же взгляда нашелъ въ Швецовѣ большую перемѣну. Пигментъ Григорія Пантелѣевича разлился по широкому лицу и заставилъ его побурѣть. Щеки впали, носъ заострился, даже толстыя его губы поблѣднѣли. Только въ прическѣ явилось больше порядку: волосы были плотнѣе обстрижены и прядь уже не выступала на щеку въ видѣ пейса. Тонъ голоса спалъ. Общій разговоръ поддерживалъ онъ вяло и часто озирался по сторонамъ съ небывалой разсѣянностью.

— Ну, Крутицынъ! — вскричалъ Швецовъ: — мы теперь въ тетъ-а-тетъ, и вы можете меня поздравить...

— Съ чѣмъ? — спросилъ шутливо Крутицынъ.

— Я — гражданинъ вселенной!

— Не понимаю.

— Папуанцы меня упразднили!

— Какъ упразднили?

— Да такъ, самымъ простымъ фортелемъ: можешь-де гулять по всей Европѣ, а намъ тебя не требуется.

— Разъясните, пожалуйста...

— Вы, быть-можетъ, помните, что я отъ городскаго общества посланъ во врачебной наукѣ усовершенствоваться?

— Помню.

— Ну, на томъ мы и порѣшили, что я замѣсто себя товарища имъ представлю на все время моего отсутствія. Годъ-то прошелъ, а я вижу, что еще работы на семестръ, коли хочу не съ пустыми руками являться. Я имъ такъ и отписалъ своевременно: «позвольте, молъ, мнѣ еще полгода за-границей пожить уже на собственный коштъ». Кажется, чего бы проще?

— Разумѣется...

— Анъ вышло не такъ, какъ доктору Швецову, а какъ папуанцамъ благоугодно. Оныхъ папуанцевъ два сорта: купечество и ремесленное обчество. Купечество-то за меня, а мѣщанство-то, оказывается, хоть благодарности мнѣ и подносило, а про себя-то злость лютую питало.

— За что бы?

— А вотъ за что. Проѣзжала одна высокая особа, и пожелала осмотрѣть нашу больницу. Голова-то прибылъ, а мѣщанство-то не успѣли извѣстить. Вотъ они потомъ и взбѣленились: «какъ-ста нашего обчества больница, и безъ насъ встрѣча обошлась, и хлѣба-соли мы не поднесли, и кафтановъ галунныхъ не напялили»! Ну, какъ пришелъ часъ нравъ-то свой показать, они его и показали. Спервоначалу мнѣ отвѣту четыре мѣсяца не давали, а потомъ и изобразили: «вольный, молъ, онъ казакъ; пущай себѣ у нѣмцевъ прохлажается, а мы и теперешнимъ докторомъ много довольны»!

Швецовъ злобно разсмѣялся, выпилъ однимъ духомъ свой кофе и началъ растирать руки.

— И нельзя исправить дѣла? — спросилъ Крутицынъ.

— Какъ? Судиться? Все это дѣло было промежь себя. Я — не коронный врачъ. Что общество захочетъ, тому и быть! Кланяться въ ножки? На это у меня спина больно не сгибчива. Остается одно: плюнуть, что я и сдѣлалъ!

Онъ отставилъ отъ себя чашку, пошарилъ въ головѣ, и, улыбнувшись въ лицо Крутицыну, проговорилъ:

— Вотъ вамъ мораль изъ басни сей: «не гонись за двумя зайцами!»

«Бѣдный Швецовъ», подумалъ Крутицынъ, сочувственно глядя на него: «для такого человѣка, какъ онъ — большая обида, но хорошо, что эта, а не другая незадача ошеломила его».

— Зло исправимо, — сказалъ онъ вслухъ, протягивая руку Швецову: — вы, Григорій Пантелѣичъ, не такой характеръ, чтобы пассовать, и безъ папуанцевъ пойдете по своей дорогѣ.

— Характеръ! — повторилъ раздраженно Швецовъ.— Выслушайте меня, сладчайшій... Все, что я вамъ говорилъ, годъ тому назадъ, въ Москвѣ, все это — одно пустоболтанье и хвастовство!

— Хвастовство?

— И пустоболтанье!... Помню, какъ я передъ вами важничалъ: практикъ, молъ, я, а вы воду въ ступѣ толчете; умѣю, молъ, я моихъ папуанцевъ обработывать, какъ оброчную статью. А потому я, въ тѣ поры, такому хвастовству и пустоболтанью предавался, что имѣлъ особую теорію.

— Да, да, — подтвердилъ, тихо улыбаясь, Крутицынъ: — теорію хомута и непреклонной воли...

— Мало того: теорію самомнѣнія и цѣлесообразности... Все, молъ, я предскажу, что со мной случится... Предсказалъ, ха, ха, ха!...

Смѣхъ Швецова зазвучалъ такъ болѣзненно, что Крутицынъ даже вздрогнулъ.

— Предсказалъ! — вскрикнулъ еще разъ Швецовъ: — держи карманъ! Вмѣсто одного года два захватилъ, вмѣсто Парижа, въ Вѣнѣ закисъ, вмѣсто возвращенія на лоно благопріятелей папуанцевъ буду имѣть хожденіе по всей матушкѣ Руси для подысканія надлежащей карьеры!... Карьера! Вотъ что вѣдь каждый олухъ, въ родѣ моего, держитъ въ утробѣ своей... Почетъ, рубли серебромъ, пролетки на лежачихъ рессорахъ, мудрость житейская, то-есть свое личное, микроскопическое дрянцо ставить ваше общаго содержанія жизни! А эта самая жизнь беретъ тебя, мерзеца, да и давай тузить: и въ загривокъ, и въ темя, и въ физію, и во всякое мѣсто!...

Съ изумленіемъ слушалъ Крутицынъ, и не хотѣлъ вѣрить собственнымъ ушамъ.

«Неужели одинъ годъ», спрашивалъ онъ про себя, «могъ такъ переработать сладчайшаго»?

И какъ бы догадываясь объ этомъ вопросѣ Крутицына, Швецовъ вскричалъ:

— Смотрите, что надо мной стряслось въ одинъ годъ! Повинную я вамъ принесъ и прошу, за прежнія мои неподобныя рѣчи, шельмовать меня, какъ послѣдняго изъ скотовъ!

— Ну, ужь, докторъ, вы слишкомъ себя бичуете!

— Слишкомъ? Нѣтъ-съ, государь мой, не выкурилъ я еще изъ себя всю дурь практической гордыни... Вѣдь о чемъ я не догадался? О бездѣлицѣ! О томъ, милѣйшій, что хоть я себя и считалъ практикомъ, а закваска-то во мнѣ была положена идейная. Такъ ли?

— Такъ.

— Стало быть, съ папуанцами не нынче, такъ завтра вышла бы рвачка, и надо было на это идти, а не мечтать о томъ, что я-де отъ всякихъ зацѣпокъ застрахованъ, и морды обывательскія обнюхивать обученъ. Нѣтъ! Тысячу разъ нѣтъ! Будь у тебя какой ни на есть пигментъ,

а разъ ты вкусилъ древа познанія добра и зла, не процвѣтать тебѣ въ царствѣ папуанцевъ, кончить тебѣ гражниномъ вселенной, послать тебѣ плевокъ на всякое цѣлесообразное возведеніе себѣ несокрушимаго фундамента... Да не то, что папуанцы, — они вѣдь цѣлую стихію собой изображаютъ, — самъ ты, твое естество, нервы твои, дурь, или тамъ какъ ни зови, перевернутъ вверхъ ногами все твое мѣщанское столпотвореніе!

Крутицынъ быстро взглянулъ на пріятеля, заслышавъ новые звуки душевной горести.

— Дурь? — произнесъ онъ вопросительно.

— Да, дурь! Или и не дурь, а функція, которой слѣдовало явиться въ данный моментъ.

«А!» подумалъ Крутицынъ. «Не одни папуанцы!»

— Послушайте, сладчайшій, — заговорилъ Швецовъ, пододвигаясь еще ближе къ Крутицыну: — развѣ вамъ одинокая ваша доля не опостылѣла? Вѣдь да? Ну, что мы такъ-то бьемся и зубами скрежещемъ? Можно ли безъ бабы прожить?

— Живутъ люди, — вымолвилъ тихо Крутицынъ.

— И я жилъ, а теперича взалкалъ женскихъ чувствій!

Онъ точно потупился и продолжалъ уже другимъ тономъ:

— Наткнулся я на такую бабу, какихъ и господа сочинители не описывали. Баба — чортъ!

— Давно? — неловко спросилъ Крутицынъ.

— Съ полгода будетъ... Я вѣдь, промежь папуанцевъ толкаясь, только съ кумушками обхожденіе имѣлъ и привыкъ женскій полъ съ кандачка обработывать: всѣ, молъ, вы съ придурью, и съ нашимъ братомъ гдѣ же вамъ тягаться. А тутъ меня словно обухомъ что ошарашило. Такого мнѣ феферу по первому же абцугу поднесли, что я разсвирѣпѣлъ. Ахъ-ты, молъ, такая-сякая, пакостная ба-

бенка! Ужли я передъ тобой пасовать буду? Нѣтъ! Шалишь! Напрягъ я всѣ свои мозги и весь пигментъ свой. Встало это мнѣ таки въ копѣйку... не деньгами, а естествомъ. Видитъ она, что я не изъ селадоновъ, сейчасъ смекнула, что пигментъ имѣется, и повернула въ другую сторону. Вотъ тутъ-то и начались мои мытарства. На видъ все какъ слѣдуетъ: разговоры ласковые и всякія жантильности пошли; но впередъ я ни на пядь не подался: все толкусь на одномъ мѣстѣ. И сталъ я въ задумчивость впадать... Она тѣмъ временемъ въ Италію уѣхала.

— Въ Миланъ? — спросилъ Крутицынъ.

— А вы почемъ знаете?

— Турусовъ мнѣ писалъ, что вы туда неизвѣстно зачѣмъ поѣхали...

— Да, да, къ ней удралъ... Тамъ я ей бухъ предложеніе: такъ, молъ, и такъ, нечего канитель тянуть, и какъ я вамъ не противенъ — не угодно-ли вѣнецъ отъ камени честна?

— Что-жь она?

— Ничего!

— Отказала?

— Нѣтъ! Вы, говоритъ, слишкомъ увлечены, я не могу взять на себя такую отвѣтственность... И отказать не отказала... Съ тѣмъ я и уѣхалъ, и здѣсь опять затосковалъ превыше всякой мѣры...

— Тѣмъ и покончилось?

— Какъ можно! Мы на уговорѣ простились, что опять здѣсь въ Вѣнѣ столкнемся и тогда уже финита моя комедія...

— То-есть теперь?

— Да... Я уѣхалъ въ Грацъ, чтобы хотя работишкой какъ ни на есть позаняться, а то все у меня изъ рукъ валится. Вашъ пріѣздъ какъ разъ подошелъ къ нашему

сроку и на вашихъ глазахъ я возвеличусь аки кедръ ливанскій, или подорожную мнѣ пропишутъ!

Голосъ Швецова глухо оборвался. Лицо составляло, по страстному выраженію, рѣзкій контрастъ съ полушутливымъ языкомъ, отъ котораго и тутъ не могъ отдѣлаться Григорій Пантелѣичъ.

«Драма», думалъ боязливо Крутицынъ: «и что-то нехорошо пахнетъ!»

— Вы ее уже видѣли? — спросилъ онъ.

— Нѣтъ еще... Къ вамъ кинулся и съ вами цѣлый день... Сегодня вечеромъ предстану...

— Она живетъ съ семействомъ?

— Одна... вольный казакъ... учится пѣнію.

— Пѣнію?

Крутицынъ такъ выговорилъ этотъ вопросъ, что Швецовъ быстро взглянулъ на него.

— Да, пѣнію, подтвердилъ онъ: — у ней богатѣйшій голосъ, и она себѣ европейское имя добудетъ!...

«Какъ странно», сказалъ про себя Крутицынъ, и даже улыбнулся.

Швецовъ прошелся, въ это время, по совершенно пустой комнаткѣ кофейной, и очутившись опять на стулѣ, громко вздохнулъ.

— Вздыхается? — окликнулъ Крутицынъ.

— Вотъ вѣдь, милѣйшій, загвоздка-то еще какая... Въ тѣ поры, какъ я впервой насчетъ законнаго брака отвѣта отъ нея затребовалъ, я вѣдь на себя смотрѣлъ, какъ на благодѣтеля папуанцевъ: положеніе, молъ, у меня есть, и все такое, стало я женихъ заправскій; а теперь выходитъ я — гражданинъ вселенной. Маетностей у меня не имѣется, и гдѣ я шатеръ свой раскину — хоть убей меня до сихъ поръ не вижу!

— Она еще не знаетъ про потерю мѣста?

— Не знаетъ, да мы съ ней въ житейскія-то по-

дробности много и не вдавались. Я ей въ двухъ словахъ сказалъ: человѣкъ, молъ, я и на дорогѣ и кусокъ хлѣба есть. Лгать я не стану и сегодня же ей все разскажу...

Голова Швецова тяжело наклонилась.

— Если любитъ... — началъ Крутицынъ.

— Такъ и за голяка пойдетъ?

— Разумѣется.

— Любитъ! любитъ! Я почемъ знаю? До сей поры ни одна струна въ ней не дрогнула... Мраморъ, одно слово... Да шутъ его дери! Мнѣ теперь все единственно: есть у меня мѣсто, нѣтъ у меня мѣста, все это дѣло наживное; закрутила меня больно...

И онъ не договорилъ.

— Григорій Пантелѣичъ, — началъ Крутицынъ, давши ему успокоиться: — я не хочу резонировать и навязываться съ непрошенными совѣтами; но то, что вы разсказали про эту женщину, вводитъ меня въ недоумѣніе.

— Какое? говорите, сладчайшій, все отъ васъ выслушаю...

— Она артистка?

— Коли теперь не полная еще, такъ будетъ черезъ годикъ.

— Готовится на сцену?

— Готовится.

— А откажется-ли она отъ нея изъ-за васъ?

— Не знаю, я ее объ этомъ не спрашивалъ...

— Вѣдь если вы хотите идти по своей дорогѣ, развѣ это жена вамъ?

— Дорогой мой Александръ Павлычъ! — перебилъ Швецовъ: — сотни разъ говорилъ я себѣ то же самое, въ первое время, когда еще разсуждалъ практически: «куда, молъ, ты, орясина, — лѣзешь, тебѣ-ли юродивому провинціальному врачу жениться на женщинѣ, которая норовитъ россійской Патти содѣлаться? Первое дѣло, она тебѣ ко-

ляску смажетъ; а второе дѣло, коли и не смажетъ, такъ она голоса своего на твою губернскую дыру не промѣняетъ.»

— И нельзя отъ нея этого требовать...

— Стало быть, ты долженъ съ нею по свѣту таскаться, въ качествѣ принца-супруга состоять и созерцать ея лавры, облизываться и свою собственную персону абсолютно сократить? Стало-быть, твоя земная юдоль покончена днесь и записываешься ты въ крѣпостное услуженіе будущей примадоннѣ императорскихъ-россійскихъ и иныхъ театровъ? Вотъ какіе вопросы задавалъ я себѣ.

— А теперь больше не задаете?

— Нѣтъ! — глухо, но твердо отвѣчалъ Швецовъ.

— Это — страсть...

— Да, страсть!... Ну, а не втюрился бы я такъ, развѣ не все равно: подходящая или неподходящая баба? Влечетъ она къ себѣ — ну и конченъ балъ!... Любили вы?

— Любилъ.

— Удачно?

— Нѣтъ.

— Сколько разъ?

— Два.

— Закаялись?...

— Кажется...

— Нѣтъ, между нами-то — застрахованы вы отъ новой зазнобы?!...

— Не знаю.

— А я знаю, что нѣтъ, коли не совсѣмъ атрофировался у васъ сердечный аппаратъ! Милѣйшій!... Что толку-то въ разводахъ: надо мнѣ въ супругѣ и то и другое, и пятое, и десятое, и чтобъ карьерѣ моей не мѣшала, и чтобъ тщеславіе и самодурство мое лелѣяла? Тьфу! Провіантскіе чиновники такъ измышляютъ, а не люди съ нервами и натурой!... Ну, выгонитъ она меня,

ну рога наставитъ, ну осрамитъ на всю Русь православную. Экая бѣда! Что бы ни стряслось, все лучше будетъ, чѣмъ холостая сушь. Отецъ мой, какъ я къ нему передъ отъѣздомъ въ Москву явился да началъ мои мудрые планы расписывать, останавливаетъ меня да говоритъ: «Григорій, да для кого ты жить-то будешь?» Я, въ тѣ поры, слово это сквозь уши пропустилъ; а теперь оно и всплыло наружу... «Для кого жить-то будешь?» И не отвѣтите на этотъ вопросъ безъ бабы...

— Григорій Пантелѣичъ, — прервалъ его Крутицынъ: — будто нѣтъ возможности и внѣ любви къ женщинѣ жить для чего-нибудь, кромѣ свой собственной особы?

— Знаю, что есть, да отвлеченныя-то жертвы разлетаются въ прахъ, когда нѣтъ передъ вами живья. Мученики, новаторы, спасители рода человѣческаго изъ другой глины дѣланы, а мы, простые ерихонцы, не можемъ носить этотъ вельтшмерцъ безъ...

Онъ остановился, какъ бы подыскивая слово.

— Безъ бабы, — подсказалъ Крутицынъ.

— Да, безъ бабы!... И вотъ вамъ мое послѣднее слово: этотъ хомутъ надѣну я съ самозабвеніемъ, что бы онъ мнѣ ни принесъ.

Оба они поднялись. Крутицынъ протянулъ ему руку и съ волненіемъ вымолвилъ:

— Вы правы. И изъ борьбы вашей выйдете съ побѣдой.

— И-и! Самъ выю подставляю...

Вдругъ онъ слегка поблѣднѣлъ, взявшись за часы.

— Семь часовъ, — почти шепотомъ и скороговоркой проговорилъ онъ.

— Да, —подтвердилъ Крутицынъ: — а что?

— Иду, значитъ, на пропятіе.

— Къ ней?

— Безъ оглядки. Передо мной теперь точно прорубь какая, такъ и тянетъ.

— И сегодня же отвѣтъ?

— Ну, гдѣ же; но, по крайности, верхнимъ-то чутьемъ я распознаю: жить мнѣ или провалиться въ тартарары?

Черезъ пять минутъ, Крутицынъ прощался съ Швецовымъ противъ собора св. Стефана и напутствовалъ его дружескими пожеланіями.

Когда фигура Швецова скрылась въ темнотѣ, по ту сторону площадки, Крутицынъ вдругъ спросилъ про себя:

«Да кто же *она?* Русская или здѣшняя? Какъ зовутъ эту пѣвицу?»

И такъ ему захотѣлось это узнать, что онъ чуть-было не окликнулъ Швецова.

«Пѣвица,» продолжалъ онъ думать, двигаясь къ Грабену: «почему именно пѣвица? Какое странное совпаденіе... И готовится на сцену... И холодна какъ мраморъ.»

И сталъ онъ невольно вспоминать перипетіи своего чувства къ Ксеніи Николаевнѣ и сравнивать ихъ съ тѣмъ, что теперь переживаетъ Швецовъ. Натура сладчайшаго сказалась и тутъ; но какъ круто и неожиданно совершился въ немъ поворотъ житейской мудрости. Точно кто подсказывалъ ему его теперешнія рѣчи въ угоду и утѣшеніе Крутицыну. Вотъ и ярый практикъ поддался напору мышленія и ни въ грошъ не ставитъ свою прежнюю теорію хвоста, «завивающагося кренделемъ». И не потому только онъ такъ разсуждаетъ, что споткнулся о своихъ папуанцевъ. Эта зацѣпка только ярче вывела наружу то, что годъ болѣе сознательной жизни подготовилъ въ глубинѣ душевной. Крутицыну стало вдругъ легко. Не злорадство заговорило въ немъ, а внутреннее удовлетвореніе человѣка, нашедшаго откликъ на самый завѣтный *итогъ*, выстраданный долгими годами.

«А! проснулся и ты,» говорилъ онъ, мысленно обращаясь къ Швецову: «и ты зашелъ на ту сторону общественнаго вала и сказалъ «прости» самоуслажденію, даруемому бытовой жизнью. Ты будешь меньше метаться, чѣмъ нашъ братъ нервный человѣкъ; но и ты пойдешь искать «грядушаго града». И любовь твоя, даже при взаимности, не свяжетъ тебя съ «московской селянкой» и будетъ только отдушиной идейнаго котла, гдѣ накипаетъ неустанно разладъ между дѣйствительностью и той душевной нормой, къ которой что-то влечетъ насъ, заставляя переворачивать и подымать на крутую гору тяжелый камень Сизифа!...»

IV.

Не Швецовъ, а Турусовъ ввалился утромъ въ нумеръ Крутицына и началъ его разспрашивать о сладчайшемъ, впрочемъ сдержанно и оговорившись, что онъ въ чужіе секреты проникать не хочетъ.

— Вы только вотъ что мнѣ скажите, Александръ Павлычъ: полегчало ли ему?

— Надняхъ думаетъ добиться своего.

— Значитъ, тутъ женскій полъ орудуетъ. Ну, вотъ мы его женить станемъ; вы у насъ и поживете до Святой, потому теперь постъ и россійскіе сыны должны до Святой ждать. А хоша теперь и постъ, одначе у нѣмцевъ сегодня отрыжка фашинга...

— Фашинга? — переспросилъ Крутицынъ.

— Это по здѣшнему карнавалъ называется. Такъ вотъ, посреди поста, и учиняется общее безобразіе.

— Mi-carême?

— Какъ изволите говорить?

— То, что у французовъ называется mi-carême?

— Ми-каремъ. Ишь ты!.. Должно быть, то самое... Вотъ и здѣсь мусикія всякая и машкарады. А завелъ я рѣчь объ этой матеріи по той собственно причинѣ, что оченно желательно васъ сегодня съ собой увлечь.

— Куда это?

— А вотъ куда-съ. Такой машкарадъ благотворительный.

— Полноте, юноша, что мнѣ тамъ дѣлать, я въ десять часовъ спать ложусь...

— Вы выслушайте-инъ по пунктамъ. Это не то, что какой-нибудь машкарадишка, а редутъ...

— Редутъ?

— Не изволите знать что такое?

— Не знаю.

— Вотъ видите; а сейчасъ и руками замахали! Вѣдь вы тоже туристъ, проѣзжій человѣкъ, имперскій градъ посѣтившій, слѣдственно надо же вамъ столицу сію въ самомъ первостатейномъ увеселеніи увидать. Редутъ — это машкарадъ въ дворцовыхъ залахъ... Штрауса оркестръ— это первое, всѣ три брата, весь генералитетъ.

— Что мнѣ въ немъ!

— Да вы позвольте... Эрцгерцоги...

— Пускай ихъ.

— Бейстъ... и венгерскіе магнаты, и всѣ чины и власти; а наипаче женскій полъ.

— Вотъ вы куда и пробирались.

— Да вы, поди, думаете: такъ, шушера какая! Аттàнде!.. Принцессы и всякія контессы, и на разныхъ языкахъ объясняются. Польки, мадьярки. Французскій языкъ такъ и гудитъ... А промежду важными дамами...

— И особы легкаго чтенія, какъ Григорій Пантелѣичъ выражается?

— Безъ этого какой же машкарадъ обходится, хоша бы и у насъ на Руси-матушкѣ?

— Мнѣ-то что же до всего этого, юноша?

— Какъ что? Нравы-то туземные надо же вамъ подвергнуть ближайшему разсмотрѣнію?

— Въ редутѣ?

— Да, въ эвтомъ самомъ редутѣ...

— А вы лучше мнѣ вотъ въ чемъ сознайтесь: вамъ, навѣрно, назначено rendez-vous и вы хотите вести меня смотрѣть на ваши успѣхи, вѣдь такъ?

Турусовъ разсмѣялся, но тряхнулъ гривой въ знакъ отрицанія.

— Никакого рандеву мнѣ не назначали, а коли хотите знать: желалъ бы повстрѣчать...

— Нѣкоторую особу.

— Такую особу!.. Писанная, могу сказать, красавица!

— Какого чтенія?

— Не тяжелаго, извѣстно...

— Такъ зачѣмъ же дѣло стало?

— А вы дайте хоша это по порядку разсказать. Подъ конецъ фашинга закатились мы съ однимъ изъ русскихъ ребятъ въ Софійку...

— Въ Софійку?

— И этого не знаете, Александръ Павлычъ?

— Въ какую Софійку?

— Это мы такъ промежь себя прозвали. Такое имѣется по ту сторону Ринга заведеніе. По нашему просто бани. Лѣтомъ купальня огромная, въ нѣкоторомъ родѣ, какъ у древнихъ римлянъ. А зимой эта самая купальня превращается въ такую же огромную залу, и даются въ ней еженедѣльно машкарады съ обиліемъ женскаго пола, всякую мѣру превышающимъ.

— Ну, и что-жь?

— Такъ закатимшись туда, ходимъ себѣ между разными пастушками и наядами. И вдругъ, точно меня какое сіяніе озарило! Гляжу: идетъ...

Турусовъ разставилъ ноги и руками развелъ широко и такъ смѣшно, что Крутицынъ громко расхохотался.

— Идетъ она...

— Это писанная-то красавица?

— А вы думаете нѣтъ?.. Одѣта въ балетное платье съ золотой бахромой, въ испанскомъ вкусѣ. Плечи, руки, волосы, ноги!.. Батюшка, Александръ Павлычъ! Говорю вамъ — сіяніе, столпы брилліантовые, роскошь, нѣга, сады калифовъ напоминающая!..

— Стало быть, безъ маски?

— Въ костюмѣ. Зачѣмъ же тутъ маска? Профиль — богиня; а главнѣйше: руки и локоны...

— Гульденовъ на сорокъ?

— Свои, свои, дотрогивался.

— Чего же вамъ еще?

— А вы дайте инъ разсказать до конца. Такъ я и остолбенѣлъ, и русачокъ мой тоже диву дался. Только робость на меня нападаетъ, въ публичныхъ мѣстахъ, анаѳемская, по части нѣмецкаго діалека. Тотъ тоже не больно форсистъ по-нѣмецки: одначе все бойчѣе меня плетется. Я ему взмолился: «заведи, молъ, разговорецъ и допроси: не желаетъ ли чего съ нами откушать?» А она не одна гуляетъ. Около нея, въ какой-то красной мантіи, волшебницу изъ себя изображая, выступаетъ ехиднѣйшій стервецъ...

— Дуэнья?

— Именно, дуэнья, вотъ какъ въ гишпанскихъ драмахъ имѣется. Вида неподобнаго. Отвратъ — одно слово! Начали мы около нихъ колесить, меня робость еще пуще донимаетъ, а русачокъ мой съ полчаса все подъискивалъ, съ чего бы, то-есть, разговорецъ начать? Разрѣшился, на-

конецъ, отъ бремени мой паренекъ. Какъ, молъ, васъ зовутъ? Она отвѣчаетъ: Melanie. Тутъ уже я духу набрался и предложилъ отужинать. Она ничего, но стервецъ смотритъ злобно. Помѣстились мы въ нишѣ и затребовалъ я бутылку либфрауэнмильхъ и каплуна штирійскаго. Вблизи она еще краше. То-есть такое, Александръ Павлычъ, отъ плечъ сіяніе, что чувствъ лишаешься! Только-что мы было-начали въ пріятный разговорецъ вступать, она еще не докушала всего, дуэнья эта ей глазомъ знакъ подаетъ. Маланья моя заторопилась — и была такова!

— И вамъ это стоило?

— Семь безъ малаго гульденовъ!

— И вы ее больше не видали?

— Какъ сквозь землю провалилась! Я какъ угорѣлый бѣжалъ: нѣтъ, и слѣдъ простылъ! И потомъ, каждый день, на Грабенѣ и на Рингѣ всѣ глаза выглядѣлъ: нѣтъ моей Малаши!

— Малаша?

— Да какъ же? По россейскому, она — Малаша.

— Такъ вотъ у васъ какая идетъ микроскопія?

— Больно ужь хороша, Александръ Павлычъ! Ей-жеей, писаная красавица! Такую къ намъ въ Москву привезти, весь городъ гудѣть почнетъ...

— И ее-то вы и хотите видѣть сегодня?

— Именно. Я ужь навѣрно знаю, что она прикатитъ. Послѣдній редутъ — моя послѣдняя надежда. Батюшка, Александръ Павлычъ, поѣдемте...

Упрашиванія Турусова были прерваны приходомъ коммисіонера въ сѣромъ пальто съ желтымъ кантомъ и съ мѣдной бляхой на фуражкѣ, гдѣ стояло: «Express».

«Express» подалъ Крутицыну письмо и удалился.

«Милѣйшій», писалъ ему Швецовъ, «приглашаю васъ заглянуть сегодня въ редутъ: это такой маскарадъ въ бургѣ. Будьте непремѣнно. Небосклонъ прочищается.»

Послѣднія два слова были подчеркнуты два раза.

— Отъ терапіи? — спросилъ Турусовъ.

— Отъ нея.

— Зоветъ что-ли куда?

— Да вотъ, тоже, въ этотъ редутъ.

— Ему, небось, не откажете?

— Должно быть, въ самомъ дѣло, нужно...

— Не познакомить ли хочетъ съ зазнобой? Ну такъ, значитъ, мы айда?

Крутицынъ подумалъ и выговорилъ:

— Надо заглянуть.

— Вотъ видите, Александръ Павлычъ, мою просьбу не хотѣли уважить... Ужь Богъ съ вами! А я же васъ сведу въ такое мѣстечко, гдѣ билетикъ можно дешевле заполучить. Какъ я радъ, что мы всѣ трое закатимся. Видно, сладчайшему везетъ, коли въ машкарадецъ захотѣлъ... Малашу бы только сподобиться узрѣть!

Слушая восклицанія Турусова, Крутицынъ думалъ:

«Вѣрно, и въ самомъ дѣлѣ хочетъ онъ познакомить меня съ своей «чортомъ-бабой».

— Такъ дешевый билетикъ угодно заполучить, Александръ Павлычъ?

— Отчего и незаполучить.

— А коли угодно, такъ отправимтесь-ка въ кафе-національ, около бургъ-театра, и тамъ закажемъ знакомому мнѣ кельнеру.

Пошли въ кафе, и Турусовъ распорядился двумя билетами къ одиннадцатому часу вечера. Онъ всячески ублажалъ Крутицына, рекомендовалъ ему кельнера Жоржа, принесъ французскихъ газетъ и даже нумеръ «Голоса», и заставилъ съѣсть натощакъ порцію мороженаго. Предложилъ онъ пойдти осматривать городъ, но Крутицынъ обратилъ его къ микроскопу.

V.

Ровно въ одиннадцать часовъ вошли они подъ ворота бурга и поднялись длиннымъ проходомъ къ передней, гдѣ продавали билеты. Турусовъ жестоко подзавился, купилъ новую шляпу и то и дѣло посматривалъ бокомъ на лѣвую свою лапу, обтянутую въ сиреневую перчатку.

— Батюшка Александръ Павлычъ, — шепталъ онъ въ гардеробной, отдавая пальто: — Малашу-то бы только повстрѣчать.

— Радость пробираетъ ужь? — допросилъ Крутицынъ.

— Эхъ, вы! На лѣстницѣ-то? Дайте срокъ; вотъ какъ воззрюсь въ нее, тогда душа въ пятки уйдетъ!

Изъ второй передней, этажемъ повыше, гдѣ было очень свѣжо, поднялись они на нѣсколько ступенекъ и очутились прямо въ главной залѣ.

Крутицына охватилъ жаркій воздухъ и смѣсь звуковъ оркестра съ гуломъ. Зала была блистательно освѣщена и не успѣла еще наполниться пылью, которая поднимается обыкновенно къ концу маскараднаго шатанья. Маски не особенно пищали и двигались плавно: въ домино преобладали яркіе цвѣта съ богатыми отдѣлками. То и дѣло мелькали огромные букеты. Прически особенно поражали роскошью волосъ и эксцентричностью.

— Каковъ женскій-то полъ, Александръ Павлычъ?— допытывался Турусовъ, уже начинавшій «брендить».

— По фигурамъ крупенъ.

И въ самомъ дѣлѣ, женскіе бюсты щеголяли видными размѣрами. Очень многія маски были въ декольтированныхъ платьяхъ: разумѣется, тѣ, кто блисталъ формами.

Турусовъ провелъ Крутицына сперва по главной залѣ. Они постояли передъ эстрадой, гдѣ Эдуардъ Штраусъ подпрыгивалъ, силясь воспроизводить манеру брата своего Іогана. Потомъ протолкались они въ малую залу, гдѣ грохоталъ военный оркестръ, въ бѣлыхъ мундирахъ съ оранжевыми воротниками. Тѣснота дѣлалась все сильнѣе. Передъ Крутицынымъ замелькали бѣлокурыя и черныя физіи офицеровъ и фрачниковъ и шиньоны самыхъ смѣлыхъ очертаній. Жаръ началъ давить его.

— Видите вы свою Маланью? — спросилъ онъ Турусова.

— Какъ тутъ распознаешь!.. Бѣда! Я не ожидалъ, что такая торговая баня будетъ!.. На галлереѣ не набреду ли?

— Ступайте; а я пойду въ буфетъ выпить стаканъ лимонаду.

— А сладчайшаго нешто не будете искать?

— Наткнется.

— А гдѣ мнѣ послѣ найти васъ?

— У оркестра Штрауса.

— Ладно.

И Турусовъ задвигался, молодцовато заломивши шляпу, отъ которой шелъ севершенно неприличный блескъ.

Въ буфетѣ Крутицынъ, стоя у прилавка, оглядывалъ группы и пары, сидѣвшія около столиковъ. Давно не видалъ онъ такого сборища людей обоего пола, гдѣ чувственныя побужденія сказывались бы такъ непосредственно, какъ въ этомъ «редутѣ». Тутъ не кидалась въ глаза сухая циническая нервность парижскаго опернаго была съ конвульсіями канкана, пресыщенной скукой и погоней за двадцатифранковой монетой. Нѣтъ. Тутъ собрались потолкаться и обдѣлать любовныя дѣлишки жуиры, которымъ легко живется, и женщины съ темпераментомъ и страстью къ удовольствіямъ. Все это щеголяло здоровьемъ,

молодостью, туалетами, болтало безъ умолку, пило, ѣло, слушало своего Штрауса и разсчитывало кончить ночь, хотя и не среди оргій, но и не платонически.

Противъ того мѣста, гдѣ стоялъ Крутицынъ, присѣла къ столу съ худымъ офицеромъ въ красныхъ шароварахъ и голубомъ казакинѣ съ какой-то бахромой на крестцѣ, маска въ розовомъ домино и въ пудреной прическѣ изъ косъ, переплетенныхъ съ нитями бѣлыхъ бусъ. Вся нижняя часть лица не была прикрыта. Подбородокъ съ ямочкой, нижняя губа и полоска зубовъ выставлялись во всей ихъ свѣжести и особенно ярко блистали рядомъ съ чернымъ бархатомъ. Она сняла перчатку съ правой руки и длинными пальцами въ кольцахъ стала размѣшивать на блюдечкѣ мороженое. Офицеръ близко наклонилъ къ ней голову, взялъ ее за подбородокъ и, заглянувъ въ лицо, что-то прошепталъ на ухо. Она отвѣтила смѣхомъ и глаза ея загорѣлись, какъ угольки, въ глубинѣ впадинъ маски.

«Какъ имъ весело», подумалъ съ тихой грустью Крутицынъ: «какой широкой волной переливается въ нихъ жизнь! Какъ они стали бы издѣваться надъ тѣмъ, кто заговорилъ бы имъ нашимъ языкомъ. Да и чѣмъ мы выше этого этого офицера въ красныхъ шароварахъ, если его взять именно въ этотъ моментъ? Не вчера-ли Швецовъ говорилъ, что безъ бабы не прожить, и не бросается-ли онъ очертя голову, быть можетъ, въ бездну, гдѣ и разобьется? А онъ — нашего поля ягода. Офицеръ, съ бахромой на крестцѣ, не мучится, не грызетъ себя, а находитъ все, что ему надо, и живетъ реальнѣе и разумнѣе насъ, головастиковъ...

Пара доѣла мороженое, еще пошепталась и, выйдя изъ буфета, затерялась въ толпѣ. Крутицынъ слѣдилъ за ней глазами минуты съ двѣ и уныло потащился въ главную залу.

«Надо же и Швецова искать», вспомнилъ онъ, и под-

нялся по лѣстницѣ, у эстрады оркестра, на низкую галлерею, идущую вокругъ всей залы. Съ одной стороны этой галлереи большая гостиная пахнула на него прохладой. Нѣсколько паръ сидѣло въ разныхъ углахъ. Онъ оглядѣлъ кругомъ — нѣтъ Швецова. Изъ галлереи повернулъ онъ въ полуосвѣщенный коррпдоръ, идущій параллельно съ нею, по одной сторонѣ залы. Въ корридорѣ, вдоль дивановъ, размѣстились болѣе страстныя пары; и тамъ не было Швецова.

Утомившись порядочно, Крутицынъ зашелъ на противоположный конецъ галлереи и, выбравъ мѣстечко у перилъ, сталъ смотрѣть на волнующійся пестрый коверъ изъ человѣческихъ головъ, шиньоновъ, фраковъ, мундировъ и домино.

— Крутицынъ! — окликнули его сзади.

Онъ обернулся. Швецовъ, въ бѣломъ галстухѣ, припомаженный и крайне приличный, стоялъ передъ нимъ, улыбаясь и держа подъ руку черное домино съ широкимъ капюшономъ, очень виднаго роста.

— Наконецъ-то! — откликнулся Крутицынъ.

— Давно здѣсь?

— Да ужь съ часъ.

— Какъ же это не встрѣтились! Я все во второй залѣ ходилъ, гдѣ военная музыка.

Домино отдернуло руку и сдѣлало движеніе, точно хочетъ быстро удалиться. Это движеніе не ускользнуло и отъ Крутицына.

Онъ пододвинулся къ парѣ и сказалъ, посмотрѣвъ на маску:

— Увлекались разговоромъ?

Швецовъ поглядѣлъ на нее также, и будто хотѣлъ ей дать что-то понять глазами.

«Кто же это?» подумалъ Крутицынъ. «Она или нѣтъ?»

— Ты устала? — спросилъ Швецовъ маску.

Она отвѣчала наклоненіемъ головы.

— Такъ сядь, вотъ мѣсто есть въ углу.

Она покачала головою отрицательно.

— Ну, такъ не хочешь ли вонъ тамъ сѣсть въ коридорчикѣ, тамъ прохладнѣе?

Она ничего не отвѣтила даже знакомъ.

— Маска, — сказалъ ей Крутицынъ: — ты говоришь же на какомъ-нибудь языкѣ?

— Даже на россійскомъ, — подсказалъ Швецовъ.

Опять явилось движеніе, точно будто маска хотѣла убѣжать; но тотчасъ же она вся выпрямилась и сказала тихо, такъ что еле-еле можно было разслушать:

— Сядемъ — тамъ.

Крутицынъ успѣлъ вопросительно взглянуть на Швецова, и глаза Григорія Пантелѣича отвѣтили ему:

«Она, она!»

Сѣли они всѣ трое на узкій диванъ въ углу корридора; но Швецовъ тотчасъ же поднялся и, сказавши что-то на ухо маскѣ, выговорилъ вслухъ:

— Крутицынъ, со мной маска ходила цѣлый часъ, а вы намолчались вдоволь; такъ извольте-ка занять соотечественницу. Я пойду покурить.

— Какъ любезно! — отозвался шутливо Крутицынъ: — ты позволяешь, маска, такъ оставлять тебя?

— Позволяю, — отвѣтила она, все еще ужасно тихо.

— Я васъ найду здѣсь или въ гостиной на томъ концѣ, — сказалъ уходя Швецовъ и успѣлъ шепнуть Крутицыну: — мраморъ подается!

Почему-то Крутицынъ ощутилъ неловкость, когда остался одинъ наединѣ съ маской.

— Я, — началъ онъ: — скажу банальную, но искреннюю вещь: боюсь, что тебѣ будетъ очень скучно. Въ послѣднее время, я совсѣмъ одичалъ.

Маска ничего не отвѣтила и, придвинувшись, взглянула на него.

— Но мнѣ пріятно, — продолжалъ онъ: — что ты русская. Понѣмецки я съ женщинами не умѣю говорить.

Она прервала его, дотронувшись до его руки и спросила тихимъ и низкимъ голосомъ:

— Ты не умѣешь лгать?

— Нѣтъ, а что?

— Швецовъ назвалъ тебѣ мое имя?

— Нѣтъ.

— И ты...

Голосъ ея дрогнулъ.

— Крутицынъ, — заговорила она громко и уже своимъ голосомъ: — видно, есть судьба.

При первыхъ звукахъ, Крутицынъ отшатнулся и привсталъ: голосъ былъ слишкомъ знакомъ.

— Кто ты? — спросилъ онъ, почти испуганно.

— Я...

Лѣвой рукой она сняла маску. Онъ обомлѣлъ: лицо Ксеніи Николаевны глядѣло на него, блѣдное и полуулыбающееся, все такое же прекрасное и горделивое, даже въ своемъ смущеніи.

— Ксенія Ник...

Слово оборвалось у него. Онъ покраснѣлъ и опустилъ голову.

Ксенія Николаевна надѣла опять маску и уже спокойно выговорила:

— Да, есть судьба. Я вижу, что мы столкнулись нечаянно, и я этому очень рада.

— Рада? — спросилъ тихо Крутицынъ.

— Мы должны были встрѣтиться, Alexandre. Ты не смущайся, что я заговорила съ тобой такимъ тономъ. — Мы въ маскарадѣ, и мнѣ такъ легче. А завтра мы будемъ на «вы». Прежде всего скажи мнѣ, что ты

дѣлаешь, куда ѣдешь, доволенъ ли своею жизнью, какіе строишь планы?

Руки ея протянулись къ Крутицыну, и вопросы вылетали изъ устъ ея самымъ задушевнымъ дружескимъ тономъ.

Крутицынъ рѣшительно былъ ошеломленъ и не зналъ, какъ ему отвѣчать.

— Вижу, — продолжала Ксенія Николаевна еще искреннѣе: — ты изумляешься моей дерзости, моему безстыдству? Вѣдь да? Такъ начнемъ же съ начала и покончимъ наши счеты поскорѣе. Во-первыхъ, вопросъ: былъ ли ты возмущенъ моимъ бѣгствомъ и письмомъ такъ, что съ отвращеніемъ отвернулся отъ меня и выкурилъ меня изъ своей памяти... и сердца?

— Да, — выговорилъ тяжело Крутицынъ.

— Прекрасно! — вскричала Ксенія Николаевна.

— Прекрасно? — изумленно переспросилъ онъ.

— Значитъ, я достигла своей цѣли.

— Цѣли?

— Послушай, Alexandre, неужели ты думалъ, что можно рѣшиться на такую выходку, не имѣя при этомъ серьезной цѣли, не считая подобнаго разрыва самымъ дѣйствительнымъ средствомъ...

— Противъ чего?

— Ты сейчасъ услышишь... Вотъ вы какіе мужчины! Надо вамъ выдавать себя съ руками и ногами. Ну, да ужь Богъ съ тобой. Начну мою исповѣдь по пунктамъ. Мой добрѣйшій Александръ Павлычъ, вы должны были видѣть, что Ксенія Николаевна дѣлалась въ бесѣдахъ съ вами все слаще и слаще... Не качай головой, ты прекрасно знаешь, что это было.

— Ну такъ что-жь?

— А то, что я въ одно прекрасное утро спохватилась и испугалась... Помнишь тотъ вечеръ, когда я за-

стала тебя ночью, нервнаго и озлобленнаго, и выслушала... Ну, ты избавь меня отъ необходимости повторять твои слова... Я была тронута и осчастливлена гораздо больше, чѣмъ я тебѣ показала. Всю ночь я пролежала въ жару. Но къ утру я вскочила съ кровати, сѣла къ окну, передумала все до послѣдней капельки, и сказала: «Тебѣ надо бѣжать. Ты не жена ему и даже не любовница. Одно изъ двухъ: или ты иди по своей дорогѣ, или прощайся съ свободой: эта привязанность поглотитъ тебя!» Сказано — сдѣлано. Но скрыться было мало. Ты сталъ бы искать меня, волноваться, надѣяться: я сама могла вернуться. Надо было возбудить въ тебѣ омерзеніе, сдѣлать такъ, чтобы ты поставилъ на мнѣ крестъ и, извини меня за неизящное слово, плюнулъ на меня. Вотъ тебѣ объясненіе моего письма, отъ котораго меня еще теперь бросаетъ въ краску! Такъ оно глупо, пошло и зло.

— Вѣрю тебѣ, — произнесъ Крутицынъ, поднимая на нее глаза: — но зачѣмъ же было прибѣгать къ такому средству?...

— Ахъ, какой ты! Тебѣ нужно начинать опять сказку про бѣлаго бычка. Ты лучше отвѣть мнѣ: письмо вызвало омерзеніе?

— Конечно, оно не могло не...

— Ну, да ужь не увертывайся: эффектъ вышелъ полный!

Она протянула ему руку, и тронутымъ голосомъ продолжала:

— Знаю, что ты заболѣлъ. Прости меня, Alexandre, я защищала самое себя, но вмѣстѣ и тебя. Нѣтъ, и теперь скажу я: не такая тебѣ нужна жена! Пылъ страсти стихъ бы очень скоро, и ты увидалъ бы, что у меня нѣтъ того развитія, безъ котораго между нами всегда была бы пропасть. Ты бы не разлюбилъ меня, нѣтъ; но ты началъ бы страдать втихомолку. Я тебя прекрасно

изучила. Ты вѣдь безъ устали дѣйствуешь головой, и удовлетворить твоему душевному идеалу такая женщина, какъ я, рѣшительно не можетъ. Я слишкомъ — во внѣшнихъ вещахъ: мнѣ нуженъ успѣхъ, блескъ, личная извѣстность, легкое напряженіе ума.

— О! умъ-то у тебя во всемъ сквозитъ!

— Не знаю, можетъ быть, только онъ не обращенъ на то, что входитъ въ твою задушевную жизнь. Не подумай, что я этимъ оправдываю самое себя. Нѣтъ! Я говорю прямо: чувство самосохраненія побудило меня такъ покончить съ тобой.

Крутицынъ горько улыбнулся.

— Ты все хочешь увѣрить меня, — сказалъ онъ: — что я былъ слишкомъ опасенъ для твоего спокойствія.

— А то нѣтъ? Очень и очень опасенъ, милый мой!... Ты не зналъ, чего мнѣ стоило сдерживать себя. Я наши пріятельскія отношенія придумала... comme une soupape de sureté.

— Положимъ, что и такъ...

— А если вы, спорщикъ, соглашаетесь съ этимъ, такъ что же васъ удивляетъ мое признаніе? Правда, оно запоздало. Тѣмъ лучше! Ты, быть-можетъ, и теперь думаешь, что женщинѣ съ такимъ характеромъ, какъ мой, нечего бояться такого нервнаго и слабаго человѣка, какъ ты. Въ томъ-то и дѣло, что ты вовсе не слабый человѣкъ. Ты какъ стекло: разбить тебя, пожалуй, можно, но погнуть — нѣтъ, или лучше сказать: не съ нашими мозгами.

— Униженіе паче гордости!...

— Нѣтъ, я говорю то, что я думала и передумала. Нужды нѣтъ, что ты нервенъ. Въ подробностяхъ я бы взяла верхъ, но въ главномъ, привязавшись къ тебѣ, — нѣтъ. Другъ мой, я хоть и малому училась, но своимъ умишкомъ дошла до той печальной истины, что намъ,

женщинамъ, во-вѣки-вѣковъ придется идти на вашихъ помочахъ. По крайней мѣрѣ, теперь это такъ. Гдѣ мнѣ съ тобой тягаться! И я кончила бы тѣмъ, чѣмъ кончаетъ каждая изъ насъ: безсиліемъ въ главномъ и хитрымъ достиженіемъ мелкихъ цѣлей...

Ксенія Николаевна опустила голову и на минуту примолкла.

— Вотъ какую я философію завела, — начала она опять, уже веселѣе: — а выводъ изъ моей исповѣди такой: ты не умеръ, злиться на меня не будешь, презирать теперь тоже не станешь, я осталась со своей свободой, и мы, какъ старые друзья, пожимаемъ теперь другъ другу руку.

Крутицынъ пожалъ знакомую, античную руку и даже нагнувшись поцѣловалъ ее.

— Все прошло, — выговорилъ онъ спокойно: — и мы друзья; но счастлива ли ты?

— Объ этомъ рѣчь впереди. Я еще не кончила всего допроса: ты слышалъ обо мнѣ что-нибудь отъ пріятеля своего, до пріѣзда сюда, въ Вѣну?

— Ничего.

— А здѣсь онъ говорилъ тебѣ?

— О своей любви... да.

— И называлъ меня?

— Я уже тебѣ сказалъ, что нѣтъ...

— Такъ что ты явился сюда, не представляя себѣ и возможности встрѣтиться со мной?

— Ни малѣйшимъ образомъ!

— Какъ это странно!

— Страннѣе еще то, — договорилъ Крутицынъ: — Швецовъ хотѣлъ, кажется, познакомить насъ.

— Какъ же! Вчера онъ мнѣ говорилъ, что пріѣхалъ его пріятель, котораго онъ непремѣнно желаетъ показать мнѣ.

— Такъ позволь же и мнѣ два—три вопроса.

— Сколько хочешь.

— Онъ говорилъ тебѣ объ этомъ пріятелѣ и прежде?

— Много разъ.

— И называлъ?

— Никогда!

— Да мы точно сговорились!

— Да, это — судьба... Но позволь. Я забыла дополнить мое признаніе. Ужь такъ и быть, чтобы пощекотать ваше мужское тщеславіе, сообщу вамъ, милѣйшій Александръ Павлычъ, что я объ васъ справлялась...

— Когда?

— Ты еще былъ въ Парижѣ...

— Знаю!

— Рике́ разсказывалъ?

— Да.

— Экій противный болтунъ.

— Ты подослала къ нему какого-то petit crevé...

— Изъ моихъ адоратеровъ.

— И онъ меня, по этому поводу, допрашивалъ: не имѣю-ли какихъ тайныхъ любовныхъ связей?

Крутицынъ оглянулся вдругъ и увидалъ въ дверь приближающуюся фигуру Швецова.

— Ай,—вскричалъ онъ:—разговору нашему конецъ.

— Почему?

— Идетъ Швецовъ; а я еще ничего тебя не разспросилъ...

— О чемъ?

— Да о твоихъ дѣлахъ...

Ты не считаешь-ли его моимъ женихомъ?

— Я ничего не знаю...

— Объ этомъ и вообще о новой исторіи Ксеніи Николаевны — въ другой присѣстъ.

— Когда же?

— Сегодня. Мы съ нимъ походимъ, и потомъ я его опять пошлю курить.

— Стало быть, онъ не знаетъ про наше прошедшее?

— Не знаетъ... если ты ему не разсказывалъ.

— Я ему не разсказывалъ.

— И прекрасно сдѣлалъ, спасибо. Ты слишкомъ уменъ, чтобы я тебѣ давала совѣты: если найдешь нужнымъ — откройся Швецову; а нѣтъ — еще лучше.

Григорій Пантелѣичъ стоялъ уже въ дверяхъ и обратился къ нимъ съ вопросомъ:

— Знаете-ли теперь другъ друга?

— Знаемъ, — отвѣтила Ксенія Николаевна и поднялась.

За ней всталъ съ дивана и Крутицынъ.

— Пройдемся, — сказала она Швецову: — но мы еще не кончили разговора съ твоимъ пріятелемъ.

— Да пойдемте съ нами, Крутицынъ, — пригласилъ Швецовъ.

— Нѣтъ, — рѣшила Ксенія Николаевна: — ему надо и отдыхъ дать. Ты опять запросишься курить, и черезъ полчаса онъ найдетъ меня на томъ же мѣстѣ.

Кивнувъ ласково головой Крутицыну, она подала руку Швецову, и они вышли на галлерею.

VI.

Цѣлое море ощущеній и мыслей расшатала въ Крутицынѣ эта нежданная-негаданная встрѣча съ Ксеніей Николаевной и еще болѣе нежданное объясненіе.

Не вѣрить ей онъ не могъ; да и что было невѣ-

роятнаго въ ея разсказѣ? Изъ-за чего же ей было лгать? Средство, придуманное ею, произвело полнѣйшее дѣйствіе, а остальное сдѣлало время.

«Стало быть, она любила меня», подумалъ Крутицынъ, припоминая звукъ ея голоса въ ту минуту, когда она разсказывала про свою душевную борьбу. «Любила на столько, что боялась за свою свободу и кинулась на крайнюю выходку!»

Всего больше поразило его то, что Ксенія Николаевна признала свою слабость, а его выставила человѣкомъ, котораго согнуть ей никогда бы не удалось, въ крупныхъ вещахъ.

«Запоздалая это лесть», спрашивалъ онъ себя, «или искреннее сознаніе? Но зачѣмъ она будетъ льстить? Она такъ смѣла и умна, что своему объясненію могла придать какой ей угодно оттѣнокъ.»

Вообще онъ былъ пріятно возбужденъ и съ него точно свалилось какое-то бремя. Доброта его была удовлетворена полной возможностью примириться съ личностью Ксеніи Николаевны и очистить ее отъ всякаго пятна, въ своемъ прошедшемъ. Но возникалъ вопросъ о Швецовѣ и заставилъ Крутицына тотчасъ же призадуматься.

«Я могу», продолжалъ онъ раздумывать: «все разсказать ему. Но какой смыслъ и какая польза въ подобной откровенности? Ей она не можетъ быть пріятна. Трудно представить наше прошедшее человѣку, такъ увлеченному страстью, въ настоящемъ свѣтѣ. Швецовъ не довольно тонокъ по уму и натурѣ своей. Между мной и ею любовной связи не было. Изъ-за чего же тутъ смущать его, если его любовь начинаетъ встрѣчать взаимность»...

Доводы говорили за умолчаніе.

«Но», возразилъ себѣ Крутицынъ, «если ему ничего не скажу, между нами явится сейчасъ же натянутость,

которую онъ легко проникнетъ. И вдругъ прежнія мои отношенія съ Ксеніей откроются какимъ-нибудь случаемъ или неосторожнымъ словомъ, — какъ тогда объяснить наше молчаніе страстно влюбленному человѣку?»

Онъ не на шутку задумался, стоя все на галлереѣ. Въ залѣ уже рѣдѣла толкотня, и поверхъ ея ходило цѣлое облако пыли.

«Нѣтъ!» рѣшилъ наконецъ Крутицынъ: «я потому уже долженъ молчать, что это не мое, а ея дѣло. Она не выказала мнѣ желанія ввести Швецова въ наше прошедшее, а давнымъ-давно могла это сдѣлать; стало быть...»

Дума его была прервана восклицаніемъ:

— Батюшка Александръ Павлычъ!

Турусовъ схватилъ его за плечи и тяжело дыша заговорилъ:

— Умаялся я совсѣмъ, васъ искамши. Уговоръ былъ противъ Штрауса, — а васъ нѣтъ! Я, почитай, разовъ двадцать прошелся, даже маски надо мной потѣшаться начали; а васъ и званія нѣтъ!

— Извините, юноша... я засидѣлся здѣсь.

— Батюшка, нижайшая къ вамъ просьба.

— Что такое?

— Пройдемтесь по залѣ хоть разокъ.

— Все на счетъ Маланьи?

— Вотъ какая оказія... Какъ мы съ вами разошлись, я только-что во вторую залу вступилъ, гляжу: въ розовомъ платьѣ — декольте, отдѣлано лебяжьимъ пухомъ: Маланья, какъ есть! Я спереди, я сзади — она. Прислушиваюсь къ говору: голосомъ не своимъ говорить, извѣстно по маскарадному, съ какимъ-то старымъ генераломъ...

— Вы и струсили?

— Струсилъ, канальство! Да что же я сунусь, коли она съ другимъ разговоръ ведетъ? Не успѣлъ хорошенько

въ нее воззриться, а она ужь на диванчикѣ сидитъ, да вы думаете съ кѣмъ?

— Ничего не думаю.

— Съ самимъ Бейстомъ!

— О политикѣ говоритъ?

— Ужь шутъ ихъ знаетъ о чемъ! Ну, какъ же я тутъ сунусь, особливо съ моимъ суконнымъ языкомъ? Въ смущеніи иду въ большую залу: васъ еще подождалъ у оркестра; только этакъ повернулся въ ту сторону, откуда дверь изъ передней — другая маска въ свѣтло-лиловомъ, тоже декольте... Ни дать, ни взять Маланья.

— Какъ, ужь двѣ Маланьи?

— Въ томъ-то и притча!

— Вы и въ эту вклепались?

— Да окажите божескую милость, пройдитесь со мною.

— Я-то чѣмъ же могу быть вамъ полезенъ? Я вѣдь не знаю вашей Маланьи.

— Вы только пожалуйте. Если ужь я признаю настоящую Маланью, допросить ее.

— Она-ли?

Крутицынъ расхохотался.

— Да развѣ это такъ трудно, юноша?

— Легко человѣку съ языкомъ.

— На столько-то вы говорите же.

— Какъ нужно выговорить: ви хейсенъ зи? у меня сейчасъ прильпе языкъ къ гортани.

Они спустились у оркестра внизъ.

— Куда же идти? — спросилъ Крутицынъ.

— Да, спервоначалу, по этой залѣ пройтись.

Сдѣлали они нѣсколько шаговъ, и Крутицынъ почувствовалъ ущемленіе праваго плеча рукой Турусова.

— Она? — освѣдомился онъ.

— Розовая, розовая, — шепталъ Турусовъ: — Пресвятая Владычица, съ какимъ это она чучелой!

Очень эффектная маска съ роскошными декольтированными плечами стояла посреди залы съ черномазымъ усачомъ въ костюмѣ черногорца. Ея кавалеръ гораздо больше заинтересовалъ Крутицына, чѣмъ собственная ея персона.

— Подойдемте, — продолжалъ просительно шептать Турусовъ.

Пододвинувшись къ парѣ, Крутицынъ услыхалъ нѣмецкій разговоръ. Маска очень бойко разспрашивала сына черногорскихъ вершинъ и ущелій, какъ ему нравится въ Вѣнѣ, и онъ давалъ ей отвѣты на ужасномъ нѣмецкомъ языкѣ.

— Прислушивайтесь, — сказалъ Крутицынъ: — ея-ли голосъ?

— Какъ разберешь! Плечи ея и подбородокъ. Волосъ такое же богатство, только у этой точно потемнѣе.

— А вы заговорите съ усачомъ.

— На какомъ діалектѣ?

— По-русски. Вѣдь черногорцы — сербы, стало быть какъ-нибудь да поймете другъ друга.

— Что я съ этой харей стану заигрывать.

— Ну, подождите, когда она отъ него отстанетъ.

Но она подала усачу руку и увлекла его наверхъ.

Турусовъ провожалъ ее глазами и чуть не плакалъ.

— У васъ остается другая Маланья, — утѣшалъ его Крутицынъ.

— Гдѣ ее найдешь... Ахъ, черногорская образина треклятая!

Пошли они дальше. Турусовъ совсѣмъ опечалился и даже пересталъ глядѣть на масокъ. Но во второй залѣ онъ рванулся въ сторону, таща Крутицына въ самый конецъ къ выходу.

— Что, что, или Маланья нумеръ второй? — допрашивалъ Крутицынъ.

— Она, она, батюшка Александръ Павлычъ, и стер-

вецъ съ ней, въ той же мантіи; не покидайте меня, сдѣлайте божескую милость!

Къ нимъ навстрѣчу шло лиловое домино, въ громаднѣйшей прическѣ, и рядомъ съ нею дѣйствительно нѣчто въ родѣ дуэньи въ черномъ балахонѣ съ красными разводами.

— Садится! — шепталъ Турусовъ: — соблаговолите присѣсть рядомъ.

Сѣлъ Крутицынъ рядомъ съ лиловымъ домино и, оглядѣвши его, нашелъ, что Маланья — не даромъ сдѣлалась предметомъ мягкотѣлаго микроскописта.

— Заговорите, благодѣтель! — упрашивалъ Турусовъ.

— О чемъ же?

— Да спросите, назвавши по имени, узнаетъ ли меня?

Такъ жалобно говорилъ Турусовъ, что нельзя было не исполнить его просьбы.

— Wie gehts Ihnen, Fräulein Melanie? — спросилъ Крутицынъ, навѣрно разсчитывая, что она «Fräulein».

— Danke.

— Она! — задыхаясь крикнулъ Турусовъ, и вскочивши всталъ передъ маской и заговорилъ вдругъ со смѣлостью отчаянія.

Не больше, какъ черезъ три минуты, онъ уже вывернулъ правую руку и повелъ Маланью къ буфету, вмѣстѣ съ «стервецомъ».

— По гробъ жизни обязанъ, Александръ Павлычъ! — закричалъ онъ, оборачиваясь къ Крутицыну.

«Не трудно было осчастливить его», думалъ Крутицынъ, провожая его глазами: «не запроситъ ли и Швецовъ, чтобы я сдѣлался ему посредникомъ?»

Двадцать минутъ прошло. Пора было наверхъ.

VII.

Ксенія Николаевна уже ждала его.

— А Швецовъ? — спросилъ Крутицынъ.

— Онъ куритъ. Ты развѣ желалъ бы, чтобъ онъ присутствовалъ при нашемъ разговорѣ?

— Нѣтъ; но какъ бы онъ не обидѣлся.

— Чѣмъ же? Напротивъ, онъ меня упрашиваетъ, чтобы я побольше поговорила съ тобой.

— Прежде о себѣ.

— Изволь. Я уѣхала изъ Парижа, не съ покровителемъ мужескаго пола, какъ вы изволили, быть можетъ, подумать, а просто погостить въ деревню съ однимъ музицирующимъ семействомъ, а оттуда нашла случай отправиться въ Италію, какъ ты думаешь, въ какомъ качествѣ?

— Неужели опять какъ demoiselle de compagnie?

— Да, только на особый фасонъ. Меня познакомили съ американской вдовой, помѣшанной на двухъ вещахъ: на пѣніи и на русскомъ языкѣ. Она восхитилась моимъ голосомъ и платила за меня профессорамъ, и ѣздила куда я пожелаю. Въ обмѣнъ, я позволяла ей присутствовать при моихъ упражненіяхъ и учила ее русской грамотѣ. Провозилась я съ ней съ полгода и получила отъ нея въ награду трехлѣтнюю пенсію.

— Пенсію?

— Да. Она сама начала меня упрашивать, чтобы я на ея счетъ докончила свое образованіе. Я согласилась взять у ней деньги въ-займы, живу и учусь теперь на нихъ. Вотъ хозяйственная и педагогическая часть моей эпопеи.

— А другая?

— Знакомство со Швецовымъ? Проѣзжая Вѣной въ пер-

вый разъ, я съ нимъ провела вечеръ у одной московской кумушки, моей старой знакомой. Его оригинальность сразу меня задѣла; я тогда была въ очень плохомъ душевномъ настроеніи. Парижъ еще тяготѣлъ надо мною. Швецовъ принялъ меня, кажется, за что-то жиденькое и, разумѣется, ожогся. Но и я увидала, что онъ — съ душкомъ и на какой-то особенный ладъ.

— Съ пигментомъ, какъ онъ выражается?

— Да, я знаю его слово: оно очень характерно. У насъ какъ-то скоро установились полу-пріятельскія отношенія, но и только. Тутъ я уѣхала въ Миланъ и...

Ксенія Николаевна остановилась.

— И что?

— Признаюсь тебѣ, Александръ, нашла на меня, въ первый разъ въ жизни, хандра, да какая! Просто хоть петлю на шею! Все мнѣ вдругъ опостыло: и голосъ мой, и дорога на сцену, и успѣхи. Впервые почувствовала я себя одинокой.

— А! — выговорилъ съ удареніемъ Крутицынъ.

— И тутъ мнѣ мой разрывъ съ тобой показался такимъ глупымъ и гадкимъ; болѣе того: чѣмъ-то въ родѣ самоубійства.

— Какъ же это?

— Мнѣ показалось, что я наложила руки на свою душу. Этотъ пароксизмъ еще не прошелъ, какъ вдругъ является Швецовъ и дѣлаетъ мнѣ предложеніе.

— Это было въ Миланѣ?

— Да, въ Миланѣ.

— И какъ ты его приняла?

— Тогда была бы рада каждому, кто ко мнѣ подойдетъ съ добрымъ словомъ. Но идти за него замужъ? Любви къ нему я не чувствовала, совсѣмъ даже не приготовилась къ мысли о возможности выйти за него. А въ немъ я увидала страсть и испугалась.

— Ты?

— Не вѣришь?

— Мнѣ кажется, ты ничего не боишься.

— Нѣтъ, мой другъ, стала бояться и не за себя ужь, какъ это было съ тобой. Мой эгоизмъ подался. Мнѣ сдѣлалось страшно за того, кто меня полюбилъ. Я видѣла, что онъ очень плохъ, хоть и крѣпится. Зачѣмъ же его добивать? Да и не было у меня настоящей причины ему отказывать.

— А твоя свобода, а артистическая карьера?

— Ахъ, Александръ! Ужь я не та! Да объ этомъ рѣчь впереди. Ты еще не мало станешь удивляться. Но вернемся къ исторіи. Словомъ, я не могла отказать ему наотрѣзъ.

— Я знаю твой отвѣтъ.

— И охуждаешь его?

— Нѣтъ, одобряю.

— Ну вотъ видишь, а ты тонкій судья по части нравственныхъ щекотливостей. Швецовъ уѣхалъ ждать. Мой пароксизмъ прошелъ, и наступила, какъ это ты любишь выражаться...

— Реакція?

— Да, реакція. Опять всплыла во мнѣ парижская Ксенія Николаевна. На письма Швецова, полныя надеждъ, начала я отвѣчать сухо и колко. Издали я перестала жалѣть его.

— А онъ здѣсь чуть не рехнулся.

— Знаю теперь. Да и я недолго простояла на своемъ треножникѣ. И во мнѣ опять зашевелилась хандра. Я ему, вѣдь, назначила испытаніе здѣсь въ Вѣнѣ, отправила его поработать, а твой пріѣздъ далъ ему случай вернуться.

— И онъ ждетъ, — договорилъ Крутицынъ: — своего приговора.

— Ждетъ, — повторила Ксенія Николаевна: — но торопиться я не хочу.

— И опять оставишь его ни съ чѣмъ?

— Послушай, Александръ, забудь, что и онъ, и я — твои пріятели, и скажи, положа руку на сердце, жена ли я ему?

— Я не могу рѣшить, — поспѣшно выговорилъ Крутицынъ.

— То-есть ты не хочешь. Ну, такъ я лучше отвѣчу на твой вопросъ: а сцена, а артистическая будущность? Другъ мой, я скажу тебѣ безъ обиняковъ: я боюсь засидѣться въ старыхъ дѣвкахъ.

— Какъ? — вырвалось у Крутицына.

— Да такъ, очень просто. Любовниковъ я не стану заводить. Я ужь тебѣ говорила въ Парижѣ, что я не мечтаю о карьерѣ актрисы-кокотки. Я рвусь на сцену не за тѣмъ, чтобы пуститься во вся тяжкая. Я слишкомъ спокойный для этого человѣкъ. А кто знаетъ: сдѣлаю ли я лучшій выборъ, когда получу извѣстность? Да и это — все не то. Мнѣ ужь надоѣло возиться со своей личностью такъ, какъ прежде. Человѣкъ меня любитъ, даже очень любитъ, человѣкъ — хорошій, хоть и не блестящій. Чѣмъ я рискую? Карьерой? Нисколько. Каждый изъ насъ пойдетъ своей дорогой: онъ будетъ лечить, а я стану изображать Нормъ и Травіатъ.

— Чего же медлить? — проговорилъ Крутицынъ, вопросительно взглянувъ на нее.

— Чего?... Да какъ старыя старухи говоритъ: надъ нами не каплетъ. Ты развѣ собрался вѣнчать насъ?

— Ты видишь, какъ измучился Швецовъ.

— Ахъ, другъ мой, всѣ мужчины такъ мучатся, когда добиваются своего. Не умретъ! Да мы и не можемъ сейчасъ обвѣнчаться. Я еще должна много работать и разъѣзжать: что-жь онъ за мной будетъ таскаться? Да и ему надо тоже поработать; онъ самъ это говоритъ.

— Благоразуміе не покидаетъ васъ, римская матрона.

— Благоразуміе?!... Да я, быть можетъ, колоссальнѣйшую глупость дѣлаю, что останавливаюсь такъ скоро на мысли о замужествѣ. Ну, довольно обо мнѣ; мы еще увидимся. Но вотъ что ты мнѣ скажи: если ты не хочешь безъ нужды разсказывать Швецову о нашемъ прежнемъ закомствѣ, ты, пожалуй, будешь очень стѣсняться въ его присутствіи?

— Скрывать что-нибудь я не мастеръ, но тутъ я понимаю...

— Что дѣло касается гораздо больше меня? Мнѣ все равно, но зачѣмъ его смущать? Онъ вѣдь первобытный человѣкъ, и его пигментъ какъ разъ разольется. Но я хочу тебя видѣть какъ можно чаще, и буду тебя принимать одного. Не бойся, я объ этомъ извѣщу и претендента.

А «претендентъ» опять показался въ дверяхъ коридора.

— Поздно? — спросила его Ксенія Николаевна.

— Три часа скоро.

— Ахъ, Боже мой! Я такъ и не успѣла поинтриговать Бейста, а собиралась. Ну, вы проводите меня до передней.

Швецовъ что-то ей шепнулъ.

— Ни-ни, — отвѣтила она громко, закачавъ головой.

— Совсѣмъ вы у меня отбили маску, — сказалъ Швецовъ Крутицыну.

Внизу Ксенія Николаевна шепнула Крутицыну:

— До свиданья. Благодарю тебя.

Она взяла фіакръ и уѣхала одна; пріятели взяли тоже парнаго извощика.

VIII.

Въ каретѣ, Швецовъ засыпалъ Крутицына вопросами. Ему хотѣлось знать: и какъ понравилась Крутицыну Ксенія Николаевна, и что̀ она говорила про ихъ отношенія, и о чемъ шла вообще ихъ бесѣда въ два присѣста.

— Вы лучше сами-то мнѣ скажите,—остановилъ его Крутицынъ: — какъ стоятъ ваши акціи?

— Бестія-баба. Все еще юлитъ; но вы видите, что у меня хвостъ начинаетъ завертываться весьма добропорядочно, стало-быть акціи поднялись! И на радостяхъ я васъ везу ужинать и ставлю бутылку шампанеи.

— Зачѣмъ это? — отговаривался Крутицынъ.

— Нѣтъ, такъ слѣдуетъ. Мы спрыснемъ вашъ пріѣздъ и знакомство съ предметомъ моихъ воздыханій.

Швецовъ приказалъ кучеру везти ихъ въ ресторанъ Захера, противъ зданія Новой Оперы. Тамъ онъ спросилъ отдѣльный кабинетъ, заказалъ ужинъ и велѣлъ заморозить бутылку шампанскаго.

— Видите ли, какая она скромница, — говорилъ онъ Крутицыну, потирая руки: — небось ужинать не поѣдетъ, хоть бы и со мной. А такъ, по тону ея, иной подумаетъ, что она на всѣ руки. Нѣтъ. Это, я вамъ скажу, чрезвычайный какой-то типъ. Такой бабецъ мнѣ на Руси еще не попадался, а вамъ какъ?

— И мнѣ также, — не безъ смущенія отвѣтилъ Крутицынъ.

— Мудреный бабецъ. Спервоначалу, каждый бывалый мужчина скажетъ: э! да это дѣвица, ищущая любовныхъ приключеній. Какъ не такъ! И покажетъ она ему, что онъ животное, и заставитъ стать передъ ней на колѣна.

Потомъ, оный же бывалый мужчина подумаетъ: интригантка, ей деньги нужны, или повыгоднѣе замужъ хочетъ выдти. И опять оный кавалеръ окажется телятиной.

— Окажется, — подтвердилъ уже поспокойнѣе Крутицынъ.

— И интригантки въ ней нѣтъ, и о партіи она не мечтаетъ. Она ведетъ свою линію, какъ хорошій шахматный игрокъ. Порѣшила своего добиться и добьется. И почему? Потому что она въ себѣ самой содержитъ источникъ успѣха. Мы вотъ безъ московской селянки — сейчасъ дрефить; а она дѣйствуетъ простыми и неотразимыми орудіями: красота, талантъ, молодость!

Неловкость, которую Крутицынъ ощущалъ въ началѣ разговора, прошла, да ея и не замѣтилъ Швецовъ.

— Она теперь знаетъ, — продолжалъ Григорій Пантелѣичъ: — что я гражданиномъ вселенной содѣлался.

— И что же? — спросилъ Крутицынъ.

— Ничего. Дала мнѣ тонкимъ манеромъ понять, что она въ мужѣ ищетъ не мѣсто, какое онъ занимаетъ, и что она будетъ имѣть свое собственное положеніе въ свѣтѣ. Чего же лучше желать, сладчайшій?

— Но когда же получится отвѣтъ?

— Она дѣло говоритъ: «вамъ-де надо съ большимъ толкомъ пробыть за-границей семестръ или два, а я, говоритъ, не убѣгу! Буду тоже учиться». Но я по тону ея чувствую, что она не меня, а больше самое себя испытываетъ; отъ брачнаго же сожительства лика своего нисколько не отвращаетъ...

— И черезъ годикъ запоютъ: «Исайя ликуй?»

— Годикъ! Измаялся я, Александръ Павлычъ. Буду напирать на то, чтобы къ Святой и свадьба, а тамъ развѣ нельзя намъ каждому свое дѣло продолжать?

— Отчего бы, кажется, нельзя...

Принесли шампанское.

— Ну, сладчайшій! — крикнулъ Швецовъ: — не за мое, а за ваше степенство. Пріобрѣтайте-ка поскорѣе сожительницу!

Они чокнулись, и Крутицынъ сказалъ, качая головой:

— Я вдовцомъ и покончу дни живота своего.

— Какъ вдовцомъ? Рай вы были женаты?

— И давно овдовѣлъ.

— Вотъ такъ оказія! А потомъ не столкнулись ни съ какой подходящей бабой?

Крутицынъ почувствовалъ, что онъ, пожалуй, покраснѣетъ, если Швецовъ станетъ продолжать разспросы.

Онъ только усмѣхнулся и предложилъ отправиться по домамъ. Григорій Пантелѣичъ облобызалъ его и, вставая изъ-за стола, сказалъ:

— Вотъ вѣдь подите, какъ это иногда бываетъ, что умалчиваютъ о разныхъ вещахъ. Вы вдовцомъ оказались. А я сколько о васъ говорилъ, а вотъ даже до сегодня не назвалъ васъ по имени Ксеніи Николаевнѣ... Ее Аксюткой зовутъ, да!

Въ корридорѣ, выходя изъ своего кабинета, наткнулись они на маскарадную пару, изъ двери рядомъ.

— Милѣйшій! Сладчайшій! — раздалось по корридору.

Турусовъ, въ разстегнутомъ жилетѣ, со шляпой на-бекрень, велъ свою Маланью, бывшую уже безъ маски. Крутицынъ согласился про себя, что она почти красавица.

— Мягкотѣлая пса! — остановилъ пару Швецовъ.— Откуда и какъ поддѣлъ оную отроковицу?

— Не замай!... Я, примѣрно, загулялъ, и ндраву моему никто не препятствуй!

Онъ дѣйствовалъ «по театральному», но пьянъ не былъ.

— Батюшка, Александръ Павлычъ!... По гробъ жизни

вашъ! — кричалъ онъ, увлекая Маланью въ подъѣздъ. — Григорій Пантелѣичъ, какъ изволите попрыгивать?

— Видишь, пса, какая у меня рожа?

— Обличье имѣете улыбающееся, чему я отмѣнно радъ. Ну, господа, вы извольте своей дорогой отправляться, и конфортабель заполучите, а мы пѣшимъ хожденіемъ.

— Какъ пѣшимъ? — спросилъ Крутицынъ.

— Такъ, батюшка, потому Малаша моя поблизости имѣетъ жительство... Мейнъ шацъ, нихтъ варъ?

— Ja, ja, — лепетала «писаная красавица» сонными губами.

— Баиньки вамъ хочется? Идемъ въ Кругеръ-страссе?

— Ja.

— Айда! Прощайте, голубчики... Завтра меня ругайте ругательски, а сегодня хозяинъ гуляетъ!

Пара скрылась за угломъ.

— Счастливъ, — сказалъ Крутицынъ.

— Да, этому ждать не приказано, — разсмѣялся Швецовъ. — Да и не будетъ онъ знать, что такое лихая зазноба: жиръ все обволочетъ!

А изъ-за угла слышно было гоготаніе Турусова и отдѣльныя нѣмецкія слова ужасающаго акцента.

IX.

«Что же», сказалъ себѣ на другой день Крутицынъ, «здѣсь все обстоитъ благополучно, и дѣло клонится къ законному браку. Возложить вѣнцы на чету мнѣ теперь не удастся, такъ нечего и заживаться въ Вѣнѣ, тѣмъ

болѣе, что мнѣ не совсѣмъ-то ловко будетъ стоять между Швецовымъ и Ксеніей.»

И въ самомъ дѣлѣ, когда онъ одумался, его положеніе представилось ему весьма и весьма щекотливымъ. Но на этомъ онъ долго не останавливался. Ему хотѣлось совсѣмъ стушевать свою личность предъ счастіемъ такого хорошаго человѣка, какъ Швецовъ.

«Будетъ ли онъ счастливъ?» спросилъ себя Крутицынъ, сопоставивши ихъ натуры. «А почему жь и нѣтъ? Онъ гораздо цѣльнѣе и проще меня. И перевѣсъ умственнаго развитія не будетъ сказываться потому, что у ней больше изящества въ умѣ. Въ ней заговорилъ голосъ, который она умѣла заглушать въ Парижѣ. Подвернись ей тогда Швецовъ, она покончила бы съ нимъ такъ же точно, какъ и со мной. Не поддастся ли и она, какъ Швецовъ, напору жизни, и не кончитъ ли такой же исповѣдью, какую я уже выслушалъ отъ него?»

Встрѣча съ Ксеніей Николаевной радовала Крутицына еще и сознаніемъ того, что онъ такъ спокойно относится къ ея личности. Страсть перегорѣла. Чувство презрѣнія, которое замѣнило эту страсть въ Парижѣ, тоже исчезло. Помирившись съ той, кто такъ уязвилъ его, онъ безъ волненія сдѣлался свидѣтелемъ того, какъ она сближалась съ другимъ. Ни ревности, ни обиды онъ не испытывалъ, по крайней мѣрѣ, въ эту минуту тихой думы.

Невольно повторилъ онъ стихъ пушкинской элегіи.

«Такъ вотъ кого любилъ я пламенной душой...»

И тотчасъ же послѣ того спросилъ:

«Неужели одинъ фактъ могъ такъ выѣсть изъ сердца страсть? Фактъ этотъ объясненъ. Я не могу ей не вѣрить. Она встала передо мной все въ томъ же свѣтѣ, какъ и восемь мѣсяцевъ тому назадъ. Ужели же весь огонь заглохъ? Или это была только вспышка, подъ которой не лежало роковой, безповоротной страсти?»

Онъ вспомнилъ, однако, что Ксенія Николаевна хотѣла видѣть его у себя безъ Швецова, но адреса своего не успѣла сообщить.

Къ нему постучались.

Вошелъ такой же «Express», какъ и вчера, и подалъ ему письмо. Онъ узналъ руку Ксеніи Николаевны.

— Man wartet auf eine Antwort, — сказалъ «Express».

«Жду тебя сегодня, послѣ вѣнскаго обѣда, часа въ три. Отвѣчай съ коммиссіонеромъ: будешь-ли?»

Крутицынъ прочелъ эти строки и отвѣтилъ однимъ словомъ:

«Буду».

Когда «Express» удалился, онъ взялъ со стола листокъ письмеца Ксеніи Николаевны и пристально вглядѣлся въ него. Онъ вспомнилъ, какъ вчера она оговорилась, что ей ловчѣе употреблять мѣстоименіе «ты» въ маскарадѣ. Маскарадъ кончился, а она продолжала его употреблять.

«Описка», подумалъ Крутицынъ, «съ пера сорвалось».

И одѣваясь, онъ таки вернулся мысленно къ этому «ты».

«Не можемъ же мы продолжать въ такомъ тонѣ. Онъ слишкомъ напоминаетъ прошедшее. У ней столько такту, что она это пойметъ, да и передъ Швецовымъ будетъ слишкомъ ужь безцеремонно.»

Такъ говорилъ онъ про себя, но кончилъ тѣмъ, что сказалъ:

«Впрочемъ, не все-ли равно, на «ты» или на «вы» мы будемъ съ ней бесѣдовать: мы другъ другу уже не опасны».

Ксенія Николаевна занимала очень щеголеватую квартиру въ Леопольдштадтѣ. Ровно въ три часа Крутицынъ звонилъ у нея. Она сама ему отворила дверь.

— Не надѣялась, что ты придешь, хоть и обѣщалъ,— весело сказала она, крѣпко пожимая ему руку.

«Ты!» промелькнуло въ головѣ Крутицына: «нечего дѣлать, быть по сему».

— Отчего же не надѣялась?

— Отчего, отчего!... Милѣйшаго Александра Павлыча я вѣдь тоже знаю. Вчера ты былъ милъ, а сегодня могъ уже сократиться.

— Какъ это сократиться?

— Могли всплыть разныя тонкости вашей интеллигенціи и рыцарской совѣсти. Да вотъ сейчасъ же ты смутился тѣмъ, что встрѣтила я тебя потоварищески. Ну, скажи: вѣдь тебѣ неловко будетъ со мной на ты?

— Я не скажу этого.

— Но положимъ, что неловко... Ужь позволь мнѣ остаться по старому, по-парижски. Покажемъ этимъ, что мы въ самомъ дѣлѣ добрые пріятели. Переходить на «вы», значитъ чего-то остерегаться, ограждать себя. А отчего же намъ ограждать себя, скажи на милость! Ты дуйся не дуйся, я не измѣню съ тобой своего неприличнаго, фамильярнаго тона.

— Чего же мнѣ дуться! Вотъ это мило! — вскричалъ Крутицынъ.

— Мы съ тобой видимся здѣсь мелькомъ, а тамъ ты въ Россію, въ какое-нибудь захолустье, а я поѣзжу еще по за-границѣ и — въ Петербургъ. Воспользуемся же встрѣчей, и, какъ ты выражался часто въ Парижѣ, подведемъ итоги подо все, что пережили... Мою исповѣдь ты слышалъ вчера; но тебя-то я совсѣмъ не слыхала. Да что это мы все стоимъ. Садись вотъ тутъ на диванъ. Квартира моя тебѣ нравится?

— У тебя очень мило.

— Это не трущоба въ Rue St.-Jacques. Я вѣдь

теперь пѣвица на пенсіи, да здѣсь и втрое дешевле квартиры; я плачу всего двадцать гульденовъ.

Они сѣли на диванъ, очень близко другъ къ другу. Ксенія Николаевна днемъ казалась Крутицыну блѣднѣе и худощавѣе. Въ лицѣ ея виднѣлась усталость.

— Ты совершенно здорова? — спросилъ онъ.

— Развѣ у меня больной видъ?

— Какое-то утомленіе у тебя въ глазахъ.

— Старѣю. Ну, и пропадаютъ розы. Да я вѣдь никогда полна не была. Но здоровье у меня желѣзное, хотя, признаюсь, нервы немножко расшатались. Прибѣгаю подчасъ и къ лавро-вишневой водѣ.

— Вотъ какъ!

— Я ужь тебѣ сказала вчера: боюсь сдѣлаться старой дѣвкой. Но что же это мы все обо мнѣ толкуемъ, это наконецъ ни на что не похоже! Тебя я хочу слышать, Александръ.

— Ты видишь, — началъ Крутицынъ: — живъ и здравъ, даже, кажется, пополнѣлъ...

— Немного, да.

— Въ Парижѣ кончилъ свое дѣло. Могъ остаться и дольше, пожалуй еще на нѣсколько лѣтъ, но не захотѣлъ, стосковался по Россіи и ѣду туда такимъ же пролетаріемъ, какимъ ѣхалъ оттуда. Найду какой-нибудь кусокъ хлѣба; но на прочное положеніе махнулъ рукой!

— И все?

— Да что-жь еще?

— И опять одинъ?

Вопросъ этотъ выговорила Ксенія Николаевна такимъ тронутымъ голосомъ, что Крутицынъ потупился.

— Одинъ, — тихо вымолвилъ онъ.

— И помирился съ этимъ одиночествомъ?

— Кажется, помирился.

— Alexandre!... Можетъ быть, гадко, что я тебя

объ этомъ разспрашиваю? Но между нами уже нѣтъ больше счетовъ... Мы только друзья... Да, еще разъ скажу: не въ любви ко мнѣ нашелъ бы ты ту тихую пристань, къ которой стремился. Меня огорчаетъ больше, чѣмъ ты воображаешь, твой, какъ бы это сказать... for intérieur. Ты не любишь жаловаться; но ты, при всѣхъ твоихъ дарованіяхъ и душевныхъ качествахъ, безталанный человѣкъ. И знаешь ли, какую я тебѣ вещь скажу, Alexandre: на половину ты самъ виноватъ въ этой безталанности. Сколько я тебя наблюдала въ Парижѣ, въ тебѣ сидитъ какой-то червякъ... И хочешь знать, какой?

— Какой?

— Ты себя считаешь такъ чѣмъ-то... чуть не проходимцемъ какимъ. Не то тебя мучитъ, что ты карьеры себѣ не сдѣлалъ. О! ты не сожигаемъ тѣмъ, что гнѣздится, напримѣръ, во мнѣ. Не о профессорствѣ жалѣешь ты, не Анну на шею тебѣ хочется; но ты скорбишь о томъ, что вокругъ тебя нѣтъ среды, а подъ ногами — почвы...

«Зачѣмъ это она завела такой разговоръ?» подумалъ Крутицынъ, и сталъ жадно слушать.

— Правда, или нѣтъ? — спросила Ксенія Николаевна.

— Ты вѣдь говоришь о томъ, что было.

— Я бы такъ была счастлива, еслибъ этотъ червякъ исчезъ въ тебѣ; но исчезъ ли онъ? Тебѣ лучше знать. Я только хотѣла тебѣ сказать вотъ что: другъ мой, ты, какъ и всѣ очень умные люди, не цѣнишь того, что самъ дѣлаешь, настоящей цѣной. Тебѣ кажется, что ты изъ пустаго въ порожнее переливаешь, а ты, между тѣмъ, живешь такъ, какъ люди безъ твоего ума и безъ твоего сердца не могутъ жить. Столкнулся ты хоть бы со мной, и тебѣ я обязана всѣмъ, что изъ меня выйдетъ порядочнаго, и какъ въ женщинѣ, и какъ въ артисткѣ...

— Сдѣлай милость!

— Да, да, тысячу разъ да! Я не люблю жантильностей, и то, что я говорю, я это пережила въ самой себѣ. Потомъ, всякое дѣло, какое ты возьмешь на себя, ты его исполняешь прекрасно. Многіе ли такъ живутъ? Самое ничтожное меньшинство. И повѣрь: ты все-таки не хандрилъ бы такъ, еслибъ тебя не давило одиночество, къ которому ты прикованъ точно какой цѣпью. Тутъ ужь надъ тобой тяготѣетъ, видно, судьба. Безъ женщины ты все будешь тосковать. Я ее знаю, эту женщину, какую тебѣ нужно...

— Знаешь?

— Она, какъ живая, въ моемъ воображеніи: съ величавой, спокойной красотой, но безъ строгости, какая есть хоть бы въ моемъ профилѣ, съ нѣкоторой долей мягкой чувственности... да, мой другъ, не извольте отнѣкиваться, съ ясной и добродушной натурой и большимъ образованіемъ. Гдѣ сыскать ее? Я еще все надѣюсь, что ты ее отыщешь именно въ какомъ-нибудь русскомъ захолустьѣ. И пройдетъ твоя холостая тревога. И будешь жить да поживать, да дѣтей наживать.

Она на минуту смолкла, перевела вздохъ и продолжала уже гораздо медленнѣе:

— Вотъ какъ я за тебя мечтаю, другъ мой. А пока ты не нашелъ тихой пристани, я все буду думать, что тебя заѣдаетъ червякъ. Но такая женщина какъ я, еслибъ она и бросила погоню за своей карьерой, не могла бы никогда тебя успокоить.

— Ты думаешь? — вырвалось у Крутицына.

— Никогда, — повторила убѣжденно Ксенія Николаевна: — въ тиши размышленій я на этомъ укрѣпилась, какъ на несокрушимомъ догматѣ. Во мнѣ слишкомъ много разсудочности и почти полное отсутствіе той славянской голубиной ширины чувства, которая должна быть первымъ

качествомъ твоей жены. Ты и я — мы типы двухъ міровъ, если не враждебныхъ, то противоположныхъ. Люди, какъ я, до конца жизни дѣлаютъ изъ своей судьбы средство для какой-нибудь внѣшней цѣли; а люди, какъ ты, живутъ, какъ живется.

— То-есть шатаются вскую,—подсказалъ Крутицынъ.

— Нѣтъ, не вскую шатаются, а смотрятъ на свою земную юдоль поглубже, чѣмъ мы смотримъ... Хотѣла бы тебѣ это получше развить, да не умѣю, не хватаетъ краснорѣчія.

— Не хватаетъ? — переспросилъ Крутицынъ: — помилуй, да ты меня поражаешь...

— Чѣмъ же это?

— Твоимъ языкомъ.

— Ха, ха! Да развѣ ты не видишь, кто отлинялъ на моемъ языкѣ?

— Кто?

— Вотъ это забавно! Кто же, какъ не ты!

— Почему же я?

— По очень простой причинѣ: былъ первый человѣкъ, который такъ занялся мной; а память у меня хорошая: вотъ я и позаимствовала...

— Ты поражаешь меня не однимъ языкомъ, — продолжалъ Крутицынъ: — но и талантомъ пониманія людей. Ты все повторяешь, что у тебя ничтожное образованіе, но съ такой головой, какъ твоя, образованіе — дѣло наживное, дѣло времени.

— Нѣтъ, Александръ, я слишкомъ лѣнива учиться...

— Какая же надобность садиться за школьныя книжки? Ты чтеніемъ разовьешься блистательно...

— Некогда! У меня одни сольфеджи четыре часа въ день берутъ, да по-итальянски учусь, да декламацію свою продолжаю. А вечеромъ мнѣ тяжело утруждать голову чѣмъ-нибудь серьезнымъ...

— Найдется время.

— Нашлось бы, да не къ такой жизни я себя готовлю. Актриса или оперная пѣвица — это отрѣзанный ломоть. Все остальное человѣчество существуетъ только въ видѣ публики. Гдѣ же думать о развитіи, когда каждый спектакль долженъ быть генеральнымъ сраженіемъ артиста? Тутъ только и жаждешь одного: вызововъ, букетовъ, подарковъ, рекламы...

— Ахъ, Ксенія!—прервалъ Крутицынъ:—зачѣмъ же такая погоня за успѣхомъ?

— А какъ же иначе, мой другъ? Какой артистъ не гонится за нимъ? Въ этомъ и жизнь подмостокъ. И я чувствую, что только въ такой борьбѣ и можетъ распуститься талантъ. Но что же это мы опять объ моей особѣ заговорили?

— Это доказываетъ, что она гораздо занимательнѣе моей, — сказалъ Крутицынъ съ улыбкой.

— Слишкомъ вы любезны, милый мой Александръ Павлычъ, я бы низачто въ такое короткое время не дождалась такого пріятнаго возраженія отъ моего претендента...

— Будто бы?

— Онъ, какъ ты знаешь, топорной работы, но человѣкъ не топорный...

— И потомъ, — добавилъ Крутицынъ: — онъ слишкомъ влюбленъ. И я, рискуя надоѣсть тебѣ, еще разъ скажу: что тебѣ тянуть рѣшеніе его судьбы?

Ксенія Николаевна встала, топнула ногой и вскричала:

— Довольно объ этомъ! Что за сваха! Это, право, обидно! Точно ты желаешь поскорѣе превратить меня въ докторшу и потомъ поддразнивать меня.

— Поддразнивать? Чѣмъ же?

— Что удовольствовалась господиномъ Швецовымъ, когда...

Она не договорила и изподлобья, съ улыбкой, взглянула на Крутицына.

Онъ сдѣлалъ видъ, что не понимаетъ, и чрезъ пять минутъ сталъ прощаться. Его сильно удерживали посидѣть, онъ поддался, и бесѣда была такъ оживленна, что время подошло къ обѣду. Крутицынъ согласился пообѣдать у Ксеніи Николаевны и только къ вечеру отпустила она его, сказавши въ дверяхъ передней:

— Какъ это смѣшно! Я тебя выпускаю какъ разъ передъ приходомъ претендента.

Нельзя было также не поцѣловать руки, которую ему протянули тѣмъ же величавымъ и ласковымъ движеніемъ, къ какому онъ привыкъ въ Парижѣ.

X.

«Что за прелестное созданіе!» думалъ Крутицынъ послѣ визита Ксеніи Николаевнѣ. «Какое тонкое пониманіе людей и жизни! Каждый изъ насъ былъ бы счастливъ съ такой женщиной. Стало быть, и я...»

Этотъ выводъ немного смутилъ его. Но онъ не сразу отвязался отъ вопроса: «чѣмъ же Ксенія Николаевна — не жена ему?» Правда, она сама нѣсколько разъ объявила ему противное; но въ ней могло говорить parti pris, и она, наконецъ, вовсе не была судья.

«Что-жь тутъ передумывать!» — покончилъ Крутицынъ: «мужемъ ея будетъ Швецовъ, и его надо поскорѣе женить».

И онъ, въ тотъ же день, горячо поздравлялъ Григорія Пантелѣича и просилъ его забыть то, что онъ ему

говорилъ въ первый вечеръ на счетъ неподходящаго выбора женщины, стремящейся къ артистической карьерѣ...

— Или и васъ за живое задѣла?—вопросилъ, осклабляя зубы, Швецовъ. — И не мудрено! Бабецъ сверхъестественный: я ужь имѣлъ честь вамъ докладывать. И снаружи античное велелѣпіе, и внутри — мудрость змѣиная...

— Почему-жь змѣиная?

— Глаголю такъ въ вящую похвалу. Разумѣетъ всякаго человѣка насквозь, и въ каждомъ различитъ: какой въ немъ прокъ.

— И чѣмъ скорѣе вы обвѣнчаетесь, тѣмъ лучше!

— Кому вы говорите! Только тутъ вѣдь самодурствомъ-то не возьмешь! Вы, чай, видите, какой у ней характерецъ? Не мягкотѣлаго типа, нѣтъ!

— А коли нельзя будетъ склонить ее къ немедленному возложенію вѣнца, такъ я черезъ нѣсколько деньковъ и ко дворамъ соберусь.

— Въ Россію?

— Да что же я вамъ буду мѣшать здѣсь? У васъ работа, Ксенія Николаевна отправится въ Италію...

— Это точно; да васъ-то жаль такъ скоро выпускать.

— Мы вѣдь съ вами пролетаріи; проживаться безъ дѣла намъ не полагается.

На томъ они и порѣшили. Швецовъ сказалъ, что сдѣлаетъ послѣднее усиліе, когда увидитъ, что напалъ на Ксенію Николаевну «подходящій стихъ». Но вышло по другому.

Ксенія Николаевна вдругъ объявила, что она поживетъ еще въ Вѣнѣ. Швецовъ, разумѣется, расцвѣлъ, но Кругицыну начало дѣлаться жутко. Его звали слишкомъ часто къ себѣ, и всегда безъ Швецова. Онъ чувствовалъ уже положительную неловкость, когда бывалъ съ Григоріемъ Пантелѣичемъ, и назначилъ день своего отъѣзда.

Наканунѣ пошелъ онъ проститься въ Леопольдштадтъ.

— Прощайте, — выговорилъ онъ первымъ словомъ: — я ѣду.

— Куда? — спросила, нѣсколько поблѣднѣвъ, Ксенія Николаевна.

— Въ Россію, домой!

— Кто же васъ пуститъ?!

— Да что же мнѣ здѣсь жить безъ дѣла? — произнесъ онъ умышленно-суховатымъ тономъ.

— Ахъ, Боже мой! Какой вздоръ! Человѣку вашихъ способностей и знаній не найти дѣла... Поживите хоть мѣсяцъ, ну, пишите корреспонденціи...

— Да я не знаю вовсе Вѣны...

— Экая важность...

Она прошлась нѣсколько разъ по комнатѣ, и на щекахъ ея выступили два пятна, чего прежде Крутицынъ не замѣчалъ.

— А я, — заговорила она нервнымъ голосомъ: — мечтала прожить здѣсь до весны въ дружескомъ уголкѣ и нарочно отложила поѣздку въ Италію; вы же вздумали бѣжать!

Крутицынъ тутъ только замѣтилъ, что мѣстоименіе «ты» исчезло.

— Но я не разсчитывалъ вовсе... — началъ онъ нетвердо.

— Чего тебѣ стоитъ? — вскричала съ особой живостью Ксенія Николаевна. — Ты не служишь, ничего тебя не тянетъ въ Россію, ни жены, ни возлюбленной. Ѣхать въ такой холодъ! Теперь тамъ еще тридцать градусовъ. Не хочешь писать корреспонденціи, напиши какую-нибудь статью. Это тебѣ дастъ сто рублей, а больше ты въ мѣсяцъ не проживешь здѣсь.

Выговоривши все это, она сѣла на диванъ и начала рвать случившуюся у ней въ рукахъ перчатку.

— Швецовъ, — сказалъ робко Крутицынъ: — такъ нетерпѣливо ждетъ твоего слова. Что же медлить? Право бы, лучше...

— Возложить вѣнцы?

— Да!

— И тогда, если я сейчасъ соглашусь, ты останешься ждать до Святой нашего бракосочетанія и своего шаферства? Ха, ха! Стало быть, тебѣ можно же остаться? Отчего же ты не хочешь это сдѣлать иначе? Что же, скажи на милость, измѣнится въ твоемъ положеніи? Ты долженъ будешь прожить мѣсяцъ, проживать тѣ же деньги, ничего не дѣлать, или приняться за какую-нибудь работу! Разницы рѣшительно никакой нѣтъ!

— Ты ошибаешься...

— Понимаю... вотъ разница: я буду нареченная невѣста Григорія Пантелѣича Швецова! И тогда, когда все будетъ приведено въ законный порядокъ, Александръ Павлычъ соблаговолитъ осчастливить насъ своимъ пребываніемъ въ Вѣнѣ, дружескими бесѣдами, и даже возложеніемъ вѣнцовъ на главы наши, ха, ха, ха!

Смѣхъ Ксеніи Николаевны дѣлался все нервнѣе и нервнѣе. Крутицынъ же не зналъ, въ какую попасть точку, чтобы свести разговоръ съ этого скользкаго пути.

— Вы оба заняты... — началъ онъ.

— Заняты? Что-жь такое? Швецовъ можетъ ходить по своимъ госпиталямъ, а я сольфировать. Это займетъ утро, а вечеромъ что-жь помѣшаетъ намъ собираться...

— И, наконецъ... — вставилъ-было Крутицынъ.

— Наконецъ, что? Я знаю, что ты хочешь сказать. Такое тріо стѣсняетъ тебя. Твоя голубиная совѣсть не можетъ перенести малѣйшей неловкости. Ты уже мучишься тѣмъ, что Швецовъ не имѣетъ понятія о нашихъ прежнихъ отношеніяхъ. Глупа была я, что слишкомъ пощадила

его. Хочешь, я ему все разскажу завтра, и онъ будетъ совершенно доволенъ?

— Доволенъ?

— Да, только дай это сдѣлать мнѣ. Надо же, чтобъ онъ рано или поздно узналъ этотъ... эпизодъ. А если онъ такъ взволнуется, что станетъ глупить, — тѣмъ хуже для него: такого человѣка я не возьму въ мужья!

По мѣрѣ того, какъ говорила Ксенія Николаевна, на Крутицына находило все большее и большее смущеніе. Онъ терялъ нить, за которую можно было ухватиться и выйти на другую почву. Онъ присѣлъ на диванъ и слушалъ съ опущенной головой.

Ксенія Николаевна вдругъ перестала ходить взадъ и впередъ по комнатѣ, и присѣла къ нему.

— Александръ, — вымолвила она такъ, что онъ вздрогнулъ: — у тебя ко мнѣ нѣтъ даже пріятельскаго чувства...

— Ты ошибаешься, — прошепталъ онъ.

— Еслибъ было, развѣ бы ты сталъ упираться въ такомъ пустякѣ? Оставь, наконецъ, всѣ твои щепетильности. Онѣ начинаютъ бѣсить меня. Ну, не все ли равно, объявлю я себя сегодня невѣстой Швецова, или не объявлю? Дѣло состоитъ въ томъ: есть ли въ тебѣ настолько пріятельства къ намъ обоимъ, чтобы прожить съ нами какихъ-нибудь три—четыре недѣли?

Она положила ему руку на колѣно.

— Я не могу, — съ усиліемъ выговорилъ Крутицынъ, и всталъ.

— Не можешь? — спросила она съ дрожью въ голосѣ.

— Не могу, — повторилъ онъ твердо.

Ксенія Николаевна тоже встала, прошлась разъ по комнатѣ, потерла нервически руки и громко сказала:

— Съ Богомъ, въ добрый путь!

Крутицынъ молчалъ.

— Когда же ты ѣдешь?

— Думаю, завтра.

— Прямо въ Петербургъ?

— Въ Петербургѣ буду проѣздомъ, а оттуда къ теткѣ.

Короткіе вопросцы, которые кидала Ксенія Николаевна, оборвались. Она сѣла опять на диванъ, какъ-то бокомъ, начала ощипывать бахрому дивана, и вдругъ заплакала.

Крутицынъ сначала не разглядѣлъ ея слезъ, но послышались рыданія. Онъ подбѣжалъ къ дивану и окликнулъ ее.

Рыданія усилились. Ксенія Николаевна давила ихъ платкомъ, потомъ упала головой на подушку и глухо всхлипывала, поднимаясь всѣмъ тѣломъ.

Крутицынъ оторопѣлъ. На туалетномъ столикѣ схватилъ онъ какой-то флаконъ и бросился съ нимъ искать воды.

Когда онъ подбѣжалъ опять къ дивану, голова Ксеніи Николаевны уже поднялась съ подушки, глаза глядѣли на него кротко, и слезы тихо текли изъ нихъ.

Она протянула ему руку и улыбнулась.

— Прости меня, мой другъ, это только нервы... Я слишкомъ много сижу въ четырехъ стѣнахъ... погода, ты видишь какая... гдѣ же тутъ гулять...

— Выпей воды, — бормоталъ Крутицынъ.

Она отпила нѣсколько глотковъ и, отдавая ему стаканъ, сказала:

— Сядь-ка сюда.

Онъ повиновался.

— Прости меня еще разъ... что за глупость въ мои лѣта плакать... Ты все такой же чистый, и честный, и добрый человѣкъ, какимъ былъ и въ Парижѣ, когда я тебя такъ мерзко и глупо кинула!

— Полно, Ксенія.

— Не смягчай, пожалуйста: какъ я ни защищала самое себя и въ собственныхъ, и въ твоихъ глазахъ, все-таки оно мерзко и глупо. Ты и теперь правъ... чего тебѣ тутъ заживаться... въ какомъ качествѣ ты станешь находиться между нами двоими? Изъ-за чего такая жертва? Не изъ-за моихъ же прекрасныхъ глазъ!

— Ксенія, — просительно перебилъ Крутицынъ: — не язви меня. Я, право, этого не заслуживаю.

— Я тебя язвлю? О, милый мой! Не тебя, а себя я уязвляю...

И голосъ ея оборвался. Она опустила голову въ обѣ руки, и опять раздались рыданія еще сильнѣе, еще раздирательнѣе, почти съ крикомъ.

Такъ рыдала Ксенія Николаевна минутъ съ пять, и потомъ, схвативъ Крутицына за руку, она начала говорить прерывисто, пополамъ со слезами:

— Сама, сама я этого хотѣла... Сама сдѣлала изъ себя... весталку... Зачѣмъ? Царицъ играть... букеты получать, гремѣть по Европѣ... глупая, глупая баба!...

Крутицынъ слушалъ словно очарованный.

— Вотъ и живи, — продолжала точно «причитать» Ксенія Николаевна: — и реви... и хорони свою молодость... радости... и люб...

Губы ея не досказали этого слова; глубокій вздохъ перервалъ его, голова Ксеніи Николаевны поднялась. Лицо сдѣлалось блѣдно, какъ полотно, глаза горѣли; она силилась улыбнуться.

— Успокойся, — шепталъ Крутицынъ, поддерживая ее.

— Я спокойна теперь. Это — нервы... развѣ ты не видишь? А коли не вѣришь нервамъ, такъ знаешь, что! Это я, какъ въ деревняхъ у насъ, передъ вѣнцомъ развылась... безъ этого вѣдь ни одна хорошая невѣста не обходится.

Она встала, все держа Крутицына за руку. Руки у него дрожали, и онъ не могъ оторваться отъ ея лица.

— Что ты на меня такъ уставился? — спросила она: — ужь не боишься ли, что я съума спячу? Нѣтъ, Alexandre, умъ мой властвуетъ. Однако, что жь я тебя удерживаю, тебѣ вѣдь надо, я думаю, уложиться?

— Успѣю.

— Что же мы изъ пустаго въ порожнее будемъ переливать... Прощай.

Они вышли на средину комнаты.

Ксенія Николаевна послѣ слезъ была такъ хороша, что Крутицынъ даже закрылъ глаза.

— Неужели навсегда прощаемся — спросилъ онъ вполголоса.

— Слушай, — заговорила она, все еще съ дрожью въ голосѣ, близко пододвинувшись къ нему, — не встрѣчайся со мной никогда. И уѣзжай ты отсюда завтра, сегодня, непремѣнно, непремѣнно!

— Ты вѣдь знаешь, что я ѣду.

— Не передумай, не исполняй моей просьбы. Я не стою этого. Кромѣ зла, я ничего тебѣ не принесу!

— Ксенія!

— Да, да; кромѣ зла, ничего! Что отъ меня идетъ, — все эгоизмъ и тщеславіе. Ступай, ступай, не оглядываясь... и совсѣмъ, совсѣмъ забудь обо мнѣ. Все, что я тебѣ говорила въ маскарадѣ — ложь. Я — та самая Ксенія Николаевна, которая написала тебѣ парижское письмо! Слышишь?!

— Но я не вѣрю этому! — вскричалъ Крутицынъ.

— Ха, ха! Не вѣришь? Дурачокъ ты послѣ этого. Жаль мнѣ тебя, вѣкъ тебя будутъ обводить.

Она остановила свою нервную рѣчь, вскинула руки на плеча Крутицына, долго-долго глядѣла ему въ глаза,

и заговорила медленно, съ какой-то нѣгой выпуская каждое слово:

— Ты не вѣришь... милый... благодарю тебя... Прости же меня за всѣ страданія... или забудь совсѣмъ... или не поминай лихомъ... и вѣрь, что выше цѣнить тебя никто не умѣетъ...

Поцѣлуй загорѣлся на устахъ Крутицына.

— Иди, иди! — шептала Ксенія Николаевна, и почти толкнула его въ дверь.

На улицѣ онъ еле очнулся.

«Бѣги къ ней!» точно шепнуло ему на ухо. «Безумецъ! да она любитъ тебя, чего же ты ждешь?»

Онъ подался назадъ; но тутъ же вскочилъ въ проѣзжавшій фіакръ и приказалъ вести себя къ Швецову.

«Сегодня, сейчасъ», говорилъ онъ про себя, «долженъ Швецовъ ѣхать къ ней и получить ея согласіе. Я обвѣнчаю ихъ!»

Швецова не оказалось дома. Его не было и въ ресторацiи, гдѣ онъ обыкновенно обѣдалъ. Крутицынъ написалъ ему записку и послалъ ее съ коммисіонеромъ, въ «Allegemeines Krankenhaus», давъ коммисіонеру пятьдесятъ крейцеровъ и наказавши во что бы то ни стало доставить записку до четырехъ часовъ.

Въ запискѣ Крутицына стояло:

«Поѣзжайте сейчасъ къ Ксеніи Николаевнѣ. Дѣло идетъ о судьбѣ вашей. Или сегодня скажетъ она да, или никогда не получите вы ея согласія. Жду васъ вечеромъ въ «Café National».

Крутицынъ былъ въ такомъ возбужденномъ состояніи, что не могъ обѣдать. Въ головѣ его ходили ходуномъ отрывочныя фразы Ксеніи Николаевны, въ ушахъ его раздавались ея рыданія, на губахъ горѣлъ еще поцѣлуй.

«Если сегодня она не дастъ ему согласія, завтра — я вонъ!» повторялъ онъ, бѣгая по Рингу; а вѣтеръ дулъ

со всѣхъ сторонъ и чуть не сшибалъ его съ ногъ. Началась вѣнская распутица, и на перекресткахъ бушевали вихри. Попробовалъ Крутицынъ зайти въ кафе на Рингѣ— почитать газетъ; но глаза отказывались разбирать шрифтъ, рука машинально размѣшивала кофе и не подносила ложечки ко рту. Такъ промаялся онъ до семи часовъ и пошелъ въ «Café national»— поджидать Швецова. Гарсонъ сказалъ ему, что Швецовъ только-что былъ и ушелъ.

— Не оставлялъ ничего? — спросилъ Крутицынъ.

— Gar nichts... Herr Doctor schien etwas zerstreut zu sein, — замѣтилъ гарсонъ.

«Неужели онъ уже побывалъ у ней», подумалъ Крутицынъ: «и получилъ отвѣтъ?».

Въ «Café National» дѣлать больше было нечего.

XI.

Еще съ часъ шлялся Крутицынъ по Грабену и Рингу. На углу той улицы, которая показалась ему, при въѣздѣ въ Вѣну, похожей на Rue Richelieu, его остановило движеніе экипажей. Закапалъ дождь и вѣтеръ задулъ еще сильнѣе. Онъ дѣлалъ знаки кучерамъ фіакровъ и конфортаблей; но все было занято сѣдоками.

Отъ Грабена къ зданію Новой Оперы проѣхала мимо его, очень скоро, карета. Онъ успѣлъ бросить взглядъ внутрь ея. Въ ней сидѣлъ Швецовъ. Крутицынъ узналъ его и былъ пораженъ видомъ Григорія Пантелѣича. Безъ шляпы, съ растрепанными на лбу волосами, виднѣлась голова Швецова въ глубинѣ кареты.

— Швецовъ! — крикнулъ Крутицынъ; но гулъ экипажей заглушилъ его крикъ.

Онъ бросился-было за каретой. Она покатила чуть не вскачь; а вблизи не видѣлось ни одного извощика.

Крутицынъ сильно встревожился: видъ Григорія Пантелѣича былъ слишкомъ необычаенъ. Наконецъ-то удалось захватить карету выше Новой Оперы. Онъ отправился прямо на квартиру Швецова. Его не оказалось дома. Это еще больше испугало Крутицына. Черезъ десять минутъ, онъ входилъ въ нумеръ Турусова.

Мягкотѣліе изволилъ отдыхать послѣ обѣда.

— Простите, Бога ради, — заговорилъ онъ, вскочивъ съ кровати: — великому безобразію предавался и васъ совсѣмъ покинулъ. Три дня и три нощи пропадалъ въ Крюгеръ-Штрассе. Малаша-то больно ужъ...

— Не до Малаши, — остановилъ его Крутицынъ.

— А что такое? — переполошился Турусовъ.

— Съ Григоріемъ Пентелѣичемъ что-то недоброе приключилось.

И Крутицынъ разсказалъ, какимъ онъ его видѣлъ и что могло вызвать его разстройство.

— Бѣда! — крикнулъ Турусовъ. — Человѣкъ ндравный, какъ бы ударъ не хватилъ!

— Гдѣ же его искать?

— Гдѣ искать? И ума не приложу. У Шваба въ кафе онъ почти что никогда не бываетъ. А знаете, что, Александръ Павлычъ, послушайтесь моего немудраго совѣта.

— Какого?

— Поѣдемте-ка къ Михаилу Иванычу.

— Къ какому Михаилу Иванычу?

— А помните, я васъ познакомилъ на лѣстницѣ, камъ мы уходили изъ ресторацiи.

— Помню; къ нему-то зачѣмъ же?

— Онъ психіатръ. Мнѣ сдается, что сладчайшій помутился.

— Ну! И помутился!

— Да, еслибъ вы его видѣли, какъ я его видѣлъ, вы бы всего ждали. Такъ ѣдемъ, что ли, къ Михаилу Иванычу? Онъ первый человѣкъ въ такомъ дѣлѣ.

Крутицынъ согласился. Поѣхали къ Михаилу Ивановичу. Психіатръ тоже отдыхалъ, но не спалъ, а лежалъ только съ книгой. Ему разсказали, въ чемъ дѣло.

— Соблаговолите, Михаилъ Иванычъ, — просилъ Турусовъ: — пожаловать съ нами.

— Да куда же мы повеземъ доктора? — замѣтилъ тревожно Крутицынъ: — мы сами не знаемъ, гдѣ можетъ теперь быть Швецовъ.

Маленькій человѣкъ ежился отъ своего геммороя и надѣвалъ сюртукъ, поглядывая на обоихъ добрыми, но озабоченными глазами.

— Женщина, стало быть, тутъ замѣшана? — спросилъ онъ Крутицына.

— Какъ же, — отвѣтилъ Крутицынъ.

— Если что его ошеломило, отъ женскаго пола исходящее, такъ женщина у него и сидѣть должна въ головѣ. — Микроскопистъ, — обратился Михаилъ Ивановичъ къ Турусову: — вы по этой части ходокъ: въ театрѣ балета нѣтъ ли сегодня какого?

— Афишки видѣлъ, Михаилъ Иванычъ: въ оперѣ «Фрейшюцъ», а въ Бургѣ «Эмилія Галотти».

— Что за «Эмилія»?

— Лессингова драма.

— Ну, это все неподходящая статья. Да здѣсь такой балъ есть. Шперлемъ, что ли, прозывается?

Турусовъ посмотрѣлъ на часы.

— Рано теперь къ Шперлю; до десяти тамъ никого изъ женскаго пола не бываетъ.

— Ну, кафе-шантанъ есть какой-нибудь?

— Орфей! — крикнулъ Турусовъ.

— Такъ ѣдемъ въ этотъ самый Орфей, — рѣшилъ психіатръ.

Поѣхали въ Орфей. Въ каретѣ Крутицынъ спросилъ Михаила Ивановича:

— Думаете ли вы, что Швецовъ наклоненъ къ мозговымъ потрясеніямъ?

— Эхъ, батюшка, — отвѣтилъ, поеживаясь и сидя бочкомъ, Михаилъ Ивановичъ: — кто же отъ нихъ, смѣю спросить, застрахованъ? Каждый изъ насъ можетъ схватить сейчасъ любое мозговое разстройство такъ же легко, какъ насморкъ. Всѣ люди, всѣ человѣки. Оттого-то такъ и жутко возиться съ душевными болѣзнями. Прежде какъ славно было. И врачи, и философы въ одну точку били: «гордыня-де это духа строптиваго или нравственное безобразіе проявляется въ безуміи, посему и слѣдуетъ оный строптивый духъ и оное безобразіе всячески скрутить и ошельмовать: первое дѣло на цѣпь, а потомъ валяй холодной водой до полнаго одурѣнія». Простая была метода, что и говорить. Особливо звѣрствовалъ нѣкій французскій философъ, по имени Ройе-Колляръ.

— Экой какой мудреный, — отозвался Турусовъ, съ грустью на лицѣ пускавшій въ окно струю дыма.

— Да и до сихъ поръ, — продолжалъ Михаилъ Ивановичъ: — во Франціи каждый олухъ царя небеснаго можетъ васъ на цѣпь засадить.

— Какъ такъ? — воскликнулъ Турусовъ.

— Да, такъ, другъ любезный, вотъ подыскалъ ты докторишку, который въ душевныхъ болѣзняхъ столько же смыслитъ, сколько я въ китайской грамотѣ, выдалъ онъ тебѣ свидѣтельство, что я, примѣрно, въ разсудкѣ помѣшался, ну и конченъ балъ: хватай меня и тащи на цѣпуру, и чины и власти тебѣ всякое содѣйствіе оказы-

ваютъ, и драбантовъ предоставятъ тащить меня въ кутузку.

Карета подъѣхала къ крыльцу Орфея. Сѣни съ позолоченными сфинксами вели на лѣстницу, гдѣ Турусовъ купилъ три билета.

— Ну, братцы, — говорилъ вполголоса психіатръ: — вы къ нему очень-то не кидайтесь, если онъ тутъ, а такъ негляже подсядьте и ни о чемъ особенномъ не разспрашивайте.

— Позвольте, докторъ, — перебилъ Крутицынъ: — мнѣ нельзя не спросить его, былъ ли онъ у той дамы.

— Ужь вы не безпокойтесь. Онъ и самъ заговоритъ. А вы промолчите, потому что тутъ посторонніе люди, которые, предполагается, не знаютъ его закулисныхъ дѣлъ.

Они поднялись на площадку, гдѣ сняли пальто, оттуда черезъ корридорчикъ, расписанный аляповатыми пейзажами, вошли въ залу кафе-шантана, уже порядочно набитую.

— Поднимемся наверхъ, скомандовалъ Михаилъ Ивановичъ.

На галлереѣ, шедшей кругомъ всей залы, было тоже не мало народу. Въ отгороженныхъ мѣстахъ, у столиковъ сидѣло нѣсколько женщинъ, съ перваго же взгляда смахивающихъ на кокотокъ.

— Нѣтъ сладчайшаго, — шепнулъ, озираясь во всѣ стороны, Турусовъ.

— Вонъ онъ! — вырвалось у Крутицына: — въ крайней ложѣ.

И въ самомъ дѣлѣ, Швецовъ сидѣлъ въ ложѣ у самой сцены, съ шляпой на затылкѣ, перевѣсившись однимъ локтемъ за барьеръ.

— Угадалъ, психіатръ! Молодецъ! — крикнулъ Турусовъ.

— Тише, тише, — остановилъ его Михаилъ Ивановичъ: — постоимте здѣсь, пока онъ насъ не замѣтилъ.

Крутицынъ отошелъ за колонну и сталъ наблюдать за Швецовымъ. На сценѣ, въ это время, пѣла какая-то бѣлобрысая нѣмка въ открытомъ лифѣ, съ худой грудью. Она выкрикивала арію изъ «Роберта». Григорій Пантелѣичъ не глядѣлъ совсѣмъ на сцену, а уставился на противоположную крайнюю ложу, гдѣ три кокотки громко говорили и хохотали. Сначала онъ не дѣлалъ никакихъ движеній, ни головой, ни руками; но вдругъ онъ положилъ оба локтя на барьеръ, осклабилъ лицо и, поднявъ правую руку, погрозилъ пальцемъ.

Крутицынъ взглянувъ на псиxіатра.

— Видѣли? — спросилъ его Михаилъ Ивановичъ.

— Онъ, быть можетъ, такъ дурачится?

— Лицо подозрительно. Идемте къ нему.

Турусовъ тоже увидалъ, какъ Григорій Пантелѣичъ погрозилъ кокоткамъ.

Всѣ трое пробрались къ крайней ложѣ, гдѣ должны были приплатить къ своимъ билетамъ.

Первый вошелъ Михаилъ Ивановичъ.

— Мы къ вамъ цѣлой компаніей, — сказалъ онъ, дотрогиваясь до плечъ Швецова.

— А! Леховъ!.. и мягкотѣліе... и овощей насадитель!.. Важно... аль насчетъ женскаго пола захотѣли пройтись?

Все это Швецовъ выговорилъ, сидя въ полоборота.

Михаилъ Ивановичъ значительно взглянулъ на Крутицына, желая ему сказать:

«Дѣло, кажется, дрянь».

И Крутицынъ разглядѣлъ, что глаза у Швецова смотрятъ очень странно и зрачки какъ-будто расширены.

— Давно вы здѣсь? — спросилъ онъ Григорія Пантелѣича.

— Къ самому началу прибылъ... Собакъ только ученыхъ здѣсь нѣтъ... А мнѣ теперь бы на собачью комедь какъ желательно посмотрѣть!.. А каковы тѣ стервы, — и онъ указалъ на сосѣднихъ кокотокъ: — корками въ меня бросаютъ!

— Корками? — спросилъ Михаилъ Ивановичъ.

— Рай не видишь? Лимонными и апельсинными корками.

Турусовъ сдержалъ улыбку, и лицо его тотчасъ же приняло испуганное выраженіе.

«Вонъ оно что», подумалъ Крутицынъ: «бѣдный Швецовъ!»

— Ахъ, вы такіе-сякіе! — вскричалъ уже почти на всю залу Григорій Пантелѣичъ и вскочилъ со стула.

Въ это время пѣвица кончила свою арію и хлопанье публики заглушило его восклицаніе. Сидѣвшіе въ ложѣ рядомъ мужчины обратили, однакожь, вниманіе и переглянулись.

— А вотъ я имъ пойду скажу, чтобъ не кидали, — проговорилъ съ добродушной усмѣшечкой Михаилъ Ивановичъ, и уходя шепнулъ Крутицыну: — не выпускайте его. Я сейчасъ вернусь.

— Овощей насадитель! — обратился Швецовъ къ Крутицыну: — что-жь это вы меня не поздравляете?

— Съ чѣмъ, любезный Григорій Пантелѣичъ?

— Съ чистой отставкой! Ха, ха!..

— Не понимаю...

— Мраморная-то красавица прописала... Проваливай, говоритъ, лекаришка! Я, говоритъ, обручена, да только не съ твоимъ кувшиннымъ рыломъ!... Угодно проводить ее?... Такъ она уже катитъ по чугункѣ!...

— Вы говорите про Ксенію Николаевну?

— Ксенію... Аксюшка!... Сто чертей!

Онъ опять вскочилъ, шляпа слетѣла у него съ го-

ловы, лѣвой рукой схватилъ онъ спинку стула и началъ махать имъ въ воздухѣ, крича черезъ залу:

— Вы... піявицы!.. Корки мнѣ бросать! Убью!..

Онъ навѣрно перескочилъ бы черезъ барьеръ, еслибъ руки Турусова не сдержали его сзади.

Въ дверяхъ стоялъ уже Михаилъ Ивановичъ и позади его два лакея.

— Благопріятель, — сказалъ онъ, подходя прямо къ Швецову, у котораго на губахъ показалась пѣна: — содержатель хочетъ выгнать тѣхъ барынь-то, что кидали въ васъ корками.

— А! — радостно и злобно зарычалъ Швецовъ.

— Только поди къ нему объясняться.

Подходъ Михаила Ивановича удался. Швецова свели внизъ и тамъ сказали, что надо ѣхать жаловаться къ полицейскому коммисару. Онъ и на это согласился.

Черезъ полчаса лежалъ онъ у себя на кровати, послѣ припадка, въ которомъ, безъ усилій психіатра и двоихъ пріятелей, онъ надѣлалъ бы дѣлъ. Крутицынъ не имѣлъ времени придти въ себя, такъ поразила его бѣда, налетѣвшая на Швецова. Турусовъ совсѣмъ онѣмѣлъ. Михаилъ Ивановичъ, уходя поздно ночью домой, шепнулъ Крутицыну:

— Это должно разрѣшиться воспалительнымъ процессомъ. Натура чертовская у него. Я не боюсь.

Но у Крутицына не было въ запасѣ успокоительныхъ соображеній. Онъ сильно испугался за пріятеля и, сидя въ углу полуосвѣщеннаго нумера, прислушиваясь къ тяжелому дыханію заснувшаго Швецова, обратилъ первую свою негодующую мысль на ту, кто вызвала въ бѣдномъ маломъ такую бурю страсти.

— Бездушная комедьянтка! — шепталъ онъ: — мраморная красавица!

XII.

Утромъ, предсказаніе Михаила Ивановича сбылось. Швецова охватила нервная горячка. Всю ночь Крутицынъ не смыкалъ глазъ и къ утру поѣхалъ домой, оставивъ Турусова. Ему необходимо было, чтобы сколько-нибудь подкрѣпиться — соснуть хоть часа два.

Швейцаръ подалъ ему внизу письмо, пришедшее по городской почтѣ.

На адресъ взглянулъ Крутицынъ только у себя въ нумерѣ. Увидавъ руку Ксеніи Николаевны, онъ сдѣлалъ движеніе, какъ бы хотѣлъ разорвать письмо не читая, но удержался и прочелъ.

«Второй разъ», читалъ онъ, «дѣлаю я то же самое: убѣгаю, оставивъ позади себя привязанность. Я сказала Швецову, что женой его никогда не буду, и въ ту минуту, когда тебѣ подадутъ это письмо, я уже переѣду итальянскую границу. Другъ мой. Я не могу скрыться такъ, не сказавши тебѣ всей правды. Я не хочу выгораживать свою личность... О, нѣтъ!... Но вдумайся только въ мою судьбу. Развѣ я должна была подчиниться временной хандрѣ, которая могла привести меня къ замужеству съ кѣмъ попало? Конечно, нѣтъ. Швецовъ былъ тутъ совершенно подставное лицо, а изъ такого честнаго и хорошаго человѣка нельзя дѣлать лекарства тяжелому одиночеству... на одинъ мигъ. И какъ же мнѣ было привязаться къ нему послѣ того, что я пережила? Ни умъ его, ни образованіе, ни душевное изящество, ничто не стоитъ на той высотѣ, безъ которой нѣтъ уже для меня любви. И кто меня довелъ до этого?... Ты знаешь, *кто*... Это не упрекъ. Это — выраженіе моей безпредѣльной благодарности. Все, что во мнѣ удержалось и развилось

человѣчнаго и лучшаго, все это — твое дѣло. Сегодня я съ ѣдкой горечью почувствовала невозвратную потерю. Мои рыданія выдали меня. Я ихъ объясняла нервами. Не нервы это, а крикъ души, которая по своей винѣ заковала себя въ цѣпи! Быть можетъ, я поступаю умно и послѣдовательно, готовлю себѣ блестящую будущность; но была сегодня минута, когда я кинула бы все, все... Она канула. И тутъ замѣшалась гордость. Да и ты... но я не смѣю говорить за тебя. Скажу тебѣ еще, дорогой другъ, какъ духовнику на исповѣди: никогда бы я не рѣшилась подойти къ тебѣ, Саша. Случай, странный и дикій, свелъ насъ опять. И еслибъ не эта встрѣча, Швецовъ, вѣроятно, добился бы своего: хандра продолжала грызть меня... Онъ будетъ проклинать меня; этотъ ударъ можетъ поразить его сильнѣе, нежели я думаю. Когда буря пронесется, ты ему скажешь, какъ нужно смотрѣть на меня: въ твоемъ сердцѣ я найду отголосокъ. Шире тебя понимать человѣка никто не умѣетъ. Но не о себѣ хочу я говорить, а о твоей одинокой долѣ. Ты крѣпишься, ты шутишь, ты отдѣлываешься успокоительными фразами; но ты страдаешь. Не хотѣлъ ты пожить мѣсяцъ около меня, въ Вѣнѣ, пріѣзжай въ Италію. Тамъ такъ хорошо съ приближеніемъ весны. Будемъ же, въ самомъ дѣлѣ, пріятелями. Станемъ поддерживать другъ друга на тернистомъ пути холостаго житья-бытья. Вѣдь я тоже поступаю въ старые холостяки. Ты читаешь и качаешь головой... А я все-таки не разстаюсь съ мечтой, что на какомъ-нибудь перепутьѣ, да столкнемся мы еще разъ, и тогда... о! тогда я уже не дамъ тебѣ кормить въ сердцѣ злаго червяка, который такъ неутомимо гложетъ тебя. Къ тебѣ несется мой горячій привѣтъ и ты будешь всегда, всегда моимъ прибѣжищемъ. Люби же немножко, хоть въ воспоминаніи, твою Ксенію».

Дойдя до конца, Крутицынъ простоялъ нѣсколько минутъ съ развернутымъ письмомъ въ рукахъ.

«Что это?» — спросилъ онъ: «правда, или новая комедія? Нѣтъ, ей не изъ-за чего такъ принижать себя передо мной!... Наша встрѣча загубила Швецова... Стало быть...»

Онъ не закончилъ.

«Она любитъ тебя, — зашепталъ опять ему кто-то въ ухо, — бѣги къ ней! Чего ты медлишь?

Письмо Ксеніи Николаевны слишкомъ ясно говорило, какое чувство продиктовало его. Какъ ни былъ Крутицынъ скроменъ, онъ не могъ не распознать этого. Вся жажда любви, обладанія горделивой красавицей, вся горечь старой страсти забушевали въ немъ. Голова горѣла, глаза опять жадно забѣгали по строчкамъ, гдѣ такъ ясно и плѣнительно выливалось чувство беззавѣтной любви къ нему, гдѣ его такъ просили забыть прежнее и смѣло подходитъ побѣдителемъ, гдѣ его звали со слезами и шуткой безнадежнаго порыва.

«Швецовъ умираетъ! — вскричалъ Крутицынъ, точно вырвавшись изъ тенетъ удушающаго кошмара. «У его кровати — мое мѣсто!»

И онъ судорожно скомкалъ въ рукѣ письмо.

«Она повторяла, — говорилъ онъ уже спокойно, — я не жена тебѣ, и это правда; а страсть любовницы да отыдетъ отъ меня!»

И тутъ вся вереница дней протянулась въ его памяти, — дней, когда, среди неустаннаго недовольства, все еще мелькалъ лучъ, кажущій впереди что-то свѣтлое, образъ желанной женщины, вѣчный идеалъ, не мѣняющійся ни съ годами, ни съ испытаніями. Дни эти не приносили ничего, кромѣ большей и большей хандры. И вотъ желанная женщина манитъ къ себѣ на полное блаженство; но цѣпь порвана, огонь потухъ, что-то выѣло то мѣсто въ сердцѣ, которое трепетало подъ свѣтлыми ея очами...

Крутицынъ тихо и долго плакалъ.

«Довольно,» сказалъ онъ, поднимая голову, «личная жизнь, иди туда, назадъ, назадъ...»

И еще разъ простилъ онъ ей все за себя; за Швецова онъ тоже хотѣлъ бы простить...

«Она, — было его послѣдней думой, — идетъ ощупью; надъ ней тяготѣетъ своя судьба. Страдаетъ она, и быть можетъ еще сильнѣе будетъ страдать подъ фальшивой діадемой подмостокъ...»

Все бы высказалъ онъ въ эту минуту Швецову; но горячка держала въ своихъ когтяхъ когда-то задорнаго практика, и каждый день могъ пододвинуть его къ могилѣ.

XIII.

На Грабенъ высыпало много гуляющихъ часу въ пятомъ, послѣ обѣда. Кончилась недѣля рѣзкихъ вѣтровъ, и весенній воздухъ сталъ пріятно щекотать.

Крутицынъ поднимался отъ собора св. Стефана, по правому тротуару. Онъ шелъ съ низко опущенной головой. Думалъ онъ невеселую думу объ исходѣ болѣзни Швецова. Натура была хоть и «чертовская», по опредѣленію Михаила Ивановича, но и недугъ забралъ ее въ лапы съ какимъ-то особымъ остервенѣніемъ. Психіатръ, однако, не унывалъ и ожидалъ кризиса съ надеждою.

Въ этотъ день Крутицынъ боялся вернуться въ квартиру Швецова, чтобы не увидать «начала конца».

Онъ такъ поглощенъ былъ раздумьемъ, что не замѣтилъ, какъ перешелъ черезъ улицу и сталъ подходить къ «Бургъ-театру». Уже совсѣмъ стемнѣло. Ему захотѣлось

узнать: который часъ. Онъ поднялъ голову на часы «Michel-Kirche», стоя въ эту минуту подъ большимъ фонаремъ, на круглой платформѣ, что передъ театромъ.

— Ба! — раздалось около него. — Кого я вижу? Вотъ такъ оказія!

Онъ оглянулся въ ту сторону, откуда слышался голосъ, и увидалъ около платформы маленькую фигурку въ большой шляпѣ, съ двумя горбами.

— Кругицынъ! — Неужто не узнаешь?

Фигура приблизилась къ нему съ протянутыми руками.

— Ты? — спросилъ удивленно Крутицынъ.

А то кто же? Такихъ двухъ уродовъ еще не производила природа.

Они облобызались.

— Давно здѣсь? — спросилъ горбунъ.

— Больше двухъ недѣль.

— И нигдѣ я тебя не встрѣтилъ?

— Да я не выходилъ почти изъ комнаты... А ты лучше мнѣ скажи откуда: ты, куда, какъ тебя носитъ земля? Неужели съ тѣхъ поръ за-границей, какъ отправился въ Гейдельбергъ?

— Съ тѣхъ поръ.

— Десять лѣтъ?

— И семь мѣсяцевъ!

— И что ты теперь такое?

— Прохвостъ!

— Какъ прохвостъ?

— Да также... Хочешь исторію мою выслушать?

— Говори, говори...

— Такъ пойдемъ на Рингъ, покалякаемъ; а тамъ зайдемъ чайку выпить по-россійски.

Горбунъ говорилъ хриповатымъ голосомъ, картавилъ и часто останавливался отъ одышки. Лицо его, съ боль-

шимъ горбатымъ носомъ, на половину скрывалось за бакенбарды. Въ немъ видѣнъ былъ рѣзкій еврейскій типъ, и въ акцентѣ слышалось, хоть и слабо, еврейская интонація.

Крутицынъ былъ когда-то товарищемъ этого горбуна по медицинскому факультету. Больше десяти лѣтъ тому назадъ, они потеряли другъ друга изъ виду; но Крутицынъ часто вспоминалъ объ немъ и любилъ сравнивать его съ такимъ же горбуномъ и евреемъ — Рикé. И въ самомъ дѣлѣ, въ ихъ натурахъ было нѣчто сходное: та же впечатлительность, и доброта, и бойкость интеллигенціи. Но русскій горбунъ отличался отъ французскаго рано развившейся практичностью. Рикé не вылѣзалъ изъ кожи неисправимаго «богемы», тогда какъ въ университетскомъ товарищѣ Крутицына теоретическая воспріимчивость еще ярче выставляла прирожденныя способности къ ловкому обхожденію съ окружающей дѣйствительностью. Еще студентомъ пустился онъ въ переводы нѣмецкихъ учебниковъ и въ издательство, и весьма удачно издалъ нѣсколько вещей; съ профессорами и съ товарищами умѣлъ онъ обойтись такъ, что все ему удавалось, и потомъ, переѣхавъ въ Петербургъ, онъ сейчасъ же завелъ кучу всякаго рода знакомствъ и пріобрѣлъ репутацію пріятнаго, услужливаго, необходимаго человѣка, на всѣ руки. Крутицынъ былъ убѣжденъ, что черезъ пять—шесть лѣтъ онъ составитъ себѣ блистательную карьеру врача-практика. Правда, въ горбунѣ жилъ тревожный огонекъ протеста, побуждавшій его къ разрѣшенію жгучихъ вопросовъ, къ сочувствію многому, что не приноситъ съ собою «палатъ каменныхъ»; но Крутицынъ думалъ, что этотъ огонекъ не долго будетъ тлѣть, или какъ-нибудь да послужитъ на пользу практическимъ цѣлямъ. Когда, въ Москвѣ, Швецовъ выставлялъ себя спеціалистомъ по части обработыванія папуанцевъ, Крутицынъ могъ поставить рядомъ съ нимъ гор-

буна и сказать имъ: «вы двое дойдете до геркулесовыхъ столбовъ житейской мудрости». Но Швецовъ ожогся и лежалъ на смертномъ одрѣ, а горбунъ, послѣ десятилѣтняго скитанья, не только былъ безъ «пуповины», но съ перваго же слова пѣлъ «лазаря» и обзывалъ себя «прохвостомъ».

— Ну, такъ начинай съ начала, — сказалъ Крутицынъ, глядя, въ полусвѣтѣ, сверху внизъ на фигурку, силившуюся шагать съ нимъ въ ногу.

— Да что-жь, братецъ, въ утѣшеніе и приходится теперь, какъ старой бабѣ, расписывать свои невзгоды...

— Позволь, — остановилъ его Крутицынъ: — я просто съ облаковъ сваливаюсь: ты — олицетворенная ловкость по части житейской, и вдругъ — поешь лазаря и въ тридцать слишкомъ лѣтъ объявляешь, что ты не что иное, какъ...

— Прохвостъ! — докончилъ горбунъ. — Да, дружище... Таковъ неисповѣдимый ходъ судебъ!

— Гдѣ же ты корпѣлъ все время?

— Сначала въ Гейдельбергѣ... Ну, тогда, чай самъ знаешь, какое время было! Да вѣдь я изъ двухъ половинъ состою; должно быть, затѣмъ у меня и два горба: одинъ горбъ положительный, другой — идеальный. Мнѣ бы тогда въ два бы года можно было отличнымъ манеромъ госпитали всѣ продѣлать и вернуться собирать серебряные рубли. Такъ нѣтъ, идеальный-то горбъ подмывалъ остаться. И прохороводился я два, три года, четыре года. Изъ Россіи подъѣзжали ребята, тары-бары, да самовары свои завели, да разъѣзды всякіе учиняли, — то сюда, то туда... И въ шесть — семь лѣтъ изъѣздилъ я всю Европу. Гдѣ не былъ: и въ Англіи, и въ Италіи, и въ Швейцаріи, и во Франціи, и въ Германіи-то — кажется, всякую дыру знаю и вижу насквозь. Между дѣломъ-то, братецъ, время такъ и катитъ. Убей Богъ мою душу, коли

я въ этотъ семилѣтній, больше — восьмилѣтній періодъ хоть разъ призадумался и спохватился! Увѣренность въ себѣ была. Вотъ, молъ, вздоръ какой, времени еще не мало впереди, что торопиться въ Россію, успѣемъ свое наверстать!

— Да ты и могъ имѣть эту увѣренность, — подсказалъ Крутицынъ, давши горбуну сдѣлать передышку.

— Чорта съ два! Иллюзіи-то наши разлетѣлись, дружище, морозцы побили наши теоретическіе цвѣты... Повѣяло инымъ воздухомъ... Я какъ спохватился на восьмомъ-то году своего шатанія: вижу, дрянь дѣло. Ну спеціальность себѣ подыскивать, зады зубрить, по клиникамъ да по кабинетамъ соваться... И что-жь бы ты думалъ: меня жизнь-то за штатомъ оставила...

— Быть не можетъ! — вскричалъ Крутицынъ.

— Оставила, братъ, оставила!... Я не знаю, къ чему примоститься? Здѣсь за-границей мнѣ опротивѣло такъ, что и передать тебѣ невозможно; дальше не вижу ходу...

— Помилуй! — перебилъ Крутицынъ. — Кому же и быть ходу, какъ не тебѣ? Ты только явись, и черезъ два—три мѣсяца у тебя и практика, и связи, и все, что угодно.

— Нѣтъ, дружище!.. Пропала моя бодрость... Должно быть, нашъ братъ, какими его практическими способностями ни надѣлила натура, все долженъ споткнуться...

— Отчего?

— Ты самъ знаешь отчего: отъ мозговъ, отъ мозговаго развитія... На мнѣ ты видишь блистательный примѣръ... Ужь, кажется, умѣю я съ людьми обходиться?!

— Еще бы!

— Давай мнѣ какого угодно енарала изъ самыхъ ископаемыхъ, я его въ четверть часа превращу въ комъ воску, и будетъ онъ у меня подаваться, въ какую мнѣ угодно сторону... Я это тебѣ не басни разсказываю... Въ

Берлинѣ, за табльдотомъ, я надъ прусскими енаралами такіе эксперименты производилъ, и всѣ со мной закадыками дѣлались.

— Чего же лучше?

— А въ концѣ концовъ — нѣтъ исходу, нѣтъ дороги... или вотъ какъ русскіе славянофилы говорятъ: почвы нѣтъ...

Они поднялись почти до перекрестка, гдѣ останавливается желѣзно-коннная дорога.

— Разумѣется, — продолжалъ все горячѣе горбунъ, тяжело отдуваясь: — еслибъ я хотѣлъ чиновникомъ стать, другая статья бы вышла, да и то не знаю... Сидитъ, братецъ, во всѣхъ насъ такой червякъ...

«И онъ поймался!» промелькнуло въ головѣ Крутицына.

— Видишь ты вонъ тамъ цѣлый рядъ освѣщенныхъ оконъ, въ углу той площадки? — спросилъ вдругъ горбунъ, указывая рукой въ ту сторону, гдѣ поле гласиса заканчивается рядомъ домовъ.

— Вижу, — отвѣтилъ Крутицынъ.

— Ты, конечно, знаешь, что это за заведеніе?

— Нѣтъ, не знаю.

— Быть не можетъ... Не знаешь кафе Шваба?

— Слышалъ, что тамъ русскіе и славяне собираются; а не захаживалъ.

— И прекрасно дѣлалъ... Ну, такъ вотъ еслибъ я захотѣлъ уподобиться посѣтителямъ Шваба, я, быть-можетъ, и не пѣлъ бы тебѣ лазаря, да только я никогда имъ не уподоблюсь, хоть ты и преклоняешься предъ моими практическими способностями... Хочешь зайдти туда?.. Я продрогъ, и выпилъ бы стаканъ чаю.

— Зайдемъ.

— Тамъ навѣрно мы найдемъ коллекцію россійскихъ эскулаповъ. Вотъ это — практики, братецъ!..

Горбунъ сплюнулъ.

— Не охотникъ ты до нихъ? — спросилъ Крутицынъ.

— Мнѣ что: я ко всякому жиду присмотрѣлся и дошелъ до объективизма... а такихъ практиковъ съ фонаремъ поискать на свѣтѣ божіемъ... А вѣдь я, безъ хвастовства скажу, и всѣхъ ихъ вмѣстѣ, и каждаго поодиночкѣ въ одинъ горбъ впущу, въ другой выпущу... И случись какое дѣло — ко мнѣ же всѣ лѣзутъ; а все-таки я выхожу прохвостъ, а они на вѣки вѣчные застрахованы отъ умственнаго пролетаріата...

Отдышавшись, горбунъ продолжалъ уже съ грустнымъ оттѣнкомъ:

— Мечтали мы, десять лѣтъ тому назадъ, что россійское научное юношество всѣхъ европейцевъ за поясъ заткнетъ по общему, широкому развитію. Ну, и полюбуйся вотъ у Шваба на соотечественниковъ.

XIV.

У Шваба дымъ ходилъ по сараевидной билліардной густыми волнами. Крутицынъ помѣстился съ горбуномъ въ сторонкѣ, у столика. Много измѣнился горбунъ, когда Крутицынъ поразглядѣлъ его поближе.

— Видишь, какой я? — спросилъ онъ, точно догадываясь, что соображаетъ Крутицынъ: — и морщины, какъ у старой обезьяны, и худоба, и сѣдой волосъ. А кажется, никакихъ трагедій въ жизни не было, дебошемъ не занимался, запоемъ не пилъ. Въ тридцать-три года — старикъ.

Онъ усмѣхнулся своимъ широкимъ ртомъ и заказалъ гарсону «два чая».

У билліарда стоялъ съ кіемъ какъ разъ тотъ бородатый, съ которымъ Крутицынъ обѣдалъ въ день пріѣзда въ Вѣну.

— Вотъ этого я видѣлъ, — шепнулъ онъ горбуну.

— Это — хирургъ. Въ споры пожалуйста съ нимъ не вступай.

— А что?

— Прибьетъ!

— Ну, полно.

— Да, такъ-таки закатитъ!

— Ты слишкомъ озлобленъ.

— За то посмотри, какъ я съ ними обращаюсь.

Онъ подошелъ къ билліарду. Бородатый ласково и шумно съ нимъ поздоровался. Явился и его партнеръ, съ какой-то плохо выстриженной, угловатой головой, сердитыми бровями и губами въ складкахъ. И его зналъ горбунъ. Поболтавши съ ними минутъ съ пять, онъ вернулся къ Крутицыну, взявшему тѣмъ временемъ нумеръ «С.-Петербургскихъ Вѣдомостей».

— Въ бесѣду съ эскулапами не желаешь входить?— спросилъ онъ, подмигнувъ правымъ глазомъ.

— Нѣтъ, — отозвался Крутицынъ: — богъ съ ними!

— А то бы я завелъ общій разговорецъ... Ну, вотъ, смотри, дружище: какіе они практики. Положимъ, они утромъ ходили въ Krankenhaus и даже надъ микроскопомъ посидѣли. Да вѣдь вѣнскій вечеръ великъ, сосчитай, сколько они работаютъ, и выйдетъ, что за каждый часъ государство платитъ имъ по четвертной.

Паузу, наступившую за послѣдней фразой горбуна, прервала позади Крутицына чья-то непріятная фистула:

— Васъ ли я вижу?

На этотъ вопросъ Крутицынъ обернулся и увидалъ

господина Петина съ газетой въ рукахъ, а позади его опять черноватую фигуру того чеха, который силился объясниться съ нимъ на россійскомъ нарѣчіи.

— Гдѣ пребывали? — спросилъ опять филологъ, кисло улыбаясь: — или увлеклись, быть можетъ, вихремъ вѣнскихъ увеселеній?

— О, нѣтъ, — выговорилъ грустно Крутицынъ: — мнѣ не до увеселеній было.

— А я думаю направиться дальше... Вотъ г-на Зильберглянца мы снаряжаемъ въ Россію.

— На мѣсто?

— Да. Мое предстательство было уважено. До сихъ поръ наши славянскіе братья находятъ у насъ широкое поприще. Русское юношество все еще бросается въ университетахъ на другія модныя отрасли, и штудіи древнихъ языковъ все еще въ недостаточномъ развитіи.

Отправляющійся въ Россію «братъ» подскочилъ къ Крутицыну, схватилъ его руку, началъ опять не то хихикать, не то кашлять и масляными глазками перебѣгать отъ него къ Петину.

— Ляскавости, — слышалось Крутицыну: — шановнего пана Петина...

А дальше уже онъ рѣшительно ничего не разобралъ.

— Такъ позвольте, господа, вамъ обоимъ пожелать добраго пути, — выговорилъ онъ, чтобы только поскорѣе отдѣлаться отъ нихъ.

Но онъ еще долженъ былъ выслушать какую-то чешско-русскую путаницу, гдѣ разъ десять повторялось слово «прошу».

Наконецъ-то радѣтель филологіи и его protégé удалились.

— Что это за двѣ чучелы? — спросилъ горбунъ.

— Видишь, русскій классикъ.

— И братъ-славянинъ?

— Да.

— И онъ ему мѣсто, поди, учительское выхлопоталъ?

— Слышалъ, онъ про это объявлялъ...

— Ха, ха!.. Вотъ комедь-то всероссійская! Да, можно сказать: великъ Богъ земли русской! Точно некому головы-то русскимъ гимназистамъ греческими корнями кретинизировать, такъ надо братьевъ выписывать... да какихъ! Изъ іерусалимскихъ дворянъ. Ты развѣ не разглядѣлъ этого брата?

— Его фамилія Зильберглянцъ.

— Ну, что я говорю: отъ колѣна Рувимова или Гадова, а тятенька, поди, въ Прагѣ съ пейсами ходитъ. Комедь! Вотъ еще вѣрная дорога на вѣковѣчные харчи. Насмотрѣлся, братецъ, я здѣсь на эту безстыдную чепуху. Пять—шесть голяковъ безштанныхъ, изъ-за подачки съ россійской трапезы, упражняются въ цѣлованіи ручекъ у кого слѣдуетъ... и потомъ Россія-матушка ихъ пичкать будетъ и проливать надъ ними слезы сокрушенія: «братья-де, по крови и языку», а ты хоть единое слово понялъ ли изъ того, что тебѣ этотъ ославяненный сынъ Израиля бормоталъ? Ну, да что объ этомъ шутовскомъ безобразіи толковать! Только руки марать! Я опять повторю то же: нашему брату-умнику — это урокъ... кряхти и шляйся изъ угла въ уголъ, а вотъ такіе оглашенные оклады себѣ выправляютъ въ чужой землѣ, хоть мы и считаемъ ихъ такъ какими-то земноводными!..

Горбунъ закашлялся. Морщинистое лицо его искривилось, но добродушная улыбка тотчасъ же показалась на поблеклыхъ губахъ:

— Ты не думай, дружище, что я превратился въ какую-то старую вѣдьму; я все тотъ же добрякъ и простакъ, какого ты зналъ на университетской скамьѣ, только не могу уже, по причинѣ собственной безталанности, смо-

трѣть спокойно, какъ вотъ такіе филологи да Зильберглянцы карьеры составляютъ!

Крутицынъ взглянулъ на часы, и тревожно подумалъ: «Что-то Швецовъ? Пора идти.»

— Мнѣ такъ непріятно, — заговорилъ опять горбунъ поднимаясь: — что я тебя встрѣтилъ какъ разъ наканунѣ выѣзда.

— Куда ты? — спросилъ Крутицынъ.

— Въ Лейпцигъ. Надо тамъ кончить работу. Ты объ моемъ инструментѣ ничего не слыхалъ?

— Нѣтъ, я вѣдь отъ медицины поотсталъ...

— Инструментъ, братъ, я изобрѣлъ... Видишь: все практическая жилка! И въ Берлинѣ его одобрили, и привиллегію выдали; а все-таки товарищъ твой — на всѣ руки — остается прохвостомъ. Куда ты торопишься?

— Я къ больному.

— Кто такой?

— Швецовъ, докторъ.

— Знаю, встрѣчалъ... Хорошій малый... не этимъ драбантамъ чета. Только такихъ: первый, другой, да и обчелся. Ну, коли такъ, прощай!

— Ждать ли тебя въ Россію?

— Не хочется, братъ, объ этомъ и думать. Гдѣ-нибудь да столкнемся, какъ сегодня вотъ, подъ фонаремъ...

. . . .

«Жаль бѣднаго горбуна», говорилъ про себя Крутицынъ, спѣша къ квартирѣ Швецова: «передернула и его незадача, а онъ былъ надежнѣе всѣхъ насъ...»

Эта встрѣча пришлась какъ разъ въ тотъ вечеръ, когда недугъ Швецова долженъ былъ унести его съ собой въ могилу, или отхлынуть. Было какое-то соотвѣтствіе между печальнымъ фономъ эпопеи горбуна и ожиданіемъ роковой минуты, которая могла уже наступить

тамъ, куда шелъ Крутицынъ. Время пролетѣло скоро въ разговорѣ съ горбуномъ. Крутицынъ, подходя, боялся придти слишкомъ поздно.

Въ сѣняхъ онъ наткнулся на Михаила Ивановича, спускавшагося бочкомъ съ лѣстницы.

— Что? — проговорилъ онъ шопотомъ.

— Говорилъ вамъ, почтеннѣйшій... Чертовская натура!

— Будетъ жить?

— Долгіе годы, и насъ еще съ вами переживетъ.

— Вы отъ меня ничего не скрываете?

— Вѣдь вы не барыня. Я иду домой, задать храповицкаго. Тамъ микроскопистъ. Швецовъ заснулъ. Теперь только — подходящій уходъ.

— Какъ васъ благодарить, докторъ?!

— Да меня-то послѣ, батюшка! Это терапія. Я тутъ съ лѣваго бока припека.

— А въ первый-то вечеръ?

— Такъ этакъ бы каждый квартальный надзиратель съумѣлъ распорядиться.

Крутицынъ крѣпко стиснулъ руку Михаила Ивановича, затрусившаго подъ ворота, постукивая палочкой.

«Этого бы и горбунъ одобрилъ», сказалъ онъ про себя и сталъ пробираться дальше. Спальня Швецова выходила широкимъ окномъ на корридоръ. Штора была до половины опущена. Онъ заглянулъ. Въ углу, на подушкѣ, видѣнъ былъ блѣдный профиль больнаго. Направо, у столика, сидѣлъ Турусовъ и подъ лампой читалъ. Волосы свѣсились ему на самый носъ.

Такъ простоялъ Крутицынъ нѣсколько секундъ и, войдя въ комнату, сдѣлалъ знакъ Турусову, чтобы онъ безмолвствовалъ.

Широкое, улыбающееся мягкотѣлое обличье говорило безъ словъ, что опасности больше нѣтъ.

Крутицынъ показалъ жестомъ, что пришелъ ему на смѣну. Они молча пожали другъ другу руку, и Турусовъ вышелъ на цыпочкахъ.

XV.

Выздоровленіе Швецова шло не быстрыми, но прочными шагами. Пріятели его замѣтили, что онъ объ нѣкоторыхъ сторонахъ своей жизни не говорилъ. Михаилъ Ивановичъ пояснилъ, что память его не вступила еще въ полныя права, и тутъ же далъ совѣтъ безъ нужды не наводить его на обстоятельства, вызвавшія болѣзнь.

Но натура Григорія Пантелѣича справилась окончательно съ недомогательствомъ нервной организаціи, и разъ утромъ, когда Крутицынъ, по обыкновенію, зашелъ къ нему, онъ, безъ прелиминарій, спросилъ:

— Вы развѣ не догадались объ одной вещи, милѣйшій Александъ Павлычъ?

— О какой? — откликнулся Крутицынъ.

— А что горячка у меня память отшибла. Только вотъ со вчерашняго дня все я вдругъ вспомнилъ, какъ въ одинъ мигъ...

— И что же? — спросилъ, не безъ тревоги, Крутицынъ.

— Точно ножемъ кто вырѣзалъ у меня изъ нутра все, что было...

— Все?

— Какъ есть все!

Онъ протянулъ Крутицыну руку.

— Вы мой пестунъ, — заговорилъ онъ тронутымъ голосомъ.

— Ну, не я одинъ, а Михайло Иванычъ, и юноша.

— Тѣмъ тоже спасибо; а вамъ сугубое... Вы моимъ духовникомъ были до этой оказіи, и теперь мнѣ съ вами сладко покалякать...

Блѣдное и исхудалое лицо Григорія Пантелѣича широко улыбнулось.

— А перво-наперво скажите вы мнѣ, — этого я, хоть зарѣжь меня, не припомню,— какое я колѣно выкинулъ тамъ въ Орфеѣ, когда вы меня, раба Божія, сцапали?

— Хотѣли лѣзть воевать съ дѣвицами легкаго поведенія, кричали, что онѣ въ васъ кидаютъ лимонными корками.

— Ха, ха, ха! Экая гиль.

Здоровый смѣхъ убѣждалъ Крутицына лучше всякихъ діагнозовъ, что «сладчайшій» вышелъ цѣлъ и невредимъ изъ трагической передряги.

— Такъ на дѣвицъ легкаго чтенія разъярился?

— Да.

— Потому, въ головѣ-то у меня женщина сидѣла.

— Михаилъ Иванычъ такъ и діагнозировалъ.

— Мудрецъ!

Помолчавъ съ минуту, Швецовъ началъ нѣсколько грустнымъ, но твердымъ голосомъ:

— Точно я въ купели выкупался. Это на меня ражь такая находила. Надо было на кого-нибудь излить бурный пламень, какъ поэты выражаются, — ну, я и излилъ его на дѣву, у которой вмѣсто сердца скорпіонъ какой-то сидѣлъ.

Губы его слегка искривились.

— А можете вы теперь совершенно объективно говорить объ ней? — перебилъ его Крутицынъ.

— Могу... Я ее не ругаю. Такая натура. Въ концѣ же концовъ я былъ олухъ царя небеснаго, а она свою линію вела.

— Да, Григорій Пантелѣичъ; но вы не знаете многихъ причинъ поступка этой женщины съ вами, — выговорилъ, нѣсколько смущенный, Крутицынъ.

— Да чего жь тутъ не знать? Дѣло ясное. Коментарій оно не требуетъ!

— Не совсѣмъ такъ. И я, въ этомъ дѣлѣ, приношу вамъ повинную голову...

— Вы?

— Я участвовалъ въ утайкѣ отъ васъ прошедшаго Ксеніи Николаевны...

— А что мнѣ за дѣло было до ея прошедшаго? Вы, нешто, знали ее до встрѣчи въ Вѣнѣ?

— Зналъ, — тихо вымолвилъ Крутицынъ и, не давъ Швецову сдѣлать какое-либо замѣчаніе, разсказалъ ему все, что пережилъ въ Парижѣ и въ Вѣнѣ съ Ксеніей Николаевной.

Разсказъ сильно подѣйствовалъ на Швецова. Когда Крутицынъ кончилъ, онъ всталъ, нѣсколько разъ прошелся по комнатѣ и, подойдя къ Крутицыну ударилъ его по плечу:

— Свояки, значитъ! — вскричалъ онъ и тихо разсмѣялся.

— Вы, быть можетъ, осуждаете мое поведеніе? — выговорилъ Крутицынъ.

— Христосъ съ вами! Да какъ же иначе-то можно было поступать? Я былъ въ остромъ пароксизмѣ. И еслибъ она вышла за меня, я бы, долго ли коротко ли, блаженствовалъ. Изъ-за чего же вамъ было приходить съ ненужными изліяніями, да еще вдобавокъ послѣ такихъ товарищескихъ отношеній, какія связывали когда-то васъ съ нею? Ай-да бабецъ! Безъ горечи и лицемѣрія объявляю здѣсь

торжественно: преклоняюсь передъ этимъ созданіемъ, хотя и не желаю уже стать съ ней передъ налоемъ. Преклоняюсь и слагаю съ нея всякое обвиненіе! Но вы...

Швецовъ остановился, взглянувъ изподлобья на Крутицына.

— Я?

— Вѣдь вамъ-то она, въ письмѣ своемъ, крикнула: «Ты побѣдилъ, Галилеянинъ?»

— Можетъ быть.

— Не можетъ быть, а выложено на ладонкѣ.

— Ну, а еслибъ она теперь вамъ написала такое же письмо, что бы вы сдѣлали? Полетѣли бы къ ней въ Италію?

— Нѣтъ! — отвѣтилъ залпомъ Швецовъ.

— Вотъ вамъ и разгадка моего поведенія.

— Сирѣчь, повѣсти объ Іосифѣ Прекрасномъ и женѣ Пентефріевой...

Оба разсмѣялись, но не надолго.

Швецовъ заговорилъ уже совершенно серьезнымъ тономъ:

— Судьба!... Шехеразада, да и только!... Вы и я... Гамлетъ и Санхо Пансо и попали въ однѣ клещи, продѣлали одно мытарство... И какъ натуры-ты откликнулись правильно, по непреложнымъ законамъ: у васъ легче, у меня позабористѣе... вотъ, дайте срокъ—и пигментъ еще скажется у меня... будетъ желчевой рецидивъ... Оба, выходитъ, получили по гостинчику отъ Ксеніи Николаевны... и оба пришли къ тому, что никто ни въ чемъ и ни предъ кѣмъ не виноватъ...

— Никто, — повторилъ Крутицынъ.

— А кто бы, изъ близко меня знающихъ, повѣрилъ полтора года тому назадъ, что я дойду до такой философіи?... Что я былъ? Самодуръ, распекатель, обличитель и ругатель... Все, что не по мнѣ — я преслѣдовалъ съ высоты

дурацкаго житейскаго любомудрія! И какъ тогда легко было взирать на міръ божій. Что удостоивалось одобренія доктора Швецова — то могло существовать. Что казалось ему вздорнымъ или гнуснымъ — то херилось или обзывалось крѣпкимъ словомъ. Ксенію я, въ тѣ поры, обругалъ бы что ни на есть сквернѣе и вдобавокъ возвеличилъ бы свое степенство, рѣшивши: «она — дурища, и мнѣ, мудрецу, не слѣдъ кидать передъ ней бисеру». А сегодня вотъ, послѣ передряги, которая, ой-ой, какъ легко могла отправить меня ad patres, я понимаю ее, я обезоруженъ, я — агнецъ, а не звѣрь...

— Агнецъ, — повторилъ Крутицынъ разсмѣявшись.

— Баба — великое дѣло! — продолжалъ Швецовъ: — лучшая реторта для перегонки нутра нашего! Ну, скажите вы мнѣ, сладчайшій: что значитъ появленіе такихъ личностей, какъ Ксенія, въ нашей московской селянкѣ? Сколько разъ я спрашивалъ себя: да полно — она не притворяется-ли русской? И тотчасъ же убѣждался, что она настоящій самородокъ, — вѣдь правду я говорю?

— Знаете, что на это надо отвѣтить?

— Что?

— Такъ русская печь печетъ.

— Воистину!.. И печетъ она такія сайки, что никакой нѣмецъ не распутаетъ, какими дрожжами поднято тѣсто!

— Женскій вѣковой протестъ въ новой формѣ, — выговорилъ съ грустной улыбкой Крутицынъ.

— А сломитъ и ее жизнь, если уже не сломила. Въ томъ, что было между вами, въ день ея отъѣзда изъ Вѣны, я вижу конецъ ея мраморной пластики. Заговорилъ тотъ нервъ, отъ котораго ни одна Еввина дочь еще не отвертѣлась!

— Вѣдь, сознайтесь, — перебилъ его Крутицынъ: —

намъ съ вами, послѣ такого антика, ужь не ворковать около кислосладкихъ голубицъ?

— Нѣтъ, я зароку не даю!

— Не даете?

— Острый процессъ не исключаетъ хроническаго, а ни вы, ни я не отказались жить, слѣдственно изливать на кого-нибудь свою привязанность... Я еще разъ повторяю слова автора дней моихъ: «для кого, Григорій, жить-то будешь?» Не сломила насъ Ксенія, а какая-нибудь Филицата или Перепетуя и подавно не сломитъ!

Въ эту минуту вошелъ Михаилъ Ивановичъ.

— Мудрецъ! — крикнулъ ему Швецовъ: — вѣдь мнѣ не слѣдъ отъ женскаго пола бѣгать, а напротивъ, подобаетъ прилѣпляться къ нему, какъ можно сильнѣе?

Психіатръ весело мигнулъ глазками и проговорилъ:

— Клинъ клиномъ вышибать нужно.

— Вотъ видите, генералъ отъ интеллигенціи, стало— намъ за упокой-то нечего кончать, коли можно опять начать во здравіе душъ и тѣлесъ!...

— Первое дѣло,—изрекъ, постукивая палочкой, Михаилъ Ивановичъ: — надо жениться... Тогда все придетъ въ равновѣсіе.

— А вы женаты? — спросилъ Крутицынъ.

— Трое ребятъ, батенька... и такъ, я вамъ скажу, меня тянетъ домой... То-есть всю бы психіатрію и ученые разъѣзды свои по боку, и укатилъ бы сейчасъ!

Маленькая фигурка Михаила Ивановича всей жестикуляціей показывала, какъ ей хочется узрѣть домашній очагъ.

— Сладчайшій! — окликнулъ Швецовъ.

— Что, Григорій Пантелѣичъ?

— Уразумѣли вы это знаменіе?

— Уразумѣлъ.

— И вѣрите, что наша ладья приплыветъ въ ту же пристань?

— Приплыветъ, приплыветъ, — захихикалъ Михаилъ Ивановичъ: — только бросьте руль и не мудрствуйте!

Оба пріятеля значительно переглянулись.

XVI.

Пратеръ гудѣлъ и праздновалъ первые дни весенняго гулянья. Веселый и разгульный народъ вѣнскихъ форштадтовъ разливался по полянѣ, заставленной балаганами, качелями, пивными, подмостками фокусниковъ и жонглеровъ. Музыка сливалась въ какой-то безформенный отливъ и приливъ звуковъ: тутъ сопѣла шарманка, тамъ тяжело дышалъ тромбонъ, немножко дальше хныкалъ кларнетъ, ближе обдавалъ васъ цѣлый духовой оркестръ...

Съ этого-то народнаго столпотворенія всевозможныхъ звуковъ и криковъ возвращались Крутицынъ, Швецовъ и Турусовъ, тихимъ шагомъ, по направленію къ площади, открывающей собою главную улицу Леопольдштадта.

— Ай-да мусикія! — вскричалъ Турусовъ, одѣтый очень по-весеннему и франтовато, въ гороховыхъ штиблетахъ и нѣжнаго цвѣта панталонахъ, въ обтяжку.

— Только держись барабанная перепонка, — отозвался Швецовъ, надвигая шляпу на затылокъ.

— И этакъ-то каждый день потѣшается имперскій городъ, — продолжалъ Турусовъ: — вотъ ужь подлинно его матушка въ сорочкѣ родила.

— Жаль вамъ съ нимъ прощаться, юноша? — спросилъ Крутицынъ, шедшій посрединѣ.

— А и то жаль!.. Спервоначалу я тоже фыркалъ, а полюбился онъ, чортъ его подери!

— Да опять же и Маланья, — ввернулъ Швецовъ.— Ну, признайся намъ, имѣешь еще поползновеніе увезти ее въ Италію, морскія породы съ тобой изучать?

Турусовъ почесалъ въ затылкѣ и отвернулся.

— Неужели есть такой грѣшный помыселъ? — вмѣшался Крутицынъ.

— А что-жь, господа... Вѣдь былъ... Еще третьяго-дня пришелъ къ ней въ Кругеръ-Штрассе какъ слѣдуетъ проститься... Сидитъ это она безо всякаго убранства...

— Въ чемъ мать родила! — захохоталъ Швецовъ.

— Нѣтъ, кто вамъ говоритъ, а безъ убранства, молъ, и втрое краше прежняго, ей-же ей! И такъ меня за живое забрало... Думаю: возьму я ее съ собой, уйдетъ у меня пятьсотъ гульденовъ на нее... была не была!...

— Полно вздоръ молоть, — отрѣзалъ Швецовъ: — и портки послѣдніе уйдутъ.

— Вы ее не знаете, Григорій Пантелѣичъ...

— И знать тутъ нечего: ну, кто же тебя, мягкотѣлаго адониса, не общиплетъ?

— Да вы ужь не замайте!.. Я повинился... и простились мы самымъ, то есть, чувствительнымъ манеромъ, и поднесъ я ей портъ-букэ и дюжину перчаточекъ...

— И то пересолилъ.

— Въ разныя мы стороны разъѣзжаемся, — продолжалъ въ лирическомъ тонѣ Турусовъ, снявши шляпу: — я въ кратеръ, такъ сказать, Везувія, а она...

— Поди, въ Висбаденъ на практику? — допросилъ Швецовъ.

— А вѣдь и то въ Висбаденъ она мнѣ говорила...

Швецовъ и Крутицынъ вмѣстѣ разсмѣялись.

Турусовъ не смутился, а только жалостно какъ-то выпятилъ губы.

— Господа! — вдругъ крикнулъ онъ, останавливая ихъ обоихъ: — завтра мы разъѣдемся въ разныя

стороны, что-же бы хоть единый флакончикъ сокрушить?

— Не улеглась у васъ страсть къ флакону? — сказалъ, трепля его по плечу, Крутицынъ.

— Да вѣдь я съ вами ни одного не сокрушалъ флакона, Александръ Павлычъ, и то вспомните; а минута, такъ сказать, трагическая... Увидимся — нѣтъ-ли: старуха на-двое сказала...

— Въ кратеръ Везувія что-ли собираешься прыгнуть, — спросилъ Швецовъ: — какъ баронъ Брамбеусъ?

— Да я не въ одинъ Неаполь норовлю... А Египетъ? — Мало-ли что можетъ стрястись... тигръ заѣстъ...

— Шампанское не застрахуетъ васъ, — проговорилъ Крутицынъ, ласково глядя на Турусова. — Скажемъ вамъ попросту: въ добрый путь! Въ Египетъ-то раненько; а по Италіи погуляйте, да къ зимѣ опять работать... а еще лучше: направляйтесь каждый разъ туда, куда тянетъ...

— А меня, — отозвался Швецовъ: — тянетъ выпить кофею...

Они поднялись, въ это время, уже по ту сторону рѣки, къ зданію почты...

— Крутицынъ! — крикнулъ Швецовъ. — Опять судьба! Помните вы это мѣсто?

— Гдѣ мы теперь?

— Да... вонъ видите: убогая кофейня, гдѣ я, въ день пріѣзда изъ Граца, бесѣдовалъ съ вами?.. Точно невидимая рука привела насъ къ ней. Въ нее и войдемъ.

Они вошли опять въ ту же угловую, совершенно пустую комнату. Когда удалился гарсонъ, принесшій имъ три чашки кофе, они не сейчасъ заговорили: вышла какая-то особенная, знаменательная пауза.

— Отчего это мы вдругъ замолкли? — окликнулъ Турусовъ.

— Ты знаешь, мягкотѣліе, — отвѣтилъ ему Швецовъ: —

старыя кумушки говорятъ въ такія минуты, «тихій ангелъ пролетѣлъ». А я скажу: обозначаетъ это внезапное молчаніе вотъ что: мы должны тебѣ напутствіе сдѣлать, да и для самихъ не худо итоги подвести...

— Возглагольте! — пробасилъ Турусовъ.

— Когда-то въ Москвѣ я тебѣ окрикъ давалъ: «ты, молъ, молодъ, глупъ, сопливъ и кривоногъ».

— Ну, а теперь какого чина отъ васъ дождусь?

— Ни въ какой чинъ возвести тебя нельзя, ибо ты еще, какъ молодой песъ, пробуешь только, какая тебѣ травка пользительнѣе...

Швецовъ отхлебнулъ изъ чашки и вскричалъ:

— Нѣтъ, другъ Турусовъ! Не могу я больше шельмовать тебя по-московски!.. То одно время было, а теперь — другое... Обижать я тебя никогда не обижалъ; но подъ казанскими прибаутками все-таки съ тобой генеральствовалъ...

— Ну, что вы, Григорій Пантелѣичъ, — забормоталъ Турусовъ: — какія между нами великатности?!

— Все едино... Мнѣ тридцать-два года, тебѣ двадцать-два, а кто кого мудрѣе — про это я не извѣстенъ. Я рѣчь повелъ къ тому, что больно у насъ форсу скоро набираются. И во мнѣ, ты помнишь, сколько его было. Ты его сносилъ, и я твою мягкость выше моего тогдашняго пигмента ставлю... слышишь ты это?

Турусовъ просіялъ и завертѣлся на стулѣ.

— Но,—продолжалъ съ удареніями Швецовъ: — и ты, смотри, не набирайся, съѣздивши за морскими-то породами, фанаберіи! А набраться ее куда не трудно по той причинѣ, что на безлюдьѣ — и Ѳома дворянинъ...

Онъ обратился въ сторону Крутицына:

— Александръ Павлычъ, вы, навѣрное, не разъ задумывались надъ этимъ, да только по незлобію вашему не хотѣли говорить.

— Надъ чѣмъ? — откликнулся Крутицынъ, которому Швецовъ, въ эту минуту, особенно нравился.

— Надъ страшной бѣдностью талантовъ промежду нашей молодежью?

— Да... — вырвалось у Крутицына.

Турусовъ кивнулъ грустно головой.

— Я, — заговорилъ Швецовъ, одушевленно поднимая руку: — не стану ругаться и обличать для обличенія. Я свидѣтельствую то, что вижу глазами и разумѣю мозгомъ...

Крутицынъ не возражалъ.

— Слышишь ты это, Турусовъ? — вопросилъ Швецовъ.

— Чую.

— А коли чуешь — послушай ты моего не генеральскаго, а пріятельскаго совѣта: не чувствуешь въ себѣ искры — не лѣзь въ цеховые приватъ-доцентишки; въ гаеры, въ трубочисты, въ маркеры или, во что хочешь; но не распложай ты племя бездарныхъ прихлебателей знанія! И чѣмъ бы ты ни былъ, помни и денно, и нощно, что всѣ мы, безталанный народишко, должны знать свой шестокъ и не смѣшить куръ, надуваясь по-лягушечьи! Вотъ тебѣ мое напутствіе.

Турусовъ, вмѣсто всякаго отвѣта, полѣзъ цѣловаться съ Швецовымъ.

— Не напутствуете ли и меня? — спросилъ, пододвигаясь, Крутицынъ.

— Давно собирался, — сказалъ улыбаясь, но болѣе мягкимъ голосомъ, Григорій Пантелѣичъ: — и сама судьба, видно, приказала мнѣ оставить напутствіе вотъ до питія кофеевъ въ этой дырѣ.

— Ну-ка, ну-ка! — вскричалъ Турусовъ, находившійся на полномъ взводѣ нервнаго возбужденія.

— Завтра, — началъ Швецовъ: — мы разъѣдемся —

вы—въ Россію, я на—время въ Берлинъ, и потомъ тоже въ Россію. Когда, полтора года тому назадъ, въ Москвѣ, мы собирались въ путь, каждый изъ насъ ѣхалъ съ тѣмъ, чтобы потомъ взять хорошій процентъ съ заграничнаго житья. По крайней-мѣрѣ, я разсчитывалъ на вѣрный ходъ въ гору, на готовое торжество и благоденствіе среди папуанцевъ. Я ѣду гражданиномъ вселенной, то есть потерявъ все, что водружалъ съ великими усиліями, вы — на ту же свободу труда, какая у васъ была. Но, сдается мнѣ, я возвращаюсь бодрѣе, чѣмъ вы, дорогой Александръ Павлычъ. И мнѣ очень желательно смазать ваше душевное недовольство нѣкоторымъ елеемъ...

— Откройте амфору, — промолвилъ Крутицынъ.

— Извольте... Что заѣдаетъ насъ — я и себя не выключаю совсѣмъ изъ того же цеха — что заѣдаетъ насъ наипаче? Фальшивое сознаніе, что мы къ такому-то возрасту не практикуемся въ крупныхъ дѣяніяхъ, не спасаемъ человѣчества или не выдѣляемъ изъ себя ежедневно такого-то количества общепризнанныхъ солидныхъ добродѣтелей? Какъ мы ни паримъ разумомъ, а насъ это заѣдаетъ...

— Какой же елей на эту язву? — спросилъ Крутицынъ.

— Очень дешевый! Кто доказалъ намъ, что мы, неспособные на крупные подвиги, въ то же время не практикуемся въ нашихъ особыхъ добродѣтеляхъ, которыя стоятъ солидныхъ добродѣтелей людей, давно нашедшихъ свою тарелку? Никто этого не доказалъ и не докажетъ! Къ чему программы, зачѣмъ клѣточки, какая тутъ табель о рангахъ полезности, серьезности, благонамѣренности? Я ея держался когда-то, а теперь всячески отплевываюсь! Къ чему на каждомъ шагу щупать себѣ пульсъ и шептать: жизнь уходитъ, а я еще ни къ чему не приспособился? Читалъ я не мало о лишнихъ людяхъ и объявляю,

что никакихъ лишнихъ людей — нѣтъ. Всѣ нужны, а безъ этого жизнь была бы безобразный хаосъ!

Никогда еще, въ присутствіи Крутицына, не говорилъ Швецовъ съ такимъ увлеченіемъ. Крутицынъ началъ слушать съ нѣкоторымъ недовѣріемъ, но подъ конецъ тихая улыбка показала, что «напутствіе» отвѣтило на его затаенныя думы.

— Батюшка, Александръ Павлычъ, — вскричалъ Турусовъ: — что изволите изрѣчь на сіе разительное слово?

— Скажу, — отвѣтилъ Крутицынъ: — что въ устахъ Григорія Пантелѣича слово это сильнѣе, убѣдительнѣе, чѣмъ оно было бы въ моихъ... Да!.. все это недалеко отъ правды, но надо опять начинать съизнова.

— И начнемъ! — возгласилъ прежнимъ зычнымъ голосомъ Швецовъ:—и пойдемъ съ котомкой простаго работника! Выше нѣтъ званія этой святой поденщины; и никакія солидныя добродѣтели не поднимутся до нея!...

— Но мы не въ безвоздушномъ пространствѣ, Григорій Пантелѣичъ, — возразилъ, все еще грустно, Крутицынъ.

— Что это значитъ?

— Надо все съ тѣми же папуанцами возиться.

— И будемъ возиться, но уже не такъ, какъ азъ, многогрѣшный, возился съ моими папуанцами. Я въ нихъ заискивалъ изъ фарисейскихъ лукавыхъ цѣлей, командовать желалъ, величаться, мошну набивать, болванье это кланяться заставлять. А въ сущности я передъ ними холуемъ былъ; они, раскусивши это, какъ съ холуемъ со мной и обошлись, когда я имъ больше не сталъ надобенъ. Если я теперь пойду къ обывателямъ, такъ за тѣмъ только, чтобы ихъ кубышки на народное дѣло употреблять, забывая о своемъ благоутробіи...

— Безъ поблажки пузатому капиталу не обойдетесь, — перебилъ, качая головой, Крутицынъ: — я пробовалъ и

бросилъ это, какъ не подходящую, для нашего брата, затѣю. Безъ службы татарскому тщеславію разныхъ Алексѣевъ Аввакумычей тутъ немыслимъ никакой починъ...

— А немыслимъ, такъ мы этихъ Алексѣевъ Аввакумычей — къ лѣшему! Сядемъ въ берлогу, въ лѣса уйдемъ, не на общество купеческое, а на весь крестьянскій людъ работать. Въ первый попавшійся уѣздъ приду, дипломы свои покажу, и мѣстишку земскаго врача въ 75 рублевъ буду радъ, какъ маннѣ небесной!

— Вотъ это прямой и чистый путь! — вскричалъ Крутицынъ, и если не полѣзъ цѣловаться съ Швецовымъ, то потому лишь, что тотъ, въ эту минуту стоялъ въ дальнемъ углу, а средину комнаты занималъ Турусовъ.

— И будемъ, — заключилъ Григорій Пантелѣичъ: — кійждо подъ смоковницей своей... Только не благодушествовать и не чревоугодничать... Слышишь, Турусовъ! Не мудрствуя лукаво и храня обѣтъ всепрощенія...

— Ну, ужь это аттанде! — вдругъ завопилъ Турусовъ: — всепрощеніе! Это, значитъ, всякую пакость оправдывай?

— Примолчи, паренекъ. Борись, но не священнодѣйствуй и не карай, какъ судія, — иначе ты не сынъ науки.

— Аминь! — протянулъ Турусовъ и поклонился въ поясъ сперва Крутицыну, потомъ Швецову: — съ тѣмъ я, блудный сынъ естествовѣдѣнія, и поплыву по Адріатикѣ.

Онъ встряхнулъ гривой и съ лирической нотой въ голосѣ заговорилъ:

— Больно мнѣ жутко, господа, съ вами прощаться! И не хочу я производить разставаніе въ этой душной конурѣ. Поглядите-ка, ночь какая заблистала. Пойдемте, отыщемъ Дунай и тамъ возсядемъ на берегѣ!

— Ха-ха-ха! — разразился Швецовъ. — Отыскивать Дунай приглашаетъ!

— Да вы что хохочете, Григорій Пантелѣичъ, а позвольте узнать, были ли вы хоть единожды на этой древне-славянской рѣкѣ?

— Нѣтъ, не бывалъ.

— Да и я не видалъ ее, — сознался Крутицынъ.

— Ну, а ты былъ? — спросилъ Швецовъ.

— Проникалъ, и хоша не совсѣмъ твердо помню путь, одначе проведу.

— Будь по твоему, — рѣшилъ Швецовъ: — идемъ.

Всѣмъ троимъ было хорошо, каждому по-своему; а Крутицынъ сказалъ, пожимая руку Швецову:

— Вы мнѣ помогли, Григорій Пантелѣичъ, вернуться домой съ иными итогами. Только вашими бы устами да медъ пить.

Мягкотѣліе повелъ ихъ въ сторону отъ «Вурстель-Пратера», завелъ на какой-то изрытый пригорокъ, покаялся въ томъ, что онъ «запамятовалъ» прямой путь, сунулся въ лѣсокъ, потомъ на строящуюся желѣзную дорогу. Терпѣніе его спутниковъ готово было лопнуть.

— Вода, вода! — гаркнулъ онъ, наконецъ, и точно второй Колумбъ, указывая вдаль правой рукой, лѣвой величественно подбоченился.

Полный мѣсяцъ игралъ на полотнѣ рѣки, и трое искателей ея присѣли подъ деревомъ, усталые, но дѣйствительно довольные своей находкой.

— Турусовъ, — окликнулъ Григорій Пантелѣичъ: — у насъ-то, на Волгѣ, объ эту пору, какъ разъ хороводы водятъ и то-то, чай, голосятъ:

Ай, Дунай, ты мой Дунай,
Сынъ Ивановичъ Дунай!

Турусовъ подхватилъ припѣвъ, и пѣсня понеслась по рѣкѣ, дрожа въ безмятежномъ воздухѣ.

XVII.

Легко дышалось Крутицыну, когда онъ подъѣзжалъ къ городу N., откуда, повидавшись съ Парашей и съ двумя своими пріятелями, на другой же день собирался къ Еленѣ Петровнѣ, уже переѣхавшей въ деревню.

Послѣднее письмо тетушки отзывалось чуть не отчаяніемъ. Она потеряла совсѣмъ надежду увидать его и грозила ему, что онъ найдетъ ея могилу на погостѣ. Онъ телеграфировалъ ей изъ Варшавы и зналъ, что теперь она успокоена. Ему пріятно было предвкушать то, какъ тетушка изумится, когда увидитъ его, и тотчасъ же пойметъ женскимъ чутьемъ, что ея «шатунъ» возвращается въ новомъ и свѣтломъ душевномъ настроеніи, хотя все такимъ же бобылемъ, холостякомъ и скитальцемъ.

На все по дорогѣ глядѣлъ Крутицынъ съ улыбкой... Точно все, въ его отсутствіе, стало чище, радостнѣе, точно сулило какія-то невѣдомыя блага, точно говорило про всеобщее довольство, про широкую и могучую волну жизни. Не слащавый оптимизмъ подмывалъ и наполнялъ его, а та совершенно новая скромность желаній и легкость, съ которой онъ отставлялъ свое лирическое «я» на самый дальній планъ.

Въ Москвѣ онъ пробылъ нѣсколько часовъ; но и въ эти нѣсколько часовъ испыталъ нѣчто очень отрадное.

Какъ разъ на углу Долгоруковскаго переулка, который онъ когда-то огибалъ, направляясь въ «Капернаумъ», столкнулся онъ съ Сонечкой. Она бросилась къ нему, а онъ сразу почти не узналъ ея: такъ она измѣнилась. Передъ нимъ стояла не обитательница «леманскихъ ком-

натъ съ небелью», прохаживающаяся по части «вольныхъ машкарадовъ», а весьма серьезная особа, въ другомъ туалетѣ, съ другими пріемами, другимъ тономъ рѣчи. Крутицынъ просто ахнулъ.

— Я ужь хозяйствую, — сказала она ему съ внутреннимъ, добродушнымъ довольствомъ: — и на моемъ экзаменѣ не остановлюсь.

И онъ видѣлъ, что эти слова не на вѣтеръ. Она разспросила о Турусовѣ съ участіемъ, и прибавила, что оба они — ученики Александра Павлыча, и пожелала микроскописту идти такъ же, какъ и она, потихоньку, но безъ устали.

— Докторъ Швецовъ, — сказалъ ей на прощанье Крутицынъ: — еслибъ стоялъ теперь съ нами, повинился бы торжественно въ прежнихъ своихъ замашкахъ.

— Онъ, стало, измѣнился?

— Да, выкупался въ купели, какъ самъ говоритъ, и вы бы въ него, Сонечка, теперь, пожалуй, не на шутку влюбились.

Сонечка усиленно звала Крутицына къ себѣ показать ему свое «родовспомогательное заведеніе», какъ она не безъ важности выражалась: онъ обѣщалъ это сдѣлать въ первый же разъ, какъ попадетъ въ Москву, и попросилъ ее, въ свою очередь, взять ящикъ съ книгами у знакомыхъ и выбрать изъ нихъ, что ей нужно, а остальное выслать ему въ деревню Елены Петровны.

. . . .

И опять сидѣлъ онъ на диванчикѣ Парашиной спальни, и держалъ ее за пухлую ручку.

Но, увы! Крутицынъ ощутилъ какой-то тупой толчекъ, точно наткнулся на что-то непробудное, омертвѣлое, механическое...

Параша расплылась: формы совсѣмъ исчезли въ общей пухлой массѣ. На лицѣ лежалъ матовый, жирный

лоскъ. Глаза смотрѣли лѣниво и сухо. Губы сложились въ самодовольную, купеческую, чопорную усмѣшку.

«Что съ ней сдѣлалось въ полтора года!» съ печалью выговорилъ, про себя, Крутицынъ, и тотчасъ же пересталъ жалѣть объ этомъ: такъ впечатлѣніе, производимое на него Парашей, пахнуло жизнью, съ которой онъ разорвалъ навѣки всякую связь, даже связь случайнаго наблюдателя. «Туда ей и дорога!» рѣшилъ онъ, и не устыдился этой фразы.

Параша вяло задала ему нѣсколько пустыхъ вопросовъ о Парижѣ и, точно затверженный урокъ, заговорила о томъ, какъ ему не стыдно слоняться въ тридцать-четыре года, и какъ она не понимаетъ возможности выѣхать куда-нибудь за предѣлы своего города.

— Да и гдѣ же, — заключила она: — найду я такое положеніе, какое имѣю по мужу моему?

Слово «мужъ» она выговорила съ какимъ-то захлебываніемъ.

— Ты, конечно, знаешь, по письмамъ Елены Петровны (она такъ уже называла ее), что Jean — предсѣдатель управы. И получаетъ жалованья пять тысячъ рублей.

— Пять тысячъ? — переспросилъ Крутицынъ.

— Пять... Да ему прибавятъ еще. Теперь я могу сказать, что онъ первый человѣкъ въ губерніи.

Крутицыну сдѣлалось такъ скверно, и такое онъ чувствовалъ истощеніе діалектики, что вдругъ спросилъ:

— Ты беременна?

И подумалъ:

«Хоть дѣторожденіе-то, по крайней-мѣрѣ, идетъ какъ слѣдуетъ».

— Съ какой стати! — фыркнула Параша. — Довольно поиграли. Съ нашими средствами нельзя больше двоихъ дѣтей имѣть.

— Какъ нельзя? — Да развѣ это по заказу: сколько положили, столько и будетъ?

— Ужь такъ ухитряемся... — отвѣтила Параша съ особой усмѣшкой не то цинизма, не то практическаго «себѣ на умѣ».

«Ну, такъ и есть», подумалъ Крутицынъ: «всѣ пріемы закорузлаго, омѣщанившагося рантьерства: такса на дѣтей и культъ приданаго».

— Да нынче, — пояснила Параша: — кто же иначе живетъ. Съ чѣмъ же мы дѣтей пустимъ? Ты, кажется, современный человѣкъ, стало — знаешь это.

— Да, да, — повторилъ Крутицынъ, не глядя на нее.

И онъ долженъ былъ «претерпѣть» обѣдъ съ Иваномъ Ѳедоровичемъ. Этотъ ни на одинъ штрихъ не измѣнился въ своей внѣшности; Крутицынъ нашелъ даже проборъ на томъ же неизмѣнномъ мѣстѣ: между швомъ лобной кости и вискомъ, на полвершка отъ шва.

Но тонъ Ивана Ѳедоровича сталъ иной. Онъ, послѣ первыхъ сухихъ вѣжливостей, вдругъ почти накинулся на Крутицына за вредное направленіе современной литературы.

— Помилуйте-съ, — процѣживалъ онъ сквозь зубы: — позволяютъ себѣ всякіе мизерабли издѣваться въ формѣ сатирическихъ разсказовъ надъ представителями цѣлыхъ губерній! Что же это такое? Вы не жалѣете ни трудовъ, ни здоровья... добиваетесь, смѣю думать, образцовыхъ результатовъ, и вдругъ васъ въ паскудномъ видѣ... И это называется радикализмомъ!

— Васъ что ли изобразили? — спросилъ Крутицынъ, не поднимая головы отъ тарелки, совершенно равнодушнымъ тономъ.

— Нѣтъ-съ! — точно ужаленный вскричалъ Иванъ Ѳедоровичъ и злобно взглянулъ на темя Крутицына: — поглядѣлъ бы я, какъ бы меня изобразили?! Слава Богу,

люди съ энергіей и принципами умѣютъ пользоваться благодѣяніемъ суда!...

— Судиться бы стали, значитъ, если бы васъ въ разсказѣ, подъ именемъ какого-нибудь Ѳедора Иваныча, вывели? — спросилъ невозмутимо Крутицынъ.

— Конечно, сталъ бы-съ!... И не для себя.

— А для избравшихъ васъ?

— Да-съ... Я умѣю цѣнить выборное начало, только я разумѣю его не такъ, какъ вы, господа радикалы, проповѣдуете... Я нахожу, что и теперь оно слишкомъ расширено... Самоуправленіе, государь мой (Иванъ Ѳедоровичъ такъ и сказалъ: «государь мой»), мыслимо лишь при незыблемыхъ прерогативахъ того класса, котораго интересы завязаны по преимуществу, и котораго просвѣщеніе...

— Да, да, — остановилъ его рукой Крутицынъ, думая въ это время: «и чтобы твои интересы были еще сильнѣе завязаны въ самоуправленіи, ты, при двухъ тысячахъ десятинъ земли, кладешь себѣ въ карманъ пять тысячъ земскихъ рублей».

— Ты, Саша, что воображаешь, — вступила въ бесѣду Параша, тономъ совершенной горничной: — Jean пять тысячъ жалованья получаетъ, за то и онъ губерніи двадцать тысячъ экономіи сдѣлаетъ.

— И газъ свой зажгли? — освѣдомился Крутицынъ.

— Зажжемъ-съ, — уже просто грубо отвѣтилъ Иванъ Ѳедоровичъ: — а пока и керосинъ у насъ погоритъ; мы вѣдь не тонкіе европейцы, не хвататели верхушекъ.

Крутицынъ вооружился особаго рода неуязвимостью и сказалъ:

— Школы у васъ, конечно, уже въ полномъ ходу...

— Мм... — промычалъ Иванъ Ѳедоровичъ: — это придетъ... изыскиваемъ средства... вѣдь это не тяпъ да ляпъ, и вышелъ карабь!

— Конечно, — поддакнулъ Крутицынъ, вставая изъ-за стола: — я и забылъ оклады господъ устроителей земскаго благоденствія.

Иванъ Ѳедоровичъ, отходя ко сну, не удостоилъ даже кивкомъ своего гостя.

Какъ школьникъ, вырвавшійся въ перемѣну изъ класса, побѣжалъ Крутицынъ къ Юсу.

XVIII.

Волга еще не вошла въ свое обыкновенное русло. Разливъ топилъ луговой берегъ и кое-гдѣ только выступали изъ-подъ воды островки и проталинки. Вверхъ по рѣкѣ полоса воды сливалась съ алымъ закатомъ.

На откосѣ крутаго берега, отдѣланнаго садомъ, стоялъ Крутицынъ. Съ нимъ были Юсъ и Статистика. Оба они провели съ нимъ все послѣобѣда.

Юсъ не похорошѣлъ, но смотрѣлъ полнѣе. Только сѣдой волосъ пробивался замѣтнѣе. Статистика, напротивъ, похудѣла и пожелтѣла; бородка удлинилась клино-образно.

— Воскресъ изъ мертвыхъ! — вскричалъ все съ тѣмъ же шутовствомъ Сергѣй Порфирычъ, кладя руки на плечи Крутицыну: — вернулся на лоно любезнаго отечества живъ и здравъ; а мы тутъ...

— Умираемъ? — спросилъ разсмѣявшись Крутицынъ.

— Да, спеціалистъ; въ чаду лобзаній, я и забылъ совсѣмъ перетолковать съ вами обширно.

— Чахотка опять?

— Сядьте-ка, сядьте, вотъ на травку-муравку. И ты, Статистика, опускайся всѣмъ средствіемъ впередъ, не упираясь на оное.

Опустились. Крутицынъ переглянулся со Статистикой.

Сергѣй Порфирычъ наклонился къ Крутицыну и, вытаращивъ глаза, выговорилъ таинственно:

— Вѣдь шлютъ опять меня.

— На воды? — спросилъ Крутицынъ.

— Извѣстно, на воды, а не въ Соловки на покаяніе.

— А лучше бы на покаянье.

— Не перебиве муа, когда я вамъ о дѣлѣ, государь мой, говорю.

И Крутицынъ, и Статистика расхохотались, услыхавши интонацію Ивана Ѳедорыча, въ каррикатурѣ.

— Вотъ у меня гдѣ эти воды сидятъ.

И Сергѣй Порфирычъ указалъ трагическимъ жестомъ на горло.

— А что такъ? — освѣдомился Крутицынъ.

— Вы знаете ли, какъ я намаялся въ этомъ Ишлѣ?

— Нѣтъ, не знаю.

— Ну, такъ я вамъ разскажу. «Путеводитель» Майскаго расписалъ какіе-то семирамидины сады: и тирольки, молъ. А перво-на-перво тирольки добродѣтели такой, что никакого приступу!

— И прекрасно, это curgemäss.

— Curgemäss! А вы бы пожили тамъ недѣльки три, такъ бѣлужиной бы запѣли. Да это еще куда ни шло. Первые пять дней пью и беру ванны; какъ-будто подлегчало, да вдругъ какъ схватитъ меня обморокъ, другой, третій. А! Каковъ разбой?! И этакъ они отъ чахотки лечатъ!

— Да вы отъ здоровья въ обморокъ падали, вамъ не слѣдовало въ Ишль.

— Куда же мнѣ слѣдуетъ?

— Я уже тысячу разъ говорилъ: на сцену!

— А это чѣмъ пахнетъ?

И Сергѣй Порфирычъ вынулъ изъ бумажника продолговатую бумажку и подалъ ее Крутицыну.

— Прочтите-ка, что начертано?

— Написано: «Киссингенъ, источникъ Рагоци».

— А! Какъ же мнѣ тутъ быть?

— Кто вамъ далъ эту консультацію?

— Въ Москву ѣздилъ.

— Изъ всѣхъ водъ, эти еще всего подходящѣе: катарръ у васъ навѣрно есть.

— Да одинъ ли катарръ тамъ лечатъ: вы посмотрите-ка у Майскаго? Киссингенъ, говоритъ, лежитъ въ живописной долинѣ баварскаго Пфальца. Воды его четырехъ источниковъ пользительны отъ желу...

Юсъ остановился вдругъ, обернувшись всторону, и вполголоса крикнулъ:

— Въ ранжиръ, ребята, руки по швамъ! Начальство идетъ!

Юсъ всталъ. За нимъ, оглядываясь, поднялись и Крутицынъ со Статистикой.

По дорожкѣ шли въ ногу Иванъ Ѳедоровичъ и худой, долгоногій господинъ въ гороховомъ пальто, котораго Крутицынъ тотчасъ же призналъ за субститута.

— Идолы! — шепнулъ, сдѣлавши пресмѣшную рожу, Юсъ, и съ пріятнѣйшей улыбкой раскланялся по направленію приближающихся «особъ».

Иванъ Ѳедоровичъ не остановился бы и врядъ-ли бы даже поклонился Крутицыну; но субститутъ, приподнявши чопорно шляпу, приблизился къ Статистикѣ и сказалъ ей:

— Изволите наслаждаться природой... и, быть можетъ, сознаніемъ своего вчерашняго успѣха? Но я вамъ хотѣлъ сказать, что я дѣла этого такъ не оставлю, и ваши милые пейзане пойдутъ dans un pélerinage un peu lointain. Такихъ мерзавцевъ надо преслѣдовать во что бы то ни стало, и вчерашній приговоръ болѣе чѣмъ удивляетъ меня. Но онъ доказываетъ, что on a surpris la religion des jurés.

Пріятель Крутицына началъ щипать бородку, а когда представитель общественной совѣсти перевелъ духъ, онъ сказалъ очень твердо и глядя съ улыбочкой на Крутицына и Юса:

— Вы обжаловали рѣшеніе суда. Это ваше дѣло. А на лонѣ природы позвольте мнѣ не вступать съ вами въ пренія: на это была у васъ камера суда.

И, не ожидаясь отвѣта, онъ обернулся спиной къ гороховому пальто. То же сдѣлали и его пріятели.

— Это товарищъ прокурора? — спросилъ Крутицынъ.

— Нѣтъ, онъ уже теперь чиномъ выше, — отозвалась Статистика

— Въ чемъ же дѣло?

— Вы слышали. Его злость разбираетъ, что я помогъ крестьянамъ одной подгородной деревни выиграть дѣло, а онъ и спитъ и видитъ упечь ихъ на поселеніе.

— Стало, вы въ плотную принялись за адвокатуру?

— Нѣтъ. И не примусь. Довольно съ меня и того, что я испыталъ. Такъ, при случаѣ, когда надо, стану защищать, а записываться въ цехъ повѣренныхъ, — сдѣлаешься такимъ же карателемъ и упекателемъ, только съ другой стороны.

Никогда еще не слыхалъ Крутицынъ отъ Статистики такихъ энергическихъ и прочувствованныхъ звуковъ.

— Одно слово, — спаясничалъ Юсъ: — покоряйтеся, языцы, яко съ нами Богъ!

Онъ выпятилъ губы ни дать, ни взять, какъ прокуроръ, и проговорилъ картаво:

— Институтъ присяжныхъ имѣетъ проникнуться высотой принципа, на которомъ было построено наше вмѣненіе.

Всѣ трое разсмѣялись.

— Нѣтъ, — начала уже своимъ обычнымъ тономъ Статистика: — подальше отъ этого міра; вонъ тамъ у

мужиковъ,—и онъ указалъ рукой на Заволжье:—каждый день, проведенный съ толкомъ, стоитъ десятилѣтнихъ сношеній съ этими, какъ Юсъ ихъ называетъ, идолами.

Крутицынъ выслушалъ и, подавая руки обоимъ пріятелямъ, сказалъ громко:

— Простите меня, друзья мои!

— За что? — серьезно откликнулся Сергѣй Порфирычъ.

— Полтора года тому назадъ, когда я прощался съ вами, я васъ причислилъ къ міру счастливцевъ, населяющихъ бытовой станъ, гдѣ процвѣтаютъ Иваны Ѳедоровичи и субституты; правда, къ лучшимъ его людямъ, но все-таки къ его людямъ. Я ошибался, и говорю теперь съ радостью: вы оба нашего поля ягода. Одинъ подъ наружнымъ примиреніемъ ведетъ работу неустаннаго протеста, не мирясь ни съ чѣмъ, что не его вѣра; другой самой лѣнью своей протестуя также противъ «идоловъ», и зная, что онъ не созданъ для соціальной дѣятельности, не хочетъ пополнять собой болота самодовольныхъ и непризванныхъ устроителей, карателей и направителей. Онъ дурачится, — и прекрасно!

— Карашо! — заключилъ Юсъ.

XIX.

Елена Петровна сидѣла на балконѣ и читала безъ очковъ, поглядывая повременамъ, на свой садикъ, покрывающійся зеленью. Все въ немъ было насажено ея руками. Отъ балкона шла полоса дерна, за которой виднѣлась бесѣдка. Туда помѣстила она Крутицына.

. . . .

Онъ нашелъ тетушку гораздо бодрѣе и свѣжѣе, чѣмъ ожидалъ. Правда, она совсѣмъ посѣдѣла; но сѣдина шла къ ней такъ, будто она нарочно пудрилась. Елена Петровна расцвѣла дѣйствительно, когда увидала, что у ея любимца нѣтъ уже больше прежней хандры. Онъ ей разсказалъ всю свою парижскую и вѣнскую эпопею и нашелъ въ ней отголосокъ на каждое свое душевное движеніе. Они зажили совсѣмъ отшельническою жизнью, и Елена Петровна боялась только одного: какъ бы Крутицынъ не слишкомъ скоро пришелъ объявить ей, что пора ему идти на работу. А онъ, дѣйствительно, остался у ней единственнымъ другомъ: о Парашѣ она перестала и говорить, не желая осуждать ее и не видя никакой возможности измѣнить ея превращенія въ «образъ и подобіе» своего супруга.

Крутицынъ вспомнилъ, что онъ тоже врачъ, и началъ полечивать крестьянъ. Ему легко было войти въ ихъ житье-бытье, потому что онъ никогда не приходилъ съ ними въ столкновеніе, какъ помѣщикъ. Онъ не пріобрѣлъ, ни наслѣдственно, ни лично, тѣхъ пріемовъ не искренняго, пустаго и себялюбиваго отношенія къ народу, которое не заражаетъ только самыхъ избранныхъ натуръ въ барскомъ мірѣ. Мѣстность, гдѣ лежала усадьба Елены Петровны, была кругомъ промышленная. При крѣпостномъ правѣ царствовалъ тутъ оброкъ. О помѣщичьей власти тетушка не жалѣла, но сознавалась Крутицыну, что при всемъ своемъ желаніи не умѣетъ приблизить себя къ крестьянской средѣ — «по новому», какъ она выражалась.

— Ты мнѣ и помоги, — говорила она: — я вѣдь здѣсь же косточки свои положу, такъ надо же что-нибудь для мужичковъ сдѣлать.

Крутицынъ не могъ винить ее за то, что она не начала новой жизни, собираясь скоро на вѣчный покой. Ужь и тѣмъ она его радовала, что на каждое его слово, об-

ращенное на жгучія нужды «пейзанъ», какъ называлъ ихъ субститутъ, откликалась съ непоблекшей свѣжестію чувства...

. . . .

Былъ пятый часъ послѣ-обѣда. Крутицынъ вошелъ на балконъ. Елена Петровна взглянула на него пристально, и спросила:

— Усталъ ты, Саша?

— Нѣтъ, голубушка, — отвѣтилъ весело Крутицынъ: — а что?

— Я хотѣла съ тобой поговорить объ одномъ моемъ желаніи.

— Я къ вашимъ услугамъ.

Онъ присѣлъ около нея на низкій табуретъ.

— Саша, ты видишь, какъ я живу, и что я проживаю.

— Немного.

— Ну, то-то же... Половина, а то и больше дохода у меня остается. Въ городъ я больше не поѣду, ты знаешь — почему, а скоротаю свой вѣкъ здѣсь. Домъ продамъ или отдамъ внаемъ... И останется у меня больше двухъ тысячъ дохода.

Елена Петровна потупилась и выговорила не совсѣмъ твердо:

— Я желала бы, дружокъ, предоставить это тебѣ еще при жизни...

Крутицынъ всталъ, взялъ ее за руку, поцѣловалъ и выговорилъ совершенно просто:

— Въ первый разъ не исполню вашего желанія и не приму этихъ денегъ.

— Да помилуй! — возразила, чуть не со слезами, Елена Петровна: — у тебя ничего нѣтъ, ты бобыль, здоровье плохое... лучше, что ли, что они у меня въ шкатулкѣ будутъ лежать, эти деньги?

— Извольте, я принимаю, — сказалъ вдругъ другимъ голосомъ Крутицынъ.

— Ахъ! голубчикъ! Какъ я рада!...

Елена Петровна потянулась обнимать его.

— Но я принимаю, — продолжалъ Крутицынъ: — съ тѣмъ, чтобы эти деньги изъ вашей шкатулки шли на тѣхъ, у кого нѣтъ моихъ средствъ къ добыванію себѣ куска хлѣба.

— То-есть, — вскричала ужь совсѣмъ потерянно Елена Петровна: — ты отказываешься?

— Нѣтъ, голубушка, и чтобъ доказать вамъ противное, я завтра же предложу вамъ, на что употребить мою годовую пенсію.

Тетушка тяжело опустила голову, но рука ея искала руки Крутицына и крѣпко пожала ее.

— Послушай, — заговорила она тономъ адвоката, истощившаго всѣ доводы: — вѣдь я тебѣ же все оставлю...

— Вотъ объ этомъ-то я и буду умолять васъ, — вскричалъ Крутицынъ: — не дѣлайте мнѣ этого тяжелаго сюрприза. Я не былъ ни собственникомъ, ни рантьеромъ... Позвольте мнѣ остаться пролетаріемъ.

И онъ полукомически сталъ передъ ней на колѣна.

— Кому же пойдетъ мое добро?

— Все тѣмъ же, кому и моя пенсія.

Оба помолчали.

— Не скупая я женщина, — проговорила Елена Петровна, разводя руками: — не умѣла копить, а ты и меня перещеголялъ...

И она горячо поцѣловала Крутицына.

— Хоть бы кому-нибудь изъ близкихъ что-нибудь оставить... Ни Евстигнея, ни Маргариты... Одинъ ушелъ, куда и я скоро пойду, а другая не отъ міра сего... ей ничего не надо!

— За то сколькимъ надо! — закончилъ Крутицынъ,

указывая рукой на деревню, виднѣвшуюся изъ воротъ сада.

— Да, — прошептала Елена Петровна. — Мы — не вы... Жили барами, и умремъ барами... ваше добро лучше...

XX.

Вешнее солнце опускалось золотымъ шаромъ за низкій горизонтъ луговаго прибрежья Оки. По покатому нагорному берегу разсыпались мелкія сосенки и кусты орѣшника. Внизу по тропинкѣ шли бурлаки и тянули бичевой расшиву. Въ воздухѣ слышенъ былъ рѣжущій визгъ какой-то птицы, и потомъ все опять затихало.

По старой большой дорогѣ, обсаженной березами, держась, глинистой утоптанной тропки, шелъ Крутицынъ. Онъ возвращался изъ села Петрова, куда ходилъ пѣшкомъ къ больной старухѣ. Дойдя до овражка, спускавшагося вплоть до рѣки, онъ оглянулся кругомъ и, снявъ фуражку, присѣлъ подъ сосенку, вынулъ папиросу и закурилъ.

Заслышались сбоку чьи-то шаги. Онъ обернулся. По склону дороги бѣжалъ вприпрыжку крестьянскій парень, лѣтъ подъ шестнадцать, въ зипунишкѣ нараспашку. Онъ былъ босъ, а сапоги несъ въ правой рукѣ.

— Куда идешь, молодецъ? — окликнулъ его Крутицынъ.

— Въ Петрово, дяденька.

— На завтрашній базаръ, что ли?

— Нешто.

— А что несешь?

— Замочки.

— Покажь.

Паренекъ подошелъ и вынулъ изъ-за пазухи пачку замковъ. Его блѣдное лицо все точно ушло въ большіе, сѣро-голубые глаза, которые глубоко смотрѣли на Крутицына.

— Кому продавать-то будешь? — продолжалъ разспрашивать Крутицынъ.

— Кулакамъ, извѣстно... У тятеньки Иванъ Мосѣичъ давалецъ.... У него и товаръ забираемъ.

— А сколько ты съ тятькой-то въ недѣлю заработаете?

— Недѣля на недѣлю не приходится... рубля два, а то и съ полтиной серебра.

— А много ли васъ?

— Четверо насъ, окромя мамыньки...

— Такъ два рубля въ недѣлю?

— Нешто.

— Ну, а вотъ такой замочекъ почемъ же идетъ?

— Этотъ вотъ?

— Да.

— Такіе по четыре копѣйки.

— По четыре копѣйки? — вскричалъ Крутицынъ.

— А ты думалъ — дешевле? Онъ вѣдь, дяденька, на двадцать три части разымается... вотъ со мной струмента нѣтъ, а то бы я тебѣ показалъ.

Крутицынъ держалъ въ рукахъ замочекъ четвероугольной формы и съ изумленіемъ осматривалъ его, повторяя про себя: «четыре копѣйки, на двадцать-три части разнимается, а Иванъ Ѳедорычъ получаетъ пять тысячъ жалованья!»

— Видишь, на этой-то сторонѣ бляшка припаяна съ полумѣсяцемъ. Это къ туркѣ въ Цырьградъ замокъ такой идетъ. Туда его кулаки и справляютъ... Иванъ Мосѣичъ сказывалъ: никакой товаръ супротивъ нашего по цѣнѣ тамъ не устоитъ... дешевѣе-инъ машиннаго... аглицкаго...

«Дешевле машиннаго», повторилъ про себя Крутицынъ.

— Продай мнѣ всю пачку, — сказалъ онъ пареньку.

— Рай можно, дяденька? Надоть седни Мосѣичу предоставить... а безъ этого на грошъ мѣдный не повѣритъ. У насъ замокъ не базарный...

— Ну, хоть этотъ замочекъ продай...

— Вотъ у меня два замочка ищо... это я балуюсь... коли тѣе, дяденька, жалательно...

Паренекъ вынулъ изъ портокъ два замочка, болѣе изящной работы.

Крутицынъ выбралъ одинъ и отдалъ за него два двугривенныхъ.

Съ недовѣріемъ смотрѣлъ на нихъ паренекъ и, убѣдившись, что они не фальшивые, снялъ шляпенку, низко поклонился и, встряхнувъ бѣлыми, какъ ленъ, волосами, побѣжалъ подъ пригорокъ къ селу Петрову.

«Четыре копѣйки!» повторилъ еще разъ, съ глубокимъ волненіемъ, Крутицынъ... «И такой сказочный трудъ тяготѣетъ надъ цѣлымъ населеніемъ!»

Точно откровеніемъ явился передъ нимъ этотъ замочекъ, вступающій въ совмѣстничество съ машинными издѣліями Альбіона... Въ кусочкѣ опиленнаго желѣза видѣлся ему цѣлый міръ пролетаріата, въ когтяхъ кулака и міроѣда. Передъ нимъ стояла готовая, промышленная артель, богатая опытомъ горькаго рабства, сплоченная стародавнимъ духомъ круговой поруки, повитая вѣковѣчнымъ и неустаннымъ трудомъ... Но артель эта пилитъ замочки вразсыпную, она не знаетъ своей силы, глаза у ней завязаны, природный разумъ спитъ подъ бременемъ безъисходной нужды, кулаки за недѣли и мѣсяцы впередъ закабаляютъ себѣ каждаго, у кого ни муки, ни соли, ни желѣза, ни подпилка. Нѣтъ человѣка, кто бы сказалъ этимъ труженникамъ: « да что же вы, братцы, не заведете общаго хозяйства?» —кто бы нашелъ лишній грошъ для первыхъ

шаговъ такой не картонной, а живой, данной жизнью трудовой общины...

— Да,—вскричалъ Крутицынъ, глядя на темнѣющее вдали село:—не съ тузами индустріи, не съ Алексѣями Аввакумовичами надо ладить людямъ науки и друзьямъ человѣчества. Пускай ихъ выписываютъ себѣ нѣмцевъ и англичанъ для своихъ паровиковъ и маховыхъ колесъ! Вотъ сюда, въ подполья замочниковъ, на многострадальную почву народнаго труда придемъ мы искупить всѣ наши себялюбивыя порыванія, ей отдать наше душевное добро, не прося инаго возмездія, кромѣ вѣры въ наши смиренныя начинанія, кромѣ простаго мужицкаго спасиба...

Медлительная слеза скатилась по его поблѣднѣвшей щекѣ. Онъ чувствовалъ, въ эту минуту, какъ все его существо было охвачено любовью къ тому многообразному бытію, которое зовутъ родиной. Высоты цивилизаціи, гдѣ онъ дышалъ, откуда онъ обозрѣвалъ безпредѣльные кругозоры, не заморозили фибра, трепетавшаго въ немъ такъ сладостно при видѣ и тихой рѣки, и блѣднаго неба, и глинистой землицы, и бѣдныхъ кустиковъ. А посреди родной, некрикливой картины, его духовный взоръ, съ надсадой сострастія, обнималъ безропотно идущаго своей темной стезею кормильца-пахаря. Какъ глубоко несчастливъ былъ бы онъ, еслибъ міровое движеніе, мозговая работа, яркіе цвѣты всесвѣтной культуры оставили его, въ эту минуту, безучастнымъ наблюдателемъ того, что творится въ одномъ углу вселенной, и не дали ему силъ, держась за вѣчные устои, на которыхъ зиждется людское преуспѣяніе, припасть горячими, любовными устами къ матери Русской землѣ...



UNIVERSITY OF CALIFORNIA LIBRARY
Los Angeles
This book is DUE on the last date stamped below.

DISCHARGE-URL
SEP 13 19..

SEP 5 1979

Form L9–Series 444



PG
3453
B62
1884
v.6

